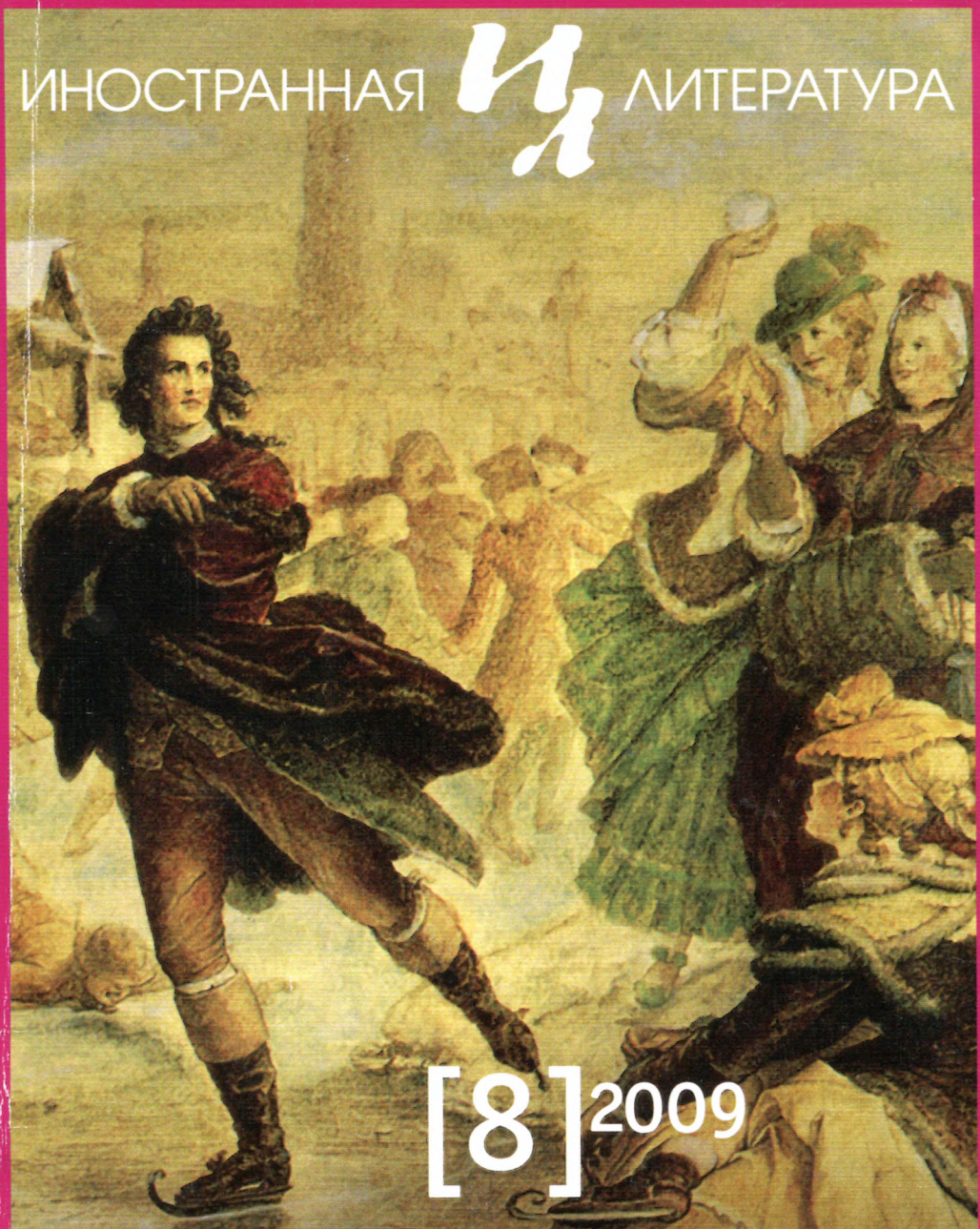
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[8] 2009

РОМАН ТОНИ МОРРИСОН "ЖАЛОСТЬ" / "ДОЛОЙ ГЁТЕ!" — ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ ХАНСА МАГНУСА ЭНЦЕНСБЕРГЕРА / ЭПИСТОЛЯРИЙ: "ПОГОВОРИМ-КА О ЕВГЕНИИ ГРАНДЕ" — ПИСЬМА ХУЛИО КОРТАСАРА / "ПОЧТЕНИЕ К ЛИТЕРАТУРЕ" — ФРАГМЕНТЫ КНИГИ ИВАНА ДИНКОВА / АНАТОЛИЙ КОРОЛЕВ И ГЕОРГИ БОРИСОВ В РУБРИКЕ "ПИСАТЕЛЬ ПУТЕШЕСТВУЕТ"

Основан в 1955 году

[8]
2009

ИНОСТРАННАЯ ИЛ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Ханс Магнус Энценсбергер *Долой Гёте!* Объяснение в любви. Перевод с немецкого, вступление и комментарии Н. Васильевой. "...Каждый сам для себя должен решить, как ему обходиться с Гёте". Письмо в "ИЛ". Перевод с немецкого Н. Васильевой

52 Тони Моррисон *Жалость*. Роман. Перевод с английского В. Бошняка

145 Иван Динков *Почтение к литературе.* Фрагменты книги. Вступление Беллы Цоневой-Динковой. Перевод с болгарского Э. Мезенцевой

Эпистолярий

154 Хулио Кортасар *"Поговорим-ка о Евгении Гранде"*. Письма издателю и другу Франсиско Порруа. Перевод с испанского, вступление и примечания Эллы Брагинской

Писатель путешествует

194 Анатолий Королев, Георги Борисов *Хиатус. Путешествие из Софии в Софию.* Перевод с болгарского Э. Мезенцевой

К 200-летию Эдгара Аллана По

248 Александра Уракова *Байрон в маске могавка: штрихи к портрету Эдгара По*

Среди книг

258 Александр Маркин *О словарях "измов"*. Михаил Майков С *саквояжем по свету*

БиблиофИЛ

266 *У книжной витрины* с Михаилом Визелем

269 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

273 *По материалам зарубежной прессы.* Подготовили А. Лешневская, И. Мокин, Е. Полетаева

278 *Эхо "Анкеты 'ИЛ'"*. Обзор читательских писем

Авторы номера

284

© "Иностранная литература", 2009

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

О. Д. Дробот
заместитель главного редактора

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

Общественный редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. А. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный совет:

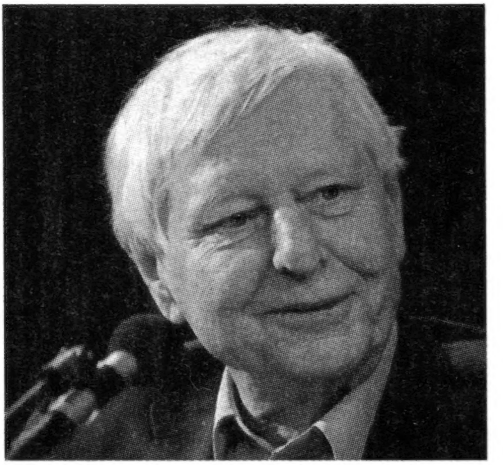
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

М. М. Алексеева
О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина

Ханс Магнус Энценсбергер



Долой Гёте!

Объяснение в любви

Перевод с немецкого, вступление и комментарии Н. Васильевой

Героем, а скорее антигероем предлагаемого вниманию читателя произведения является, действительно, Иоганн Вольфганг Гёте — "первый поэт немецкой нации", носящий этот титул на протяжении вот уже почти полутора столетий, со времен провозглашения Германской империи (1871), когда, как утверждают немецкие историки литературы, "Господь Бог воцарился на небесах, Бисмарк — в рейхстаге, Гёте — на Парнасе, и все встало на свои места..." В безбрежной и необъятной немецкой "гётеане" и сегодня в отношении веймарского классика — как гласят названия книг — сохраняется заметное единодушие: "Наш Гёте", "О Гёте", "К примеру, Гёте", "Как можно больше Гёте", "В руках Гёте", "Сила притяжения Гёте", "Последнее путешествие Гёте", "Мужчина, который любит"... На этом фоне уже само заглавие публикуемого текста звучит неожиданным диссонансом.

Писатель, решившийся на столь непочтительный выпад, — классик современной немецкой литературы Ханс Магнус Энценсбергер. Прежде всего он известен как лирик и эссеист, но выступает и во многих других жанрах: как прозаик, переводчик, сочинитель книг для детей, создатель киносценариев, радиоспектаклей, даже оперных либретто (в том числе в сотрудничестве с известным современным композитором Г. В. Хенце), а также — как автор произведений для сцены, к числу которых формально относится и данный текст.

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2004
© Н. Васильева. Перевод, вступление, комментарии, 2009

Но не только разнообразие жанров составляет "фирменный знак" творчества Энценсбергера, и не только "просветительская" разносторонность знаний, которая закрепила за ним в немецкой литературе титул poeta doctus[1], а в первую очередь его подчеркнутое расхождение с общепринятой точкой зрения, его нетерпимость ко всякого рода стереотипам мышления, его умение, как отмечал известный немецкий исследователь средств массовой информации Норберт Больц, озадачить читателя "убедительной неожиданностью".

Провокационный пафос, безусловно, — примета художественного темперамента, но в какой-то степени, вероятно, и печать пятидесятых годов, реставрационной аденауэровской эпохи, на которую пришлось начало творческой деятельности Энценсбергера: политический и поэтический нонконформизм был тогда для художников молодого поколения единственно приемлемой гражданской и эстетической позицией. Энценсбергер — как и Генрих Бёлль, Гюнтер Грасс, Ингеборг Бахман, Петер Рюмкорф — входил в легендарную "Группу 47", которая объединяла писателей, искавших в послевоенной Германии новых гражданских ориентиров и новых художественных путей.

Пьеса "Долой Гёте!" первоначально была опубликована в 1995 году, затем повторно — в 2004-м в сборнике произведений Энценсбергера под общим программным заглавием "Диалоги между бессмертными, живыми и мертвыми", объединившем близкие по жанру и форме тексты. На сцене пьеса была поставлена в 1996 году в рамках фестиваля культуры в Веймаре, сыграли ее ведущие немецкие актеры и, как и предписывает сценарий, современная телезвезда. Тогда же эта постановка в прямом эфире транслировалась по телевидению, а позднее, в 2006 году, была повторно показана на телеэкране в рамках всемирного дня телевидения.

"Неожиданность" ракурса, избранного в этом тексте, очевидна. "Убедительность" же его — в исторической подлинности. Как ни удивительно может показаться сегодня, но невыдержанные, презрительно-осуждающие тирады персонажей пьесы — под общим лозунгом "Долой Гёте!" — действительно были произнесены в адрес великого классика, и, более того, за всеми злобными нападками стоят представители немецкой интеллектуальной элиты того времени. Автор называет и главный документальный источник своего текста — трехтомное комментированное издание "Гёте в доверительных письмах своих современников", впервые опубликованное в 1918—1923 годах знаменитым исследователем и биографом Гёте Вильгельмом Боде и переизданное с уточнениями в 1979—1982-м.

Благодаря подлинности исторического материала читатель получает уникальную возможность: расставшись с клишированным образом веймарского поэта и отбросив груз всех последующих толкований, увидеть его фигуру в неподдельной полифонии тогдашних эмоций, недоумений, симпатий и антипатий.

Ради убедительности и почти научной точности "документа" Энценсбергер даже демонстративно жертвует традиционной "художественностью". Живые голоса свидетелей того времени не подгоняются под жесткие рамки литературного образа, а лишь группируются в четыре главных архетипа эпохи, поэтому в высказываниях персонажей порой ощутима стилистическая разнородность и даже нестыковка реплик.

Использование "чужого" текста и сознательное пренебрежение процессом его "переплавки" в авторский — не единичный, осуществленный в данной пьесе художественный эксперимент, а программный, кардинальный принцип нонконформистской поэтики Энценсбергера. "По-моему, это просто обывательский предрассудок — думать, что писатель должен от начала до конца сочинить свое произ-

1. Поэт-ученый (*лат.*).

ведение. Требование непременной оригинальности творчества мне лично представляется довольно абсурдным", — так определил Энценсбергер свое художественное кредо в одном из интервью. Традиционной авторской претензии на всеведение и оригинальность он в своих произведениях противопоставляет внеличностную манеру письма: "Мысль, заключенная в материале, должна вырастать из него, а не довлеть над ним. Когда позволяешь высказаться другим, когда прислушиваешься к другим, когда постоянно в процессе писания соизмеряешь свой голос с их голосами, то невольно и неизменно корректируешь самого себя. При таком подходе перу писателя несколько труднее сбиться на догматизм".

На приеме монтажа "чужих" текстов построены многие произведения Энценсбергера. Так, одна из ранних пьес "Допрос в Гаване" (1970), получившая в Германии огромный общественный резонанс, воспроизводит материалы допросов революционным трибуналом участников американского вторжения на Кубу 1961 года. Роман "Короткое лето анархии. Жизнь и смерть Буэнавентуры Дурутти" (1972) представляет собой коллаж из газетных статей, речей, писем участников и свидетелей событий гражданской войны в Испании 1936 года, использованы в романе и репортажи Ильи Эренбурга и Михаила Кольцова. Архивные документы (в том числе и из русских архивов) непосредственно включаются в повествование и в последней по времени книге Энценсбергера "Хаммерштейн, или Своеволие", вышедшей в начале 2008 года и в очередной раз удивившей читателя "убедительной неожиданностью": в казалось бы всесторонне изученной немецкой истории первой половины XX века автор открыл фигуру, до сих пор странным образом обойденную вниманием историков — генерала рейхсвера Курта фон Хаммерштейна, и сумел в судьбе его семьи отразить концентрированный сплав главных идей и заблуждений того времени.

В восьмидесятые и девяностые годы Энценсбергер чаще всего обращался к литературным источникам. Так, из фрагментов переписки Клеменса Брентано и его второй жены Августы Бусман скомпонован роман "Реквием для романтической дамы" (1990). На основе "чужих" художественных текстов построены многие произведения из сборника "Диалоги между бессмертными, живыми и мертвыми": к примеру, "Дидро и темное яйцо" (1990), "Пять бесед о Жаке-фаталисте" (впервые в данном сборнике). В качестве первоосновы для своих произведений Энценсбергер использовал и русское литературное наследие — пьеса "О затмении истории. Два диалога XIX века, в переложении для современности" (1984) базируется на тексте книги Александра Герцена "С того берега".

Демонстративная документальность многих произведений этого автора не означает, однако, что читатель имеет дело с чисто документальной литературой. В "Долой Гёте!" персонажи из окружения веймарского классика высказываются о нем в рамках телевизионного ток-шоу, поэтому помимо исторического пьеса имеет и второе автономное время действия — настоящее. Благодаря современной "аранжировке" строгие историко-литературные изыскания оживают и становятся неожиданно доступными сегодняшнему читателю и зрителю, так что автор анонса к телетрансляции этой пьесы имел полное право воскликнуть: "Энценсбергер утер нос немецким филологам!" А столь естественная трансплантация кулуарных сплетен из бидермейеровских гостиных в сегодняшние телесалоны недвусмысленно характеризует и мир современных массмедиа, придавая пьесе о веймарском классике злободневную, публицистическую направленность.

Исторический документ воспроизводится в текстах Энценсбергера не как неприкосновенный реликт прошлого или музейный экспонат, а как рабочий материал для нового литературного текста, как интеллектуальное "топливо", или — по определению самого автора из послесловия к данной пьесе — как жизненно необходимый сегодня "вневременной ресурс". В интервью, посвященном пьесе "До-

лой Гёте!", Энценсбергер пояснил, какую формулу поведения извлекает он для себя из личного опыта Гёте: "Меня, разумеется, особенно интересовало, как реагировал на всю эту критику сам Гёте. И я должен признаться, что позиция его вызывает у меня восхищение. Его независимость, невозмутимость, хотелось бы даже сказать, чувство юмора, с которым он терпеливо сносил все пересуды, в общем-то не придавая им почти никакого значения, — все это вызывает во мне большую симпатию. Этого, разумеется, ему тоже не могли простить и клеймили за *олимпийскую надменность*... Такая реакция, которую продемонстрировал Гёте, в эпоху всесилия массмедиа является, вероятно, единственно достойной. Поэтому я полагаю, что и нам, сегодняшним, — при всем несомненном различии в масштабах — стоило бы поучиться у него, а не жаловаться на всех и вся и не опровергать всех и вся, ввязываясь в газетные склоки и дрязги. Гёте не позволял втягивать себя в трясину массмедиа, а сосредотачивал свои силы на творчестве".

Главные художественные приемы этого "нонконформистского" текста, демонстративно разрушающего традиционные жанровые клише — будь то драмы или исторической хроники, — свидетельствуют о связи с другими канонами, канонами модернистской литературы, которые — по собственному признанию автора — в начале творческого пути были для него "сугубо личной литературной программой".

Неожиданное совмещение различных планов и смыслов, сочетание серьезности и шутки, веселая игра с "чужим" текстом и неизменный провокационный вызов закрепили за этим автором славу не только одного из самых "ученых", но и самых изобретательных и остроумных писателей современной Германии. "Он окрыляет нас, — писал об Энценсбергере немецкий поэт и переводчик Йоахим Сарториус, — и мы в порыве вдохновения набираем знания. Его ученость никогда не тягостна, она — часть увлекательнейшей игры, которая захватывает и заражает читателя, если только тот, в свою очередь, проявит готовность к игре и энтузиазм".

Может быть, и русский читатель, "окрыленный" данным текстом, по-новому откроет для себя "вневременной ресурс", оставленный нам веймарским классиком. А открыв его, возможно, оценит и иронически-серьезный призыв, обращенный к соотечественникам в 1949 году — в сложный для немецкой нации период — другим поэтом-ученым, Готфридом Бенном: "Помоги себе сам, и тогда тебе поможет Бог — или Гёте".

Если читатель — в поисках своего образа Гёте — пожелает погрузиться в историческое время действия пьесы, предлагаем ему обратиться к комментарию, помещенному вслед за текстом.

Иллюстративный материал, включающий портретную галерею великого мэтра и его современников, а также веймарские городские виды и музейные реквизиты того времени, призван наглядно воссоздать "исторические кулисы", подразумевающиеся за стенами воображаемого ток-шоу.

Краткие биографии современников Гёте дадут читателю возможность различить за масками собирательных персонажей черты конкретных исторических лиц, а расшифровка авторства отдельных цитат поможет уловить в анонимной полифонии реплик индивидуальные интонации каждого из реальных "оппонентов" Гёте, а также точнее почувствовать отзвуки общественных и литературных столкновений той эпохи.

В некоторых биографиях — это хотелось особо подчеркнуть — неожиданно обнаруживаются русские нити, которые свидетельствуют о том, что "вневременной ресурс" немецкого классика — это и часть нашей общей истории, то есть в какой-то мере — и часть русской культуры.

Действующие лица

Ведущий.
Лизелотта фон Шпилькельман.
Каролина Гердерхен.
Профессор Фридрих Веровер.
Магистр Людвиг Древбаум.

Кинооператоры, ассистенты.
Голоса телезрителей, позвонивших в студию.
Дикторы.

Ток-шоу проходит в большом муниципальном зале, заполненном зрителями. Место действия — Веймар.

Сцена оснащена современной телевизионной техникой. За столом на подиуме четверо гостей телепередачи, в центре — ведущий. По бокам и на заднем плане телекамеры, телефоны с ретрансляторами, широкоформатный экран, могут быть и мониторы. В зале и на сцене — типичная атмосфера прямой трансляции.

Заставка и финальные кадры, как и рекламные ролики, должны быть сняты заранее и прокручиваются по ходу ток-шоу.

Принцип построения пьесы — анахронизм. Ведущий — современная телезвезда; это видно и по его манере держаться, и по тому, как он одет. Его роль не так жестко регламентирована текстом, он до известной степени вправе импровизировать, перебивать гостей телепередачи, переспрашивать их, иной раз даже отпустить шутку — при условии, что в главном будет придерживаться сценария и не упустит ключевых для дискуссии реплик.

Гости телепередачи — актеры. Им надлежит строго следовать роли. Изображают они современников Гёте. Одеты по моде того времени, манера поведения — соответствующая той эпохе. Имеются в виду приблизительно 1810 -1815 годы. Рекламные ролики тоже должны быть сняты в духе эстетики раннего бидермейера, то есть с подчеркнутой обстоятельностью и неспешностью и с использованием подобающих музейных реквизитов.

Двойственность времени действия намеренно создает ощущение анахронизма. Пародийных моментов и нарочитых аллюзий следует избегать. Временна́я нестыковка должна оставаться в подтексте. Имя Гёте за всю передачу ни разу не произносится.

Ведущему следует иметь под рукой экземпляры первых изданий произведений Гёте, которые — как книжные новинки — он будет показывать в камеру.

Конкретно о гостях телепередачи:

Лизелотта фон Шпилькельман — дама веймарского высшего света, лет пятидесяти, в облике и жестах — лоск аристократки, держится величественно, одета с изяществом, манера речи изысканно благородная. Прототипом могла бы служить Шарлотта фон Штейн. В подтексте — аффектированная привязанность к Гёте, обернувшаяся, однако, разочарованием.

Каролина Гердерхен несколько моложе и не так представительна внешне, это тип образованной провинциалки из среды мелких буржуа, одержимой высокими идеалами. В личном плане скорее несчастлива, однако честолюбива, и неудачи на любовном фронте восполняет ревностным служением благим начинаниям. Пьет больше положенного. (*Во время*

ток-шоу гостям предлагается вино.) Ее эмоциональная вспышка в конце беседы объясняется именно этим. Прообразом могут служить как Каролина Гердер, так и Рахель Левин.

Профессор Фридрих Веровер — тип всеведущего влиятельного критика. Это ученый с именем, по взглядам близкий реакционному лагерю; настроен воинствующе, в своих политических убеждениях сторонник абсолютистской монархии националистического образца. (Исторические прототипы: Генрих Фоглер, Кёхи, возможно также Пусткухен или Гёце.)

Людвиг Древбаум — значительно моложе, ему около тридцати; тип ревностного поборника левых идеалов, не лишенный и карьеристских амбиций. В подтексте — агрессивная зависть к Гёте, его богатству и всему прочему. При работе над ролью можно было бы иметь в виду молодого Бёрне.

Эти четыре персонажа — фигуры вымышленные, но все, что они произносят, абсолютно достоверно и подтверждено историческими документами. Таким образом, эти персонажи выступают как бы от лица пятидесяти современников Гёте, среди которых — и имена самого первого порядка.

Заставка

На экране на фоне портрета Гёте движутся титры. Если текст при этом зачитывается диктором, то голос должен быть уже немолодой, уверенный и независимый (голос Гёте):

Вышел в свет сборник in octavo[1] "Гёте в благожелательных отзывах современников". Теперь бы я советовал озаботиться выпуском противуположного сборника: "Гёте в недоброжелательных отзывах современников". Недругам моим сие предприятие особого труда не составит и даже, вне сомнения, послужит им развлечением.

Поскольку без меня, как представляется, и ныне и впредь уже не обойтись ни всеобщей, ни тем паче немецкой литературе, уверен, что любители истории, без сомнения, будут признательны нам за возможность столь необременительным образом познакомиться с тем, каковы были нравы в наше время и что за умы правили миром.

Мне самому результат подобного предприятия был бы в высшей степени любопытен, ибо вправе ли я отрицать тот очевидный факт, что у многих людей я вызывал отвращение и ненависть, а оные и публике стремились представить меня в соответствующем свете.

Я же, со своей стороны, могу лишь свидетельствовать, что жизнь провел, несмотря на все нападки, в непрерывном труде — вплоть до последних дней своих.

Иоганн Вольфганг Гёте.

Ведущий. Добрый вечер, уважаемые зрители. Человека, о котором пойдет речь в нашей сегодняшней передаче, нет необходимости вам представлять. Его знают все; это не только самый знаменитый писатель Германии, но и писатель, вызывающий у нас самые горячие споры. И я думаю, что пришло время попытаться взглянуть на него совершенно непредвзято с критической точки зрения.

Трудно найти людей более компетентных в этой области, чем сегодняшние гости нашей передачи.

1. In octavo (*лат.*) — малого формата, в восьмую долю бумажного листа. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Я приветствую в студии в первую очередь двух наших дам, любезно откликнувшихся на приглашение участвовать в дискуссии. Госпожа Лизелотта фон Шпилькельман принадлежит к высшим кругам веймарского общества, ей хорошо знакома жизнь при дворе великого герцога, и я думаю, не ошибусь, если скажу, что госпожа фон Шпилькельман знает нашего автора уже многие годы, не так ли?

Госпожа Лизелотта фон Шпилькельман величественно кивает в ответ.

Это же можно сказать и о госпоже Каролине Гердерхен, чья роль в культурной жизни города, я полагаю, всем хорошо известна. Мне особенно приятно, что у нас сегодня в гостях профессор Веровер из Лейпцига. Вы все его прекрасно знаете по радио- и телепередачам — как глубокого знатока литературы и проницательного критика. И наконец, я приветствую в студии господина Людвига Древбаума из Франкфурта. Недавно ему было присвоено звание магистра государственного права, и, несмотря на свою молодость, он уже приобрел известность как воинственный публицист.
Было бы, разумеется, предпочтительнее, хотя бы уже из соображений корректности, чтобы герой этого вечера, если мне позволительно так выразиться, лично присутствовал на нашей встрече. К сожалению, он не выразил готовности предстать перед камерой и участвовать в дискуссии. А ведь тогда, уважаемые зрители, у вас была бы возможность составить о нем собственное мнение. К счастью, недостатка в очевидцах у нас нет, и поэтому мы начнем с того, что попросим наших веймарских гостей описать нам внешность поэта. Какое впечатление он на вас произвел? Как он выглядит? Госпожа Гердерхен, пожалуйста.

Гердерхен. Значит так, у глаз морщины, под глазами — большущие мешки; вообще, сразу видно, что это человек далеко не первой молодости. Нос — ну просто ястребиный. Рот маленький, губы порой кривятся самым невероятным образом, вот только желтые страшно неровные зубы портят его, когда он улыбается. Лицо полное, с довольно-таки отвислыми щеками. Волосы надо лбом гладко выбриты. По виду его можно было бы принять за министра, за военного, а то и за тайного советника или же за иное высокое должностное лицо, но уж никак не за ученого и тем более — не за великого поэта. К тому же он часто не может припомнить нужного слова и беспрестанно корчит гримасы.

Ведущий. Что вы скажете о таком портрете, госпожа фон Шпилькельман?

Шпилькельман. Не знаю, откуда у госпожи Гердерхен впечатления столь интимного свойства. В нашем кругу мне доводится видеть ее весьма редко, но в данном случае с описанием его внешности я вынуждена согласиться. Наш мэтр представляется мне таким: походка медлительная и весьма степенная; живот отвис и выпячен вперед, как у беременной женщины; подбородок дряблый, словно желе, совсем сросся с шеей; щеки полные, рот полумесяцем; ввысь, к небесам, обращены разве что его глаза, хотя более всего — шляпа; во всем его облике чувствуется некое самодовольное равнодушие, но радостным он отнюдь не выглядит. Одно могу сказать: жаль его.

Ведущий. Подождите минутку, я что-то вас обеих не совсем понимаю. Трудно представить, что он и впрямь производит столь отталкивающее впечатление. У меня здесь с собой портрет писателя — я думаю, мы могли бы сейчас показать его на большом экране, чтобы наши зрители сами убедились. Кроме того, я хотел бы, с вашего позволения, зачитать свидетельство одной его посетительницы. Вот послушайте, какое впечатление произвел он на нее:

"Это самое совершенное существо из всех, кого я когда-либо встречала; великолепна уже сама внешность: высок ростом, статен, осанка прямая, одет чрезвычайно изысканно, чаще всего — в черное или темно-синее; волосы причесаны с большим вкусом и напудрены; и совершенно замечательное лицо с ясными карими глазами, мягкими и проницательными одновременно. А когда он говорит, то становится еще прекраснее; тогда я просто не в состоянии отвести от него глаз. Поверьте, облик его исполнен такого величия, что даже обычная любезность с его стороны представляется монаршей милостью, но сам он как будто этого не замечает и шествует себе далее в ореоле своего сияния, спокойно и величественно, как солнце".

Шпилькельман (*неодобрительно качает головой*). Ну уж — спокойно и величественно!

Древбаум. Монаршая милость! Что еще за галиматья!

Гердерхен. Я догадываюсь, кто была эта гостья.

Ведущий. Пожалуйста, скажите нам по секрету.

Гердерхен. Нет, уж лучше промолчу. Знаете, есть определенный тип женщин, которые на каждую знаменитость чуть ли не молятся. В таких поклонницах у него никогда недостатка не было.

Древбаум. Очевидно одно: в обращении с другими он всегда натянут и чопорен до невозможности. Отвратительно толстый, ручки короткие, держит их, не сгибая в локтях, в карманах брюк. Человек он, безусловно, необычный, но что выдающийся — никак не скажешь. А что касается того портрета... Так это же придворная живопись, чего вы хотите? Большого мастерства тут не требуется. На подобных портретах каждый будет выглядеть великолепно, если не поскупится на гонорар. Какие же могут быть в том сомнения! Здесь все приукрашено! Подлый обман, я во всяком случае на эту удочку не поддамся.

Ведущий. Ну не скажите... Всем нам отнюдь не безразлично, как мы выглядим, особенно когда перед камерой оказываешься. Смею предположить, господин Древбаум, что и вы побывали сегодня у парикмахера, не так ли? И если совсем честно — думаю, уважаемые дамы тут меня поддержат, — легкий макияж никогда не помешает. А теперь как нельзя кстати — реклама.

Прокручиваются рекламные ролики.

Румянами называется пигмент нежнейшего оттенка, искусно применяемый преимущественно женским полом с целью придать лицу более привлекательный, свежий и моложавый вид. Следует, однако, остерегаться румян, изготовленных из минеральных пород, поскольку многие из них содержат вредные вещества и крайне пагубны для здоровья. Зато весьма приятны для кожи наши целебные белила из порошка клубней аронника, а также "rouge en feuille", румяна из сухих ли-

стьев кошениля и красного дерева. Свои товары рекомендует почтенной публике Андреас Ангелик, продавец галантерейных товаров из города Аполда.
Табачная фабрика из Эберсдорфа, что в землях Ройсского княжества[1], пользуясь предоставленной возможностью, в очередной раз заверяет своих покупателей, что ее товары не могут, за исключением случаев сугубо индивидуальных, вредно сказаться на здоровье, ибо производятся из продуктов чистосортных, без всяких примесей суррогатов, кроме того, отличаются хотя и пикантным, но весьма нерезким и незловонным запахом и приятным вкусом. Наш курительный табак тщательно нарезан, так что вам не попадется ни стеблей, ни черенков; он легко горит, без треска и вспышек, и, догорая, оставляет после себя чистый белый пепел. Фунт отборной южноамериканской махорки Санкт Варинас Кнастер можно на нынешний день приобрести по вполне сходной цене, всего за 32 крейцера.

Щетки для одежды, для шляп, для ног, для полировки поверхностей, для пряжек, для зубов, а также ершики и всякого рода трещотки, обтянутые кожей, сафьяном или шелковой тканью, и к ним ручки, украшенные серебром, слоновой костью или инкрустированные перламутром, кроме того, метлы, скребницы для лошадей и щетки для растирания при обмороках, апоплексических ударах и в иных подобных случаях – все это в богатом ассортименте предлагает мануфактура щеток из Алтенбурга. Спешите заказать наш новейший прейскурант!

Ведущий. Дорогие зрители, наши гости в студии обрисовали весьма впечатляющий образ великого мэтра, возможно, не очень лестный, но зато, надеюсь, правдивый. Однако все это — черты сугубо внешние, на которых мы не намерены долее задерживаться. Гораздо интереснее нам характер этого необыкновенного человека. Может быть, вы могли бы нам помочь познакомиться с ним поближе? Какое впечатление он на вас произвел и какую роль он играл в веймарском обществе? Госпожа фон Шпилькельман, пожалуйста...

Шпилькельман. Тут я вынуждена буду начать издалека... В самое первое время он представлялся нам яростным волком, который во мраке ночи, будто оборотень, накидывался на добропорядочных людей и втаптывал их в грязь. "Лютый зверь", — восклицали мы, и я еще жарче и громче других. Однако вскоре мне довелось убедиться, что, несмотря на все эти дикие выходки, в душе он совсем не лютый...

Гердерхен. Лично мне ласка его всегда кажется лаской тигра. В его объятиях всегда ожидаешь кинжала за пазухой.

Ведущий. Но все же — ласка, объятия...

Шпилькельман. Должна сказать, меня удивляют подобные выражения, более того, я нахожу их неуместными.

Гердерхен. Отчего же?

Шпилькельман. Насколько мне известно, у вас нет оснований для подобных откровенностей.

Гердерхен. Странно именно от вас это слышать.

Шпилькельман. А мне странно, что именно вы позволяете себе здесь столь грубые инсинуации, похоже, намекая на какое-то особое при нем положение.

1. Ройсские князья — династия древнейших правителей и наместников Восточной Тюрингии, название рода идет от короля Генриха I (1266—1295), из-за долгого пребывания в России прозванного ройссом, россиянином.

Ведущий. Милые дамы, прошу вас! Не лучше ли вернуться к предмету нашей дискуссии?

Шпилькельман. Вы правы. Продолжу свою мысль. С первого дня нашего знакомства я неизменно испытывала к нему некоторое недоверие. Достаточно внимательно почитать его романы, и станет ясно, что от людей он ждет ровно столько ума и дарования, чтобы они были в состоянии вдохновляться его идеями, и исключительно только *его* идеями. Душой он уже давно состарился...

Древбаум. Совершенно верно! Это дряхлый, бессильный бог, досадующий, что уже ничего более сотворить не может.

Шпилькельман. Сделайте одолжение, молодой человек, позвольте мне договорить. Я сказала: душой он уже давно состарился, но не все, кто старится, устаревают до такой степени. А только те, кто по-настоящему никогда и не был молодым. И не верьте пустым россказням, я говорю вам: сердце его решительно чуждо и любви и высоким порывам. А уж если этого не дано, то чего же еще от него ждать?

Ведущий. А вы, господин Веровер, что вы, как ученый муж, скажете об этом?

Веровер. Я совершенно с вами согласен, милостивая госпожа. Да, разумеется, он волк по натуре! Это самый недобрый, самый эгоистичный человек из всех, кого я когда-либо встречал, — необузданный, неистовый. Неслучайно в свое время он прослыл у нас сумасбродом и язвительным богохульником и очень многих этим от себя оттолкнул. У него, похоже, с головой не все в порядке — клепок либо не достает, либо их, наоборот, чересчур много.

Древбаум. Извините, но я не очень понимаю, при чем тут Бог и религия?

Веровер. Неудивительно, что не понимаете. Вы, по-видимому, тоже один из тех богоотступников, что так самоуверенно задают нынче тон в нашей литературе.

Древбаум. Если кто-то и задает здесь тон, так уж скорее профессора вроде вас, которые, заняв местечки подоходнее, живут себе припеваючи на свое жалованье, а молодым писателям и за жилье платить нечем.

Ведущий. Может быть, мы все же дадим высказаться господину Вероверу. Его резкое суждение меня удивило; мне лично доводилось слышать о герое нашего вечера очень много хорошего.

Веровер. И мне тоже. Тем не менее лавры, коими венчают сего надутого франта, вызывают во мне только еще большее омерзение и презрение. И я решительно заявляю, что отныне и навсегда отворачиваюсь от него, как уже задолго до меня поступили чуть ли не все порядочные люди нашей нации, — я более не желаю иметь с ним ничего общего.

Шпилькельман. Да, и впрямь, почти все в городе — за исключением разве что узкого круга его поклонников — придерживаются мнения, что от лести и комплиментов голова у него пошла кругом и что он позволяет себе вещи, которые не следовало бы оставлять безнаказанными.

Гердерхен. Он так привык к лести, что его уже не смутить никакой похвалой. Мне он как-то сказал: чтобы меня понимать, нужно прежде освоиться с моей манерой речи, вот почему я предпочитаю вступать в разговор лишь тогда, когда встречаю людей своего уровня.

Веровер. Какая надменность, султан да и только!

Древбаум. Да, подступиться к нему нет теперь никакой возможности. Он, можно сказать, все подступы к себе забаррикадировал.

Ведущий. А вы, значит, пробовали пробиться к нему? Это уже любопытно. Часто приходится слышать, что молодых писателей он не очень-то жалует.

Древбаум. Так оно и есть. В настоящий момент к нему нельзя попасть иначе, как с помощью отряда артиллеристов или, на худой конец, прихватив с собой пару плотников, которые проложат тебе дорогу топорами. Посему простому смертному, вроде вашего покорного слуги, приходится от подобной затеи отказаться.

Гердерхен. Он и ближайшим друзьям не станет изливать душу.

Шпилькельман. Позвольте спросить, а кого вы к ним причисляете? Может быть, вы и себя считаете его ближайшим другом?

Гердерхен. Этого я не утверждала. Я говорю только, что его ничем не тронешь и ничем не проймешь. И это, мне кажется, есть продуманная и последовательная манера поведения, рассчитанная на максимальное удовлетворение своего себялюбия. От таких людей следует держаться подальше. Этого я в нем не переношу.

Древбаум. Мне же он представляется такой гордой мамзелью, которой бы в самый раз ребенка заделать, чтобы опозорить ее перед всем светом.

Шпилькельман. Это уже переходит всякие границы! Можете упрекать его в чем угодно, я тоже не склонна петь ему дифирамбы, но по сравнению с вами он просто царственный орел. Молодому человеку вроде вас стоило бы сначала дослужиться до определенных степеней, прежде чем осмеливаться на такого рода суждения. Вот вы говорите, что он никого к себе не допускает, а мне представляется даже забавным, как он обходится с теми, кто всеми правдами и неправдами прорывается к нему и бесцеремонно навязывается в собеседники.

Древбаум. Сказать вам начистоту? Этот человек просто встал мне поперек дороги. Уже одним своим существованием он неизменно напоминает мне, что со мной судьба обошлась чересчур сурово. Ему-то все само текло в руки, а мне и сегодня ничего не дается без боя.

Веровер. Во всяком случае вред, нанесенный его безоговорочным обожествлением сочинительского дара, невыразимо велик. Но люди непременно когда-нибудь очнутся и спросят себя, какое же воздействие оказал он на человеческий дух, характер, нравы, что дал для постижения истинного человеческого счастья, какое воздействие оказал на молодежь и что сделал для облагораживания человечества? Честь и хвала тому, кто не боится уже сегодня открыто ставить эти вопросы.

Шпилькельман. Простите, но сам он смотрит на это совсем иначе, и я полагаю, что тут он прав. Наблюдая за теми бесчинствами, что творятся теперь в немецкой литературе, он окончательно потерял надежду на ее целительное воздействие. Каждый, говорит он, пестует ныне лишь собственное "я", все духовные искания теряются и тонут в бесформенности и неопределенности. Вот почему он подчеркивает, что не желает более тратить себя на заботы о других и будет следовать отныне только своему призванию; более того, он положительно уверен, что самое разумное было бы рассеять немцев по всему миру, как евреев, — только вне родины и по отдельности они еще более-менее сносны.

Ведущий. Не противоречите ли вы, милостивая госпожа, сами себе? Теперь вы вдруг выступаете в роли его защитницы...

Шпилькельман. Защищать его я не могу, но и предавать анафеме — тоже. Это как с очень дорогим другом, чьи слабости и ошибки тебе хорошо известны, и ты их в душе, конечно, осуждаешь, но не хотел бы, чтобы весь мир открыто о них злословил.

Ведущий. Понимаю. Господин профессор, вы, кажется, не совсем с этим согласны?

Веровер. Разумеется, нет. Но я не намерен более распространяться о его поступках или высказываниях. В том, что сердце его полно ярости, злобы и коварства, сомневаться не приходится. Ему с его высоким даром умозрительных построений ничего не стоит перерезать глотку лучшему другу, не испытывая при том ни малейших угрызений совести, и подвесить его за ноги на виселице — а впоследствии остроумно доказывать, что и милый друг сам бы нисколько не возражал против подобного обхождения, ежели бы только постарался подняться до осознания его мотивов и поставил бы себя на его место. Да сопутствует тебе удача, наш великий, добрый, славный поэт! И бог в помощь всем, у кого есть желание за тобой следовать! Я же благодарю небо, что между нами все кончено!

Ведущий. Дорогие зрители, уважаемые дамы и господа, не сомневаюсь, что некоторые высказанные здесь суждения о нашем веймарском мэтре многих из вас поразили или даже шокировали. Вынужден еще раз повторить: я весьма сожалею, что герой нашего сегодняшнего вечера не выразил готовности дать собственную оценку всему тому, что здесь о нем говорится. Что касается его творчества, то мы, разумеется, позднее к нему вернемся. Однако он, как вы знаете, выступал не только в роли сочинителя, но сделал и выдающуюся политическую карьеру. Поэтому я хотел бы спросить наших гостей в студии: как вы оцениваете деятельность вашего соотечественника на общественном поприще? Вы хотите что-то сказать, господин Древбаум?

Древбаум. Как от министра от него нет в Веймаре решительно никакого толку. Мне достоверно известно, что живет он исключительно в свое удовольствие и только, как может, развлекает герцога. За безделие свое он получает жалованье в тысяча восемьсот талеров, а другим и за половину этой суммы приходится нести двойную обузу. Но получай он даже три тысячи талеров, я все равно не хотел бы быть на его месте.

Гердерхен. А еще, как ни странно, он оказался никуда не годным директором театра и держит веймарскую публику на одной овсяной мякине.

Веровер. Этот человек — словно спрут, который в поисках добычи беспрестанно выпускает свои щупальцы и с жадностью хватает все, что только ему попадется.

Шпилькельман. Позвольте вам заметить, что невелика заслуга порицать человека, просто негодяя из него делать, подходя к нему при этом с мерками, каковых порицаемый не признаёт и никогда не признает.

Веровер. Какое нам дело до его мерок? Факты говорят сами за себя: вот посудите, на данный момент он действительный тайный советник, президент камерколлегии и министр финансов, а также президент военной коллегии, инспектор по всем без исключения строительным делам вплоть до прокладки дорог, при этом еще — directeur des plaisirs[1], придворный поэт, устроитель всевозможных увеселений, любительских опер, балов-маскарадов, сочинитель различных посвящений и иных художественных творений, и в придачу к тому — директор школы рисования, сам везде на первых ролях и в качестве актера, и в качестве танцора, одним словом — наш веймарский фактотум, ну просто мастер на все руки, и видит Бог, в скором времени станет заправлять делами во всех без исключения домах высшего дворянства, у самих эрнестинцев[2], куда он уже и теперь регулярно наведывается с визитами, дабы принимать похвалы и почести. Ему уже пожалован титул барона, и по случаю дня его рождения об этом будет объявлено официально. Дом свой он устроил как у настоящих аристократов, проводит у себя литературные чтения, которые вскорости превратятся в подлинные ассамблеи, и так далее и тому подобное. Его пребывание в городе день ото дня становится все обременительнее, и кому есть куда бежать, только и помышляют о бегстве.

Шпилькельман. Что тут сказать? Завистников у него не счесть.

Веровер. Я не из их числа. Мне нечему завидовать. Кроме того, к счастью, у меня нет необходимости жить в Веймаре. Здесь даже и университета-то нет, и вообще, во всем чувствуется жалкая провинциальность.

Ведущий. Признаюсь, ваше суждение меня удивляет. Я думал, что живущие среди такой идиллии — великолепный парк на Ильме, прелестные окрестности — должны бы почитать себя счастливцами. Но, разумеется, человеку постороннему судить о здешней атмосфере сложнее, нежели местным жителям. А что вы об этом думаете, госпожа фон Шпилькельман?

Шпилькельман. К сожалению, вынуждена в какой-то мере согласиться с господином профессором. Наш город будто впал в спячку. Трудно представить себе другое место, где люди были бы столь

1. Распорядитель празднеств (*франц.*).
2. Эрнестинцы — старинная правящая династия, находившаяся у власти в четырех саксонских графствах, в том числе в графстве Заксен-Веймар-Эйзенахском, до 1918 года. Веймар был резиденцией эрнестинских герцогов. Одной из побочных линий этой династии является Виндзорская королевская династия.

же необщительны и апатичны. А он, наш мэтр, живет, как вы уже поняли, по принципу "apres moi le deluge".

Ведущий. "После меня хоть потоп..."

Шпилькельман. И потому здешняя атмосфера его вполне устраивает.

Ведущий. Думаю, было бы интересно поподробнее узнать, какое мнение сложилось у жителей города об их знаменитом современнике. Приглашаем всех веймарцев поделиться своими впечатлениями. Номер нашего телефона: 03643–2001. Пожалуйста, звоните нам. Высказываться прошу по возможности короче. Повторяю: нам можно позвонить по номеру 03643–2001. Дорогие телезрители, оставайтесь у экранов, уверен, вы услышите еще много неожиданного и интересного. А сейчас реклама.

Прокручиваются рекламные ролики.

Последняя новинка техники, которая несомненно придется по вкусу и покорит сердце любой дамы, – это кофеварка, изобретенная прославленным мастером Аквабрызгалом из Брауншвейга[1]. Благодаря находящемуся внутри нее фильтровальному аппарату она весьма удобна в употреблении, поскольку кофе можно готовить прямо в гостиной. Кофейник, покрытый тончайшим слоем лака, будет одновременно служить изящным украшением стола. Кофеварка стандартного размера с полировкой под серебро и бронзовой отделкой – семь имперских талеров; точно такая же, но покрытая превосходным лаком высшего сорта, – восемь имперских талеров; кофеварка на две кварты – девять имперских талеров шестнадцать грошей, просим обратить внимание, что керосиновые лампы для подогрева в цену не входят. Приобрести все это можно у нашего веймарского комиссионера Довериуса в фойе гостиницы "У белого лебедя".

Из семян годичной клещевины, произрастающей в Ост-Индии, получают путем отжима или вываривания настоящее касторовое масло, не путать с обыкновенным пальмовым. Доставляют его из Индии – как правило, в бочках на двенадцать бутылей. Только что в придворную аптеку поступила свежая партия, цена за бутыль всего один и три пятых гульдена. Применяется это масло в качестве слабительного, как испытанное средство при затяжных запорах. Так же безотказно оно действует и как глистогонное средство или же при других напастях подобного рода.

Знаменитые зонненбергские поделки из дерева и специального формовочного теста, изготавливаемые в городе Зонненберге, что в герцогстве Мейнинген[2], и в ближайших к нему селениях, находят широкое применение не только как предметы хозяйственного обихода, но и – в первую очередь – как игрушки для детей. Богатый выбор этих товаров при очень умеренных ценах вы найдете в магазине деревянных изделий покойной вдовы Генриха Ходульника, что у нижней канавы.

Ведущий. Переходим к нашему телефонному опросу.

1. В Брауншвейге с 1763-го по 1863 г. работала знаменитая мануфактура по производству лакированных изделий, ее берлинский филиал славился выпуском керосиновых ламп.
2. Мейнинген – одно из четырех эрнестинских герцогств на юго-западе от Веймара. Город Зонненберг уже с XVII века славился поделками из дерева. В 1740 г. там было изобретено особое "формовочное тесто" – смесь темной ржаной муки и клеевого раствора, из которого лепили головы кукол. До сих пор существуют отдельные фирмы и мастерские этой отрасли.

Мужской голос по телефону. Одно вам скажу как веймарский старожил: вы и пр̀едставить себе не можете, что за беспутства они тут творят — он и наш герцог, верный его товарищ во всех забавах.

Женский голос по телефону. Не думаю, что Веймару еще может быть от него какая-то польза. Я даже считаю, что эти его шуры-муры с юными девицами и не особенно-то по вкусу герцогу, не говоря уже о жителях города. Я вам даже не могу передать, до чего опостылели нам все эти его волокитства.

Ведущий. Да, ну просто не в бровь, а в глаз, как по-вашему, госпожа фон Шпилькельман? Угодно ли вам что-то добавить к сказанному?

Шпилькельман. К сожалению, это правда: в Веймаре его ненавидят. Очень хотелось бы за него заступиться, но в данном случае мне возразить нечего. Он несомненно когда-нибудь пожалеет, что вел себя подобным образом. Это все, что я могу сказать в его защиту. Но чтобы у него и у герцога — общая любовница, нет, это бы было в высшей степени abominable[1], в это мне трудно поверить. По правде сказать, тон его с дамами, которые не блюдут себя, не особенно учтив.

Гердерхен. Все дамы в городе просто возмущены неслыханной, бордельной откровенностью его стихов. Большинство его элегий, к примеру, написаны в угаре первого опьянения от госпожи Вульпиус.

Ведущий. Тут мы с вами затронули весьма щекотливую тему. Я полагаю, речь идет о супруге тайного советника. О ней ходит много всяких слухов. Не знаю, насколько можно им верить?

Женский голос по телефону. Какие уж тут слухи? Дело же яснее ясного, он полностью отдался во власть девчонке, которая прежде была обыкновенной потаскухой. Теперь она растолстела и обрюзгла, напивается каждый день допьяна.

Мужской голос по телефону. А вот давеча взбрело этой неряхе в голову еще и свиней завести, а их запах для него — что чума. Впрочем, на сей раз брезгливость пересилила, и всех свиней, как миленьких, немедля и закололи.

Женский голос по телефону. Госпожа фон Арним, однажды сильно с ней повздорившая, рассказывала потом всем и каждому в Веймаре, будто бы Кровяная Сарделька так взбесилась, что даже укусила ее. Она и впрямь больше всего похожа на сардельку.

Ведущий. Так, на этом, я думаю, мы пока остановимся. Большое спасибо за ваши звонки. Хотел бы кто-нибудь из наших гостей что-то добавить?

Шпилькельман. Единственное, что тут можно сказать: жаль его. Вот на днях шел он мимо нас со своей молодицей, а я прикрылась зонтиком от солнца, будто их и не вижу. Чему же теперь удивляться — взять в подруги жизни девицу столь грубую, которая, надо полагать, чернит в его глазах все, что не по ней... Отсюда, я полагаю, и его озлобленность, его презрение ко всему роду человеческому.

1. Мерзко (*франц.*).

Гердерхен. Да, вот что значит идти против устоев общества! В свое время он, без сомнения, нашел бы себе любящую супругу, и насколько иначе устроилась бы тогда его жизнь! Женский пол имеет более высокое предназначение, нежели быть низведенным до объекта сладострастия. Ах, как низко он пал! Успех испортил его — и женщины. Он предавался наслаждениям, не испытывая настоящего чувства, — брал, ничего не давая взамен. Не знаю, зазвучит ли когда еще в его сердце высокая нота любви?

Ведущий. Трудно сказать. Мне же вот какой вопрос пришел в голову: не объясняется ли все то, что мы сейчас слышали, специфической атмосферой, царящей в этом городе? Не так уж, видимо, все здесь гармонично, как могло бы показаться на первый взгляд.

Древбаум. Разумеется. Я бы даже сказал, что Веймар просто погряз в трясине мерзких склок. Духом тут не воспаришь; и собери сюда хоть всех мудрецов мира, но и они, как мне представляется, мало что смогли бы изменить в устоях этого скверного, ничтожного государства.

Шпилькельман. Я тоже порой начинаю терять здесь терпение, хотя у меня на то свои причины. С каждым днем мне все меньше и меньше нравится жить здесь, и не хотелось бы дни свои окончить в Веймаре.

Ведущий. В самом деле? Какая жалость! Однако, как ни интересно нам узнать, что говорят и думают в этом городе о великом поэте, мне кажется, не стоит придавать слишком большого значения подробностям сугубо частного характера. Многое из всего этого, по-видимому, — не более, чем слухи.

Шпилькельман. Безусловно. О своих личных ощущениях я вам уже говорила, но и я со своей стороны жду не дождусь, когда же наконец схлынет эта волна сплетен, грозящая поглотить весь город.

Ведущий. Справедливое замечание. Думаю, мы уделили достаточно времени внешним обстоятельствам жизни великого мэтра. Не стоит, однако, забывать, что прежде всего он — знаменитый писатель. Обратимся поэтому — во второй части нашей передачи — к его произведениям. Я надеюсь, нашим экспертам есть что сказать по этому поводу. Профессор Веровер, пожалуйста.

Веровер. Постараюсь быть кратким. Я полагаю, что на всех его творениях лежит отпечаток души корыстной и холодной. Всюду в них я нахожу надуманность и манерность — и ничего, что бы тронуло душу. В этом смысле он не оправдал высокого предназначения поэта.

Ведущий. Так, понятно. А вы что думаете, господин Древбаум?

Древбаум. Не перестаю удивляться, какое неслыханное везение должно было сопутствовать этому человеку и что за редкостный у него талант, если вот уже шестьдесят лет он не переставая изображает из себя гения, а его так никто и не вывел на чистую воду?

Ведущий. Для того мы здесь и собрались, чтобы во всем разобраться. Однако не будем довольствоваться общими словами. Начнем, пожалуй, с того произведения, которому наш автор обязан своим первым успехом. Я имею в виду, разумеется, "Страдания юного Вертера".

Показывает экземпляр первого издания романа.

Веровер. Хотя с тех пор и прошло немало лет, я, однако, по-прежнему придерживаюсь мнения, которое высказал в свое время в связи с выходом в свет этой ничтожной книжонки. Процитирую, с вашего позволения: "Речь идет о романе, единственная цель коего состоит в том, чтобы смыть клеймо позора с самоубийства молодого прохвоста; о романе, автора коего еще не раз помянут недобрым словом несчастные родители, чьи сыновья, не будучи в состоянии утолить взбалмошных влечений своего сердца, станут накладывать на себя руки. И этой змее подколодной поют дифирамбы наши газетные писаки! Какой юнец, прочтя сие заслуживающее всех проклятий творение, сумеет уберечь свою душу от таящейся в нем чумной заразы? И цензура ни малейшим образом не препятствует печатанию подобных приманок сатаны!" Конец цитаты.

Ведущий. По-вашему, было бы лучше, если бы эта книга вовсе не выходила в свет?

Веровер. Безусловно. Было бы весьма желательно, чтобы государственные органы в свое время конфисковали "Страдания юного Вертера" и под угрозой строжайшего наказания наложили запрет на его чтение.

Древбаум. Ах, вот как? Господин профессор примеривает на себя роль цензора? Это меня не удивляет. Непонятно только, что в таком случае люди, подобные вам, делают в университете? Вам бы скорее в полиции служить следовало.

Веровер. Я этого не потерплю! Я не намерен выслушивать подобные дерзости от какого-то газетного писаки.

Ведущий. Наша передача во всяком случае цензуре не подвергается. Тут, я думаю, у нас не может быть разногласий. Что же касается "Вертера", должен признаться, мне роман показался весьма увлекательным. Однако с тех пор вышли в свет и другие произведения нашего автора. В первую очередь я имею в виду "Вильгельма Мейстера". Что вы скажете о нем?

Показывает в камеру книгу.

Гердерхен. Меня в этом романе поражает непристойное поведение женщин; и если герои порой все же проявляют благородство чувств, автор тут же спешит подмешать в их порывы немного грязи, чтобы читателю, не дай бог, не подумалось, будто в человеческой природе может быть что-то божественное.

Веровер. Не думаю, что история этой ничтожной выскочки из упомянутого творения заслуживает того, чтобы долее на нем задерживаться. Это же сплошное старье, которое он уже прежде печатал — в дамских журнальчиках у своего издателя Котта, — а затем взял и собрал под одной обложкой, чтобы сбыть оптом то, что в розницу никто и брать не хотел. Тут речь идет о простом финансовом расчете, сама же продукция — в высшей степени тривиальная и посредственная...

Ведущий. Спасибо, господин профессор. Я думаю, для начала достаточно.

Веровер. Сплошной бордель — и все для того, чтобы приютить и вывести на страницах книги весь этот бродяжий сброд. Порядочному человеку — тошно читать такое.

Ведущий. Ну, хорошо-хорошо, мы поняли. Вы хотите что-то добавить, госпожа фон Шпилькельман?

Шпилькельман. Досадно, что у нас принято судить о романах в столь грубой форме. С критикой тактичной и тонкой можно было бы, пожалуй, и согласиться. Но немцы всегда отзываются друг о друге зло и грубо, и это весьма прискорбно.

Ведущий. Можно ли надеяться, что по крайней мере роман "Избирательное сродство" снискал благосклонность критиков, хотя и затрагивает весьма щекотливую тему? Насколько мне известно, речь там идет о проблемах брака.

Показывает книгу.

Гердерхен. Лично мне — будь я ее автором — было бы стыдно за такую непристойную, безнравственную книгу. Во всем романе нет ни одного персонажа, по-настоящему вызывающего симпатию. А сцена двойного прелюбодеяния, свершающегося в воображении героев, которая представляет собой кульминацию всего произведения, вообще производит отталкивающее впечатление. Особенно же возмущает меня это мнимое преображение чувственного в духовное в финале романа — своего рода обожествление грубой похоти.

Веровер. И чтобы развернуться во всю мощь своего таланта, он, разумеется, не мог обойтись без столь вдохновляющих тем, как кровосмешение, прелюбодеяние, детоубийство. Судя по его произведениям, ему не дано понять, что бывают вещи настолько отталкивающие, что и читать о них без отвращения нельзя.

Древбаум. А чего вы хотите? Собаки тоже кормятся тем, что сами срыгивают, — вот и в "Избирательном сродстве" нам под острой приправой преподносят куски, прежде не переваренные. Выдавать рыбу с душком за свежезапеченную — для столь искусного мастера — дело несложное. Но кому же придется по вкусу эта тухлятина?

Ведущий. В ваших словах, дамы и господа, слышится явная враждебность. Может быть, виной тому сатирические "Ксении"[1]? Сведущие лица говорили мне, что в тех пресловутых эпиграммах вам и вашим друзьям порядком досталось...

Веровер. Не в том дело! Я выступаю здесь, по сути, в защиту всей немецкой литературы, для которой оскорбителен такого рода бранный тон, и, чтобы в корне пресечь подобные посягательства, следует сказать этим господам всю правду в глаза.

Древбаум. Но теперь-то тон очень даже переменился. Вспомните, какого жару задали этим господам, бог весть что о себе возомнившим! Им же ясно дали понять, что прошло время, когда можно было безнаказанно втаптывать в грязь всех, кто не желал пред ним лизоблюдничать!

1. "Ксении" — едкие эпиграммы на современников, сочиненные (в соавторстве) Гёте и Шиллером; были опубликованы в 1796 г. в издаваемом Шиллером "Поэтическом альманахе" и послужили поводом к громкому скандалу в литературных кругах.

Ведущий. Да, сильно сказано, в лицемерии вас действительно не заподозришь. Вы хотите что-то сказать, госпожа Шпилькельман?

Шпилькельман. Мне представляется, что сегодня у многих — а главное, у особенно крикливых молодых людей — вошло в моду низвергать его, глумиться над ним, выставлять на всеобщее осмеяние. Ему всегда приходилось иметь дело или с безмозглыми льстивыми почитателями, или же с вечно задирающими его шутами-оригиналами. А он в ответ только молчал — и правильно делал. Сколько бы времени и сил он потерял, если бы придавал значение всем нелепицам, которые за последние тридцать лет о нем наговорили и напечатали.

Ведущий. Ну, не скажите! Далеко не всегда он только отмалчивался. Я тут выписал, что он однажды сказал о своем критике. Вот, пожалуйста: "Прибейте этого молодца, он — рецензент".

Веровер. Неправда!

Ведущий. Простите, вы что-то сказали?

Веровер. Неправда. Там сказано не "молодца", а "прохвоста". "Прибейте его, прохвоста, он — рецензент".

Ведущий. Ах, вот как. Могу предположить, что это не прибавило ему популярности среди критиков. Понимаю ваше негодование. Но, положа руку на сердце, скажите: что делали бы вы, критики, если бы не было авторов, о которых вы пишете? В конце концов, кто был раньше? Разумеется — писатели, а уж благодаря им существуете и вы.

Веровер. Несерьезный аргумент, хотя часто приходится его слышать. Что было раньше: чума или врач, призванный ее искоренить? С таким же успехом вы могли бы утверждать, что судья живет за счет преступников. В литературе, уважаемый господин ведущий, критик — это судья. Это он решает, какие произведения достойны войти в историю. И в нашем случае все авторитеты на моей стороне: достаточно назвать Фридриха Готтера, основателя гёттингенгского поэтического альманаха, знаменитого Фридриха Гловера, а также господина Пусткухена-Гланцова. Это те имена, о которых еще будут говорить, когда об авторе "Избирательного сродства" давным-давно забудут.

Древбаум. Об этих господах, которых вы сейчас назвали, мне трудно судить, я их не знаю. Но что касается нашего веймарского мэтра, давайте посмотрим правде в глаза: годы его уже не те, чтобы выходить на широкую публику. Тут налицо обычные явления возрастного порядка. Все старики, как правило, очень болтливы, вот и он болтает с утра до вечера, что в голову взбредет, не заботясь о том, что он болтает и зачем, все старики такие — любят поразглагольствовать, вот и он туда же. По мне — уж лучше вовремя и добровольно сойти со сцены, чем вот так уподобиться всей этой серой посредственности вокруг!

Веровер. Как вы смеете!

Древбаум. Да-да, это и к вам относится, господин профессор.

Ведущий. Прошу вас, господин Древбаум... Вернемся к теме нашей дискуссии. Я думаю, самое время обсудить пьесу, которая считается главным творением нашего автора. Вся Германия говорит о его "Фаусте". Я полагаю, вы читали это произведение?

Показывает издание.

Веровер. Издевательство над читателями, иначе это не назовешь! И сколько заурядной, пошлой болтовни! Стоило ли продавать душу дьяволу, чтобы оказаться на студенческой попойке? А все эти скабрезности, которые ему так хочется выдать за вольность духа! Не пора ли наконец — решительно и открыто — дать отпор этому бесчинству? Одного не понимаю: как не жаль было бумаги и краски на печатание такого?!

Ведущий. Слушайте, уважаемый господин профессор, не слишком ли вы перегибаете палку? Многие немцы уже сейчас считают "Фауста" произведением классики. Вам бы следовало предоставить публике доказательные аргументы, ежели желаете убедить ее в своей правоте.

Веровер. Что ж, извольте. Так вот, этот несчастный Фауст несет несусветную тарабарщину, при том слог у него неловкий, неуклюжий, любой ученик зарифмовал бы лучше. Да и грамматики-то он как следует не знает: говорит, к примеру, "скользив" вместо того, как полагается — "скользивши". Мой учитель отбил бы мне все ягодицы, ежели бы я осмелился подать ему вирши, столь же скверные, как вот, к примеру, эти:

> Скользив меж духов по вершинам,
> в сияньи реять по луговинам...

Ну и так далее. "По луговинам" — заметьте, исключительно рифмы ради. Больной в горячке и то не наговорит такого бреду, как этот Фауст.

Ведущий. Извините, господин Веровер... Боюсь, мы не можем дольше задерживаться на примерах.

Веровер. Я понимаю, постараюсь покороче. Одним словом, уважаемые дамы и господа, вычищать эти Авгиевы конюшни — просто титанический труд. Да и какой в том смысл? Пытаться отмыть негра — неблагодарное занятие. Здесь, на мой взгляд, дело обстоит просто: взбрело в голову некоей прославленной особе накропать наискучнейший и примитивнейший вздор — лишь для того, чтобы проверить, не наберется ли и тут легион критиков-придурков и читателей-льстецов, которые в этой заведомой чепухе отыщут глубокий смысл и нетленную красоту. У всех великих одно общее с бессмертным далай-ламой — даже их каки преподносятся как конфетки и почитаются как реликвия.

Ведущий. Спасибо. Я думаю, пока достаточно.

На сцену выходит ассистент и что-то шепчет ведущему на ухо. На лице ведущего замешательство, растерянность.

Ведущий. Как мне сейчас сообщили, в городе распространился слух, что господин тайный советник серьезно заболел. Врачи, как я понимаю, опасаются печального исхода. Горячка может дать осложнение на мозг, и, если к тому же начнется отек легких, не исключено...

Госпожа Гердерхен, которая во время передачи пила бокал за бокалом, падает со стула. Все окружают ее, пытаются помочь.

Шпилькельман. Что с ней?

Протягивает госпоже Гердерхен свой флакончик с нюхательной солью. Гердерхен как будто приходит в чувство и с трудом поднимается. Следующую тираду она произносит, пошатываясь, еще не протрезвев окончательно, не очень отчетливо.

Гердерхен. Да-да, я боготворю его, боготворю.... Не думайте, это не аффектация, я боготворю его до самозабвения... Я всегда благоговела, преклонялась перед ним — еще тогда, когда его никто не понимал и не ценил. Это захлестнуло меня как потоп.

Ведущий. Скорей, воды.

Шпилькельман. Какой скандал! Опуститься до такого!

Гердерхен. Все те сладостные речи, что он нашептывал мне на ухо... Как трудно мне было вконец не потерять голову...

Шпилькельман. И такое открыто при всех! Поразительная непристойность!

Гердерхен. Тайная, заветная мечта всей моей жизни... До чего же тяжело всю жизнь таить ее в себе и не выдать ни словом.

Ведущий. Госпожа Гердерхен...

Гердерхен. Оставьте меня! Вам этого не понять. Он всегда был для меня единственным верным другом, которого я понимала с полуслова — и сердцем чувствовала, в какие пропасти ада доводилось ему глядеть. Но и после тысячи разлук я неизменно обретала его вновь!

Ведущий. Дорогие зрители, мы будем держать вас в курсе относительно состояния здоровья нашего мэтра. Через несколько минут, возможно, что-то прояснится. А сейчас реклама.

Демонстрируются следующие рекламные ролики:

Кантаридин или шпанские мушки, применяемые в очень маленьких дозах, оказывают чрезвычайно целебное воздействие при затяжных катарах, подагре, артритах и параличе конечностей. Благодаря своему оттягивающему жидкость и возбуждающему воздействию они широко используются в качестве мочегонных препаратов, а также как весьма действенное средство против снижения мужской потенции. В случае неправильного применения они, однако, могут вызвать сильнейшие воспаления. Своевременная консультация у опытного аптекаря в данном случае весьма желательна. Обращайтесь к господину Исцелителюсу, провизору из аптеки "У льва".

Бумажные обои брейткопфской мануфактуры[1] *из города Лейпцига отличаются красотой рисунка и богатством красок. На прославленных "радужных" обоях ландшафты и пейзажи отличаются особым перламутровым отливом благодаря специальной технике расплывчатых контуров. Художникам удается превосходно передать игру светотени даже на листве деревьев. Цены за рулон в 30 баварских футов – от пятидесяти крейцеров до двух гульденов, цена рулона*

1. Знаменитая бумажная мануфактура, основанная в 1719 г. в Лейпциге; помимо книгопечатания занималась также выпуском цветных обоев. До сегодняшнего дня продолжает существовать издательство музыкальной литературы "Брейткопф и Хертель", размещающееся с 1946 г. в Висбадене.

"бархатистых" или "радужных" обоев – до четырех гульденов. Свой товар предлагает вам Кристиан Фридрих Тон из Ильменау.

Несколько лет тому назад была изобретена электрическая зажигалка, однако до сих пор этот хитроумный аппарат был пригоден скорее для экспериментов физиков, чем для широкого употребления. И вот совсем недавно гофмедик и изобретатель фон Рейхенбах[1] создал в Мюнхене зажигательное устройство нового типа, которое безотказно действует при любой погоде и совершенно не чувствительно к пыли; оно настолько удобно, что наполнять его требуется только раз в год. Цена на него составляет 36 гульденов, включая чехол из красного сафьяна, и приобрести его можно на Роллгассе, у преемника прославленного Шееле[2].

Ведущий. Отбой тревоги, дамы и господа, отбой тревоги! Мы с вами попались на удочку, поверив одному из тех слухов, которые здесь, очевидно, в порядке вещей. Я рад сообщить вам, что великий писатель в полном здравии. Информация эта абсолютно достоверная. А все остальное — ложная тревога! Поэтому мы можем совершенно спокойно продолжить нашу дискуссию. Полагаю, что пришло время попытаться подвести некоторые итоги. Для этого я хотел бы дать слово молодому поколению. Господин Древбаум, прошу вас.

Древбаум. Я думаю, наш герой обрел признание и славу единственно потому, что всякий раз потворствовал вкусам времени. А хороши были эти вкусы или нет, его совершенно не заботило. Лишь бы только его читали, восхваляли, превозносили до небес, больше ему ничего не было нужно.

Ведущий. Это вам следовало бы подтвердить на конкретных примерах.

Древбаум. Пожалуйста. Юношеские годы его пришлись на период чувствительный, сентиментальный — и, чтобы отдать должное этому стилю, он написал "Вертера". Когда же изнеженные вкусы уступили место нравам более суровым и грубым, он тут же сочинил своего "Гёца фон Берлихингена". Ну а под конец нашел успокоение в жизненной максиме, которой остался верен и по сей день. Максима эта гласит: величие добродетели и таланта есть утешение для бедных, выдуманное им на потребу. Сам же он видит величие в уделе аристократа: пользоваться исключительным правом на удовольствия, тогда как другим остается довольствоваться исключительно работой. Он все время плыл по течению и все время оказывался наверху — как пробка.

Веровер. А когда разнузданность нравов, уже давно проникавшая к нам из Франции, была окончательно освящена в горниле Французской революции, как повел себя он? Он сам возложил на себя сан первого жреца у алтаря плебеев.

Древбаум. Вздор! Как раз наоборот! Он всегда состоял на службе у деспотов. Его сатира направлена только против слабых и неиму-

1. Георг Фридрих фон Рейхенбах (1771–1826) — инженер-изобретатель, основал в Мюнхене институт оптических и математических исследований.
2. Карл Вильгельм Шееле (1742–1786) — шведский химик и фармацевт, немец по происхождению, к числу его научных достижений относится, в частности, открытие кислорода.

щих, пред сильными мира сего он заискивает и раболепствует. С тех пор как Наполеон навесил ему в петлицу свой позорный крест Почетного легиона, он и ведет себя так, как пристало сему легионеру! Эта личность — раковая опухоль на теле немецкой нации.

Ведущий. Ну-ну, господин Древбаум, не слишком ли вы увлеклись?

Древбаум. Дайте мне договорить! Именно раковая опухоль, и при этом, что меня особенно возмущает, все единодушно восхваляют его и даже величают королем поэтов. Хотя вернее было бы именовать его поэтом королей, королей-деспотов. Да и двор великого герцога, где он вот уже более полстолетия сидит на привязи, настолько, я слышал, чопорен и смехотворен, что и поверить трудно.

Веровер. Ваши нападки в адрес правящей династии Великого герцога считаю своим долгом отвести со всею решимостью.

Ведущий. А вы, уважаемые дамы, вы ничего не хотите возразить?

Шпилькельман. Людям ведь не запретишь говорить. Столько всяких нелепостей приходится о нем слышать — и все потому, что видят в нем, как правило, лишь его темные стороны. Но нелепее всего то, что и сам он любит выставлять напоказ свою изнанку. Оттого-то так мало людей понимают его и столь многие судят о нем — как о человеке — весьма превратно.

Ведущий. Госпожа Гердерхен?

Гердерхен. Вы ко мне? Я уже все сказала. Я устала и хочу домой.

Ведущий. Вы правы, нам пора заканчивать.

Древбаум. Пустая трата времени — продолжать словопрения по поводу этого господина, который, точно трусливая мышь, при малейшем шорохе зарывается в землю и готов пожертвовать воздухом, светом, свободой, всем-всем, только бы ему в его норке не мешали лакомиться украденным кусочком сала! С того мгновения, как я обрел способность чувствовать, я его ненавижу, с того мгновения, как я обрел способность мыслить, я знаю за что.

Ведущий. Ну вот, уважаемые дамы и господа, мы и подошли к концу нашей передачи. Дискуссия получилась — сверх ожидания — жаркой, возможно, даже и чересчур жаркой, как очевидно сочтут бесчисленные почитатели поэта. Будущие поколения рассудят, на чьей стороне правда: на стороне писателя или же его критиков. А себя и вас, уважаемые зрители, я утешаю мыслью, что последнее слово по этому вопросу еще далеко не сказано. Всего хорошего.

Финал

Вначале на экране, на фоне цитаты из заставки — неподвижный кадр: Гёте на смертном одре. (Рисунок с натуры Ф. Преллера). Потом прокручивается короткий фильм о похоронах: крупным планом — процессия у ворот кладбища, затем — усыпальница семьи герцога (лучше, если съемки будут сделаны во время дождя). За кадром звучит похоронная музыка, несколько искаженная в записи, с замедлениями. Голоса дикторов.

Первый диктор. Веймар теперь вновь погрузится в прежнее небытие, из которого был вырван на время, ибо дух его ныне вознесся к Богу.

Второй диктор. Люди грубо толкались и лезли вперед. Процессия выглядела крайне неорганизованной и разношерстной. Тело покойного — на старом катафалке без цветов, всего два венка. Из-за ужасного гвалта совсем не было слышно звона колоколов. Лица у всех — холодные и безучастные, ни следа скорби или сочувствия. Так был похоронен величайший поэт Германии. Стоял лютый мороз, и ветер пронизывал до костей. А повсюду — только нескончаемые разговоры о неотесанности и грубости простонародья.

Третий диктор. Больше всего возмущает меня та назойливость, с какой и теперь не перестают одолевать покойного, требуя от него, чтобы он был совсем не тем, кем был, а именно — не Гёте. Одни ставят ему в упрек, что он не писал церковных псалмов и назидательных трактатов, другие — что не сочинял патриотических гимнов и либерально-демократических прокламаций. В то время, как вся Европа оплакивает его кончину, эти безумцы готовы вырвать его прах из герцогского склепа и развеять по ветру. Такая дикость возможна только в Германии!

Финальный кадр

Белыми буквами на черном фоне, с факсимильной подписью Гёте:
"Все они шлют мне сердечный привет и до смерти меня ненавидят!"

Финал. Движущийся на экране текст

Все высказывания студийных гостей о Гёте подлинны. Цитаты взяты у следующих его современников:

Беттина фон Арним, Иоганн Баптист Бертрам, Людвиг Бёрне, Карл Август Бёттигер, Генрих Кристиан Бойе, Фридерика Брун, Карл Людвиг Фернов, Георг Форстер, Эберхард фон Геммингген, Фридрих Гловер, Иоганн Мельхиор Гёце, Паулина Готтер, Иоганн Дидерих Грис, Генрих Гейне, Иоганн Готфрид и Каролина Гердер, Вильгельм фон Гумбольдт, Август Вильгельм Ифланд, Фридрих и Хелена Якоби, Карл Людвиг и Генриетта фон Кнебель, Кристиан Готфрид Кёрнер, Хелена фон Кюгельген, Рахель Левин, Каспар Фридрих Мансо, Вольфганг Менцель, Фридрих Мюллер, Кристоф Фридрих Николаи, Франц Людвиг Пассов, Эрнст фон Пфуль, Иоганн Фридрих Пусткухен, Иоганн Фридрих Рохлиц, Иоганн Даниэль Зандер, Каролина Шеллинг, Фридрих и Шарлотта Шиллер, Шарлотта фон Шиммельман, Фридрих и Доротея Шлегель, Иоганна Шопенгауэр, Вильгельмина Шютце, Марин Шпанн, Шарлотта фон Штейн, Карл фон Штейн, Доротея Шток, Элиас Штёбер, Фридрих Леопольд фон Штольберг, Кристиана Вульпиус, Кристоф Мартин Виланд, Иоганн Георг фон Циммерман.

Об анахронизме

Послесловие

Со все возрастающим ускорением того, что некогда именовалось прогрессом, неизменно возрастает и несинхронность нашего восприятия времени. Завершилась эпоха, когда еще можно было обольщаться иллюзией, что человек способен идти в ногу со временем. Этой иллюзией сегодня продолжают жить одни лишь фанатики прогресса: или непоколебимые приверженцы авангарда, или же одержимые технократы, которые, сами того не замечая, производят достаточно анахроническое впечатление. Все остальное человечество ясно отдает себе отчет, что ничья жизнь не может протекать синхронно с радиосигналами точного времени. (Даже и сам термин "дух времени" с этой точки зрения выглядит высокопарным и претенциозным и, что характерно, встречается теперь только на страницах глянцевых журналов.) Мы же упрямо волочим за собой по жизни остатки былых времен: нам ведь давно стало ясно, что это и есть наши главнейшие ресурсы. Именно по этой причине ученый-кибернетик переезжает в квартиру в старинном доме, эксперт по вооружению идет в оперу, а разработчик чипов проявляет склонность к буддийской философии.

В эпоху технического прогресса анахронизм стал для современной цивилизации незаменимым психостимулятором, противоядием от ее маниакальной одержимости будущим. Этим и объясняется живучесть изящных искусств, до сих пор неизменно преодолевавших столько раз предсказанный им неминуемый конец.

То же можно сказать и в отношении такой весьма анахроничной фигуры, как поэт. Интересна в ней вовсе не ее актуальность, в чем пытаются убедить нас апологеты литературы, а как раз наоборот — ее несовременность. Далеко в прошлом остались времена, когда поэзия считалась главным хранителем и передатчиком информации. (Исследователи Фридрих Китлер и Бернхард Зигерт[1], к примеру, подробно описали нам хронологию различных "дискурсивных сетей".)

Поэты, которых мы привыкли относить к классикам, выступали передатчиками информации в очень разных планах. Духовное общение с ними было особым информационным средством, которое безотказно служило человечеству на протяжении очень долгого времени. Являлись ли поэты, к примеру, генераторами или только фиксаторами разделения жизни на частную и общественную сферы — сказать трудно.

"Долой Гёте!" представляет собой литературный или сценический этюд для расшифровки подобных взаимосвязей. Появление в литературе "частного лица" можно считать изобретением Гёте. В данном случае эксперимент проводился, без сомнения, над самим собой: поэт выступал одновременно и как экспериментатор, и как объект эксперимента.

Огромный успех, сопутствовавший этой попытке публичного самоанализа, затмил новаторскую суть творческого открытия Гёте, превратив посягательство на нормы в образец для подражания, исключение из правил — в само правило, экстравагантность — в тривиальность.

На определенный эффект это открытие сегодня может претендовать разве что в сфере производства шлягеров.

В свое же время оно воспринималось не столько как нововведение, сколько как скандал. Чтобы ясно себе это представить, нужно обратиться к историческому

1. Фридрих Китлер (р. 1943) и Бернхард Зигерт (р. 1959) – авторы теоретических исследований в области средств массовой информации, особую известность получила книга Китлера "Сети дискурса 1800/1900", вышедшая в 1985 г.

контексту. Письменные источники предоставляют нам неопровержимые свидетельства того, что Гёте — по малопонятным сегодня причинам — раздражал своих современников. Что именно не устраивало их в поэте, они едва ли могли сформулировать. Аргументы, которые они выдвигали, по прошествии времени кажутся на редкость беспомощными, легковесными и противоречивыми. Тут можно скорее говорить об укоренившемся чувстве глубокого неприятия, которое вызывали не только произведения поэта, но и само его существование. Должны были пройти десятилетия разжевывания, перетолковывания и усвоения его творчества, чтобы наконец удалось расположить к нему читающую публику. В результате несколько запоздалой канонизации он все же занял свое место в пантеоне классиков, и упорная неприязнь, сопутствовавшая ему при жизни, в конце концов канула в Лету. Об этой давно забытой неприязни и хотелось напомнить читателю данным этюдом.

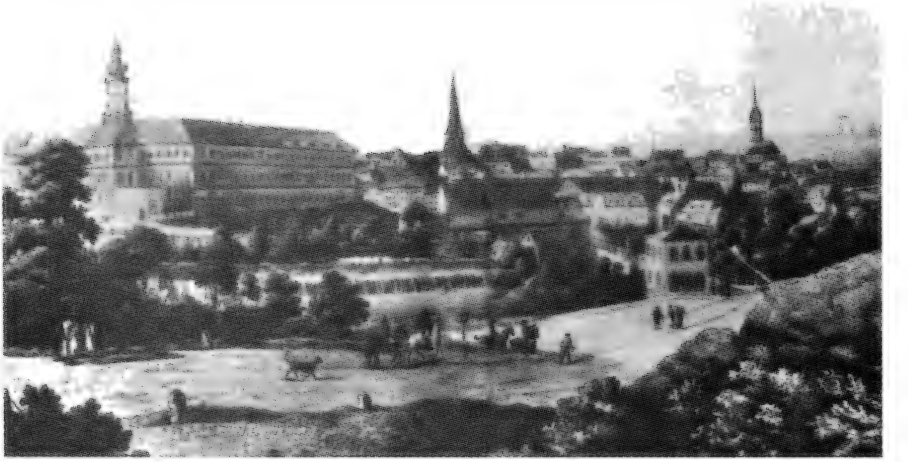
Гораздо интереснее, нежели искать причины такой антипатии современников — которая была обращена не только на самого поэта, но и на его ближайших "сообщников" и соратников, в особенности, на его жену, — обратить внимание на то, по каким каналам эта антипатия распространялась. Хотя печатные издания — в качестве, так сказать, официального средства информации — и имели тут определенное значение, но при ближайшем рассмотрении тексты рецензентов оказываются лишь второстепенными источниками. Широковещательная функция оставалась за сплетнями — как своего рода передающим устройством или интерфейсом между сферами частной и общественной жизни. Решающую силу имел приговор, выносившийся за спиной обсуждаемой персоны. Все эти толки и пересуды сохранились и дошли до наших дней (хотя, как правило, остались малодоступны для широкой публики), поскольку не были только кулуарными сплетнями, а безостановочно оттачивались и переформулировались в так называемых доверительных письмах. К услугам корреспондентов было учреждение, которое в начале XIX века впервые приобрело статус массового информационного медиума, а именно — учреждение почты.

Интенсивность коммуникации, о которой свидетельствуют эпистолярные архивы того времени, позволяет проследить развитие событий даже самого частного характера день за днем, а иногда — и час за часом. Обращаясь к этим письмам сегодня, трудно не поддаться соблазну читать их как записи телефонных разговоров.

Поэтому анахронизм является в данном случае не только темой, но и методом сценической реконструкции. Используемые при этом приемы позволяют проецировать эпистолярную сферу коммуникации на более поздние (однако тоже стремительно устаревающие) медийные формы, такие, как радиоспектакль или телевизионное ток-шоу, что дает возможность резать, копировать, монтировать и обрабатывать исторический материал.

То, что в конце концов уцелело от классиков, и есть, вероятно, тот последний остаток, который мы вправе считать нашим вневременным ресурсом. Каждый читатель может сам провести подобный эксперимент. Во всяком случае, пока еще электронным средствам массовой информации, несмотря на их массированную атаку, не удалось изгнать из нашего сознания тех анахроничных духов прошлого, которых мы называем поэтами.

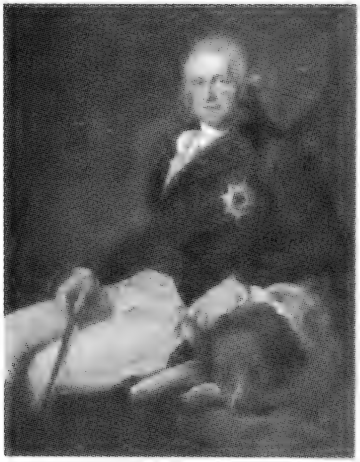
Панорама Веймара 1780 годов (гравюра с картины Г. М. Крауса, ок. 1800 г.)



К концу XVIII века Веймар был невелик. Население города насчитывало около шести тысяч жителей, из которых дворяне составляли всего один процент. "Злосчастный городишко, нечто среднее между придворной резиденцией и деревней", — отзывался о Веймаре Иоганн Готфрид Гердер. Однако начиная с 1759 года, когда герцогиня Анна Амалия (1739—1807) после смерти своего супруга и до совершеннолетия старшего сына Карла Августа принимает на себя регенство, и позднее — в период правления ее сына герцога Карла Августа — город переживает культурный расцвет, превращается в духовный центр Германии и место интеллектуального паломничества для всей Европы. Анне Амалии и Карлу Августу, которые заслуженно считаются покровителями и меценатами эпохи, позднее получившей название эпохи веймарской классики, удалось собрать в созвездие при своем дворе четыре светила тогдашней немецкой литературы: Виланда, Гёте, Гердера и Шиллера.

Салон герцогини Анны Амалии (Гёте — третий слева, Анна Амалия — в центре, Гердер — крайний справа)

Акварель Г. М. Крауса (ок. 1795) изображает салон герцогини Анны Амалии — интеллектуальный кружок дворян и бюргеров, придворных, государственных служащих, писателей, художников и ученых, принесший Веймару славу "двора муз". Мадам де Сталь, в 1803—1804 годах прожившая несколько месяцев в Веймаре, писала в своей знаменитой книге "О Германии" (1810): "Веймар был не столько небольшим городом, сколько большим дворцом, где кружок избранных с огромным интересом обсуждал каждое новейшее творение искусства".

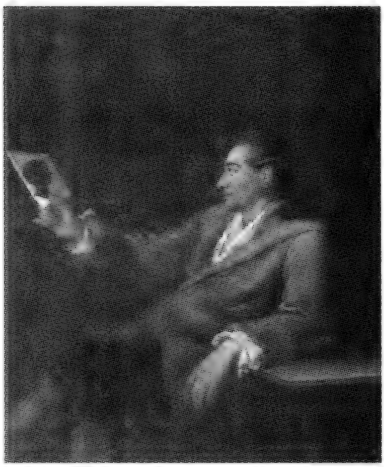


Портрет герцога Карла Августа

Герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский Карл Август (1757—1828) принял правление в 1775 году, в восемнадцать лет. Был известен как либеральный, просвещенный правитель, произвел значительные реформы при дворе и в управлении герцогством, призвав на высшие посты в своем государстве молодых, реформаторски настроенных личностей — в частности, И. В. Гёте.

С Гёте герцога связывала на протяжении всей жизни близкая дружба.

На портрете Г. М. Крауса, написанном в 1796—1797 годах, Карл Август изображен в "вертеровской униформе", что наглядно свидетельствует о моде того времени и личных пристрастиях герцога. По замечанию веймарского автора "бульварной хроники" Карла Августа Бёттигера, "все тогда поголовно должны были ходить в вертеровском сюртуке, в который облачался и сам герцог, а кому такой сюртук оказывался не по карману, тому его шили по заказу герцога".



Портрет молодого Гёте (1749—1832), написанный художником Г. М. Краусом в 1775 году.

Гёте приехал в Веймар из своего родного города Франкфурта в 1775 году, уже будучи известным автором пьесы "Гёц фон Берлихинген с железною рукою" и романа "Страдания юного Вертера".

"Молодой двадцатисемилетний доктор юриспруденции <...> совершил в этом городе поразительную революцию", — писал о Гёте современник, веймарский медик К. В. Хуфеланд. К ужасу и негодованию старых придворных уже в первые месяцы пребывания Гёте в Веймаре ближайшее окружение герцога, прежде строго следовавшее этикету, превращается в "шумную банду" и предается необузданным экстравагантным развлечениям: кутежам, танцам на деревенских праздниках, ночным охотам, а также необычному пристрастию — катанию на коньках.

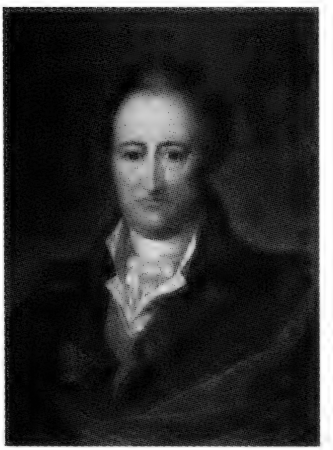
Гёте в римской Кампанье

Портрет Гёте, написанный в 1786—1788 годах художником Й. Г. В. Тишбейном, другом Гёте, в квартире которого поэт жил во время своего почти двухлетнего пребывания в Риме.

"Неидеализированный" портрет Гёте, написанный около 1794 года его другом, художником Иоганном Генрихом Мейером, который с 1791-го до 1802 года жил в доме Гёте.

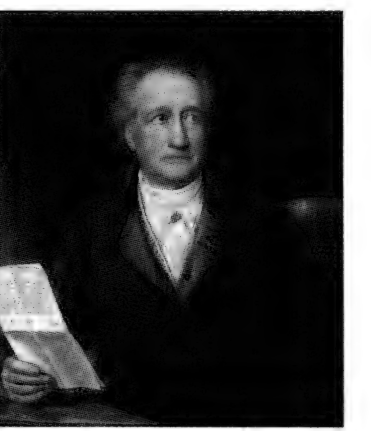
В июле 1788 года, после возвращения из Италии, Гёте знакомится с Кристианой Вульпиус и берет ее в свой дом как "гражданскую жену". По мнению Шарлотты фон Штейн, под влиянием этой связи Гёте "полностью утратил поэтический дух" и стал "абсолютно земным человеком".

В 1788 году выходят "Римские элегии", шокирующие веймарский свет своей неприкрытой чувственностью, или, как выражается в пьесе госпожа Гердерхен, — "бордельной откровенностью".



Портрет Гёте, написанный художником Францом Герхардом фон Кюгельгеном (1810). Вероятно, именно этот портрет показывает в пьесе ведущий ток-шоу и о нем господин Древбаум отзывается как о "придворной живописи". Кюгельген изображает Гёте вновь "одухотворенным", "художником-мэтром" и одновременно — действительным тайным советником, удостоенным высоких наград: креста французского Почетного легиона на красной ленте и звезды русского ордена Святой Анны, пожалованных ему в октябре 1808 года на Эрфуртском конгрессе французским императором Наполеоном и российским императором Александром I.

Этот "классический" период в творчестве Гёте ознаменован творческим союзом с Ф. Шиллером, которому — по признанию Гёте — он был обязан своей второй молодостью. Выходят в свет сатирические "Ксении", "Годы учения Вильгельма Мейстера", "Фауст. Первая часть", "Избирательное сродство". В качестве министра Гёте курирует учреждения науки и искусства: является директором веймарского Придворного театра, в значительной степени влияет на развитие Йенского университета. Первоначально благосклонное отношение к кружку йенских романтиков сменяется — после разрыва братьев Шлегелей с Шиллером (1798—1800 годы) — решительным осуждением творческих исканий молодых литераторов, которые Гёте позднее именовал "литературными бесчинствами".

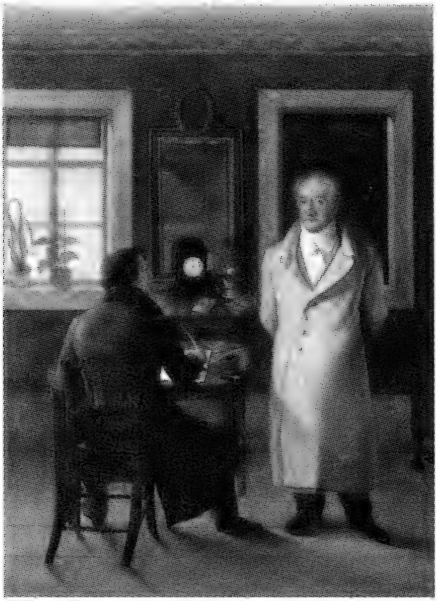


Наиболее известный из поздних портретов Гёте, созданный художником Йозефом Карлом Штилером в 1828 году по заказу баварского короля Людвига I. Вероятно, именно этот портрет является фоном для титров в заставке к ток-шоу.

Ханс Магнус Энценсбергер. Долой Гёте!

Гёте диктует своему секретарю Йону

Портрет работы художника Иоганна Йозефа Шмеллера 1831 года (согласно последней датировке — 1834-го) изображает Гёте в его рабочем кабинете в доме на Фрауэнплан, уже в восьмидесятилетнем возрасте.



Гёте на смертном одре

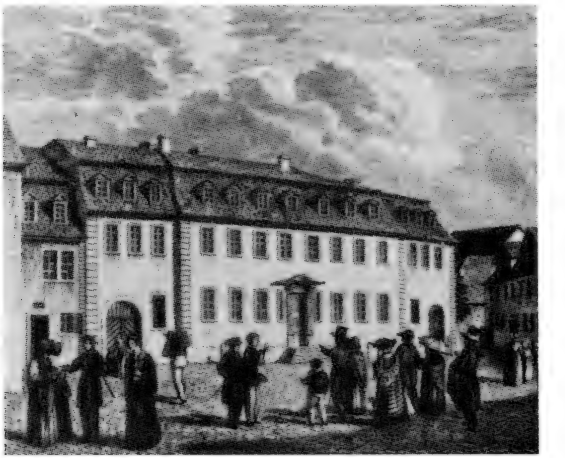
Рисунок веймарского художника Фридриха Преллера (1804—1878). Этот рисунок демонстрируется в финале ток-шоу. Ф. Преллер был единственным художником, получившим разрешение зарисовать Гёте на смертном одре. Рисунок был сделан непосредственно в день смерти Гёте, 26 марта 1832 года.

Факсимильная подпись Гёте

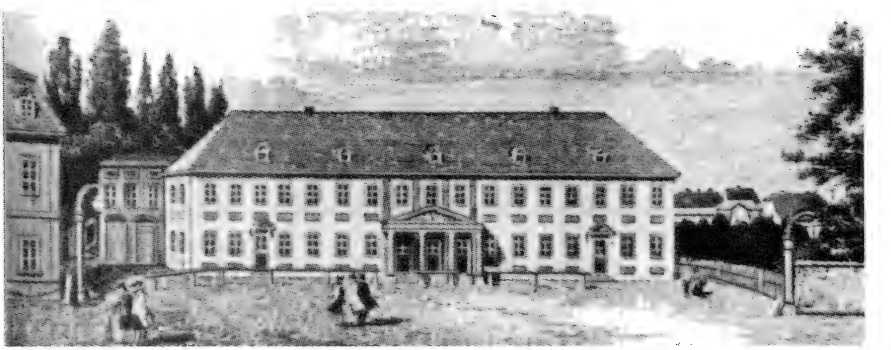
Первые издания романов Гёте

Садовый домик и парк на реке Ильм — в садовом домике, который был выкуплен герцогом Карлом Августом для Гёте у предыдущих владельцев, Гёте жил с 1776-го по 1782 год. Парк в английском стиле, где находится "садовый домик", был разбит в 1778 году; в его планировке и оформлении принимал участие и сам Гёте.

Дом на площади Фрауэнплан — в этот дом Гёте переехал в 1782 году, поскольку "садовый домик" уже не вмещал его минералогическую и художественную коллекции и не был достаточно представительным для высокопоставленного чиновника, каким Гёте стал к тому времени. В 1794 году дом как подарок герцога перешел во владение Гёте. Здесь поэт прожил более пятидесяти лет и здесь же сегодня находится его музей.



Здание веймарского придворного театра, построено в 1779 году по решению герцога Карла Августа, сгорело в 1825 году, на его месте сегодня находится Немецкий национальный театр. Гёте был директором театра с 1791 по 1817 годы. Репертуар во время его директорства (до 300 спектаклей в год) включал постановки и произведений Шиллера, братьев Шлегелей, и кассовые пьесы популярнейших в то время драматургов А. фон Коцебу, А. В. Ифланда.



Гостиница "У белого лебедя" находится в непосредственной близости от дома Гёте. Здесь он часто размещал на ночлег своих многочисленных гостей; гостиница работает и сегодня.

Придворная аптека находится на центральной рыночной площади города. Здесь во времена Гёте жил аптекарь Буххольц, которому Гёте был обязан своими первыми познаниями в области естественных наук. Аптека существует и сегодня.

Аптека "У льва" была открыта в Веймаре в 1801 году, продолжает работать и сегодня.

Гостиница и обе аптеки упоминаются в тексте пьесы в рекламных роликах.

Усыпальница семьи герцога — здесь, помимо захоронений членов великогерцогской семьи, находятся саркофаги Гёте и Шиллера.

Беттина фон Арним, урожд. Брентано (1785—1859) — писательница, представительница немецкого романтизма; сестра писателя-романтика Клеменса Брентано, с 1811 года — жена его друга, писателя-романтика Ахима фон Арнима. Беттина была восторженной почитательницей и поклонницей Гёте, именовала себя его Психеей. Беттина фон Арним несколько раз предпринимала поездки в Веймар, чтобы посетить Гёте, состояла с ним в переписке. В 1811 году на выставке картин в Веймаре разыгралась упоминаемая в пьесе сцена между Беттиной фон Арним и супругой Гёте Кристианой: Беттина якобы пренебрежительно отозвалась о работах Иоганна Генриха Мейера, художника и друга Гёте, а Кристиана, защищая его, сорвала у нее с носа очки и вдребезги их разбила, после чего Беттина при всех обозвала ее Кровяной Сарделькой. Слухи и толки об этой ссоре выросли в Веймаре до размеров городского скандала, а Гёте отказал Беттине от дома. Возобновить отношения с Гёте Беттине удалось лишь десятилетие спустя, хотя Гёте и в дальнейшем тяготился назойливостью ее поклонения. Большой успех имела книга Беттины фон Арним "Переписка Гёте с ребенком" (1835), представляющая собой предпринятую Беттиной свободную обработку текста писем.

Иоганн Баптист Бертрам (1776—1841) — юрист, художник, коллекционер; по своим эстетическим взглядам был близок романтизму. Вдохновленный идеей возрождения и обновления немецкой национальной культуры через христианский дух средневековья, стал вместе с братьями Буассере собирателем систематической коллекции старонемецкой и нидерландской станковой живописи. В 1810—1819 годах коллекция выставлялась в Гейдельберге, в 1815 году на выставке побывали ведущие политические деятели Европы того времени, поскольку главная штабквартира союзников — после поражения Наполеона при Ватерлоо — размещалась тогда в Гейдельберге. Был среди посетителей и русский царь Александр I. Гёте побывал на выставке дважды, в 1814 и 1815 годах, а в 1816-м подготовил ее подробное описание. Эта коллекция, проданная в 1827 году баварскому королю Людвигу I, составляет ныне основной фонд знаменитой Старой Пинакотеки в Мюнхене.

Приверженность Бертрама идеям романтизма во многом определила и его отношение к Гёте: искреннее преклонение перед талантом Гёте сочеталось у него с неприятием некоторых эстетических и мировоззренческих позиций поэта. Его слова о Гёте повторяет в пьесе, к примеру, Лизелотта фон Шпилькельман: *Ему всегда приходилось иметь дело или с безмозглыми льстивыми почитателями, или же с вечно задирающими его шутами-оригиналами*.

Людвиг Бёрне (1786—1837) — публицист и литературный критик; родился во Франкфурте в еврейской семье, получил образование в области камералистики и государственного права, в этой же области удостоился ученой степени. В силу своего происхождения находился на государственной службе только короткое время — в эпоху либерального наполеоновского законодательства (с 1811 по 1815 годы). После вынужденной отставки был редактором и издателем раз-

личных либеральных журналов и газет. Вместе с Генрихом Гейне возглавлял литературное объединение революционно-настроенных поэтов "Молодая Германия". Как журналист и публицист боролся за свободу слова, за отмену цензуры, за гражданские права и либеральные реформы, позднее перешел на позиции радикального республиканства. Бёрне прославился своим ироничным, афористическим стилем. С 1993 года во Франкфурте в его честь лучшим немецкоязычным политическим публицистам ежегодно присуждается премия Людвига Бёрне. В 2002 году этой премии был удостоен и Ханс Магнус Энценсбергер.

Хотя Бёрне никогда лично не встречался с Гёте, писал он о нем много — восхищаясь талантом "веймарского мэтра", но и не скрывая пламенного негодования по поводу его жизненных устоев, его "эгоистического аристократизма", "себялюбия". О резкости этой полемики с Гёте свидетельствует, в частности, язвительное признание Древбаума, принадлежащее в действительности перу Бёрне: *С того мгновения, как я обрел способность чувствовать, я его ненавижу, с того мгновения, как я обрел способность мыслить, я знаю за что.*

Карл Август Бёттигер (1760—1835) — специалист по классической филологии, по рекомендации Гердера в 1791 году был назначен директором веймарской гимназии; также был издателем и писателем, по взглядам близок течению Просвещения; вместе с популярным драматургом Августом фон Коцебу возглавлял "антигётевскую" оппозицию Веймара, широко известны были его резкие выпады в адрес Гёте в газетных фельетонах. В частности, слова о *бордельной откровенности* "Римских элегий" Гёте и о несостоятельности Гёте в качестве директора театра принадлежат перу Бёттигера.

Генрих Кристиан Бойе (1744—1806) — писатель, вместе с популярным писателем и драматургом Фридрихом Готтером (1746—1797) основал гёттингенский "Поэтический альманах", объединивший вокруг себя поэтов-сентименталистов. С Гёте познакомился во Франкфурте в 1774 году, печатал в своем альманахе некоторые ранние стихи молодого Гёте.

Фридерика Брун (1765—1835) — датская писательница немецкого происхождения, была известна как "северная мадам де Сталь", с Гёте встречалась во время пребывания на курорте в Карлсбаде в 1795 году. Ей, в частности, принадлежат слова, отданные в пьесе Каролине Гердерхен: *Успех испортил его — и женщины.*

Карл Людвиг Фернов (1763—1808) — искусствовед и писатель, с 1803 года профессор эстетики в Йенском университете, с 1804-го — веймарский придворный библиотекарь, в эти годы — частый гость в доме Гёте. Ему принадлежит реплика, которую произносит в пьесе Лизелотта фон Шпилькельман: *Оттого-то так мало людей понимают его и столь многие судят о нем — как о человеке — весьма превратно.*

Георг Форстер (1754—1794) — немецкий просветитель и убежденный приверженец французской революции, а также известный путешественник и писатель-публицист; в детские годы участвовал в научной экспедиции своего отца к берегам Волги, там же выучил русский язык, в тринадцать лет перевел рассказы Ломоносова с русского на английский. Личное знакомство Форстера с Гёте относится к концу 1770-х годов, в 1785 году Форстер посетил Гёте в Веймаре. С Гёте его связывал общий интерес к естественным наукам, однако в силу расхождений в политических взглядах отношение Форстера к творчеству Гёте было сдержанным. Ему принадлежит, в частности, реплика Древбаума: *По мне — уж лучше вовремя и добровольно сойти со сцены, чем вот так уподобиться всей этой серой посредственности вокруг!*

Эберхард фон Геммингeн (1726—1791) — писатель, композитор, вюттембергский политик и государственный деятель, был известен как убежденный противник сословных привилегий и расточительного, необузданного образа жизни. Обвинительный пафос, который звучит в эпистолярных отзывах Геммингена о Гёте, отчетливо слышен в реплике рассерженного телезрителя: *Вы и представить себе не можете, что за беспутства они тут творят — он и наш герцог, верный его товарищ во всех забавах*.

Генрих Фоглер (1772—1836) — врач, с 1809 года — издатель и владелец книжного магазина в Йене, был автором очерков на религиозные темы. Известен своим нашумевшим пасквильным сочинением "Гёте как человек и писатель", которое опубликовал совместно с Кристианом Генрихом Готлибом Кёхи под общим псевдонимом — *Фридрих Гловер*. Эта книга представляла собой авторизованный перевод с английского резко критического очерка о Гёте, вышедшего в "Эдинбургском вестнике". Сочинение Фоглера и Кёхи с подробными авторскими комментариями вышло двумя изданиями — в 1823 и 1824 годах. Раздраженная реплика Веровера по поводу романа "Избирательное сродство" взята из данного сочинения.

Кристиан Генрих Готлиб Кёхи (1769—1828) — профессор-юрист, с 1800 года приват-доцент Лейпцигского университета, позднее — в качестве надворного советника российского императора — преподаватель эстонского и финского права в Дерптском университете, где преподавание (несмотря на то, что этот город входил в состав России) велось на немецком языке. Пользовался в университете большой популярностью, но в результате нашумевшей аферы, когда одному разбогатевшему портному из Петербурга на его кафедре — за большую сумму денег — незаконно присвоили докторское звание, был лишен должности. Позднее работал воспитателем и преподавателем языков в Кёнигсберге, Петербурге, Гамбурге, Лондоне, Мадриде и Париже, затем был адвокатом и издателем в Вольфенбюттеле, с 1824-го — корректором типографии в Ильменау, неподалеку от Веймара. Известность получил как соавтор пасквильного сочинения "Гёте как человек и писатель".

Иоганн Мельхиор Гёце (1717—1786) — писатель-теолог, пастор в Гамбурге, был широко известен как яростный защитник ортодоксального лютеранства и активный противник Просвещения. Прославился своей многолетней резкой полемикой с ведущим представителем немецкого Просвещения Г. Э. Лессингом. Известен также резкими нападками — в гамбургских газетах — на Гёте; Гёце обвинял Гёте в презрении к религии, в безнравственности. Перу Гёце принадлежит, в частности, цитируемая в пьесе рецензия на роман Гёте "Страдания юного Вертера".

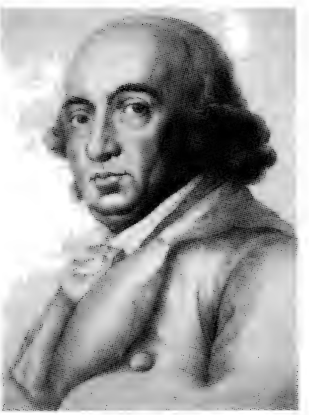
Паулина Готтер (1786—1854) — дочь гёттингенского писателя и драматурга Фридриха Готтера, с 1812 года — вторая жена Фридриха Шеллинга; с Гёте была знакома с детства; вместе со своими подругами Сильвией Цигезар и художницей Луизой Зейдлер составляла йенский кружок молодых почитательниц Гёте,

которым и сам поэт уделял благосклонное внимание. Паулине Готтер принадлежит, в частности, тирада в сцене эмоциональной вспышки Гердерхен: *Все те сладостные речи, что он нашептывал мне на ухо... Как трудно мне было вконец не потерять голову...*

Иоганн Дидерих Грис (1775—1842) — юрист и переводчик, с 1795-го по 1800 год учился в Йене, жил там и позднее, был близок кружку йенских романтиков, с Гёте был знаком лично и высоко ценил его творчество. Ему, в частности, принадлежит высказывание, отданное в пьесе Лизелотте фон Шпилькельман: *Это как с очень дорогим другом, чьи слабости и ошибки тебе хорошо известны, и ты их в душе, конечно, осуждаешь, но не хотел бы, чтобы весь мир открыто о них злословил.*

Генрих Гейне (1797—1856) — поэт и публицист, вместе с Людвигом Бёрне возглавлял литературное объединение "Молодая Германия". В 1824 году побывал в Веймаре, чтобы встретиться с Гёте. О Гёте писал с глубоким почтением к его таланту, называя его, однако, последним поэтом отмирающей "аристократической эпохи" и упрекая в "олимпийской холодности", в политической индифферентности, в забвении первейших человеческих интересов. Резкий выпад Древбаума в тексте пьесы против Гёте: *Это дряхлый, бессильный бог, досадующий, что уже ничего более сотворить не может*, — принадлежит перу Гейне.

Иоганн Готфрид Гердер (1744—1803) — философ, теолог, учился теологии и философии в Кёнигсберге. В 1764—1769 годах был пастором в Риге. С Гёте познакомился в 1770 году в Страсбурге, где Гёте изучал тогда юриспруденцию. Идеи Гердера о литературе, народной поэзии, о национальном языке оказали большое влияние на молодого Гёте и во многом подготовили литературную революцию эпохи "Бури и натиска". В 1776 году Гердер при содействии Гёте был назначен главным пастором в Веймаре. Юношеская дружба Гёте и Гердера вскоре, однако, сменилась отчуждением — в частности, из-за ревнивого отношения Гердера к государственной карьере и влиянию Гёте; в девяностые годы наступил длительный разрыв отношений, поскольку Гердер с этической точки зрения не принимал и не одобрял многое в поведении своего бывшего друга. Язвительный отзыв Веровера о роли и месте Гёте в веймарском обществе принадлежит Гердеру: *...на данный момент он действительный тайный советник, <...> сам везде на первых ролях и в качестве актера, и в качестве танцора, одним словом — наш веймарский фактотум, ну просто мастер на все руки...*



Каролина Гердер (1750—1809) — дочь мелкого служащего, осиротела в шестнадцать лет и потому воспитывалась в семье своей старшей сестры в Дармштадте; там, в кружке молодых сентименталистов, где она носила поэтическое имя Психея, познакомилась в 1772-м с молодым Гёте, пользовалась его расположением — ей, в частности, посвящено стихотворение Гёте 1772 года "Песнь освящения скалы. Психее". В 1773 году стала супругой Иоганна Готфрида Гердера, а в 1776-м вместе с семьей поселилась в Веймаре, куда Гердер был назначен главным пастором.

Ее отношение к Гёте в "веймарские годы" часто определялось нараставшим отчуждением ее мужа к бывшему другу юности. Отдельные выпады Веровера, продиктованные претензиями морального и духовного плана, — к примеру, о незначительном *воздействии <...> на человеческий дух, характер, нравы* или о *надуманности и манерности* произведений Гёте — позаимствованы из писем Каролины Гердер.

Вильгельм фон Гумбольдт (1767—1835) — ученый-языковед, государственный деятель, один из основателей Берлинского университета, носящего сегодня его имя. В 1794—1797 годах жил в Йене. Был дружен с Фридрихом Шиллером. В это же время установились и доверительные дружеские отношения с Гёте, сохранявшиеся на протяжении более чем тридцати лет. Слова госпожи фон Шпилькельман о резком неприятии Гёте новых веяний в немецкой литературе — были высказаны Гумбольдтом в 1808 году в письме к жене: *Наблюдая за теми бесчинствами, что творятся теперь в немецкой литературе, он окончательно потерял надежду на ее целительное воздействие. Каждый, говорит он, пестует ныне лишь собственное "я", все духовные искания теряются и тонут в бесформенности и неопределенности.*

Август Вильгельм Ифланд (1759—1814) — чрезвычайно популярный в свое время актер, драматург, с 1811 года — директор Берлинского национального театра. Пьеса Ифланда была первой постановкой Веймарского театра после того, как им стал руководить Гёте. В 1796 году Ифланд посещал Веймар по приглашению Гёте, в 1798-м был на гастролях в Веймаре. Гёте одобрительно отзывался об игре Ифланда, однако свою собственную "антинатуралистическую" сценическую концепцию строил на отталкивании от театрального стиля Ифланда.

Фридрих Якоби (1743—1819) — писатель и философ, одна из центральных фигур течения "Бури и натиска". Перво́начально был связан с Гёте узами восторженной дружбы. Под впечатлением от первой встречи с Гёте в своем имении неподалеку от Дюссельдорфа в 1774 году Якоби написал два романа: "Из записок Эдуарда Альвиля" (1775—1776) и "Вольдемар" (1777—1779), создав в завуалированной форме литературный портрет Гёте, восхищавшего его и в то же время пугавшего титаническим высокомерием. Реакция Гёте на публикацию второго романа была неожиданной и оскорбительной для его прежнего друга: произнеся на придворной пирушке в лесу неподалеку от веймарского охотничьего замка Эттерсбург обвинительную речь по поводу книги Якоби, Гёте прибил ее гвоздями за обложку к дубу и оставил висеть на растерзание ветру и для увеселения прохожих. Примирение между бывшими друзьями наступило лишь в 1782 году. К этой сцене *распятия книги* отсылают в пьесе гневные слова Веровера, взятые из письма Якоби: *Ему с его высоким даром умозрительных построений ничего не стоит перерезать глотку лучшему другу, не испытывая при том ни малейших угрызений совести, и подвесить его за ноги на виселице — а впоследствии остроумно доказывать, что и милый друг сам бы нисколько не возражал против подобного обхождения, ежели бы только постарался подняться до осознания его мотивов и поставил бы себя на его место.*

Хелена Якоби (1743—1784) — жена Фридриха Якоби; ей принадлежит, в частности, отзыв о характере Гёте, который *...любит выставлять напоказ свою изнанку*. В пьесе эту оценку дает Гёте госпожа фон Шпилькельман.

Карл Людвиг фон Кнебель (1744—1834) — писатель, переводчик античной поэзии; до переезда в Веймар был офицером прусской армии. В 1773 году получил при веймарском дворе должность воспитателя принца Константина, младшего брата герцога Карла Августа Саксен-Веймар-Эйзенахского. Благодаря посредничеству Кнебеля в декабре 1774 года во Франкфурте состоялась знаменательная первая встреча герцога Карла Августа с Гёте; спустя год после нее последовало приглашение в Веймар, решающим образом изменившее жизнь Гёте. Кнебель был известен как старинный друг Гёте и сохранял эти дружеские отношения на протяжении всей жизни. С 1789-го по 1804 год Кнебель жил в Веймаре, позднее — в Йене, где в его доме часто останавливался Гёте. Кнебелю принадлежит, в частности, язвительное замечание Древбаума об атмосфере, царящей в Веймаре: *Веймар просто погряз в трясине мерзких склок.*

Генриетта фон Кнебель (1755—1813) — сестра Карла Людвига фон Кнебеля, фрейлина при дворе герцога, с 1791 года — воспитательница принцессы Каролины Луизы Саксен-Веймар-Эйзенахской, дочери Карла Августа. Это ее слова о грубости и нетактичности критики произносит в пьесе Лизелотта фон Шпилькельман: *Досадно, что у нас принято судить о романах в столь грубой форме.*

Кристиан Готфрид Кёрнер (1756—1831) — юрист и писатель, ближайший друг Шиллера, издатель его первого полного собрания сочинений (1812—1816); с Гёте Кёрнер тоже поддерживал дружеские отношения, однако к избраннице поэта Кристиане относился неприязненно. Реплика, осуждающая этот выбор: *Да, вот что значит идти против устоев общества! В свое время он, без сомнения, нашел бы себе любящую супругу, и насколько иначе устроилась бы тогда его жизнь! Женский пол имеет более высокое предназначение, нежели быть низведенным до объекта сладострастия,* — принадлежит именно ему. В пьесе ее произносит Гердерхен.

Хелена фон Кюгельген (1774—1842) — жена Франца Герхарда фон Кюгельгена, художника-портретиста, профессора Академии художеств в Дрездене, автора знаменитого придворного портрета Гёте, законченного им в 1810 году. Хелене фон Кюгельген принадлежит характеристика Гёте как человека-спрута, в пьесе вложенная в уста Веровера.

Рахель Левин (1771—1833) — писательница, дочь еврейского торговца-ювелира, в силу своего происхождения не имела доступа к высшим светским кругам и к образованию, но все же — благодаря самостоятельным занятиям — отличалась большими познаниями в области литературы и искусства. Ее литературный салон, чрезвычайно популярный в Берлине в 1790—1806 годах, посещали, в частности, Фридрих Шлегель, Людвиг Тик, Иоганн Готлиб Фихте, Клеменс Брентано, Вильгельм Гумбольдт. В 1814 году, в возрасте сорока трех лет, стала женой писателя и дипломата Карла Августа Варнхагена фон Энзе, который был моложе ее на четырнадцать лет.

Личных встреч с Гёте у Рахель Левин было всего четыре, но знакомство с его творчеством она считала важнейшим событием своей жизни, поскольку — по собственному признанию — находила в нем отражение своих внутренних душевных переживаний. Культ и почитание Гёте составляли главный стержень ее литературного салона и занимали большое место в ее переписке, подборка из которой была опубликована в 1812 году под заглавием "О Гёте. Отрывки из писем". Признания в неизменной духовной дружбе в сцене эмоциональной вспышки Гердерхен взяты из писем Рахель Левин.

В 1823 году к семьдесят четвертому дню рождения Гёте мужем Рахель Левин — Карлом Августом Варнхагеном фон Энзе — был выпущен в свет сборник под заглавием "Гёте в благожелательных отзывах современников". Текст, воспроизводимый в "заставке" пьесы, — подлинная реакция Гёте на выход в свет этой книги.

Каспар Фридрих Мансо (1760—1826) — филолог и историк литературы, с 1793 года и до конца жизни был директором гимназии в Бреслау[1]. Слыл непримиримым моралистом, выступал с резкой критикой шиллеровского журнала "Оры", за что был открыто высмеян Гёте и Шиллером в "Ксениях". К пасквильной пародии Пусткухена на роман Гёте отнесся, однако, резко отрицательно, о чем свидетельствует взятая из его письма реплика в защиту Гёте, которую в пьесе произносит Лизелотта фон Шпилькельман: *...невелика заслуга — порицать человека, просто негодяя из него делать, подходя к нему при этом с мерками, каковых порицаемый не признаёт и никогда не признает.*

Вольфганг Менцель (1798—1873) — историк литературы и публицист, влиятельный штутгартский критик, автор известного произведения "Немецкая литература" (1828), в котором им активно пропагандировалась идея "судейской" миссии критики; наряду с Бёрне — один из самых яростных критиков Гёте из поколения молодых литераторов.

Фридрих Мюллер (1779—1849) — веймарский государственный служащий, с 1815 года — канцлер веймарского министерства юстиции. Был другом и советником Гёте, после смерти Гёте исполнял обязанности куратора его завещания до совершеннолетия внуков Гёте.

Кристоф Фридрих Николаи (1733—1811) — писатель, критик, книгоиздатель, представитель и поборник немецкого Просвещения; резко критически относился к новым литературным течениям, в частности, к "Буре и натиску", позднее — к "веймарской классике" и к романтизму. В 1775 году, полемизируя с молодым Гёте, выпустил в свет роман-пародию со счастливым концом "Радости юного Вертера". "Пошлый рационализм" Николаи вызывал острую критику Гердера, Гёте, Шиллера. Николаи был в сатирическом плане представлен в "Фаусте" Гёте и открыто высмеян в "Ксениях" Гёте и Шиллера. Исполненная пафоса речь Веровера в защиту немецкой литературы от *такого рода бранного то-*

Ханс Магнус Энценсбергер. Долой Гёте!

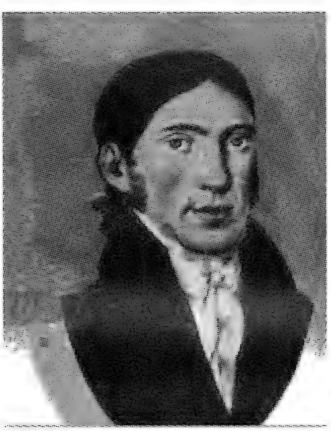
1. Ныне Вроцлав.

на, произносимая им в пьесе, — дословное воспроизведение отзыва Николаи на выход в свет "Ксений".

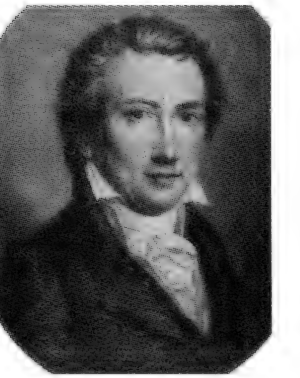
Франц Людвиг Пассов (1786—1833) — специалист по классической филологии, писатель и переводчик; благодаря покровительству и поддержке Гёте еще до окончания университета получил место профессора греческого языка в веймарской гимназии, позднее стал профессором древних языков в Бреслау. К Гёте относился с большим почтением, но не разделял его политических симпатий, о чем свидетельствует, к примеру, его осуждающий отзыв о Гёте (в пьесе — реплика Древбаума): *С тех пор, как Наполеон навесил ему в петлицу свой позорный крест Почетного легиона, он и ведет себя так, как пристало сему легионеру!*

Эрнст фон Пфуль (1779—1866) — прусский генерал, известный реформатор военного дела, впервые ввел для солдат обучение плаванию, в 1810 году основал в Праге первую военную школу по плаванию и считается изобретателем стиля "брасс". После поражения прусской армии в 1806 году в битве с Наполеоном под Йеной состоял на службе в австрийской, а затем, до 1813 года, — в русской армии; преследовал наполеоновскую армию при отступлении из России, в 1813 году вступил во главе отряда казаков в Берлин. Описан под своим именем на страницах романа Толстого "Война и мир".

С Гёте встречался и общался, в частности, во время пребывания на богемском курорте в Теплице. Одно из замечаний Лизелотты фон Шпилькельман о том, как Гёте...*обходится с теми, кто всеми правдами и неправдами прорывается к нему и бесцеремонно навязывается в собеседники,* принадлежит ему.



Иоганн Фридрих Пусткухен (1793—1834) (псевдоним — Гланцов) — один из младших современников Гёте, учился некоторое время в Лейпцигском университете, был удостоен степени доктора философии; позднее — священник, писатель-теолог. Сенсационный успех имел его роман "Годы странствий Вильгельма Мейстера", вышедший анонимно и представлявший собой фиктивное продолжение романа Гёте "Годы учения Вильгельма Мейстера". Первый том романа Пусткухена появился в 1821 году, за несколько недель до выхода в свет первоначального варианта гётевского романа с тем же названием. Целый год в ходу были оба произведения, что вводило в заблуждение читателей. Произведение Пусткухена, воспроизводящее стиль и продолжающее развитие сюжета гётевского романа, являлось, однако, пародией консервативного толка на роман Гёте. Книга Пусткухена послужила толчком для мощной волны политических и клерикальных выпадов против Гёте. Гейне отмечал, что "оппозиция Гёте начинается именно с фиктивных 'Годов странствий'".

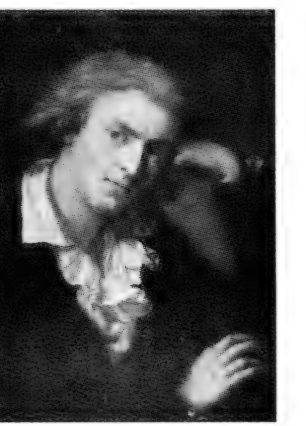


Иоганн Фридрих Рохлиц (1769—1842) — писатель, критик-музыковед, был знаком со многими знаменитыми современниками, в частности — с Гёте и Шиллером. Ему принадлежит реплика Лизелотты фон Шпилькельман о нападках на Гёте со стороны *особенно крикливых молодых людей*, у которых *вошло в моду низвергать его, глумиться над ним, выставлять на всеобщее осмеяние*.

Иоганн Даниэль Зандер (1759—1825) — издатель и книготорговец в Берлине, писатель. Ему принадлежит осуждающая реплика Лизелотты фон Шпилькельман в адрес веймарского мэтра: *от лести и комплиментов голова у него пошла кругом и ...он позволяет себе вещи, которые не следовало бы оставлять безнаказанными*.

Каролина Шеллинг (1763—1809) — с 1796 года жена переводчика и теоретика романтизма Августа Вильгельма Шлегеля, одна из наиболее ярких женских фигур той эпохи, организатор и устроитель литературных вечеров и встреч кружка йенских романтиков. Известная почитательница Гёте, который был частым гостем в йенском доме братьев Шлегелей. Позднее — после расторжения брака со Шлегелем (1801) — стала женой философа Фридриха Вильгельма Шеллинга.

Фридрих Шиллер (1759—1805) — поэт, драматург; в 1787 году Шиллер впервые приезжает в Веймар, в 1788-м впервые встречается с Гёте. В 1789-м по содействию Гёте получает назначение на должность профессора истории в Йенском университете. С 1794 года устанавливается так называемый эстетический альянс — творческий союз Шиллера и Гёте, отмеченный глубоким и плодотворным взаимовлиянием двух поэтов. В первый период знакомства преобладало, однако, недоверчивое и даже недоброжелательное отношение поэтов друг к другу, о чем свидетельствуют многие цитаты из писем Шиллера периода 1787—1789 годов, используемые в данной пьесе; в частности, хлесткая реплика Древбаума: *Мне же он представляется такой гордой мамзелью, которой бы в самый раз ребенка заделать, чтобы опозорить ее перед всем светом*, или его же упрек веймарскому мэтру: *За безделие свое он получает жалованье в тысячу восемьсот талеров, а другим и за половину этой суммы приходится нести двойную обузу*, а также признание: *Этот человек просто встал мне поперек дороги*. Перу Шиллера принадлежит и обвинение в эгоизме и себялюбии, предъявляемое вей-



марскому поэту в пьесе госпожой Гердерхен: *И это, мне кажется, есть продуманная и последовательная манера поведения, рассчитанная на максимальное удовлетворение своего себялюбия.* Отзыв госпожи фон Шпилькельман о Веймаре: *Я тоже порой начинаю терять здесь терпение, хотя у меня на то свои причины. С каждым днем мне все меньше и меньше нравится жить здесь, и не хотелось бы дни свои окончить в Веймаре* — тоже слова Шиллера (письмо, написанное им за год до смерти и посланное из Веймара, куда он переехал вновь по настоянию Гёте в декабре 1799 года и где прожил до конца своей жизни). Шиллер свидетельствует также о серьезной болезни Гёте (письмо от 10 января 1801 года издателю И. Ф. Котта), которая даже повлекла за собой слухи о смерти поэта. В пьесе сообщение о болезни веймарского мэтра произносит ведущий: *Врачи <...> опасаются печального исхода. Горячка может дать осложнение на мозг, и, если к тому же начнется отек легких, не исключено...*

Шарлотта Шиллер (1766—1826) — жена Шиллера, крестница Шарлотты фон Штейн, долгие годы была связана с Гёте дружескими отношениями, которые сохранились и после смерти ее мужа. Реплика госпожи фон Шпилькельман: *Защищать его я не могу, но и предавать анафеме — тоже* принадлежит ей.

Шарлотта фон Шиммельман (1757—1816) — жена графа Эрнста Генриха фон Шиммельмана, датского министра финансов; состояла в переписке с Шиллером, позднее — с его вдовой. Ей принадлежит, в частности, неодобрительное высказывание о Кристиане Вульпиус, которое в пьесе произносит госпожа фон Шпилькельман: *Чему же теперь удивляться — взять в подруги жизни девицу столь грубую, которая, надо полагать, чернит в его глазах все, что не по ней... Отсюда, я полагаю, и его озлобленность, его презрение ко всему роду человеческому.*

Фридрих Шлегель (1772—1829) — языковед, писатель, историк литературы, ведущий теоретик "йенских романтиков". В 1796 году — вслед за старшим братом Августом Вильгельмом — поселился в Йене, в 1797-м познакомился с Гёте. Первоначальное преклонение Ф. Шлегеля перед Гёте как перед величайшим писателем своего времени (в частности, его высокая оценка романа Гёте "Годы учения Вильгельма Мейстера") позднее — начиная с 1800-х годов — под влиянием усилившихся расхождений между Гёте и "йенскими романтиками" сменилось критической оценкой последующих произведений "веймарского классика", прежде всего романа "Избирательное сродство". Ф. Шлегелю принадлежит высказывание о том, что *...на всех его творениях лежит отпечаток души корыстной и холодной.* В пьесе эту реплику произносит Веровер.

Доротея Шлегель (1763—1839) — дочь немецкого философа-просветителя Мозеса Мендельсона, писательница, переводчица, входила в литературное сообщество братьев Шлегелей, с 1804 года — супруга Фридриха Шлегеля. Ее первоначальное преклонение перед талантом Гёте позднее уступило место чувству разочарования, вызванному той позицией Гёте, которую он занял в отношении Йенского университета (в частности — в связи с отставкой И. Г. Фихте) и которая в итоге привела к ослаблению профессорского состава университета и распаду кружка йенских романтиков. Отзвук этого разочарования звучит в ее письме от 1804 года: *Достаточно внимательно почитать его романы, и станет ясно, что от людей он ждет ровно столько ума и дарования, чтобы они были в состоянии вдохновляться его идеями, и исключительно только его идеями*. В пьесе это реплика Лизелотты фон Шпилькельман.

Иоганна Шопенгауэр (1766—1838) — писательница, мать философа Артура Шопенгауэра (1788—1860). С 1806-го по 1828 год жила с дочерью в Веймаре, дом ее был излюбленным местом встреч веймарского высшего света; частым гостем в ее салоне был и Гёте, о котором Иоганна Шопенгауэр отзывалась с экзальтированным восхищением. Восторженное описание внешности Гёте, которое в пьесе приводит ведущий ток-шоу в качестве воспоминания "одной посетительницы" поэта, взято из письма Иоганны Шопенгауэр ее сыну Артуру Шопенгауэру от 1806 года (первого года ее пребывания в Веймаре).

Вильгельмина Шютце — жена Иоганна Стефана Шютце (1771—1839), теолога и писателя. Описание дня похорон Гёте в финале пьесы взято из ее дневника.

Мартин Шпанн — автор уничижительной критической статьи "Гёте-лирик", напечатанной в 1831 году в веймарской газете.

Шарлотта фон Штейн (1742—1827) (авторство данного портрета Ш. фон Штейн 1777 года приписывается Гёте) — фрейлина герцогини Анны Амалии, супруга придворного оберштальмейстера Йозиаса фон Штейна, "дама сердца" и близкий друг Гёте в первое десятилетие его пребывания в Веймаре. Ей были посвящены многие стихи Гёте, сохранилось более тысячи семисот его писем к ней. Разрыв, произошедший в 1788 году, после возвращения Гёте из почти двухлетнего путешествия по Италии, и вызванный в значительной степени связью Гёте с Кристианой Вульпиус, обернулся более чем двадцатилетним отчуждением, которое было в некоторой степени преодолено лишь в десятые годы XIX века, то есть в годы действия данной пьесы.

Перу Шарлотты фон Штейн принадлежат, в частности, пренебрежительный отзыв о Кристиане Вульпиус, будущей супруге Гёте, отданный в пьесе госпоже фон Шпилькельман (*Вот на днях шел он мимо нас со своей молодицей, а я прикрылась зонтиком от солнца, будто их и не вижу*), и осуждающая реплика слушательницы, позвонившей в студию: *Теперь она растолстела и обрюзгла, напивается каждый день допьяна,* а также неприязненное описание внешности Гёте: *Отвратительно толстый, ручки короткие...* — в пьесе это реплика Древбаума.

Карл фон Штейн (1765—1837) — старший сын Шарлотты фон Штейн, позднее, с 1793 года, — управляющий семейным имением Кохберг. Нелицепрятное описание внешности поэта, которое дает в пьесе госпожа фон Шпилькельман, принадлежит ему и было высказано в письме младшему брату в 1799 году, через десять лет после разрыва Гёте и Шарлотты фон Штейн. Но ему же принадлежит и первая фраза диктора в финале ток-шоу, признающая эпохальное значение Гёте для Веймара: *Веймар теперь вновь погрузится в прежнее небытие, из которого был вырван на время, ибо дух его ныне вознесся к Богу*.

Доротея Шток (1759—1832) — известная художница, дочь лейпцигского гравера по меди Иоганна Михаэля Штока, работавшего на той самой брейткопфской мануфактуре, обои которой рекламируются во время ток-шоу. Гёте в годы своего студенчества в Лейпциге (1765—1768) обучался у него гравированию по меди и резьбе по дереву.

Элиас Штёбер (1719—1778) — профессор теологии в Страсбурге, где Гёте в 1770—1771 годах изучал юриспруденцию; обвинительная реплика Веровера в тексте пьесы о Гёте — *...в свое время он прослыл у нас сумасбродом и язвительным богохульником...* — дословно воспроизводит отзыв Штёбера о диссертации молодого юриста Гёте, защита которой, из-за предпринятого в ней критического пересмотра ортодоксальных основ теологии, проходила с большими трудностями.

Фридрих Леопольд фон Штольберг (1750—1819) — юрист, поэт, близкий по духу литературному течению "Бури и натиска"; друг юности и почитатель Гёте, совместно с ним и со своим старшим братом предпринявший в 1775 году путешествие в Швейцарию; позднее его дружеские отношения с Гёте сменились резким отчуждением. Оба брата выведены в пародийном свете в "Ксениях". Фридриху Штольбергу принадлежит, в частности, реплика, отданная в пьесе Лизеллоте фон Шпилькельман: *Он несомненно когда-нибудь пожалеет, что вел себя подобным образом*.

Кристиана Вульпиус (1765—1816) — с 1788 года спутница жизни, с 1806-го — жена Гёте. Дочь веймарского архивного писаря, до встречи с Гёте работала на фабрике искусственных цветов. Веймарский свет не принял "неравный" союз Гёте. Кристиане Вульпиус принадлежит, в частности, фраза, отданная в пьесе госпоже фон Шпилькельман: *Сколько бы времени и сил он потерял, если бы придавал значение всем нелепицам, которые за последние тридцать лет о нем наговорили и напечатали.*

Кристоф Мартин Виланд (1733—1813) — писатель, переводчик, представитель немецкого Просвещения, старший в классическом веймарском созвездии. С 1772 года на протяжении трех лет был воспитателем будущего герцога Карла Августа. С Гёте его связывало чувство взаимного уважения и симпатии. Ему принадлежит, однако, и ироническая реплика (отданная в пьесе Древбауму) о неприступности Гёте: *Он, можно сказать, все подступы к себе забаррикадировал*. По свидетельству Кристофа Мартина Виланда (письмо от 1778 года), к садовому домику Гёте, находящемуся в парке на реке Ильм, невозможно было попасть, поскольку ворота на мостах, перекинутых через Ильм по проекту самого Гёте, часто оставались запертыми.

Иоганн Георг фон Циммерман (1728—1795) — с 1768-го гофмедик в Ганновере, писатель. Был врачом многих коронованных особ, в частности, навещал в Потсдаме для медицинских консультаций прусского короля Фридриха Великого. Состоял в переписке с российской императрицей Екатериной II, переписка позднее была опубликована. С Гёте был знаком лично, восхищался им, восторженно встретил появление романа "Страдания юного Вертера", позднее, однако, критически отзывался о деятельности Гёте в Веймаре. Высказывание Древбаума о бесполезности Гёте как министра, а также замечание Гердерхен о ласке веймарского мэтра, похожей на *ласку тигра*, принадлежат перу Циммермана.

“...Каждый сам для себя должен решить, как ему обходиться с Гёте”

Письмо в “ИЛ”

Перевод с немецкого Н. Васильевой

От редакции

С благодарностью публикуем письмо Ханса Магнуса Энценсбергера, откликнувшегося на нашу просьбу рассказать непосредственно русскому читателю о сценической судьбе пьесы, о его отношении к фигуре Гёте, а также о том, что он думает о судьбе России.

<...>

Я рад, что “Долой Гёте!” появится на русском языке, и я, конечно, знаю старую добрую “Иностранку” и высоко ее ценю; собственно говоря, мои вещи нигде больше на русском языке не публиковались. (Сборник стихов, который много лет назад перевел Лев Гинзбург, хотя и был напечатан, но весь тираж, вероятно по указанию цензуры, уничтожили еще до выхода в свет — в 1969-м или 1970 году, но то были другие времена.)

<...>

Теперь о том, что непосредственно касается публикуемой вещи. Веймарскую ее постановку несколько раз показывали по телевидению, но другой театральной инсценировки не было. Телевидение потому представляется мне наиболее подходящим подиумом для данного текста, что он выдержан в “лучших традициях” ток-шоу, жанра, который, подобно эпидемии, повально охватил все программы в Германии, текст продолжает эти традиции и в то же время подрывает их. Так называемые телеведущие чувствуют себя в своих программах маленькими царьками и не дают никому из гостей по-настоящему высказаться; они хотят сами быть в центре внимания. В Веймаре мы взяли на роль ведущего Гюнтера Йауха, популярнейшую звезду телеэкрана; и он, продемонстрировав достаточный запас самоиронии, хорошо справился со своей задачей. В большинстве случаев ток-шоу одновременно являются мероприятиями сугубо рекламного характера. Гости телестудии держат перед камерой свою книгу или музыкальный диск в надежде, что публика их купит. На частных телеканалах все это действо к тому же постоянно прерывается показом рекламных роликов, расхваливающих средства для чистки туалетов или патентованные медикаменты. Поэтому в веймарской постановке мы тоже перемежали текст вымышленными рек-

© Hans Magnus Enzensberger, 2009
© Н. Васильева. Перевод, 2009

ламными вставками, представляющими обиходные товары времен Гёте, – своего рода пародийный прием, чтобы подчеркнуть анахронический характер инсценировки. Эта вещь с самого начала задумывалась мной как телеспектакль.

Гёте при жизни отнюдь не пользовался всеобщей любовью, в фигуру культовую он превратился лишь через много лет после смерти; каждая эпоха, в угоду так называемому духу времени, разумеется, использовала его в своих интересах, если не сказать точнее – фальсифицировала его творчество: так было и во времена фашизма, и позднее в ГДР. Боюсь, что подобной участи не миновать ни одному классику. Русским примером, подтверждающим такое положение вещей, может служить празднование пушкинского юбилея в 1937 году.

В 1932 году, в юбилейный год Гёте, Томас Манн, как мне помнится, нашел точную формулу: "Гёте и несть ему конца"[1]. Действительно, в Германии от этого писателя никуда не деться. Причиной тому – его колоссальная творческая энергия и выдающийся интеллект; в фигуре Гёте беспрестанно открывают новые грани, сегодня, к примеру, на него ссылаются в своих исследованиях генетики. Он – один из тех очень немногих писателей, которые не переставали заниматься и естественными науками. В этом отношении Гёте шел в ногу со своим временем, а некоторые его прозрения даже значительно опережали эпоху.

Мне представляется, что официальные панегирики мало что дают нам для его понимания. Каждый сам для себя должен решить, как ему обходиться с Гёте. Для многих он – фигура неприятная или даже зловещая, и это незачем замалчивать. Может быть, люди в большинстве своем не слишком жалуют гениев, потому что в сравнении с ними становится особенно заметно, как малы они сами?

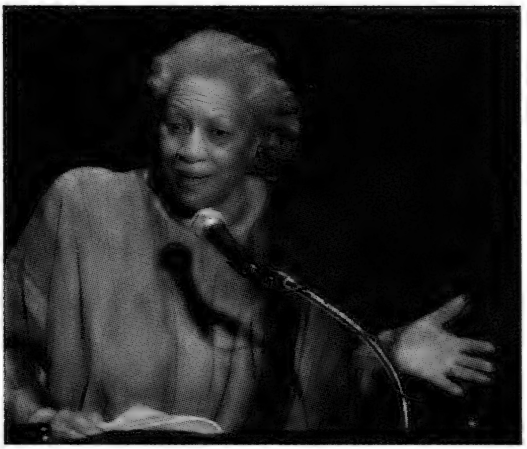
К сожалению, моего знания русского хватает в лучшем случае на то, чтобы купить билет в кассе или на ломаном русском объясниться с официантом. Хотя я, особенно в семидесятые годы, часто бывал в России и много путешествовал по стране, в том числе и по Сибири и Средней Азии, я все же не осмеливаюсь высказывать суждений о ее исторических перспективах; меня, однако, не покидает опасение, что многие надежды, рожденные историческим поворотом 1989 года, пока далеки от осуществления. Вспоминая сегодня свои многочисленные беседы на московских кухнях, на дачах в Переделкине или с ленинградскими учеными, не могу не испытывать чувства определенной горечи. Никто тогда и представить себе не мог, что судьбами страны будет заправлять новая олигархия. Но все это, разумеется, весьма анахронические порывы души, которым не следовало бы поддаваться, а правильнее было бы – устремить взгляд в грядущие времена.

Извините за фрагментарность этих соображений.
С наилучшими пожеланиями,

Ханс Магнус Энценсбергер.

1. Отсылка к названию эссе самого Гёте "Шекспир и несть ему конца". (*Прим. перев.*)

Тони Моррисон



Нобелевская премия 1993 года

Жалость

Роман

Перевод с английского В. Бошняка

НЕ бойся. Мой рассказ тебе не повредит, хоть много я чего наворотила; обещаю лежать тихо, затаюсь впотьмах и буду то плакать, то, может, кровь опять увижу, но больше никогда не вскинусь, не растопырю когти. Я просто объясняю. Хочешь, бери за исповедь, но в ней будет много странного, чудоватого, как во снах бывает, — это я о знамениях вроде той струи пара из чайника: как вздунется облаком, как сгустеет, и стала прямо что песья морда. Или вроде той куклы, свернутой из маисовой плевы: только сейчас сидела на полке, вдруг — глядь! — раскорячилась в углу, и всем сразу ясно, чья злая сила ее туда бросила. Да и вдвое горшие вещи происходят вокруг сплошь и рядом. Сам знаешь. Я знаю, что ты это знаешь. Вопрос в том, по чьей вине. Другой вопрос — поймешь ли. Когда какая-нибудь индюшка не желает сидеть на яйцах, я это схватываю мигом, — например, когда увидела, как *минья мэй* стоит, держа младшенького за руку, а мои туфли оттопыривают карман ее фартука. Другие знаки для понимания требуют времени поболе. Подчас таких предвестий на меня валится неуяснительно много или какая-нибудь вещая картина надвигается не в меру шустро. Тогда я собираю их, а потом припоминаю по чуть-чуть; хотя так, конечно, многие намеки ускользают — как ускользнула от меня догадка, зачем тот ужик сыскал себе погост на крыльце, взял, да и околел у порога. Поэтому начну-ка я с того, что знаю точно.

Reprinted by permission of International Creative Management, Inc.
© 2008 by Tony Morrison
Первоначально роман публиковался на английском языке издательствами Knopf (US) и Chatto & Windus (UK).
© В. Бошняк. Перевод, 2009
Роман будет опубликован в московском издательстве "CORPUS".

В самом-пресамом начале были туфли. Маленькой я совсем не могла ходить босая и всегда пыталась выпросить обувку — любую, хоть чью угодно и даже в самую что ни на есть жару. А мамочка (по-нашему *минья мэй*) хмурилась, даже серчала — тоже мне, дескать, цаца! Только дурные женщины на копытцах ходят. Говорила, что я плохая, что от меня жди беды, но потом отмякла и позволила надевать брошенные на помойку туфли Сеньоры — с острыми носами, один каблук сломан, другой стоптан, сверху пряжка. Поэтому теперь — вот Лина тоже подтвердит — мои ноги мало на что годятся, навсегда останутся больно нежными, по низу нипочем не огрубеют так, чтобы стать крепче подметочной кожи, как то для жизни надобно. Лина зрит в корень. Флоренс, — говорит она, — на дворе 1690 год. У кого в наши дни бывают руки рабыни, а ноги португальской дамы? Для этого, посылая искать тебя, они с Хозяйкой дали мне сапоги Хозяина, которые мужчине еще куда ни шло, но не девушке — тонколодыжной и малорослой. В них напихали сена и масляной маисовой мякины, а письмо велели спрятать в чулок — ну и что, что от сургуча щекотно, терпи. Я, хоть и знаю грамоту, но не читала, что Хозяйкой писано, а Лина и Горемыка — те вовсе не разумеют. Но я знаю, о чем там, и буде кто преткновение учинит, смогу объяснить.

Как вспомню! — в голове сумбур, потому что все пучком: и тебя не могу сколь хочу увидеть, и страшно: ну как заблужусь! Боюсь сего урока отчаянно и в то же время вся в нетерпении пребываю. С самого дня, когда ты сгинул, все мечтала, планы строила. Вот бы вызнать, где ты есть и как туда попасть. Совсем было в бега наладилась — первым делом через рощу (ты не забыл ее? — где у нас буки пополам с белой сосной) на большую дорогу, а потом думаю: дальше-то в ту сторону или в другую? Кто надоумит? И вот еще: что за народ населяет лесную пустыню между тобою и нашей фермой — ино поможет мне иль навредит? И как насчет уловчивых медведей, что шастают по чащобам? Помнишь, ты сказывал? О том, как они, когда всей шкурой встрепещут, кажутся вовсе бескостными, так она на них ходуном ходит. А еще о том, что запахом они противны собственной красе, а глазами зрят в нас тех зверей, коими мы когда-то были тоже. Опасно им поэтому в глаза заглядывать! Ты говорил, что их к нам тянет, и подходят они с любовью, зовут играть, а мы сдуру пугаемся и давай вываливать на них свой страх и злость! А еще там птица строфокамил обитает — великая непомерно, крупней коровы (это уже Лина говорила), да и людишки местные не все вроде меня, так что смотри, мол, в оба. Лину соседи в шутку называют дикаркой-богомолицей, потому что одно время она похаживала в церковь, хоть она и моется каждый день полностью, чего у христиан не заведено. Под одеждой носит яркие синие бусы и втайне пляшет пляски свои в новолуние на рассвете. А пуще косолапых с их любовью и птиц ростом с корову боюсь, когда ночь хоть око на сук. Как же я, скажи на милость, найду тебя в этакой зге? Но теперь, по крайности, путь открыт. Я не тайком, по приказу иду, честь по чести. Увижу твои губы, коснусь тебя рукой. И ты опять уткнешь мне в волосы подбородок, а я буду дышать тебе в плечо — пых-пых, вдох-выдох. Хорошо, что мир раскрывается нам на встретенье, но от новины сей в содрогание прихожу. Чтобы попасть к тебе, приходится покидать единственный свой дом и всех ближних и знаемых. Лина говорит, что, когда я сюда попала, она по моим зубам вызна-

ла возраст — лет то ли семь, то ли восемь. С тех пор мы варили джем из диких слив восемь раз, так что теперь мне должно быть шестнадцать. На старом месте я день-деньской собирала стручки окры и подметала табачные сушильни, а ночи коротала в кухне на полу с *минья мэй*. Нас крестили, чтобы, когда эта жизнь кончится, мы могли обрести покой и счастье. Так говорил падре. А каждый седьмой день учились чтению и письму. Покидать плантацию нам воспрещалось, поэтому мы вчетвером прятались на краю болота. Мамочка, я, ее меньшой и святой отец. Чтобы он нас учил — это тоже воспрещалось, но он все равно учил, сторонясь злых пришлых пуритан-виргинцев и прочих протестантов, чтобы они его за этим делом не застигли. А то ведь могли и в тюрьму посадить или заставить платить страшной облог, или и то, и другое. У него две книги и грифельная доска. А у нас палочки, чтобы писать на песке, и черепки — выкладывать буквы на большом плоском камне. Когда буквы запомнили, стали выставлять слова. Я в этом деле была посхватчивей мамочки, а ее меньшой и вовсе не в счет. А я зато писала по памяти Никейский символ веры — запросто, вплоть до последней запятой! Хотя исповедь обыкновенно говорят, а не пишут, как я сейчас. Теперь-то уж почти что разучилась. А говорить люблю. Мне что? Могу с Линой, могу на черепках, могу даже с Горемыкой. Но лучше всего с тобой. Сначала, когда меня только привезли сюда, я ни слова сказать не могла. Ведь здесь, что ни услышишь, все не по-нашему — не так, как говорили там, где я была с *минья мэй*. По-тамошнему Лине что говори, что нет, как об стену горох. Да и Хозяйке тоже. Но все-таки мало-помалу разговаривать я начала, и не только на черепках. Лина объяснила, что место, где меня учили говорить письменно, называется Мэриленд — земля святой Марии, Хозяин туда по делам торговли хаживал. Так что вот, значит, где моя мамочка схоронена и ее меньшой. Или будут схоронены, если они предпочтут упокоиться. А спать с ними на полу кухни вовсе не так было сладко, как с Линой в ломаных санях. Когда холодно, мы наш угол в хлеву отгораживаем досками, зарываемся в шкуры и крепко-накрепко друг к дружке прилаживаемся, сплетясь руками. Вони коровьих лепешек не чуем — лепешки мерзлые, да и дышим мы в глуботе, в мехах. А летом, когда спим в гамаках и донимает гнус, Лина стелет в прохладном месте ложе из пахучих веток. Ты-то всегда не любил гамак, постоянно спал на земле, даже в дождь, когда Хозяин предлагал ночевать на сеновале. Вот и Горемыка больше у очага не спит. А мужчины, что помогали тебе, Уилл и Скалли, ни разу не оставались у нас на ночь: этого не одобряет их господин. Помнишь их, как они не хотели слушать твоих повелений, пока им не приказал Хозяин? Он мог им приказы отдавать, потому что получил их в обмен на землю, которую сдал внаем. Лина говорит, что Хозяин здорово наловчился — получать не давая. Я знаю, так оно и есть, вижу подобное постоянно. Как тогда: я смотрю, мать слушает, младшенький на бедре у ней примостился... Оказывается, Сеньор Хозяину задолжал, а платить-то нечем. И Хозяин запросил взамен женщину, но без дитя мелкого, тогда квиты. А *минья мэй* давай его упрашивать: мальчонка-де у меня грудной! Возьмите девочку, говорит, дочерь мою возьмите. Меня, значит. Хозяин согласился, скостил долг. И когда табачный лист развесили сушиться, святой отец посадил меня на паром, потом на шкуну, потом на росшиву — впихнул между своими коробами с

книгами и съестным. На второй день напал лютый холод, я радовалась, что на мне плащ, хотя тонковат. Святой отец велел сидеть и с места не сходить, а сам пошел в другой конец судна. Тут ко мне подходит какая-то женщина, говорит: встань. Я встала, а она возьми да и сдерни у меня с плеч единственную утепличку. Потом забрала мои помоечные туфли. И ушла. Святой отец аж красный стал, когда узнал, что стряслось. Кинулся узнавать, спрашивать, кто и что, да куда там! В конце концов раздобыл тряпок (там парусиновые лоскуты валялись) и обернул мне ноги. Так я узнала, что, не в пример тем местам, где жили мы у Сеньора, здесь священники не в чести. Когда святой отец обратился за подмогой к кормщику, тот только в море плюнул. А падре добрый человек, я таких за свою жизнь больше и не встречала. Когда сюда приехала, подумала: вот — про это место он и говорил, упреждал. Про смертный холод в аду, предваряющий вечное пламя, на котором грешники бултыхаются в котлах и на противнях жарятся. Но сперва всегда лед, — говорил он. И когда я увидела, как этот лед ножами свешивается с крыш и ветвей, когда почувствовала, как седой воздух обжигает лицо, я точно убедилась, что скоро грядет огонь. Потом Лина, на меня глядя, посмеивалась, укутывая меня для тепла. Хозяйка же смотрела в сторону. Да и Горемыка не очень-то рада была меня видеть. Только рукой мотала у лица, будто ей осы досаждают. Она вообще странная, а Лина сказала, что у нее опять будет ребенок. Причем невесть от кого, и Горемыка тоже не говорит. Уилл и Скалли только хохокают и отнекиваются. Лина склоняется к тому, что это Хозяин постарался. У нее, говорит, есть причина так думать. Когда я спросила, что за причина, она сказала: ну, он же мужик! Хозяйка молчит. Я тем паче. Но мне тревожно. Не для того, что придется работать больше, а просто матери с их вечно голодными детьми меня смущают. Завидущи да бесстыжи больно. Всегда-то они поднимут их, меня покажут и что-то им на ушко шепчут. Сама говорит про меня что-то важное — говорит, а сама рукой мальца своего заслоняет.

В волнах прибоя показался человек, он осторожно переступал с песка на камень, с камня на песок, двигаясь к берегу. Туман, накат Атлантики и вонь гниющих водорослей накрывали бухту и мешали идти. Он слышал, как хлюпает в сапогах, но не видел ни рук своих, ни сумы с поклажей. Когда прибой остался позади и вязнущие в грязи каблуки зачавкали, обернулся махнуть рукой на прощанье морякам с баркаса, но мачта уже растворилась в тумане, так что прибывший не узнал, то ли они остались на якоре, то ли решили рискнуть и пустились дальше, огибая извивы берега и вслепую отыскивая портовые дамбы и пристани. В отличие от английских туманов (к каковым привык он со времен, когда пешком под стол ходил), да и от тех, что бывают здесь, но севернее, где он живет теперь, эта морская хмарь, вся пронизанная солнцем, превращала мир в сплошной дымящийся, горячий слиток золота. Двигаться в ней — все равно что бежать во сне. Но вот грязь сменилась болотными травами, он завернул налево и пошел осторожнее, пока не споткнулся о тесовое измостье, ведущее наверх к селению. Помимо его собственных шагов и дыхания, вокруг не слышалось ни звука. И только когда показались первые вечнозеленые дубы (приземистые, но толстые неохватно), туман, клубясь, приподнялся. Тут мужчина пошел быстрее, увереннее,

но насовсем расстаться со слепящим золотом, из коего вышел, было отчего-то жаль.

Все более споро шагая, вступил в пределы ветхой деревушки, дремавшей за крепким бревенчатым палисадом меж двух обширных возделанных полей на речном берегу. Здесь после некоторой заминки трактирщик вынужден был смириться и вместо наличных довольствовался распиской: Джекоб Ваарк. Седло из конюшни вынесли дрянное (на живую нитку пошито), зато лошадь по кличке Регина оказалась ничего, справная. Сев верхом, он совсем взбодрился — беззаботно и даже излишне резво поскакал вдоль береговой излучины. А вот и старая тропа индейцев ленапе. Здесь следовало быть осторожнее, и он попридержал Регину. В этих местах никогда заранее не знаешь, кто встретится — друг или враг. Лет шесть назад целая армия черных, индейцев, белых и полукровок — вольноотпущенных, рабов и крепостных, в многолетней кабале отрабатывавших долг за переплыв по океану в Новый Свет, — затеяла форменную войну с местным благородным сословием, по большей части состоявшим из английских дворян, укоренившихся на новых землях, причем предводители восставших были, как ни странно, из тех же английских дворян. Для них эта "народная война" бесславно окончилась виселицей, но дело свое сделала: помимо того, что целые племена непокорных индейцев были уничтожены, а чужаки-каролинцы изгнаны, появилась запутанная мешанина законов, порядка ради насаждающих хаос. К примеру, запрещалось: давать рабам волю, собираться толпами, а черным — свободно перемещаться и носить при себе оружие. Мало того, любому белому разрешалось убить любого черного по любому поводу, а ежели какой владелец изувечит своего раба или убьет до смерти, то ему по новым установлениям полагается компенсация, так что отныне все белые оказывались под защитой и от всех черных отъединялись навеки. Всякие пробившиеся перед бунтом и во время него ростки равенства в общении работников с их господами-землевладельцами теперь погибли, смятые ударами судейского молотка, служившего исключительно интересам крупных плантаторов. По мнению Джекоба Ваарка, это были беззаконные законы, поощряющие жестокость в ущерб общественному благу, если не общественной нравственности.

Короче говоря, в 1682 году порядка в Виргинии не было. Поди уследи за тем, кто и с кем сейчас схватился насмерть за Бога, короля и новое отечество! Не в каждой, конечно, поездке одинокий странник рисковал головой, но всегда должен был соблюдать осторожность. Да ведь и то сказать: часами трясешься в седле, не встречая никого, кроме диких гусей, стаями летающих над протоками, и вдруг из-за поваленного бурей дерева появится какой-нибудь оголодавший дезертир с пистолетом или — глядь! — неприметная ложбинка вдруг окажется укрывищем семьи беглых, да может ведь и просто вооруженный тать из лесу выскочить! Имея при себе звонкую монету разной чеканки и достоинства, а из оружия только нож, Джекоб Ваарк представлял собой лакомую добычу. С намерением поскорей перебраться из этой колонии в другую, более безопасную, хотя лично для него и менее привлекательную, Джекоб пришпорил лошадь. Дважды спешивался; во второй раз — чтобы освободить щенка енота, застрявшего задней, в кровь ободранной лапкой в предательском расщепе надломленного дерева. Действовать старался

со всей возможной нежностью, но и следил при этом, чтобы его ни зубом, ни коготком не зацепил испуганный зверек. Регина же тем временем хрумкала придорожную траву. Все удалось, и енотик захромал прочь — то ли к матери, которой почему-то пришлось его бросить, то ли (что скорее всего) прямиком к кому-нибудь в лапы.

Наверстывая время, Джекоб пустил кобылу в галоп и так вспотел, что соль стала щипать глаза, а волосы облепили плечи. Вот и Регина тоже вся в мыле, храпит, а ведь уже октябрь... Впрочем, — подумал он, — нормальной-то зимы здесь не бывает, это ж прямо Барбадос какой-то! А ведь именно там он одно время, между прочим, подумывал поселиться, хотя уж там жара, говорят, действительно убийственная, со здешней разве сравнишь. Но то было много лет назад, и все равно ему выпало остаться здесь, а в том направлении он не успел ступить ни шагу. Вдруг помер дядюшка, которого он и не встречал-то никогда, не говоря уже, что родственники по той линии его давно, вроде бы, сбросили со счетов, но нет: ему оказалось отписано наследство — сто двадцать акров земли (обычный дар правительства выслужившему пенсион приказчику Вест-Индской компании), и наследник мог ее в любой момент истребовать. Сто двадцать акров, да не в адовой жаре, а там, где, во всяком случае, есть четыре божеских сезона. Вот хоть сегодня: этот туман, эта жаркая, повсюду разлитая гудящая от гнуса влага нимало не подмочила в нем пороху. Несмотря на долгое плавание на трех разных судах по трем разным водным путям, сменившееся утомительной скачкой по старой индейской тропе, путешествию он от души радовался. С каждым вдохом воздух этой страны, пугающе и маняще новой, придавал ему свежих сил. Едва выйдя на берег из вод сонным золотом залитой бухты, он углубился в леса, нетронутые со времен Ноя, и увидел береговые пейзажи столь прекрасные, что на глаза наворачивались слезы, а уж дичи здесь — голыми руками бери! Фальшивые слухи, распространяемые Компанией о том, что всех сюда переселившихся будто бы незамедлительно ждет легкое обогащение, не удивляли его и с толку не сбивали. Его-то как раз трудности, приключения и влекли. Вся его жизнь была тесным переплетением рискованной борьбы с умиротворением. И вот же куда он попал — он, жалкий сирота, стал чуть ли не помещиком и делает теперь из ничего нечто, из подручной окружающей дикости строит благопристойное бытие. Ему даже нравилось, когда не знаешь, что ждет за поворотом дороги, кто вдруг откуда выскочит и с каким намерением. Соображал мгновенно, решительным моментам — в большом и малом — радовался; его вообще радовало, когда обстановка требует находчивости и быстроты действий. Покачиваясь в дурно выделанном и кое-как пошитом седле, головой не вертел, но краем глаза зорко наблюдал за тем, что происходит вокруг. В здешних местах он знал каждый камень — с тех милых времен его юности, когда эти края еще помнили владычество шведов, да и позже он сюда наведывался, уже агентом все той же Компании. И еще позже, когда бразды правления, отобрав у голландцев, снова прочно прибрали к рукам англичане. Как во время, так даже и после разгоревшейся повсюду грызни и дележки, смысла узнавать, кто в данный момент претендует на ту или иную местность, за кем числится тот или иной форпост, в общем-то, не было. Вдобавок к непостоянству некоторых туземных вождей (которым, если разобраться, все

здесь и принадлежало), часто не проходило и года, чтобы то та, то другая территория вдруг не потребовалась церкви, подконтрольной той или иной могущественной компании, или не перешла в частную собственность, превратившись в монарший дар сыну либо фавориту. Поскольку претенденты на землю непрестанно менялись, оставляя по себе память только в виде помет на купчей грамоте, чехарде названий городов и фортов Джекоб внимания не уделял, а то ведь в ней и впрямь черт ногу сломит: Форт-Оранж — Форт-Олбени — Форт-Фредерик — Бивервик; Форт-Амстердам — Нью-Амстердам — Нью-Йорк — Нью-Оранж и опять Нью-Йорк... Сам он географию проходил не по названиям, а ногами — следуя путями, ведущими из земель индейцев алгонкинов по реке Саскуэханне и Чесапикскому заливу во владения племен ленапе, причем начал давно, во времена, когда местные черепахи все как одна были старше тутошних городов. На парусном баркасе спускался по Южной реке в залив, на берег которого высаживался, отыскивал деревню, договаривался с индейцами, какой из троп держаться, и ехал дальше верхом, стараясь не наследить в их посевах маиса и с опаской минуя охотничьи угодья; всегда вежливо просил разрешения заходить в деревни — как в большие, так и совсем крохотные. В наперед известном месте поил лошадь и обходил опасные болотины, по краям поросшие сосной. Ориентировался по знакомому пригорку с дубовой рощицей, по брошенной берлоге, а то и по внезапно донесшемуся запаху смолы, ибо все это вещи не просто важные — без них вообще пропадешь. Пусть край дикий, пусть неустроенный, Джекоб всегда знал, в каком месте соснового мелколесья, после какого болота начнется наконец-то Мэриленд, ныне всецело принадлежащий королю.

По поводу хождений своих в эту крепкую, обручем единовластного правления схваченную провинцию он испытывал чувства разнородные и одно к другому притирающиеся со скрипом. За колонии, лежащие на побережье севернее и южнее, то и дело друг с другом спорили и дрались нации-претенденты, вследствие чего обычно и происходило очередное переименование, но перемены положения, при котором промыслы и ремесла там развивались только те, что требуются победившей нации, не происходило, зато в провинции Мэриленд разрешалось все, даже торговля с заграницей. А это для рядового колониста хорошо, для торговца еще лучше, а уж для посредника и финансиста лучше не придумаешь. Но до чего там все пропитано римским духом! Папежские священники напропалую разгуливают по городам, чуть не все площади которых уставили своими помпезными храмами, да и у каждой туземной деревни на задах — глядь, зловеще затаилась католическая миссия. Подмяли под себя все: законодательство, суды, ремесла... Источающие соблазн женщины в туфлях на высоком каблуке разъезжают в повозках, влекомых — кем бы вы думали? — десятилетними негритятами! Ложь, грязь, распущенность, коварство... Папежи — они папежи и есть. *Блудницу римскую отринь* — не так ли завещал нам сожженный в Смитфилде во времена королевы Марии преподобный Джон Рождерс? В сиротском приюте младшие дети всем классом заучивали по букварю его строки: *Из рук ее не пей! / Ее кощунственных святынь / Беги в душе своей.* Сие не значит, конечно, что с папежами нельзя торговать; довольно часто Джекобу даже удавалось брать над ними верх, тем более здесь, где табак и ра-

бы так друг с другом повенчаны, сцеплены столь неразрывно, что любая из валют неизбежно тянет за собой другую. То вспышка насилия, то внезапный повальный мор — и все в тоске и печали. Кроме заимодавца.

Но как ни трудно подчас скрывать презрение, его надо уметь отодвинуть в сторону. Прошлую сделку со здешним плантатором Джекоб совершал через кого-то из его работников, сидя на табурете в пивной. Теперь по неясной причине его пригласили — скорее даже вызвали — в господскую усадьбу под названием "Вольница". И чтоб какого-то торговца вдруг пригласили сюда отобедать с джентльменом? В воскресенье?! Да нет, у них точно что-то стряслось. В конце концов, шлепая комаров и послеживая за кишащими в грязи довольно крупными змеюками, одна из которых успела уже напугать лошадь, он приблизился к широким железным воротам виллы "Вольница" и направил в них Регину. О великолепии этой усадьбы он был наслышан, но все равно к тому, что открылось взору, оказался не готов. Медового цвета каменный дом был поистине сродни дворцам. Вдалеке справа, за обнимающей двор оградой, кованую решетку которой мягко скрадывал туман, маячили ряды хижин — стоят пустые, тихие. Все, видимо, в полях, — сообразил он, — борются с потерей урожая, которою чревата этакая сырость. Успокоительный аромат табачного листа галаадским бальзамом полнил окрестность, напоминая о пылающем очаге и разносящих эль улыбчивых женщинах. Дорожка вывела на небольшую кирпичную площадку, предваряющую величавый проем входа на веранду. Джекоб остановился. Откуда ни возьмись, явился мальчик, которому Джекоб, спрыгнув с лошади на затекшие ноги, вручил повод с напутствием:

— Напоить. Кормить не надо.

— Да, сэр, — с готовностью отозвался мальчик и, развернув кобылу, повел ее прочь, приговаривая: — Хорошая девочка, хорошая, хорошая...

Джекоб Ваарк поднялся на три кирпичные ступени, потом не выдержал, вернулся на площадку, чтобы с отдаления еще раз полюбоваться домом. По сторонам двери два широченных окна, в каждом переплет не менее чем на две дюжины стекол. На обширном втором этаже еще пять окон, отражающих солнце, бьющее сквозь туман. Такого дома он не видывал в жизни. Даже самые богатые из его знакомых не возводили каменных палат; строили из бревен и самое большее обшивали тесом, а такие колонны — великолепием под стать зданию парламента — никому и нужны-то не были. Вот это да! Богато! — подумал он. — Однако, если прикинуть, ничего сложного: в теплом климате такой дом построить нетрудно. Мягкое южное дерево, легкий в обработке камень, щели конопатить не надо — наоборот, все должно как можно лучше продуваться, морозов-то нет! Видимо, длинный коридор, по сторонам гостиные и покои... Подобные палаты соорудить здесь можно запросто, и житие в них получится благостное, но, боже, что за жара!

Он снял шляпу и рукавом вытер пот со лба. Затем, тронув пальцем намокший воротничок, снова взошел по ступеням и опробовал скребок для обуви. Не успел постучать, как дверь отворилась и показался маленький человечек, весь составленный из противоречий: одновременно старый и безвозрастный, почтительный и насмешливый, беловолосый и черный лицом.

— Добрый день, сэр.

— Меня ожидает господин д'Ортега. — Через голову старика Джекоб заглянул в помещение.

— Да, сэр. Вашу шляпу, сэр... Сеньор д'Ортега ждет вас. Благодарю вас, сэр. Пожалуйте сюда, сэр.

Тут послышался голос самого д'Ортеги и его шаги — громкие, стремительные.

— Очень вовремя! Заходите, Джекоб. Заходите. — Он жестом пригласил его в гостиную.

— Добрый день, сэр. Благодарствую, — отвечал Джекоб, дивясь про себя хозяйскому камзолу, шелковым чулкам и затейливому парику. На жаре этакая толстенная шапица должна бы причинять значительные неудобства, но кожа господина д'Ортеги оставалась сухой как пергамент, тогда как Джекоб продолжал обливаться потом. Состояние носового платка, вытащенного из кармана, смущало, как и сама необходимость к нему прибегнуть.

Сидя за небольшим столом, окруженным резными каменными идолами (хорошо хоть окна закрыты, не впускают снаружи парной, банный воздух), он прихлебывал слабенькое красное лавровое пиво и поддакивал хозяину — дескать, погода действительно... ах, перестаньте: что бы мне ни пришлось претерпеть добираясь, — это, как говорится, дело житейское. Покончив со вступлением, д'Ортега, не мешкая, взялся за опись своих затруднений. Произошло, видите ли, несчастье...

Несмотря на то что до Джекоба весть о случившемся докатиться уже успела, он продолжал вежливо и даже сочувственно внимать версии, излагаемой клиентом-должником. Корабль д'Ортеги месяц простоял на расстоянии морской мили от берега, со дня на день ожидая прихода судна, которое должно было восполнить утраченное. Утрачено было немало — от корабельной лихорадки вымерла треть груза. Потом магистрат лорда-владетеля провинции еще и штраф наложил в целых пять тысяч фунтов табака: тела бросали в воду слишком близко к дамбе. Мало того, приказано было всех достать (кого найдут, конечно), а потом сжечь или захоронить. Для этого использовали сети и багры, — пояснил д'Ортега, — причем на одну только закупку упомянутых орудий ушло два фунта и шесть шиллингов. Потом трупы погрузили на две подводы (еще шесть шиллингов) и вывезли в болото, ну а уж там, сами понимаете — аллигаторы и прочая живность дело довершат.

А попытался он уменьшить потери, отправив корабль на Барбадос? — подумал Джекоб. — Ни боже мой! Олух, упорный в заблуждениях как все католики, он еще месяц стоит на рейде, ждет из своего любимого Лижбоа мифический корабль, который будто бы привезет столько живого товара, что он опять сможет битком набить трюмы. За время ожидания корабль дает течь и тонет, так что владелец теряет не только судно, не только первоначальную треть, но и всех остальных (кроме моряков, конечно же, которые прикованы не были) — за исключением четверых уже ни к какой продаже не пригодных ангольцев с глазами, пылающими яростью. И теперь ему нужен новый кредит плюс полугодовая отсрочка в погашении старого.

Неловкость, которую испытывал Джекоб, превращала обед — и без того тоскливый — в мероприятие поистине невыносимое. Грубая одеж-

да простолюдина бросалась в глаза особенно явно рядом с вышитыми шелками и пышными плойчатыми воротниками хозяев. Пальцы, обычно такие ловкие, никак не хотели справляться со столовым серебром. А на руках так даже и следы крови енота остались! Затаенное негодование разрасталось. Такой сонный, такой заурядный день... К чему эта показуха ради единственного гостя, который по положению им не ровня? Все специально, — решил он. — Нарочно устроили представление, чтобы поразить его, заставить униженно пойти на поводу и принять планы д'Ортеги. Трапезу начали с молитвы (шептали на языке ему невнятном — по-латыни конечно), а перед и после молитвы медленно осенили себя крестным знамением. Несмотря на грязные руки и слипшиеся от пота волосы, Джекоб подавил раздражение и предпочел сосредоточиться на еде. Однако не на шутку разыгравшийся аппетит куда-то отступил: блюда были чересчур острыми и пряными — кроме соленых огурцов и редиски все оказалось засушено и пережарено. Вино (разбавленное и на его вкус чересчур сладкое) разочаровало, а уж застольная беседа тем паче. Сыновья хозяина хранили могильное молчание. Жена д'Ортеги, наоборот, стрекотала сорокой, осыпая его никчемными светскими учтивостями. Например, спросила: как вы там выживаете среди снегов? Вклиниваясь с суждениями и вовсе противными здравому смыслу, запросто, не стесняясь мужчин, излагала свои политические воззрения. Возможно, виной тому был акцент хозяев, их ограниченное владение его родным английским, но Джекобу казалось, будто ничто в тягучем разговоре не имеет ни малейшего касательства к реальной жизни. Оба без конца твердили о бремени невероятной, тяжелейшей ответственности, которую возложила на их плечи эта дикая страна; о своей неразрывной связи с делом Божественного провидения и о трудностях, которые они преодолевают во имя Господа. Уже за одно то, — округляла глаза жена д'Ортеги, — как нам приходится лечить ленивых дикарей и заставлять их трудиться, нас давно пора канонизировать.

— А что, мадам, часто болеют? — спросил Джекоб.

— Да нет, больше притворяются, — ответствовала хозяйка. — Мерзавцы все как один. В Португалии им бы такое с рук не сошло.

— Они из Португалии? — удивился Джекоб. А про себя подумал: неужто кухарка не понимает по-английски? Или ее бранят исключительно на португальском?

— Ну, Ангола ведь часть Португалии, — подал голос д'Ортега. — Чудесная, ласковая страна.

— Португалия?

— Ангола. Но Португалия, разумеется, выше всяких сравнений.

— Мы прожили там четыре года, — присовокупила сеньора.

— В Португалии?

— В Анголе. Но детишки наши, прошу заметить, родились не там.

— Стало быть, в Португалии?

— Да нет. В Мэриленде.

— А, то есть в Англии!

Как выяснилось, д'Ортега был третьим сыном скотовода, на родине никаких надежд у него не намечалось. Уехал в Анголу, главный для Португалии источник снабжения рабами, и подвизался на отправке их в Бразилию, но обнаружил, что снискать богатство, по всей вероятности,

будет быстрее и легче, отъехав еще дальше за рубеж. Пас одни стада, стал пасти другие, и переход от одних к другим оказался столь же несложен, сколь баснословно выгоден. До поры до времени, — подумал Джекоб. На новом месте д'Ортега последнее время не очень-то преуспевал, однако не сомневался, что постепенно его дела поправятся, в чем застольная беседа и должна была убедить гостя.

У них с женой было шестеро детей; двоим возраст позволял обедать со взрослыми. Мальчики (один тринадцати, другой четырнадцати лет) бессловесно восседали в таких же париках, как у отца, словно присутствуют на официальном приеме или слушают дело в суде. Тут Джекоб поймал себя на том, что злобствует в данном случае не в меру и невпопад, а единственно оттого, что сам потомства не имеет — и даже не только сыновей, а вообще. Теперь, когда дочь Патриция последовала за умершими братьями, нет никого, кто мог бы унаследовать плоды его трудов, пусть нынче скромные, но в будущем обещающие набрать весу. В приюте его научили давить зависть в зародыше, и Джекоб нашел себе иное развлечение — выискивать изъяны брачного союза хозяев. Казалось, они друг дружке хорошо подходят: пустые и сластолюбивые, больше гордятся оловянной столовой утварью и фарфором, нежели сыновьями. Понятно, отчего д'Ортега увяз в долгах. Всю прибыль тратит на побрякушки, расходов не соразмеряет; отсюда шелковые чулки, в пух и прах разодетая жена, горящие среди бела дня свечи; таким манером временный неуспех — будь то затонувший корабль или погибший урожай — легко превратить в постоянный. Наблюдая за четой хозяев, Джекоб заметил, что муж и жена ни разу друг на друга даже не посмотрят, разве что искоса, украдкой, когда другой глядит в сторону. Что означают эти быстрые уколы взглядами исподтишка, он, конечно же, знать не мог, но, давясь несъедобной едой и мучась от невразумительного разговора, забавлялся тем, что воображал худшее. Они не улыбались, а ухмылялись; не смеялись — хихикали. Он представлял себе, как жестоки они со слугами и как лебезят перед священником. В начале обеда очень смущался из-за неизбежных следствий долгого пути — заляпанных глиной сапог, нечистых рук, запаха пота, — но потом неловкость отступила, ее напрочь вытеснили напудренное лицо миссис д'Ортега и густой, тяжелый аромат ее духов. Единственной, если можно так сказать, отдушиной была пахнущая чесночком кухарка, подававшая к столу.

Изредка оказываясь в компании толстосумов с их женами, которые сами меняют наряды ежедневно, а слуг одевают в дерюгу, он вновь и вновь убеждался в том, какой алмаз его Ребекка. Едва увидев, как его будущая невеста, нагруженная постелью, двумя коробами и тяжелым саквояжем, неуклюже спускается по сходням с корабля, он понял, что вытащил счастливый билет. Он бы с готовностью принял и мешок костей или вовсе какую-нибудь страхолюдину — то есть даже ожидал что-нибудь в этом роде: девица, не обиженная внешностью, небось и никуда не уезжая, сто раз сумеет выйти замуж. Однако молодка, отозвавшаяся, когда он выкрикнул в толпе ее имя, оказалась пухленькой, миловидной и, похоже, работящей. Значит, не зря он столько недель потратил на поиски, которые пришлось вести, во-первых, потому, что для вступления в наследство требовалось быть женатым, а во-вторых, ему в любом случае нужна была пара — не чересчур набожная женщина детородного

возраста, послушная без униженности, грамотная, но чтоб не шибко, без кичливости; независимая, но при этом заботливая. А вот сварливую он бы не принял. Ребекка подошла ему идеально — смотри, как верно описал ее тот моряк, помощник капитана, ни в чем не обманул! Ни тени строптивости. Никогда не осерчает, не повысит голос. В лепешку для него готова расшибиться, а как она готовит, как печет! Да и в огороде на тяжкие, к тому же непривычные для себя труды так и набросилась — с душой, с выдумкой, веселая как пташка. Н-да, веселая. Была. Потеряв трех подряд детей, умерших во младенчестве, а потом пережив трагедию с Патрицией, их пятилетней малышкой, будешь тут веселой! И бдения на лугу у маленьких могилок не помогают: будто пеплом невидимым вся подернулась — не смоешь его слезами-то, не сотрешь. Но не жалуется, работает по-прежнему. В домашние хлопоты даже еще и с большим рвением окунулась, а когда Джекоб уезжает по делам, как, например, сейчас — с кем-то о чем-то договориться, кому-то дать в долг, с кого-то получить, — он может не сомневаться: дома все будет в лучшем виде. Ребекка с двумя ее помощницами надежна, как ход небесных сфер, и устойчива, как каменная насыпь. Потом, опять-таки, здоровье и возраст пока еще на их стороне. Он уверен: у них еще будут дети, и хоть один — лучше бы мальчик — выживет и преуспеет.

Десерт (пюре из яблок с орехами) оказался получше, так что, когда д'Ортега в принудительном порядке потащил гостя осматривать имение, настроение у того несколько поднялось, позволив ему уже непредвзято восхищаться. Туман рассеялся, и погода давала теперь возможность в деталях оценить качество постройки и состояние телег, табачных сушилен и бочек (в идеальном порядке аккуратно составленных штабелями), ледника для мяса, доильных клетей, прачечной и кухни. Все надворные строения, за исключением кухни, обмазаны глиной и побелены. Размерами чуть поменьше хижин для рабов, зато куда лучше по состоянию и отделке. Существа вопроса, то есть того, зачем, собственно, была условлена эта встреча, разговор все еще не касался. Пока что д'Ортега лишь красочно и подробно описал напасти и несгодья, лишающие его возможности должным образом расплатиться. Но как он собирается возместить кредитору недоплаченное — это все еще не оглашалось. Впрочем, представшие взгляду Джекоба испятнанные, поеденные жучком табачные листья не оставляли сомнений в том, что́ предложит д'Ортега. Рабов, что же еще.

Джекоб стал отнекиваться. Ферма у него скромная, а торговля добавочных рук не требует. Ему людей и селить-то негде, да и занять нечем.

— Да ну, смешно! — отозвался на это д'Ортега. — Их же продать можно! Вы что, не знаете, почем они на рынке?

Джекоб поморщился. Живой товар не по его части.

Все же по настоянию хозяина потащился за ним следом к низеньким навесам, где работники предавались дневному отдыху, который д'Ортега прервал, приказав им (их там дюжины две собралось, не меньше) выстроиться в шеренгу. В ней оказался и мальчик — тот, что поил Регину. Вдвоем пошли вдоль ряда, стали смотреть. Д'Ортега рассказывал об их дарованиях, сильных и слабых сторонах, однако насчет шрамов и струпьев, которые подобно набухшим венам исполосовали у многих кожу, помалкивал. У одного на лице даже выжжено тавро — так по

местным законам полагалось клеймить раба, который вторично поднял руку на белого. Женщины смотрели холодно, обратив взгляды куда-то в иные времена и пределы, как будто их тут и вовсе нет. Мужчины уставились в землю. Лишь изредка, улучив момент, когда, как им казалось, на них не смотрят, постреливали глазами — искоса, хмуро, но, главное, изучающе, и Джекоб понял: они со своей стороны оценивают людей, которые оценивают их.

Внезапно Джекоб почувствовал в желудке что-то странное. Табачный запах, который, когда он приехал, был таким приятным, теперь вызывал тошноту. Или это как-то связано со сладким рисом, с жареной, моченной в патоке свининой? А может, виновато какао — диковинный напиток, которым так гордилась мадам д'Ортега? Что бы то ни было, он больше не способен оставаться здесь в окружении толпы рабов, чье молчание действует как обвал, увиденный издали. Когда при полной тишине ты знаешь, какой там стоит рев, хотя и не можешь его услышать. Пошли, пошли отсюда, — взмолился он, сказав, что предложенное для него неприемлемо: слишком много мороки — их надо куда-то везти, как-то при этом с ними справляться, выставлять на торги... Ведь чем ему его работа нравится? — тем, что он один, ни с кем не связан, сам себе голова и зависит только от собственной сноровки. Деньги, аккредитивы, купчие — все это почти ничего не весит. И умещается в седельной суме.

К дому возвращались через боковую калитку в узорчатой кованой изгороди. По пути д'Ортега все уговаривал. Какие торги? Да он их сам продаст! Вы что предпочитаете — фунты? Испанские соверены? Он и вывоз обеспечит, и надсмотрщика наймет...

Борясь со спазмами в желудке, Джекоб злился. Вот влип! — думал он. Если сейчас с этим не разберусь, затевать тяжбу будет бесполезно: в провинции, где всем заправляют королевские судьи, ничуть не расположенные решать дело в пользу захожего торговца в ущерб местному католику и джентльмену, мой иск на годы ляжет под сукно. Потеря, правда, не слишком-то и велика, но непростительна. А главное, кому поддался! То, как д'Ортега пыжится, показывая свои владения, — это же просто мерзко! Да у него одна физиономия чего стоит: линия подбородка и вялые веки намекают на изнеженность и мягкотелость; сразу ясно, что рукам, привычным лишь к вожжам, хлысту да кружеву, никогда не приходилось сжимать рукояти плуга, не случалось валить дерево топором. Что-то в нем есть даже не просто католическое — нет, хуже: что-то по-настоящему гнусное и гнилое. И как теперь, спрашивается, поступить? За то, что оказался в невыигрышной позиции, Джекоб так себя казнил, словно совершил нечто недостойное, запятнал честь семьи. Не удивительно, что в метрополии давно выкинули папежей из парламента; да он и сам, хотя и не сторонник охоты на них как на врагов и вредителей, иначе чем по денежному делу никогда бы не стал с ними якшаться или даже раскланиваться — ни с малыми из их числа, ни с великими. Едва слушая болтовню д'Ортеги (прямо, по-человечески ничего ведь не скажет, все с какими-то увертками, лжет, лукавит!), Джекоб шел мимо кухни и в дверях ее увидел женщину с двумя детьми. Один пристроился на бедре, другая, прячась за юбками, выглядывала из-за спины. На вид, вроде, ничего тетка, крепенькая, в теле, не то, что некоторые тут. Вдруг, сам того не ожидая, в основном чтобы прекратить словесный по-

нос д'Ортеги (к тому же в полной уверенности, что тот откажет), Джекоб и говорит:

— Вот. Ее! Возьму вот эту.

Поперхнувшись на полуслове, д'Ортега умолк, и лицо его стало растерянным.

— О, нет! Эту никак нельзя. Жена не позволит. Она без нее жить не может. Это же главная наша повариха, самая лучшая!

Джекоб подошел к ней ближе и, уловив все тот же отдающий чесночком здоровый дух, подумал: уж не теряет ли д'Ортега в ее лице и нечто большее, не только кухарку?

— Вы сказали: брать любого. Вот я и выбрал. Если ваше слово ничего не значит, тогда остается только в суд...

Д'Ортега поднял бровь. Одну. Так, будто на ее арке зиждется вся мощь империи. Джекоб понимал, как трудно ему смириться с угрозой, столь дерзко высказанной тем, кто по положению ему не ровня, но д'Ортега помолчал, подумал и решил обуздать себя. Надо было побыстрее с этим делом покончить, и он предпочел держаться избранной линии.

— Все так, — сказал д'Ортега, — но есть и другие женщины. Их много. Вы видели. А эта еще и кормящая.

— Тогда остается в суд, — проговорил Джекоб.

Д'Ортега улыбнулся. В суде он наверняка дело выиграет, да и время, пока будет длиться тяжба, опять же ему на пользу.

— Вот ведь чудак! — пожал плечами он.

Но отступать Джекоб не пожелал.

— Что ж, может быть с новым кредитором у вас отношения сложатся лучше, — сказал он и по тому, как взыграли ноздри противника, понял, что попал в цель. Д'Ортега приобрел уже славу неплательщика, так что далеко бы ему пришлось ехать, чтобы найти, кто даст кредит, — в Мэриленде уж он и друзей порастерял, и местные заимодавцы все до единого ему отказывают в том, что неизбежно потом придется списывать в разряд потерь. В воздухе повисла напряженность.

— Вы, кажется, не ущ кюрошо понимаете, что предлагают. Я долг отдать не уклоняущ. Я чту его. Но ведь цена муштрованной рабыни отменно высока!

— А если мне от них толку нет?

— Как это толку нет? Продайте!

— Я занимаюсь недвижимостью и золотом, сэр, — приосанился Джекоб Ваарк, весь такой из себя купец, почти эсквайр и практически помещик. И уже не сдерживаясь, добавил: — Но я понимаю, как трудно папежу соблюдать кое в чем воздержанность.

Не слишком это я туманно? — подумал Джекоб, но нет, д'Ортега его явно понял: вот — уже шарит рукой у бедра. Джекоб проследил глазами за движением унизанных перстнями пальцев, щупающих ножны. Неужели мог бы? Неужто этот обалдуй, этот заносчивый фат и впрямь способен броситься на кредитора, убить его и, ссылаясь на самозащиту, уйти от наказания, избавившись и от долга, и от общественного гонения, хотя это будет означать окончательную финансовую катастрофу? Да ну, куда ему: кошелек у него пуст, однако и ножны тоже. Изнеженные пальцы еще посуетились, не находя рукояти. Джекоб поднял взгляд и посмо-

трел д'Ортеге прямо в глаза, в которых увидел страх – трусит, трусит перед мужиком безоружный дворянчик! В этой глуши он живет под охраной наемной стражи, но нынче воскресенье, и никого поблизости не видно. Курам на смех. Где еще, как не в этой дикой стране возможно подобное противостояние? Где еще личная храбрость важнее положения и ранга? Джекоб отвернулся, видом незащищенной спины выражая презрение. Странное дело! Поверх презрения накатила пьянящая волна веселого куража. Ощутил в себе силу. Твердость. Внутри себя из осторожного негоцианта вдруг превратился снова в хулиганистого мальчишку, каким бродил когда-то по городам и весям. Проходя мимо кухонной пристройки, при взгляде на стоящую в дверях чернокожую женщину не попытался даже приглушить смешок.

Тут-то из-за спины матери и выступила девочка, обутая в дамские не по размеру большие туфли. Возможно, как раз это чувство вседозволенности, вновь обретенного дерзостного безрассудства и побудило его рассмеяться при виде тоненьких птичьих ножек, торчащих из разбитых и стоптанных башмаков, – громко, во всю глотку. Что за дурацкая, пустопорожняя комедия весь этот визит! Он еще не отсмеялся, когда женщина с прилепившимся на бедре младенцем сделала шаг вперед. Ее голос прозвучал не громче шепота, но в настоятельности мольбы не могло быть сомнений.

– Пожалуйста, сеньор. Меня не надо. Ее возьмите. Возьмите мою дочь.

С ног дочери Джекоб, все еще смеясь, перевел взгляд на мать и был поражен тем, какой у нее в глазах застыл ужас. Его смех увял, он стоял, качал головой и думал: "Святый Боже, помоги мне справиться с этим подлейшим делом!"

– А, ну конечно! Разумеется, – подал голос д'Ортега, сумев стряхнуть замешательство и пытаясь восстановить поруганное достоинство. – Я отошлю ее к вам. Незамедлительно. – Он расширил глаза, словно подтверждая этим снисходительную улыбку, которой, впрочем, скрыть все еще владеющее им возмущение не получилось.

– Я же сказал, и я от слова не отступаю, – ответил Джекоб, которому не терпелось поскорее от этого недочеловека отделаться. Но тут он подумал, что ведь Ребекке, пожалуй, не помешал бы при доме как раз вот такой ребенок. Эта девочка, шаркающая жуткими огромными туфлищами, примерно тех же лет, что была Патриция, а если ее тоже лягнет в голову кобыла, то эта утрата для Ребекки будет не так тяжела.

– Здесь по соседству есть священник, – продолжил д'Ортега. – Я попрошу, и он отвезет ее к вам. Посажу их на шкуну, и – пожалуйста, встречайте в любом порту по вашему выбору.

– Нет. Я сказал – нет.

Вдруг пахнущая чесноком женщина опустилась на колени и закрыла глаза.

Написали расписки. Не оспаривая того, что девочка стоит двадцать пиастров, – конечно, ведь ей сколько лет еще служить! – в конце концов сумму оставшегося долга скостили, сойдясь на трех хогсхедах табака (то есть больших, каждая весом чуть не в полтонны, бочках) или пятнадцати английских фунтах, но лучше все-таки деньгами. Напряжение спало – видно было, как помягчело лицо д'Ортеги. В нетерпении (хоте-

лось поскорей убраться и на свободе насладиться радостью разрешения кляузного дела) Джекоб наскоро простился с мадам д'Ортега, двумя ее отпрысками и их отцом. На узенькой дорожке, ведущей к воротам, снова развернул Регину, махнул рукой чете хозяев и опять, сам того не желая, позавидовал: какой дом! А чего стоит изгородь! А ворота!

Впервые в жизни он не хитрил, не льстил, не строил козней, но разговаривал с богатым дворянином на равных. И осознал (хотя и не впервые), что только в имуществе, а не в генеалогии, не в породе меж ними разница. Так разве не вельми ласкательно и у себя такую ж городьбу иметь, остенить ею собственного имения краеугольные камни? А однажды — да ведь, поди, не так уж и нескоро — возвести и на своей поляне такие же палаты. Как раз на задах участка есть пригожий взгорок — и на холмы оттуда вид куда краше нынешнего, и на долину речки. Витиеватая роскошь, как у д'Ортеги, нам ни к чему, оно конечно. Его языческим излишествам подражать не будем, но сделаем все как надо. И будет чисто, четко, даже благородно, потому что не проглянет нигде изначальная подлость, как в "Вольнице". Праздную жизнь д'Ортеге обеспечивает лишь безграничный доступ к даровой рабочей силе. Не используй он сонмищ порабощенных ангольцев — был бы не просто должником, как сейчас. Куда там! Ел бы из собственной ладошки, а не с серебра и фарфора, и спал бы в Африке под кустом, а не в кровати под балдахином. Джекобу претило богатство, основу которого составляет подневольный труд, да к нему ведь подавай вдобавок еще и наемную стражу! Как бы ни был он мало набожен, но остатки протестантизма заставляли его к плеткам, цепям и вооруженным надсмотрщикам испытывать отвращение. Он был полон решимости доказать, что собственными усердными трудами можно разбогатеть и добиться положения в обществе не хуже чем у д'Ортеги, при этом не разменивая на звонкую монету честь и совесть.

Похлопав Регину по холке, Джекоб понудил ее ускорить шаг. Солнце стояло низко, повеяло прохладой. Он торопился: следовало засветло вернуться на виргинский берег в таверну Пёрси, чтобы выспаться в кровати — если все не окажутся заняты, а то ведь там на них, бывает, спят и по трое. В этом случае придется вместе с другими запоздалыми постояльцами искать место на лавке или прямо на полу. Но первым делом надо будет хватануть кружечку-другую эля — это обязательно: чтобы его чистое, горькое послевкусие смыло сладковатый гнилостный привкус порока и порченого табака, отдушкой которого словно весь язык обложен.

Регину Джекоб возвратил в конюшню, расплатился и зашагал к таверне Пёрси, стоявшей ближе к берегу. По пути увидел, что какой-то человек избивает лошадь, у той даже подкосились колени. Собрался на него прикрикнуть, но тут набежали лихие матросы и оттащили мерзавца, самого́ хорошенько сунув мордой в грязь. Мало что злило Джекоба более, чем жестокое обращение с домашними животными. Против чего восстали моряки, неизвестно, но в нем ярость пробудило не только то, что лошади причиняли боль, но более всего ее беспомощность, немая мольба о пощаде, застывшая в глазах.

По случаю воскресенья постоялый двор Пёрси был закрыт — как он только забыл об этом! — и пришлось ему направиться в заведение, от-

крытое постоянно. Оно конечно — нелегальная корчма, жалкий притон для забубенной голытьбы, но кормят там обильно, и мяса с душком не подают. Ему как раз несли вторую кружку, и тут явились музыканты — скрипач с волынщиком, — пришедшие и поразвлечься, и денег заработать. Пусть Джекоб сам сыграл бы этому волынщику на зависть, но все равно возвеселился духом и вместе со всеми запел:

Мне, руки сложа, отдыхать не с руки:
Дорога поманит с утра.
Конечно, не рай здесь, как мы, дураки,
Поверили было вчера,
Но!
Но верный мушкет и надежный палаш
Скитальцу помогут всегда,
Да!
А в крепость придешь да покрепче поддашь —
Отступит любая беда!

Когда вошли две девки, мужики с хмельной радостью принялись громко выкликать их по именам. Прежде чем выбрать, к кому на колени плюхнуться, гулящие послонялись — эк ведь, выгадчивые! Одна сунулась к Джекобу, тот отстранил ее. Ему довольно: в былые годы он свое отбегал по всяческим борделям и срамным домам, в которых принимали жены ушедших в долгое плавание мореходцев. Мальчишеское безрассудство, охватившее его на плантации "Вольница", не простиралось настолько, чтобы, как в юности, без зазрения совести пуститься в разгул.

Сидя за столом, запакощенным остатками пищи тех, кто здесь уже отобедал, Джекоб прислушивался к разговорам, которые вращались в основном вокруг сахара или — что то же самое — рома. По цене и спросу ром уже начал обгонять табак, которого напроизводили столько, что рынок по швам трещит. Какой-то ражий детина, с зеленым змием, похоже, крепко повязанный (знал про него все — от несложной механики производства до жутких цен и благотворного воздействия), проповедовал как с амвона, вещал, непререкаемый, будто посланец лорда-владетеля.

Здоровенный, с рябым лицом, он производил впечатление человека, много кое-где побывавшего — особенно прищуром глаз, которые явно не привыкли рассматривать мелочи, лежащие чересчур близко. Звали его Даунз. Питер Даунз. Он подозвал негритенка, тот убежал и возвратился с шестью высокими глиняными кружками, держа за ручки по три в каждой руке. Поставил на стол. Пять его собеседников их расхватали и быстро выхлестали. Даунз свою тоже поднял, отхлебнул, но первую порцию глотать не стал, выплюнул на пол, пояснив приятелям, что это единокупно и жертва, и защита от всякого яда — что острого, что одурно́го.

— Это как это? — удивился кто-то из них. — Отрава может и на дне таиться!

— Никогда! — как отрезал Даунз. — Яд — он вроде утопленника: всегда всплывет!

Пока вокруг хохотали, Джекоб подсел к компании и стал слушать, зачарованный байками Даунза, который — к особенному, надо сказать, удовольствию присутствующих — повествовал о том, что на Барбадосе женщины ходят голыми, и уморительно показывал руками, как при этом в зависимости от размера по-разному колышутся их груди.

— Когда-то я и сам подумывал о том, чтобы туда переместиться, — сказал Джекоб. — Помимо грудей там, вообще-то, как?

— Да как с блядью. Соблазнился — сдохнешь, — ответствовал Даунз.

— В каком смысле?

Даунз вытер губы рукавом.

— В таком, что в тех краях все цветет пышным цветом, кроме человечьей жизни. Жизнь на Барбадосе погана и коротка. Полгода, полтора и... — он изобразил рукой прощальный взмах.

— Кому же тогда там работать? Представляю, какие у них нелады с работниками!

Джекоб имел в виду контраст между постоянством упорядоченного труда в имении д'Ортеги и нехваткой рук на сахарной плантации.

— Да никаких, — усмехнулся Даунз. — Рабочую силу просто завозят новую. Как дрова взамен сожженных. Притом, не забывай — они ведь еще и рожают! Там просто бешеное кишение мулатов, креолов, метисов, замбо, каких-то чино-латино и прочих дворняг и ублюдков. — Перечисляя виды барбадосских полукровок, он загибал пальцы левой руки ребром ладони правой.

— Однако это весьма рискованно, не так ли? — возразил Джекоб. — Я слышал, бывает, целые селения вымирают от дурного поветрия. Что будет, если источник рабочей силы иссякнет и станет некого завозить?

— Да прямо он иссякнет! Там их — ого! — Даунз развел руками, словно пытаясь охватить корпус судна. — Причем африканцы заинтересованы в продаже рабов голландцам не меньше, чем английские плантаторы в их покупке. Главное, ром давай, и даже все равно, через кого торговля. Законы? Какие, на хрен, законы? Слушай, — продолжил он, — в колонии залива Массачусетс попробовали было принять закон против торговли ромом — куда там! Продажи не уменьшились ни на чекушку. В северные колонии патока по-прежнему прет валом. Доход от этого надежнее, чем от мехов, табака, леса — от чего угодно, кроме, разве что, золота. Пока хватает то́плива, котлы кипят и деньги капают. На дьявольское зелье сахара всегда будет мало. Там дела на восемь жизней хватит.

— Все так, — скривился Джекоб, — но это грязное дело. И нелегкое.

— Это кому как. Пушного зверя надо выследить, добыть, ободрать, да еще, не ровен час, с какими-нибудь индейцами за право охоты схватиться. Табак, опять-таки, сперва вырасти, собери, высуши, упакуй, да в перевозке не попорть, но главное — время и без конца все новая почва. А сахар? То бишь, ром. Растет себе тростник и растет. Его даже и не остановишь, и почва никогда не истощается. Только срезай, жми сок, выпаривай и грузи на корабль. — В подтверждение своих слов Даунз хлопнул ладонями по столу.

— Да ну! Так просто?

— Примерно так. Но дело не в том. Главное — нет риска для вложений. Никакого. Вообще. Никаких неурожаев. Никаких тебе неурядиц с

исчезновением лисиц или бобров. Опять же, войны не мешают. Тростник — культура изобильная и вечная. Рабы — то же самое. Покупатели? В очереди стоят. Качество продукта? Божественное! За месяц, пока товар идет от стеблерезки до потребителя в Бостоне, пятьдесят монет превращаются в двести пятьдесят. Это же — вдумайся! Каждый божий месяц вложения упятеряются. Даже и не сомневайся!

Джекоб не мог не улыбнуться. Узнал повадку — ловчила посредник, прикидывающийся непредвзятым советчиком, который всем затыкает рот всегда одним и тем же: чудак, разбогатеешь ведь! причем сразу! По одежде Даунза и его явному нежеланию много тратить на выпивку, Джекоб заподозрил, что легкие прибыли, которые он с таким смаком описывает, в его карман почему-то не попали.

Тем не менее решил при случае этой темой поинтересоваться.

Не торопясь, отведал устриц, потом телятины, но тем лишь раззадорил аппетит. На второе съел голубя с зеленью и жирным пудингом, а почувствовав, что силы возвращаются, истребовал себе койку, причем в единоличное пользование (чтоб без непрошенных соседей), засим вышел во двор, думая о том, какой был, в сущности, нелепый день. Ведь все-таки обнизили: заставили принять вместо денег девку! А больше он от д'Ортеги ни фартинга не дождется, это ясно. Когда-нибудь — да уже и скоро, поди, — Стюарты ко всеобщему облегчению утратят трон, и править станут протестанты. Тогда можно будет надеяться на благоприятное решение по его иску к д'Ортеге, и уже никто не сможет принудить его вместо части причитающейся платы брать в собственность рабов. Нет-нет, он не забыл, как оправдывал себя отчасти тем, что Ребекка с радостью за эту девчонку схватится, но где истина, а где самообман — темна вода в облацех. По опыту собственного детства он знал, что беспризорнику — будь то ребенок или щенок — в этом мире нет места, если не попадется ему, по счастью, великодушный незнакомец. Детей отдают, меняют на товар, сдают в ученичество, продают, обольщают, заманивают куском хлеба, заставляют отрабатывать кров, а то и крадут, но даже в этом случае под водительством взрослого шансов выжить больше. Пусть даже такой ребенок для родителя или хозяина значит меньше какой-нибудь телки-летошницы, но без опеки взрослых он куда скорее замерзнет насмерть на паперти, всплывет лицом вниз в канале или будет вынесен волнами на берег или отмель. Насчет своего сиротства Джекоб всякой жалобности чурался, хотя многие годы провел среди детей всех цветов кожи, воруя вместе с ними еду и мелкими услугами ища подачек. Про мать слышал, что она была девушка из простых и померла родами. Отец, портом приписки имевший Амстердам, оставил ему лишь фамилию, да и то дерзостно иностранную, всякого неодолимо побуждающую дразниться. Обида англичан на то, как посрамили их голландцы, сквозила во всем — весь его срок пребывания в работном доме был этим отмечен, пока по счастливой случайности его не взяли на выучку в адвокатскую контору. Там приветствовалась грамотность, и в конце концов его приняли на службу в Компанию. Полученная по наследству земля умерила невзгоды, на которые обрекало темное происхождение вкупе с бедностью. Но до сих пор бродяжки и сироты вызывали у него острую жалость: слишком легко он ставил себя на их место, видя печальные их стайки на рынках, задворках, в переулках и порто-

вых закутах всех тех городов, куда его бросала судьба. Однажды уже был случай, когда, поставленный перед выбором, он решил спасти ничейное, невесть откуда взявшееся дитя. Пару лет назад знакомый владелец лесопилки изъявил желание сбыть с рук угрюмую курчавенькую девчушку, которую нашел полумертвой на речном берегу. Джекоб согласился — с условием, что тот не возьмет с него денег за купленный лес. Но тогда на ферме и впрямь требовались руки. Ребекка ходила на сносях, кроме Патриции предыдущие дети не выжили.

На ферме из ста акров земель было распахано шестьдесят, а двадцать акров его леса лежали в семи милях от поселка пуритан-сепаратистов[1]. Прежде чем ему достаться, земельный надел много лет пропадал втуне; голландцы, когда-то во множестве обитавшие в окрестностях, разбежались (кроме самых сильных и богатых, разумеется) — кто ушел сам, кого выгнали англичане, — и с тех пор землю Ваарка окружало безлюдье, если не считать соседей сепаратистов. Поселившись там, Джекоб вскоре узнал, что здешние пуритане разошлись с единоверцами в трактовке Спасения, а именно: коснется ли оно лишь избранных или будет всеобщим. Его соседи считали, что спасутся избранные, и ушли с берегов в леса — подальше от торговцев пушниной с их лабазами и битвами вокруг. Когда Джекоб, мелкий агент Компании, между делом приторговывавший и пушниной, и лесом, вдруг сделался владельцем недвижимости, он возмечтал стать независимым земледельцем, крепким фермером. С тех пор так и гнул свою линию. Делал, что должно: нашел себе жену, завел для нее помощницу, пахал, строил, производил потомство... Все это в дополнение к другой своей жизни, торговой: иначе пришлось бы тянуть лямку крестьянской оседлости и общаться исключительно с людьми, чьи религиозные воззрения повергают его в оторопь, хотя, конечно, расстояние в семь миль несколько приглушало нестерпимые для слуха отзвуки их бесноверия. Владея землей, он оставался человеком странствующим и хорошо сознавал, что было бы неразумно на время долгих отсутствий оставлять имение на произвол работников мужеского пола. В своем предпочтении работниц-женщин перед плутоватыми мужиками он основывался на собственном опыте, набранном за годы юности. Частые отлучки хозяина это искушение и соблазн — сбежать, ссильничать, ограбить. В качестве временных помощников иногда использовал двоих мужчин, но те опасности не представляли вовсе. А женщины, да в надлежащей обстановке — о, им самой природой уготовано служить началом всяческой надежности. На появление странно обутой девчонки, которую отлучила от себя мать, он смотрел так же, как когда-то на обретение курчавенькой дурочки — той, кого они потом прозвали Горемыкой. Поселение у себя обеих было в каком-то смысле актом милосердия. Одну только Лину он действитель-

1. Англиканство отпочковалось от католицизма в начале XVI в. Раскольники, называвшие себя пуританами, отрицали церковную власть как таковую, а также любые религиозные писания, кроме собственно Библии. Они также отвергли литургию, распятия, алтари, воскурения и молитвенники. Пуританский раскол делился на три ветви — это, во-первых, *пресвитериане*, пытавшиеся очистить церковь изнутри, но признававшие власть Церкви Английской, во-вторых, *пуритане-конгрегационисты*, признававшие власть над собой лишь местной церкви, и, в-третьих, *пуритане-сепаратисты*, церковных властей не признававшие вообще, диаконов и пасторов избиравшие из своей среды и требовавшие у них отчета. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

но купил — обдуманно и специально, но Лина взрослая женщина, не ребенок.

Дыша теплым ночным воздухом, он шел и шел, стараясь отойти как можно дальше, пока огни таверны не замерцали во тьме, как слабенькие блики самоцветов, а пьяные возгласы не стихли, уступив шелковистому шуршанью прибоя. Совершенно позабыв об утренней огненной мгле, небо украсилось по всему своему темному, как круп Регины, холсту холодными блестками звезд. Полюбовавшись их мельтешением на волнах, Джекоб наклонился и окунул в воду руки. Песок тек у него меж пальцев, мелкая рябь окружила запястья, подмочив обшлага рукавов. Понемногу обрывки дневных неурядиц смывались, исчез и след крови енота. Назад к постоялому двору шел легко. Ни тебе жары (что естественно), ни тумана — ни золотого, ни серого. Кстати, и план в голове кой-какой забрезжил. Признавая за собой недостаточную способность к роли земледельца (уединенное сидение на месте и каждодневная рутина так скучны!), он находил, что коммерция ему сподручнее. А теперь он так и сяк примеривался к идее предприятия куда как превосходнейшего. Идея была сладка как сахар, лежащий в ее основе. Рабы, так неприятно поразившие его в "Вольнице", и отвлеченное понятие рабочей силы, применяемой на Барбадосе, — это ведь не одно и то же. Верно? Верно, — подумал он, глядя на небо в мелкой денежной россыпи звезд, — так и запишем. Стало быть, серебро, повсюду вокруг разбросанное, не столь уж и недостижимо. Растекшаяся по небу млечная река с искрящимися серебром берегами только его и ждет — припади и пей.

Проклятая жара все же и ночью мучила, сосед по кровати ворочался и метался, но выспаться Джекоб тем не менее сумел. Возможно, помогали сны, в которых виделись чудные просторные палаты, выступающие из тумана на холме.

С тех пор как ты ушел, не простившись, минуло лето, потом осень, а когда стала отступать зима, хвороба явилась опять. Но напала не на Горемыку, как уже было, а на Хозяина. Когда он в этот раз вернулся, он стал будто другой, медлительный и угрюмый. На Хозяйку огрызался. Потел и беспрестанно требовал яблочного сидра, но тогда никто еще не думал, что красноватые пупырушки — это окажется давешняя болезнь Горемыки. Ночью блевал, днем ругался. Потом так ослаб, что прекратилось и то, и другое. Пенял нам, что вот, подмогу выбирал, чтобы все были переболевши корью, и как же теперь самого угораздило! Не мог нашему здоровью не завидовать и сетовал на то, как обмишулился с новой хороминой. А дом, скажу тебе, все так и не готов еще, хотя твоя кованая ограда чудо как хороша. По-прежнему в навершье ворот дивно целуются кобры. Строение стоит важно, ждет только стекольщика. Хозяин восхотел, чтобы его снесли туда, хоть там и нет еще никакой обставки. Хозяйку торопил — дескать, скорей, скорей, и ничего, что мокро, что ненастье, что дождь несменяемый день и ночь. Он и умом тоже повредился из-за болезни, не только лицом. Уилл и Скалли теперь к нам не ходят, и, когда мы, одни женщины, держа каждая за угол одеяла, несли его в дом, такой на него сон нашел, что он и рот открыл — заснул, да так и не проснулся. Ни Хозяйка, ни мы, никто не знает, прожил ли он там хоть минуту, хоть понюхал ли новые вишневые половицы, на кото-

рые был положен. Остались мы одни. Некому ни обрядить его, ни оплакать, кроме нас. Копать могилу Уилл и Скалли вынуждены были тайком. Им не велели сюда являться. Да они и сами, думаю, не шибко рвались. Но и владелец запретил — из-за хворобы. Диакон тоже не появлялся, хотя он и друг, да и Горемыка ему нравится. И из прихожан никто не наведывался. А мы этого слова вслух не говорили, пока не похоронили его рядом с детьми. И тут Хозяйка заметила у себя во рту тоже. Два сразу. Тут первый раз мы прошептали: оспа. И как мы сказали это следующим утром, к двум у нее на языке добавились двадцать три на лице. Всего двадцать пять. Она не меньше меня теперь хочет, чтобы ты пришел. Для нее это спасение жизни. Для меня сама жизнь и есть.

Ты, верно, сам не знаешь, до чего красива у тебя спина при любом свете, какой бы ни шел с небес: что луна, что солнце. Я таю от ее благовидности. Вся млею — от глаз это нисходит к губам, к рукам, и на все-все. В первый раз ощутила такое, когда ты качал мехи, раздувая огонь. Стекая по твоей спине, влага блестела, и я сама себя устрашилась — до чего захотелось ее слизнуть. Тогда я убежала в коровник, чтобы происходящее у меня внутри унялось. Но нет. Не остановить. Есть только ты. В тебе всё, ничего вне тебя. Не пищею живот мой держится теперь, но лицезрением. Гляжу не нагляжусь, как ты ходишь. Как подымается твоя рука ударить по железу. Как ты становишься на колено. Как нагибаешься. А вот ты воду льешь — сперва на железо, потом в рот. Ты и не знал еще, что есть такая вот я на свете, а уже поразил меня смертно. Губы мои отверсты, ноги слабнут и сердце ширится, вот-вот лопнет.

А ночь придет, краду свечку. И уголек в горшке, чтоб зажечь. И опять смотреть на тебя. Зажгу и заслоняю ладонью пламя. Смотрю на тебя спящего. Слишком долго смотрю. Неосторожная. Пламенем до мяса ладонь спалила. Думаю, вдруг ты проснешься, увидишь, что я смотрю, ведь умру тогда. Убегаю и не знаю даже, вдруг ты подсмотрел, как я смотрела. А когда, наконец, наши глаза столкнулись, вдруг — раз! — и не умерла. Наоборот, стала живая.

Лина, вертячая как рыба на крючке, ждала со мной вместе в деревне. А фургон братьев Ней все не идет и не идет. Час за часом маялись там, потом сели при дороге. Мимо прошел паренек со стадом коз. Приподнял шляпу. Впервые в жизни мужчина так меня приветил. Мне понравилось. Добрый знак, — подумала я, но Лина беспокоится, поучает, дескать, то, сё, а главное — не застану тебя на месте, так чтобы попусту там не околачивалась. Сразу бы возвращалась. Поскольку с лошадью, мол, управляться не обучена, то постарайся вернуться в телеге, на которой каждый день возят на рынок яйцо свежее и молоко. Мимо нас проходили люди, смотрели, но никто не заговорил. Видят, женщины сидят, чего бояться? Да и знают, кто Лина и кто я, но смотрят так, будто мы тут пришлые. Сидели мы там сидели, ждали столь долго, что не смогла я всю снедь сберечь — и хлеб, и треску. Треску съела. Лина сидит — лбом в ладонь, локоть на колене. От нее тревога так и прядает, а я изо всех сил цепляюсь мыслями за шляпу того пастуха.

Ветер мразный и снегом пахнет. Фургон наконец пришел. Взбираюсь. Возница помогал мне, лапищей своей так и прилип к моему заду. Нехорошо и стыдно. В фургоне кроме братьев Ней нас семеро, и хлопья снега этого весеннего беспокоят не только лошадей. Они ляжками

подрагивают, трясут гривами. Мы все тоже досадуем, но сидим тихо, а снежинки сеются, липнут к платкам и шляпам, сахаром и солью ложатся нам на ресницы и на косматые бороды мужчин. Две женщины сидят лицом к ветру, он треплет их волосы, будто пеньковую кудель, а глаза у них как синие полоски. Еще одна уткнула нос в воротник плаща и к мужчине своему привалилась. Мальчик с волосами желтым хвостиком сидит на тележном настиле, я гляжу, а у него руки к щиколкам привязаны. Только у него и у меня ноги не покрыты ни полстью никакой, ни кожушком.

Когда вдруг снега нанесет на свежие листочки, это красиво. На земле, может, снег подольше задержится, зверя искать по следу ловче. Мужики всегда снегу радуются — убивать сподобно. Хозяин говорил: когда снег, голоду не бывать. И весной тоже: хотя ягоды нет и овощи рано, но в реке-то икра, да и птицы небесной полно. Однако этот снег долго не продержится, хотя его много, крупный идет, волглый. Я натягиваю юбку на ноги — не для тепла, а чтобы подорожное письмо не ухлюпло. Узелок с хлебом цепко держу на коленях.

Каким путем к тебе идти, Хозяйка заставила меня вытвердить на память. С утра перво-наперво к братьям Ней в фургон вставиться и на север по почтовому тракту. Будет остановка у таверны, потом фургон привезет в поселок, который она назвала Харткилл, — это что-нибудь после полудня, — и там мне надлежит сойти. Взять влево, по тропе индейцев абенаки — ее я опознаю по согнутому до земли деревцу, у которого один отросток торчит вверх. Но фургон братьев Ней гораздо припозднился. К тому времени, когда я забралась в телегу, устроившись сзади остальных, уже вечерело. Куда еду, никто не спрашивал, но меж собой мои попутницы скоро стали шептаться, вспоминать места, где жили прежде. Будто бы у моря, где занимались уборкой на кораблях, которые мужчины конопатили и смолили стыки. Они уверены, что за годы службы отработали долги, но хозяин ни в какую. Выслал их прочь, на север, в другое место, где им невесть сколько лет еще трудиться на кожевенной мануфактуре. Мне стало непонятно, ради чего они печалуются. Понеже каждому приходится работать! Спросила, вас что — с любимыми разлучили? Все головы обратились ко мне, а ветер стих. Дура! — сказал мужчина. Женщина, что от меня наискосок, ему в тон: молода еще, шкура не ворочена! Вот и я о том, — опять подал голос мужчина. А другая женщина на них крикнула: да оставьте вы ее в покое! Вышло громко. А ну, вы там! успокоились все! — вызверился возница. Тот, что сказал на меня "дура", нагнулся почесать лодыжку и долго ее чесал, а остальные затеялись кашлять и скрести подошвами, выказывая окрику возницы полное свое небрежение. Женщина, сидевшая со мной рядом, прошептала: от дубильщиков-то и гроба, поди, не дождешься, как есть в кислоте растворят.

Когда подъезжали к таверне, на ней уж и фонарь впору зажигать. Глядь-поглядь — не вижу, потом кто-то из попутников показывает: На-а, вон же он! Теперь уж все разглядели: между деревьями замигал свет. Братья Ней зашли внутрь. Сидим, ждем. Они вышли, напоили лошадей, дали и нам испить, зашли сызнова. Тут опять раздалось шорканье. Посмотрела я вниз, а там веревка — отпала у них от лодыжек, змеится по настилу телеги. Снег кончился, а солнце-то зашло давно уж. Тихонечко,

крадучись, все шестеро слезли — сперва мужчины, потом приняли женщин. Мальчишка сам соскочил. Три женщины замахали и мне. У меня аж сердце зашлось, но я тоже спрыгнула. Они направились назад — туда, откуда мы ехали. Пошли, держась от дороги в сторонке среди деревьев и стараясь не ступать в глубокие снежные наносы. Я не пошла за ними. Но и в фургон вернуться не посмела. На сердце холодный камень. Я и без Лининых предупреждений знала, что мне не след оставаться наедине с незнакомыми мужиками, которые и так уже распускали руки, тем паче теперь, когда они вернутся опьяневши и разозлятся, узнав, что их груз пропал. Мне надо было выбирать, причем быстро. Я выбрала тебя. Скорее в лес и на запад. Запад — вот все, что мне нужно. Там ты. Твой голос. Твоя знатливость насчет снадобий, которые вылечат Хозяйку. Ты выслушаешь то, что я должна тебе сказать, и мы вернемся обое. Надо только идти на запад. День? Две ночи?

И вот я иду под каштанами, обступившими дорогу. Некоторые уже показали листочки и затаили дух, ждут, когда их отпустит снег. Те, что поглупее, дали почкам сбросить наземь чешуйки, похожие на лузгу. Иду на север искать согнутое до земли деревце с побегом, указующим в небо. Потом на запад к тебе. Тороплюсь пройти подальше, пока не совсем смерклось. Начинается крутой спуск, и мне ничего не остается, как тоже идти вниз. Сколь ни старалась, дорогу потеряла. Листочки еще малы, укрытия не дают, поэтому на земле всюду снежная каша и слякоть, я оскользаюсь, следы затекают водой. Небо цвета черной смородины. Спрашиваю себя: смогу я пройти еще? Но должна, надо! Передо мной вдруг два чернохвостых зайца, застыли, потом бросились наутек. Как истолковать, даже не знаю. Слышу журчанье, иду в темноте на звук. Месяц едва народился. Вытягиваю вперед себя руку и двигаюсь медленно, боясь споткнуться и упасть. Звук оказался капелью с сосен, а ни ручья никакого, ни речки не выявилось. Чашечкой складываю ладони, хочу талым снегом напиться. Не слышу ни поступи лап, ни тени никакой не вижу. Но запах мокрой шерсти понуждает замереть. Если я зверя чую, то и он чует меня, хоть ничего вонного в моем узелке с едой нет, только хлеб. Как знать, больше он меня или меньше, да и один ли. Решаю стоять неподвижно. Я так и не услышала, как он ушел, но запах понемногу изветрился. Пожалуй, все-таки лучше на дерево. Старые сосны преогромны, любая защитит довольно, только очень уж расщеперили ветвие свое, царапаются и дерутся. Сук подо мной гнется, но не валится, держит. Спряталась от тех, кто ползает и кто нюхает, сутулясь. Знаю, что сну не бывать: боюсь гораздо. *Не брани мя, пустыня, страшилища своими, но приими во глубокое объятие твое...* Ветви качаются, скрипят. Не задалась у меня эта ночь. Вот Лины-то нет! Та научила бы, как хорониться в лесу.

Всеобщей веселости и лихорадочного нетерпения Лина не разделяла, зайти отказывалась и не желала даже близко подходить. Этот третий и, как предполагалось, окончательный дом, к выстройке которого так стремился Хозяин, перекрыл солнце и стал причиной смерти полусотни деревьев. А теперь и сам он в нем помер и призраком будет вечно бродить по комнатам. В первом доме, который поставил Хозяин, были земляные полы и стены из непросохших бревен — он хуже был, чем

крытая корьем хижина, в которой она родилась. Второй дом был крепок. Первый он разобрал по бревнышку и сделал из него полы во втором, который соорудил о четырех покоях, с настоящим камином и окнами, затворяющимися добрыми, плотно пристуганными ставнями. Третий был просто не надобен. А он — как раз когда и детей не стало, кои могли бы заселить его и унаследовать, — вдруг взял да и начал возводить следующий — каменный, двухэтажный, с кованой изгородью и воротами, как тот, что он видел в каком-то из своих хождений. Однажды Хозяйка со вздохом шепнула Лине: мол, ладно уж, пусть его, хоть на ферме подольше бывать начнет.

— Торговые поездки наполняют ему карман, — сказала она. — Это так, но, когда он на мне женился, хотел довольствоваться фермой. А нынче... — Тут голос ее пресекся, отлетел, словно потерянное лебедем перо.

И все же, пока строили, с лица Хозяйки не сходила улыбка. Хозяйка радовалась как все — как Уиллард, Скалли, как нанятые работники и те, кто привозил покупное, — жарила и варила, будто в разгар уборочной страды. Глупая Горемыка довольно лыбилась, кузнец посмеивался, шалопутница Флоренс вертелась и порхала как ветка папоротника на ветру. А уж Хозяин — в лучшем настрое его и не видели. Ни когда его обреченные сыновья рождались, ни когда радовался дочке, ни даже когда хвастал каким-нибудь особенно удачно провернутым дельцем. Перемена в нем произошла не вдруг, но затронула глубоко. В последние годы он заматерел и сделался угрюм, но с тех пор как решил убить те деревья и заменить их памятником себе, веселость его не покидала.

Убивать деревья в таком количестве, не спрашивая их согласия... Понятно, что такое дело должно было навлечь беду. И точно: до окончания строительства оставалось совсем чуть-чуть, и тут он захворал, но в голове все то же. Так Лину озадачил! Европейцы вообще странные. Когда-то они пугали ее, потом спасли. Теперь совсем сбили с толку. Зачем, к примеру, искать кузнеца Хозяйка послала одуревшую от любви девчонку? Не лучше ли было бы смирить гордыню и просить помощи у кого-нибудь из деревенских? Диакон наверняка согласился бы. Бедняжка Флоренс, — думала Лина. — Если ее не украдут и не убьют, если она и впрямь живой доберется, то уж назад не воротится. Зачем?

На знаки внимания, которые Флоренс с кузнецом начали друг дружке оказывать в первое же утро, едва кузнец приступил к работе на выстройке этого дурацкого нового дома, Лина смотрела сперва с недоумением и улыбкой, затем с нарастающей тревогой. Когда он спрыгнул с коня, снял шляпу и спросил, правильно ли он понимает, что это владение Ваарка, Флоренс замерла как испуганная лань. Лина несла в правой руке ведро молока, перехватила его левой и показала рукой на взгорок. Хозяйка, сопровождавшая телушку, вышла из-за угла сарая и спросила, кто он такой, а получив ответ, шумно втянула сквозь зубы воздух.

— Бог ты мой! — пробормотала она и, извернув нижнюю губу, сдула упавшую на лоб прядь волос. — Погодите минутку.

Пока Хозяйка вела телушку на выпас, кузнец, не успев даже шляпу надеть, затеял гляделки с Линой. На Флоренс, которая, затаив дыхание, стояла поодаль, даже не взглянул, а та так и застыла, обеими руками обхватив скамеечку для дойки, словно эта тяжесть помогает ей не взле-

теть к небу. Следовало сразу догадаться, чем дело пахнет, но Лина была уверена, что Горемыка его внимание отвлечет и заслонит дуреху, прикроет собой, потому что в такой охоте всегда она самая легкая добыча. Узнав от Хозяйки, что он вольный, обеспокоилась вдвойне. Выходит, у него права те же, что у Хозяина. Он может жениться, заводить собственность, ходить куда хочет и свой труд продавать за деньги. Да, надо было сразу бить тревогу: его заносчивость бросалась в глаза. Когда Хозяйка возвратилась, на ходу вытирая руки о фартук, он опять приподнял шляпу, а потом сделал то, чего Лина никак не могла ожидать от африканца: он прямо взглянул на Хозяйку (даже слегка сверху вниз, потому что был высок ростом), долго и не мигая смотрел раскосыми и желтыми бараньими глазами. Значит, ей говорили о них неправду: будто бы они так смотрят — глаза в глаза — только на детей и любимых, а в отношении других это неуважение или угроза. В городе, куда забрали Лину, после того как большим огнем пожгли ее деревню, такая смелость со стороны африканца служила законным поводом применить хлыст. Непостижимая загадка. Европейцы могут, не моргнув глазом, резать беременных, старикам стрелять в лицо из мушкетов, ревущих страшней медведя, и в то же время звереют, если неевропеец посмотрит европейцу в глаза. Они могут запросто сжечь твой дом, а потом будут кормить тебя, нянчить и воспитывать. Нет, лучше с каждым разбираться отдельно, ведь иногда среди них и хорошие попадаются; потому она и спит теперь на полу рядом с кроватью Хозяйки — всегда наготове: вдруг той что-нибудь понадобится, да и Горемыку чтобы близко не подпускать.

Если бы тогда, давным-давно, Лина была старше и успела пройти обучение знахарству, она, быть может, облегчила бы страдания родных и соседей, умиравших вокруг нее — кто лежа на тростниковых циновках, кто на берегу озера, пытаясь напиться, многие просто валялись, скрюченные, на дорожках между домами и за деревней в лесу, но большинство в домах под одеялами, судорожно в них вцепившись, не в силах ни окончательно сбросить их, ни как следует укрыться. Дети замолкали первыми, но и матери, насыпая холмик над останками ребенка, уже сами, как дети, шатались от слабости и исходили по́том. Воро́н сперва пытались отгонять — она и двое мальчиков помладше, но ни с птицами, ни с запахом им было не справиться, и скоро пришли волки. Тогда они все трое забрались как можно выше на ветки бука. Всю ночь там просидели, слушая, как грызут, рычат, воют и — самое мерзкое — как потом сыто зевают и облизываются звери внизу. Поутру ни у кого из них язык не поворачивался обозначить словами этот ужас, даже глядеть не могли на разбросанные повсюду куски тел, оставшиеся на потребу мелкой живности и насекомым. К полудню, как раз когда они было решили бежать куда глаза глядят в каноэ, которых много стояло на озере, явились люди в голубых мундирах — шли, обернув лица тряпками. Уже, значит, разнеслась весть о гибели всех в деревне. Радость Лины оттого, что ее спасут, сразу же испарилась, когда солдаты, мельком глянув на ворон, выстрелами прекратили волчье пиршество, а потом со всех концов подпалили деревню. Стервятники разбегались, разлетались, а Лина не знала, продолжать ли ей прятаться или выйти, рискуя попасть под выстрел. Но мальчики рядом с нею на ветках заплакали, и мужчины в

голубом в конце концов услыхали, подошли и помогли спрыгнуть, ловя каждого со словами: "Calme, mes petits. Calme"[1]. Если и боялись они от спасшихся детей заразиться, то виду не подавали: считая себя настоящими солдатами, они никогда бы не пошли на то, чтобы убивать детей.

Куда увезли мальчиков, она так и не узнала, ее же отдали в семью добрых пресвитериан. Те сказали, что рады ей, потому что им нравятся местные женщины, такие же работящие, как они сами, а местных мужчин они не одобряют: вот еще — сидят себе на бережку цѣлый день, рыбачат, а то еще охотятся, точно какие-нибудь баре. То есть разорившиеся, конечно, потому что нет у них ничего — ни землей, на которой спят, не владеют, ни вообще ничем; живут, будто титулованные нищие. А ведь среди прихожан-то наших есть еще старики, которые слышали или даже сами помнят, как карал Господь праздных и нечестивых — насылал на гордые безбожные города черную смерть, жег страшными пожарами, — так что остается только молиться, чтобы племя, из которого происходит Лина, хотя бы поняло вблизи конца своего: то, что случилось с ними, — лишь первый знак укоризны Господней, первая из семи чаш Его гнева, из коих последней возвестит Он Свое пришествие и рождение нового Иерусалима. Девочке дали имя Мессалина (на всякий случай), но звать стали сокращенно — Лина: протянули, вроде как, соломинку надежды. Ей было боязно вновь потерять крышу над головой, оказаться без семьи, наедине с пугающим миром, поэтому она, чтобы им потрафить, согласилась принять на себя личину дикарки, которую этим святым людям приходится поучать и воспитывать. Так, например, она узнала, что купаться в реке голышом это грех; рвать вишню с дерева это кража; а есть руками кашу из маиса преотвратно. Узнала, что больше всего Господь ненавидит праздность, поэтому смотреть в пространство, мысленно оплакивая мать или подружку, — значит навлекать на себя проклятие и погибель. Одеваться в шкуры животных нельзя, это грех, оскорбляющий Бога, поэтому ее одежду из оленьей шкуры сожгли, а ей выдали подобающее платье из байки. Бусы с запястий срезали, волосы на несколько дюймов укоротили ножницами. И, хотя на воскресные службы в церковь ее с собой не брали, молиться перед завтраком, обедом и ужином ей полагалось со всеми вместе. Однако добиться от нее униженности, мольбы, коленопреклоненной молитвы (ни покаянной, ни благодарственной) не удалось: сколько она ни старалась, окончательно изгнать из себя Мессалину не вышло, и пресвитериане расстались с нею, не удостоив даже прощания.

И лишь много спустя, когда она мела однажды у Хозяина пол, тогда земляной еще, старательно обходя метелкой из наломанных веток гнездо курицы в углу, — одинокая, сердитая и обиженная, — она решила, наконец, защитить себя, собрав обрывок к обрывку все то, чему научила ее умиравшая в муках мать. Покопалась в памяти, напрягла воображение и кое-как сплотила воедино забытые обряды; познания в европейской медицине соединила с местным знахарством, Библию со сказаниями предков и припомнила — или придумала — скрытый смысл явлений. Нашла, иначе говоря, свое гнездышко в этом мире. В деревне баптис-

1. "Успокойтесь, маленькие. Успокойтесь" (*франц.*).

тов ей ни утешения, ни места никакого не было, Хозяин сам был там вроде и свой, да не совсем. Одиночество совсем бы ее сокрушило, кабы она не открыла для себя отраду отшельника: самой стать частью движимой природы. Она перекаркивалась с воронами, пересвистывалась с синицами, разговаривала с растениями, болтала с белками, легко нашла общий язык с коровой и даже доводы дождя сделались ей доступны. Ее досада на судьбу, заставившую пережить всех родных и близких, отступила, когда она поклялась не предать и не бросить никого, кто дорог сердцу. Воспоминания о деревне, населенной мертвыми, мало-помалу потонули в золе, а на их месте возник единый главный образ. Того огня. Как он быстро! Как решительно он пожрал все, что они построили, все, что было их жизнью. Почему-то очистительный и до одури красивый. Даже просто стоя перед камином или разжигая дрова, чтобы вскипятить воду, она чувствовала сладкую дрожь возбуждения.

Ожидая прибытия жены, Хозяин развил бешеную деятельность, трудился не покладая рук, чтобы хоть как-то подчинить себе окружающую природу. Не раз и не два, принеся ему обед на какое-нибудь поле или лесную делянку, где он работал, Лина заставала его со взором, устремленным в небо, — стоит, закинув голову, будто в исступлении, не может поверить, как так эта земля отказывается ему подчиниться. Вместе они кормили кур, ухаживали за саженцами, сеяли зерновые и сажали овощи. А вот вялить пойманную рыбу — это она его научила; она же научила, как угадывать приближение нереста, как защитить урожай от набегов ночных расхитителей. И все же ни он, ни она не знали, что делать, когда две недели подряд льет дождь или два месяца не выпадает ни капли. Беспомощны они были и против черных слепней, налетавших стаями, — от них и лошадь, и скотину охватывает безумие, в такие дни все живое ищет спасения в доме. Лина и сама не очень-то много знала, видела только, какой он неопытный земледелец. Она-то хоть умела отличать сорняки от рассады. Не имея терпения (этого главного стержня фермерства) и не желая ходить на поклон в соседнюю деревню, он навсегда обречен был страдать от неожиданных издевательских перемен свирепой погоды, так же как и от хищников, которые не знают — да и все равно им, — кому принадлежала их добыча. Лина предупреждала, а он не послушался, использовал как удобрение селедку, и только что высаженные овощи оказались безжалостно вырыты и разбросаны: запах привлек полудиких соседских свиней. Не хотел он и тыкву сажать на поле маиса. И понимал ведь, что ее побеги не дадут разрастись сорнякам, а все равно: вот не нравится ему вид беспорядка! Зато у него хорошо получалось ухаживать за скотиной, и строил он ловко.

Трудов много, толку мало. Когда погода худо-бедно способствовала, Лина ночи коротала с курами, пока Хозяин перед самым приездом жены за один день не воздвиг вдруг коровник. За все время Лина не перекинулась с ним более чем пятьюдесятью словами за исключением "да, сэр". Одиночество, горе и яростное безмолвие сломили бы ее, если бы она не выкинула из памяти все шесть лет, предшествовавших гибели мира. Лина не вспоминала ни игры с другими детьми, ни заботливых матерей в драгоценностях тонкой работы, ни божественную упорядоченность жизни, где все известно наперед: когда переходить на новое место, когда собирать урожай, жечь костер, идти на охоту; как хоро-

нить, чем должно знаменоваться рождение, как поклоняться божеству. Она отбирала и хранила то, что можно вспоминать, и отбрасывала остальное; эта сосредоточенность сформировала ее всю — и внутри, и снаружи. Ко времени, когда появилась Хозяйка, ее новое я стало почти совершенным. И подчинило себе без остатка.

Под подушку Хозяйке Лина клала волшебные камешки; для свежести воздухов раскладывала по комнате мяту, а для лечения ран во рту давала пациентке жевать дягиль-корень — гнать надо, гнать из тела злых духов! Приготовила самое сильное средство, какое ведала: сивец луговой, полынь, зверобой, венерин волос и барви́нок — все смешать, заварить, отжать и отваром поить Хозяйку, протискивая ложку ей между зубов. Осина, осина, возьми ее трясину, дай ей леготу! Задумалась: может, попробовать какие-нибудь молитвы (которых довольно много преподали ей пресвитериане), но Хозяина молитвы не спасли, и она решила — нет, дело зряшное. Хозяин-то ушел быстро. Сперва еще покрикивал на Хозяйку. Потом шептал, просил снести его в третий дом. Громадный и теперь совсем уж никчемный, когда нет ни детей, ни внуков, чтобы в нем жили. Некому стоять, благоговея перед его великолепием и восхищаясь зловещими вратами, на которые кузнец ухлопал два месяца. В их навершии друг с дружкой сплетаются две змеи. Когда во исполнение последней воли Хозяина они расцепились, Лине чудилось, будто она входит в мир, отягощенный заклятием. Что кузнец выковал — это, конечно, безделица, тратить время на такое взрослому человеку конфузно, но вообще-то он времени даром не тратил. Одну девчонку сделал женщиной, второй спас жизнь. Горемыке нашей. Лисоглазой Горемыке с ее черными зубами и нечесаной копной курчавых волос цвета заходящего солнца. Хозяин ее из милости взял, не купил, нет, и было это уже при Лине, но до появления Флоренс, а Горемыка до сих пор так и не вспомнила, откуда она и что с ней приключилось, — говорит, на берег ее вынесли киты.

— Да уж конечно, какие там киты! — усмехалась Хозяйка. — Выдумает тоже! Бродила ошалелая по воде Северной реки в стране могавков, чуть не утопла, хорошо двое молодых лесорубов выловили. На берегу укрыли одеялом и привели отца. Говорят, она жила одна на полузатопленном корабле. Думали, это мальчишка.

Ни тогда, ни позже она так и не сказала, как там очутилась и где жила раньше. Жена владельца лесопилки назвала ее Горемыкой и, как считает Лина, угодила в точку. Всю следующую зиму полоумную девчонку подкармливали, а она все норовила забрести куда-нибудь и потеряться, ничего не соображала, а уж работала и того плоше — все время грустит, странная такая, да и взрослые сыновья начали проявлять к ней повышенный интерес, в результате жена лесопильщика заговорила с мужем о том, что надо ее спроваживать. Тот послушался и вручил попечениям покупателя, которого знал и верил, что зла он ей не причинит. Так она попала к Хозяину. Когда вслед за лошадью Хозяина приплелась Горемыка, Хозяйка не скрывала раздражения, но согласилась, что руки в хозяйстве лишними не бывают. При частых отлучках Хозяина двух женщин и четырехлетней дочери на ферме было недостаточно.

Лине, когда Хозяин купил ее у пресвитериан, было четырнадцать — рослая, уже вошедшая в полную силу девица. Искал в городе по объяв-

лениям на стенах печатни. "Женщина приятной наружности, переболевшая оспой и корью... Негритенок 9 лет, недурен собой... Особа женского пола, полезная на кухне, благоразумная, хорошо говорит по-английски, цвет кожи между желтым и черным... Белая женщина в долговой крепости на пять лет, привычная к сельскому труду, с ребенком старше двух лет... Мулат, очень порченный оспой, честный и непьющий... Белый парнишка в услужение... Требуется слуга, умеющий запрягать и справляться с выездом, черный или белый... Непьющая бережливая женщина, умеет... Приятной внешности девица, белая, 29 лет с ребенком... Здоровая женщина, немка, сдается во временное пользование... Крепкая, крепкий, здоровая, здоровый, приятной наружности, непьющий, непьющая, непьющий..." Наконец нашел: "Выносливая особа женского пола, крещеная и обученная работам по хозяйству. Продается, возможен обмен на товар".

Ну что тут скажешь? Холостяку, ожидающему прибытия юной невесты, как раз такая особа и требуется! К тому времени заплывший глаз Лины начал уже открываться, а рубцы от хлыста на лице, руках и ногах — наоборот, затянулись, стали едва приметны. Пресвитериане, гордые своей догадкой о будущем, продиктовавшей им ее имя, прошлым девочки никогда не интересовались, о нем ей бессмысленно было и заикаться. Перед законом она была никем, и ее слово — слово человека без фамилии, да еще и против европейцев — никто бы и слушать не стал. Все просто: пошли к печатнику, и тот помог составить объявление. "Выносливая особа женского пола..."

Едва европейская жена сошла с телеги, между ними сразу повеяло враждебностью. Прижившаяся в доме молодая особа здоровьем и красотой раздражала новую жену, тогда как Лину приводил в бешенство властный вид, который напускала на себя европейская девчонка-неумеха. Впрочем, рознь, нисколько не полезная в условиях, когда нужно бороться за выживание, умерла, не успев разгореться. Еще до того, как Лина приняла у Хозяйки первые роды, женщины, сами того не желая, взаимно потеплели. На земле, которая требует тебя всего без остатка, надуманные придирки неуместны. Кроме того, они скрашивали друг дружке одиночество, и мало-помалу обнаружилось, что в каждой из них есть нечто поинтереснее общественного положения. Ребекка громко смеялась над собственными промахами, не стеснялась обратиться и за советом. Или, бывало, Лина, шлепнув себя ладонью по лбу, вдруг как побежит спасать убегающее варенье! В общем, подружились. Не только потому, что сама у себя из руки не вынешь пчелиное жало. Не только потому, что корову иначе как вдвоем, бывает, не пропихнешь в калитку. Не только потому, что, пока ты надеваешь путы лошади на ноги, кому-то надо удерживать ее морду. А потому, в первую очередь, что ни та, ни другая толком не знали, что́ делать, когда и как. Вместе, пробуя и ошибаясь, учились: как отвадить лис; как и когда носить на поле и разбрасывать навоз; учились отличать ядовитые растения от съедобных (узнали заодно, что трава тимофеевка на вкус сладковата); узнали, каковы признаки краснухи у свиней; отчего у ребенка бывает понос и что, наоборот, крепит так, что он изводится от запора. Для Хозяйки работа на ферме была скорее новым, интересным способом выживания, нежели каторгой и рутиной. Потом, опять-таки, — это Лина тоже понимала, — у

той есть Хозяин, он ей все более и более любезен, да и дочь Патриция; и вместе утешительны они в ее скорбях по младенцам, которых Лина в собственные руки принимала и в тот же год хоронила. К тому времени, когда Хозяин привел в дом Горемыку, обе женщины выступали сплоченно: встревожились. Хозяйке Горемыка была просто ни к чему. Для Лины же явилась воплощением несчастья. Рыжая, зубы черные, на шее пупырья — один пройдет, другой вскочит, при этом серые глаза со слишком длинными ресницами смотрят так, что у Лины аж волосы на загривке дыбом.

Она молча наблюдала, как Хозяйка учит Горемыку шить (единственная работа, к которой та приноровилась и даже начала с ней неплохо справляться), и ничего не сказала, когда, будто бы чтоб та перестала неприкаянно болтаться, Хозяин велел девчонке круглый год спать у камина. Такая забота вызывала у Лины подозрения, но не зависть, нет — даже когда погода бывала ужасной. Ее народ тысячу лет строил города-убежища и, если бы не гибельное нашествие европейцев, строил бы их еще тысячу лет. Ведь вот же как вышло-то! Оказывается, неправ был вождь, ох как неправ! И не разбежались европейцы, и не вымерли! Правда, старухи, на которых оставляли малышей, уверяли, что потом он просил простить его за ошибку в пророчестве, будто бы признал: сколько бы их ни пало от дурости и моровых поветрий, вслед за ними всегда придут новые. Стозевны придут, стоязыки, говором подобны псам гарчущим; да всё меха им подавай звериные, будто несмышленышам малым. Во́ды запрудят и земли огородят, леса целиком за море свезут, а женщин будут силой брать, кого вздумается, — для краткого своего услаждения. Почвы нарушат, святые места осквернят, а поклоняться будут богу, который глуп и малоизворотлив. Берега морские отдадут свиньям, и те превратят их в песчаные дюны, которым зеленью до скончания веков не обрасти. Духа здешней земли не сподобившись, начнут скупать ее плоть и, как сироты, ненасытны будут. И суждено им мир сей весь пожрать, отрыгнув грязь и ужас его, и погубить этим народы, прежде них бывшие... Лина и верила этому, и не очень. Если судить по тому, как относятся к земле Хозяин и Хозяйка, то бывают исключения, не ложащиеся в Новое Пророчество. Оба, вроде, даже понимают разницу между землей и вещью, при этом выпас свой огораживают, чтобы не потравить скотиной соседские угодья, хотя соседи этого как раз не делают, а когда на огород набежали свиньи, убивать их промедлили, хотя по закону имели полное право. Надеются выжить землепашеством, заботятся о земле, не разоряют ее стадами — потому мало выгоды имеют. В общем, порядочности Хозяина и Хозяйки Лина доверяла, а вот верности их предчувствий — как раз таки нет. Будь им внятны тонкие дуновения, не стали бы так приближать к себе Горемыку.

Общаться с нею нелегко, нужен глаз да глаз — хотя бы вот как нынче на рассвете, когда пришлось доверить ей дойку. Брюхатой трудно на скамеечке скрючиться, и она, видно, как-то не так за вымя взялась, корова же — пожаловалась Горемыка, — давай лягаться. Бросив больную, Лина метнулась утихомиривать первотелку — сперва поговорить, тихонько помычать ей в ушко, потом медленно гладить нежные сиськи ладонью, вымазанной в сметане. Струйки пошли слабенькие, ерундовые — разве только самой корове облегчение... Обиходив, успокоив

буренку, Лина снова кинулась в дом: нехорошо Хозяйку оставлять наедине с Горемыкой; теперь, когда ее живот отяжелел ребенком, она стала еще ненадежнее. Даже в лучшие времена эта девчонка тащила за собой несчастие, как ящерка хвост. Был такой мужчина один в деревне, откуда Лина родом. Прозвище его забылось вместе с остальными словами родного языка, но значило оно "тот, на кого валятся деревья" — имелось в виду его влияние на происходящее окрест. Так же и Горемыка: в ее присутствии яйца отказывались взбиваться, а тесто либо ни за что не всходило, либо липло к рукам. Лина была уверена, что и ранние смерти Хозяйкиных сыновей это опять губительная тяжесть проклятия, лежащего на Горемыке. После того как умер второй младенец, Лина уже не могла Хозяйку не предупредить. Сказано: видел еси, да не премолчиши! Они готовили начинку для пирога к возвращению Хозяина. Варившиеся с самого утра говяжьи ножки к тому времени остыли. Очищенные кости лежали на столе, ждали, когда к ним добавят жира и хрящей и поставят снова на огонь.

— Есть люди, которые несут зло нарочно, — сказала Лина. — А есть такие, из кого злой дух исходит помимо воли.

Хозяйка подняла взгляд.

— Что-что?

— Я про то, что сын ваш, Джон Джекоб... Ведь умер он, когда вошла Горемыка!

— Стой, Лина. Не береди рану. Мой маленький умер от знобухи.

— Патриция тоже хворала, но она же не...

— Я сказала — стой! Он умер у меня на руках, мне этого и так довольно, не добавляй еще своих дикарских бредней. — И она строгим тоном принялась рассказывать, до чего подвержены хворостям дети, когда у них режутся зубки; при этом не переставала крошить мясо, потом мешать его с изюмом, кусочками яблок, имбирем, сахаром и солью. Лина придвинула ближе большую бутыль, и вместе они затолкали туда приготовленную смесь. Затем Лина доверху налила в бутыль бренди и заткнула пробкой. Недельки четыре постоит в холодке и к Рождеству как раз будет готово — пойдет в пирог. Тем временем Хозяйка опустила телячьи мозги и сердце в горшок со сдобренной приправами кипящей водой. Потом обжарить в масле, добавить крутое яйцо ломтиками — ужин будет сущее объедение!

Ставшая теперь совсем неуловимой, Горемыка постоянно где-то бродит, плутает, обнимает виноградие лесное да болтает с травами. Беременность ее скоро должна разрешиться, причем на сей раз младенец может, к несчастью, выжить. А вот Хозяйка может преставиться, и что тогда? Когда-то баптисты бесплатно помогали Хозяину строить второй дом, всякие службы и сараи и весело валили вместе с ним сосны для столбов изгороди, но потом отношения между ними и его семьей сделались куда холодней. Отчасти Хозяйка сама виновата: очень уж негодовала на них за то, что они перекрыли ее детям дорогу в рай, кикиморами вынудили скитаться, но также — Лина и эту возможность не отметала — потому, что их пугала всепроникающая и вездесущая Горемыка. В прошлые годы частенько то связку лососей принесут, то предложат колыбельку, самим уже ненужную, Хозяйке сыночка нянчить. Диакон — тот всенепременно: то корзинку земляники притащит, то гонобобели, ино-

гда орехов, а однажды припер целый олений окорок. Теперь, естественно, их ферму все за версту обходят — в доме-то оспа! Что ни Уиллард, ни Скалли не заходят — тут тоже, вроде, не на что обижаться, а Лине все равно щемит. Хотя ладно, все одно — оба европейцы. Уиллард уже не молод, но продолжает отрабатывать океанское плавание. Первоначальные семь лет растянулись, превратившись в двадцать с гаком; по большей части он и сам забыл, за какие такие вредные озорничества ему добавляли кабальный срок. Хотя некоторые припоминал — было дело, чудил по пьянке. Но не только — еще вот: бегать пытался. Скалли же — молодой, изящный, с белесыми шрамами, испещрившими спину, — все еще строит планы. Отрабатывает контракт, доставшийся от матери. Он, правда, толком не знает даже, сколько ему еще мучиться, но ходит гоголем: ведь он не то, что Лина или Уиллард, ему до смерти ярмо терпеть не придется. Он сын женщины, сосланной в колонии за "распутство и буйственное бесчиние", каковые свойства ее поведения и на новых землях нимало не уменьшились. По ее смерти кабала матери перешла на сына. Потом некто, объявивший себя его отцом, заплатил за Скалли недостающую часть долга, но львиную долю своих расходов компенсировал тем, что сдал мальчишку в аренду его теперешнему владельцу; сдал на время и даже совсем небольшое, но о том, когда в точности оно истечет, самому Скалли как раз и не сообщили. Лине он говорил, что существует гербовая бумага, в которой все по закону прописано. Она поняла так, что бумагу эту он не видал, а если бы и видел, разобрать в ней все равно ничего бы не умудрился. Одно знал точно: при выходе на свободу он получит сразу столько, что хватит, чтобы или коня купить, или к какому-нибудь торговому делу прислониться. К какому торговому делу? — недоумевала Лина. Она подозревала, что, если день свободы и большой получки скоро не настанет, он тоже пустится в бега и, может быть, ему повезет больше, чем Уиллларду. Скалли умнее, к тому же не пьет — как знать? Но в душе она в этом сомневалась и считала его мечты о вольном труде, скорее всего, именно пустыми, несбыточными мечтами. Знала она и о том, что он не противится, когда Уиллард склоняет его к тому, чтобы лечь вместе, причем отнюдь не для сонного отдохновения.

Не удивительно, что Хозяин, не имея ни родственников-мужчин, ни сыновей, на которых он мог бы надежно положиться, не терпит в имении мужиков. С одной стороны, это правильно, но, с другой, бывают преткновения такие, что и не очень. Вот как сейчас, например, когда остались тут две плачущие женщины — одна прикованная к постели, другая на сносях, да к ним еще сдуревшая от любви неприкаянная девчонка и сама она, уже не уверенная ни в чем, вплоть до восхода луны включительно.

Не умирай, Хозяйка! Не надо! Лина, Горемыка, новорожденная малышка и, может быть, Флоренс — это ж будут три выморочные, бесхозные бабы с младенцем, да в глуши, без защиты... Легкая добыча для кого ни попадя. Ни одна из них не обладает правом наследования; ни одна не принадлежит ни к одной церкви и не записана в приходских книгах. Мало того что женщины, так еще и вне закона — останься они на ферме после смерти Хозяйки, окажутся в положении нарушителей границ частного владения, захватчиков, скваттеров, так что их можно

будет купить, сдать внаем, похитить, изнасиловать, изгнать... Ферму, скорее всего, сразу приберут к рукам баптисты, или им же ее продадут с молотка. А Лина так хорошо прижилась, ей так нравилось в этой маленькой крепкой семье! Только теперь она осознала ее непрочность. Хозяин и Хозяйка полагали, что смогут вести здесь честную жизнь, никому не давая отчета в своих убеждениях, так вот же... Без наследников вся их работа, вся городьба стоит не больше ласточкиного гнезда. Их отстраненность от общины породила себялюбивое уединение; они лишили себя утешения и помощи клана. Любого: баптисты, пресвитериане, племя, армия, родня... — какое-то внешнее окружье, какая-то оболонь необходима. Гордыня — вот что. Всего лишь гордыней было чувство, будто им никто, кроме них самих, не нужен, что они смогут прожить как Адам и Ева, как боги, пришедшие из ниоткуда и никому ничем не обязанные, помимо, разве что, собственных своих созданий. Надо было ей сказать им, как-то упредить, но так велика ее к ним любовь и преданность, что в ее же собственных глазах это было бы дерзословием неуместным. Пока Хозяин был жив, легко было на все смотреть сквозь пальцы; да и не были они семьей на самом деле, не были даже дружеской общиной. Сиротами они были и ничем больше — все вместе и каждый в отдельности.

Лина стала глядеть в неровную, волнистую оконницу, через которую проникал игривый лучик солнца, ласковым желтым светом изливаясь на пол в ногах Хозяйкиной постели. За окном на дальней стороне старой индейской дороги сплошной стеной высились буки. По давнему обыкновению она с ними заговорила.

— Что вы, что я... мы на своей земле здесь, — шептала она. — Да вам-то что, а я вот... в отчем краю изгнанница.

Очнувшись, Хозяйка вдруг забормотала, стала что-то горячо втолковывать — не то Лине, не то себе самой, — что-то очень важное, судя по быстрым, резким движениям глаз. Что сейчас может быть так уж важно? — подивилась Лина. — Так важно, что она силится говорить, когда весь язык в язвах, болит и отказывается служить! Да, что-то хочет сказать — вон, даже руками спеленатыми всплеснула. Лина повернула голову в направлении взгляда Хозяйки. А, смотрит на сундук, хранящий дорогие для нее вещицы, подарки Хозяина, отложенные на будущее. Кружевной воротник, шляпа, которую ни одна приличная женщина не наденет, павлинье перо, успевшее преломиться. Поверх нескольких кусков шелка зеркальце в изящной оправе, серебро которой потускнело.

— Дай... м-м, — сказала Хозяйка.

Лина взяла в руки зеркало, а сама думает: ой, не надо! ой, не смотри! Даже здоровому нельзя глядеть на собственное отражение — ведь оно может выпить душу.

— Скрре-ей, — простонала Хозяйка каким-то детским, просительным тоном.

Как можно ослушаться? Лина дала ей зеркальце. Вложила между обернутых тряпицами ладоней, уверенная, что уж теперь ее госпожа точно умрет. И эта уверенность была как смерть для нее самой, поскольку и ее жизнь, все и в ней и вокруг нее держалось на том, чтобы Хозяйка выжила, а это уж зависит от того, дойдет ли, успеет ли Флоренс.

Во Флоренс Лина влюбилась с первого взгляда, едва увидев, как она дрожит, стоя в снегу. Испуганное, длинношеее дитя, не говорившее ни словечка неделями, но, когда, наконец, она открывала рот, ее милый, певучий голосок радостно было слушать. Каким-то непонятным образом это дитя утоляло собою загнанную глубоко внутрь, но все не угасающую в душе у Лины тоску по дому — по тому родному дому, где всем всего было вдоволь и не было таких, кто владеет всем. А еще, видимо, любовь в ней обостряло ее собственное бесплодие. Так ли, эдак ли, Лине хотелось защищать девочку, оберегать от порчи, липнущей к таким, как Горемыка, а в последнее время она вдобавок изо всех сил старалась встать стеною между Флоренс и кузнецом. С самого его появления девочка так к нему и устремилась, да ведь Лина-то уже считала ее своей! А та совсем голову потеряла — глупо, бессмысленно и бессовестно. Юное тело заговорило на том языке, которым только и оправдывается жизнь на белом свете. Когда он прибыл — лощеный, несуразно высоченный, заносчивый и мастеровитый, — одна Лина увидела опасность, но некому ей было даже поплакаться. Хозяйка никого вокруг не замечала: одурела от радости, что Хозяин дома, а тот вел себя так, будто кузнец ему брат родной. Лина видела, как они рисуют что-то на земле и самозабвенно вглядываются в свои каракули. Спорят, что и не всегда поймешь, землемеры! В другой раз у нее на глазах Хозяин с ножа ел зеленое яблоко, левую ногу в сапоге взгромоздив на камень; жевал, говорил и одновременно резал от яблока ломтик, а кузнец кивал, внимательно глядя на нанимателя. И вдруг Хозяин — невзначай, будто так и положено, — протянул на ноже ломтик яблока кузнецу, который — так же невзначай — взял его, да и сунул в рот. Так Лина поняла, что ей одной дано почуять, как подползает к ним беда. Она единственная, кто предвидит крушение, развал, которым чревато общение со свободным чернокожим. Ведь он уже испортил Флоренс: а что, нет что ли? — она даже признать не хочет, что сохнет по мужику, который исчез, не удостоив ее прощального привета! В ответ на попытки Лины просветить ее: "Ведь ты только листок на его дереве!" — Флоренс мотала головой, отвечая: "Нет. Нет. Я все его дерево!" Такой вот резкий произошел в ней поворот. Остается только надеяться, что не окончательный.

Флоренс была вообще-то тихой, пугливой, а в остальном — прямо в точности как она сама в лучшие времена. То есть до той погибели. До греха. До мужчин. Прежде Лина наседкой кружила возле Патриции, с Хозяйкой за любовь малышки соперничала, зато уж эта, явившаяся тотчас после смерти хозяйской дочери, самой судьбой и может, и должна быть сужена только ей. Должна стать противоположностью неисправимой Горемыке. Надо же, ведь умеет читать, писать! И не приходится ей по сто раз повторять, когда просишь что-нибудь сделать. Мало что на нее всегда можно смело положиться, ведь как благодарно она отзывается — на каждую ласку, каждое проявление участия, по головке ли погладишь, улыбнешься ли одобрительно. И по гроб жизни не забыть тех ночей, что провели они вместе: Флоренс, притихшая, лежит не шелохнется, внимает бытословиям Лининым. Историям про злых мужчин, рубивших головы верным и преданным женам; про небесные вихри, уносившие души невинных младенцев туда, где время само младенец. Особенно нравились ей истории про матерей, вступавших ради

спасения детишек в битву с волками и прочими напастями. Со щемящим сердцем Лина вспомнила сказку, которую Флоренс любила больше других, и как после нее они всегда долго шептались.

Давным-давно жила-была орлица, и снесла она яйца да в гнездо положила, а гнездо высóко-высóко свила. На утесе зубчатом, торосоватом — ни зверю злому лапу чтоб не запустить, ни змею склизкому не забраться. Снесла и глаз с них не спускает, а глаза-то большу-ущие, черны как ночь и блестят, вот засветятся. Шелохнется ли рядом лист или духом чужим повеет, она брови насупит, головой — туда, сюда, и перья сразу — ш-шух! — все дыбом. А когти — о-от навострила! — шорк, шорк об камень-скалу; а клювом-то как поведет-поведет — что бог войны вкруг себя секирой железной свистнет. Ох, люта была — неустрашима, как дело до защиты выводка доходит. Лишь с одним совладать не могла — с человечьим злохитростным помышлением. Однажды на гору, что супротив стояла, неведомый пришлец залез. Встал этак на вершине стоймя, да повниз себя озирает, восторгается. Бирюзовы озера вглубь, благоцветны травы дурманны вширь, и стрижи в облаках между радуг стригут кругами. Обрадовался пришлец, хохочет и говорит: "Хорошо-то, а? А что хорошо, то, значит, мое!" И вдруг весь мир как затрясется, как запошатывается, такой пошел шурум по горам да бурум по долам, что не только примулы повяли сухопутные — водяные лилии и те во глубинах скукожились! Тут и животинка всякая из нор да пещер повыперла — что, думают, за безобразие раздается? "Мое! Мое! Мое!" Яйца в гнезде сотряслись, скорлупками стук-постук, а одно возьми да и тресни. Орлица наша головушку гордую подняла, глазом зыркнула — что еще там за странный гром дурной, что за вредный шурум-бурум? Пришлеца увидала и как кинется: вот в когти тебя сейчас, окаянного, со смехом твоим препакостным вместе! Да пришлец-то не лыком шит, при нем батог был, и батогом он ей поперек крыла как даст со всей силы! Вскрикнула она и стала падать. Туда, где озера бирюзовы да травы дурманны, мимо ней облака бегут, падает и падает между радуг. Криком кричит и не вольным крылом несется, а пустым произволением ветра...

Тут Флоренс, бывало, шепотом спрашивает:

— Что же теперь-то с ней?

— Падает, — шепчет в ответ ей Лина. — Падает и всегда будет падать.

— А как же яйца? — спрашивает Флоренс, ни жива ни мертва уже.

— Одни остались, птенцы вылупились сами, — сурово отвечает Лина.

— Они выжили? — срывающимся шепотом вопрошает Флоренс.

— Выжили мы, — говорит Лина.

Потом Флоренс вздыхает, кладет голову Лине на плечо, и только когда заснет, ее лицо высветляет улыбка. У одной по матери тоска, у другой по материнству — вот два кончика, а веревочка одна и на одно веретено мотана, так что знает Лина: никуда не денешься, если тоска эта в костях у тебя сидит. Подрастая, Флоренс быстро всему училась — схватчивая, как с полки брала. Кого, как не ее, пускать на кузнецово разыскание, вот только расслабла она от мечтания о нем.

Когда Хозяйка принялась смотреться в зеркало (ишь, безрассудство какое: самой же одно расстройство, да и беду кличет), Лина сперва глаза закрыла, а после и вовсе во двор пошла. Дел-то куча накопилась, и Го-

ремыка, как всегда, невесть где слоняется. Брюхатая или нет, а могла бы уж хоть навоз из стойла убрать. Лина вошла в коровник, глянула на сломанные сани — в холода они с Флоренс спали в них. При виде паутины, которая оплела сани от полоза до настила, Лина вздохнула и вдруг у нее перехватило дух. Далеко задвинутые, под санями оказались мокасины Флоренс; лет десять назад их Лина сама ей смастерила из кроличьей шкурки — заброшенные и пустые, дожидаются, словно два гробика. Выскочила из коровника, будто ее кто ударил. Встала у двери и стоит. И куда теперь? На то, как там Хозяйку обуяли сожаления (а это ведь опасная штука — так и манит к себе злых духов!), глаза бы не смотрели, поэтому решила Лина пойти на реку, поискать Горемыку: та часто туда ходит с умершим ребенком разговаривать.

Река блестела, играла по быстринам под солнцем, уходящим медленно, что невеста: плясать на свадьбе любим и хотим, а дальше-то не очень — встанет, задумается. Горемыки нигде не видно, но тут вдруг Лина почуяла сладостный дух костра и двинулась на него. Осторожно, нога за ногу, пошла и пошла на запах дыма. Скоро услышала и голоса — несколько, и тоже настороженные, нарочно негромкие. Последние ярдов сто на звук ползуном лезла и увидела тени у маленького костерка, разведенного в глубоком приямке. В мятой траве грушанке, под двумя кустами боярышника привал устроили несколько взрослых с мальчиком. Один мужчина спал, другой что-то строгал ножиком. Три женщины, из которых две явно европейки, похоже, заметали следы — убирали объедки, скорлупки, кукурузные обертки — и что-то пихали обратно в мешок. Оружия не заметно, мирные видать, — подумала Лина, подбираясь ближе. Когда она им себя оказала, все, кроме спящего, вскочили на ноги. Лина узнала в них пассажиров фургона, в котором уехала Флоренс. Ее сердце сжалось. Неужто беда?

— Путем-дорогой здравствуйте, — поздоровался мужчина.

— И вам того же, — отозвалась Лина.

— Мы на вашей земле, мэм?

— Нет. Да вы, пожалуйте, располагайтесь.

— Гм, спасибо, мэм. Мы не надолго. — Напряжение его отпустило; других тоже.

— А я помню вас, — сказала Лина. — Вы в фургоне ехали. На Харткилл.

Повисло долгое молчание. Они обдумывали ответ.

— С вами еще девушка была, — продолжила дознание Лина. — Я ее провожала.

— Была, — сказал мужчина.

— И куда делась?

Женщины переглянулись, пожали плечами.

— Из фургона она вышла, — сказала одна.

Лина прижала руку к горлу.

— Как вышла? Почему?

— Не знаю. Кажись, лесом пошла.

— Одна?

— Мы предлагали ей с нами идти. Отверглась. Похоже, второпях была.

— А где? Где сошла?

— Там же, где мы. У таверны.

— Понятно, — отозвалась Лина. Ничего ей понятно не было, но она решила не напирать. — Вам что-нибудь принести? Тут ферма недалеко.

— Благодарствуем, но не надо. В ночь мы уходим.

Мужчина, который спал, проснулся и с опаской поглядывал на Лину, другой же, казалось, очень заинтересовался происходящим на реке. Закончив собирать нехитрые пожитки, одна из европейских женщин обратилась к товаркам:

— Лучше бы нам поспешать. Он ждать не будет.

Все без слов согласились и гуськом потянулись к реке.

— Счастливо вам, — сказала Лина.

— Прощайте. Благослови вас Бог.

Тут первый мужчина обернулся и говорит:

— Вы нас не видели, ладно, мэм?

— Да-да. Конечно не видела.

— Спаси вас Господь, — поклонился он, приподняв шляпу.

По дороге к ферме на новый дом старалась не взглянуть ни разу, да все думу думала и пришла к выводу, что с Флоренс покуда ничего плохого не случилось, но стало только страшнее: вдруг еще случится! С этими-то понятно: у беглых стезя одна, у Флоренс другая. Не заходя в дом, вышла на дорогу, туда посмотрела, сюда, голову подняла, понюхала воздух: какой завтра погоды ждать? Весна, как водится, строптивилась. Пять дней назад Лина вот так же точно нанюхала дождь, да только оказался он сильней и дольше, чем бывало на ее памяти; так лил, что, может, и Хозяинову смерть ускорил. Потом день жары с ярким солнцем, под которым воспряли деревья — оделись легкой зеленой дымкой. И вдруг опять снег, удививший ее и напугавший: как раз на Флоренс в пути припадет! Теперь, зная, что Флоренс пробивается где-то в бесприютности, она пыталась вызнать, что принесут с небес ветра. Пожалуй, должно успокоиться. Весна понемногу крепнет, матереет. Приободрившись, Лина снова зашла к болящей и там услышала бормотанье. Неужто Хозяйка опять себя жалеет? Нет, на сей раз пустых жалоб не слыхать. Вот дивище: теперь она молится. О чем, к кому обращена молитва — этого Лина не знала. Смутилась же и удивилась она потому, что всегда считала, что Хозяйка с христианским Богом знается чисто для отвода глаз, а вообще-то к религии относится если не враждебно, то с безразличием. Что ж, — подумала Лина умудренно, — от начала времен дух смерти всегда был великим переустроителем умов и собирателем сердец. Решения, принимаемые под дуновением его, сколь тверды да круты, столь и опрометчивы. В тяжкие минуты жизни разум редко кому не откажет. И все же, что там с Флоренс? Надо же, как она повела себя в момент, когда все пошло на перелом, — решилась действовать, когда другие или мешкотно топчутся, или прячут голову в песок. Быстро! Смело! Но справится ли? Ведь совсем одна! Идет в сапогах Хозяина, с подорожной грамотой и узелком еды, а главное, с желанием сердечным того знатливого кузнеца найти. Но вот вернется ли? С ним ли придет, за ним, без него или не придет вовсе?

Ночь густа, вся звездная сила завязла, и вдруг луна. А иглы колются, сучья саднят, никакого тебе покоя. Спустилась поискать — может, лучшее мес-

то найду. При луне вижу пустое бревно, но внутри оно от муравьев всё шевелится. Ладно, наломала лапнику с молодой елки, навалила кучей и на ней прилегла. Еловые иголки гуще, не так колются, да и не упадешь теперь. От земли сырость, холод. Приходили ночные мыши мелкие, меня понюхали — шнырк восвояси! Страшусь змей — они что по деревам, что по земле вьются, хотя Лина и говорила: они, мол, нас не шибко предпочитают — ни чтоб кусать, ни целиком глотать. Лежу тихо и стараюсь о воде не думать. Думаю зато о другой ночи, о прежнем разе, когда лежала на сырой земле. Но тогда было лето, и сырость была от росы, не от снега. В тот раз ты рассказывал, как ладят железные вещи. Как вкусно тебе бывает отыскать руду, когда она в доступности, поверх земли лежит. Как это весело и славно — выделывать металл. Потому что и отец твой владел тем же промыслом, а прежде его отец, и до них так тысячу лет. И как домницы зиждили в муравьиных домах-термитниках. И про то, как получаешь ты одобрение предков: величаешь их по именам, и, если явятся сей же момент два сыча, значит, дают они тебе свое благословение. Ой, смотри, — сказал ты тотчас, — вон сидят! И головы к нам повернули. Вот — тебя, значит, одобрили. Они благословили меня? — спросила я. Погоди, — сказал ты. — Погоди, видно будет. Похоже что да, потому что... Потому что сейчас я кончу. Вот, на подходе уже, к тебе иду, источаюсь бо.

Лина говорит, есть духи, хранящие воинов и охотников, и есть другие, оберегающие дев и матерей. Но я ни то ни другое. Святой отец учил: крещеному первое дело воцерковление. Ну, а второе — молитва. Но воцерковиться мне тут некуда, а говорить со Святой Девой совесть зазирает, ибо то, что я попрошу, ей, поди, не по нраву будет. И Хозяйка тут мне не в помощь. Сама избегает баптистов и тех деревенских баб, что ходят в молельный дом. Докучливы больно. Взять хоть случай, когда мы втроем — Хозяйка, Горемыка и я — ездили продавать двух телят. Сами в телеге, а телята сзади привязанные, на веревке чапали. Сговорку вела Хозяйка, сидим, ждем. А Горемыка спрыгнула, да за амбар фактории. Вдруг слышим, тетка деревенская по морде ее лупит и орет. Хозяйка подоспела и тоже — на рожу красная стала, как та тетка. Это Горемыка на дворе облегчиться вздумала без оглядки. Ладно, покричали да разошлись, повезла нас Хозяйка восвояси. Вдруг — тпрру! — вожжи натянула, остановились. Повернулась к Горемыке да как даст ей по морде еще и от себя. Дура! — говорит. Я аж обмерла. Прежде Хозяйка никогда нас не била. Горемыка не заплакала и не сказала ничего. Потом Хозяйка, наверное, другие слова Горемыке говорила, поласковее этого, но сейчас передо мной ее глаза — какими она тогда глазами смотрела. Точь-в-точь как смотрели на нас с Линой прохожие женщины, когда мы дожидались фургона братьев Ней. Вроде и ничего страшного, а неприятно. Но у Хозяйки, знаю, сердце доброе. Однажды в зиму, когда я была еще маленькая, Лина спросила ее, не отдаст ли она мне обувку умершей дочери. Черные такие башмачки о шести пуговках каждый. Хозяйка согласилась, но, как увидела меня в них, села сразу в снег и заплакала. Хозяин пришел, поднял на руки, унес в дом.

А мне совсем никогда не плачется. Даже когда та женщина украла у меня утепличку и туфли. Замерзала на судне, а слез не выказала.

Что-то грустные мысли заворочались, начну-ка думать о тебе лучше. О том, как говорил ты про свою работу, что несравненна она по си-

ле и тонкости. А я думаю, ты и сам такой. И не надо мне Святого Духа никакого. Ни церкви, ни молитвы. Ты мне защита. Только ты. Ты — потому что, как сам сказывал, ты свободный человек из Нью-Амстердама и всегда был таков. Потому что не Уиллу или Скалли подобен, а сродни Хозяину. Я не знаю, каково это — быть свободным, но память моя не стынет. Когда вы с Хозяином закончили ворота и ты нежданно исчез, я бывало выходила искать тебя. За новый дом шла, в гору, в гору, потом с холма вниз. Вижу тропу между рядами вязов — и на нее. Под ногою мхи да травы. Скоро тропа из-под вязов сворачивает и справа идет обрыв, а внизу скалы. Слева гора. Высокая, жуть. А по ней в самую высь карабкаются красненькие цветочки, мною невиданные. Толико обильные, что свою же листву глушат. Запахом весьма сладки. Я рукой сунулась, сорвала несколько. Слышу шум за спиной. Поворотилась — внизу, где скалы, олень скачет. Огромный. А важный какой! И вот стою я там — с одной руки стена благовония манящего, с другой красавец олень — и думаю: что же еще на моем веку суждено мне увидеть? Казалось, мне пожалована вольная — что захочу, то и верчу теперь: захочу — за оленем пойду, захочу — по цветы. Я немного даже испугалась такой просторности. Неужто это оно и есть — то, что чувствуют свободные? Не понравилось мне. Не хочу быть от тебя свободной, потому что только тобой я жива. Но едва я спохватилась свободно с оленем поздороваться, как он ушел.

А теперь я про другое подумала. Другой зверь из памяти выступил. У Хозяина заведено было мыться раз в год, в мае. Мы ему ведрами нанесем горячей воды в корыто и нарвем грушанки — ее тоже в корыто сыплем. Как-то раз, помню, уселся. Колени вверх торчат, мокрые волосы по краю корыта пластаются. Хозяйка тут как тут — сперва с куском мыла, потом за веник берется. Нашкрапила его, он из корыта встал, стоит весь розовый. Она его простыней оборачивает, вытирает. Тут и она в корыто влезла, плескается. Он ее не шкрапит. Он уже в доме, одевается. Глядь, а на опушку лось вышел — редколесье, хорошо виден. Мы его все увидели — Хозяйка, Лина, я... А он стоит и смотрит. Хозяйка руки скрестила, груди прикрыть. Уставилась, глаза большущие. С лица сбледнела. Лина крикнула, швырь в него камнем. Лось медленно повернулся и ушел. Как прямо атаман какой. А Хозяйка дрожит вся, будто лихо пришло. Смотрю — она маленькая, не видная из себя. Ведь это просто лось, его интерес не к ней. А то и вовсе ни к кому. Хозяйка кричать не кричала, но и плескотню оставила. Не оказалось в ней этой свободы. Тут вышел Хозяин. Хозяйка вскочила и к нему. Голая и вся травинками облеплена. Мы с Линой переглянулись. Чего она испугалась? — спрашиваю. Да ничего, — отвечает Лина. А пошто она так к Хозяину кинулась? Отчего ж не кинуться, когда есть к кому, — отвечает Лина.

Вдруг с неба стая воробьев цельным покровом пала. Птицы расселись по ветвям, и было этих птиц столько, словно они выросли на дереве вместо листьев. Лина мне на них показывает и говорит: не нами устрояется этот мир. А он нас устрояет. И тут же в полной тишине все птицы исчезли. А Лина опять: Помнишь, сказано: "Смотрю, и вот, нет человека, и все птицы небесные разлетелись". Я Лину не поняла тогда. И теперь не понимаю. Ты и устроитель мой и весь мой мир. Это уже свершилось. Не надо мне ни выбора, ни свободы.

Сколько же еще терпеть-то? Не потеряется? Дойдет ли? Застанет ли? Приведет ли его? Вдруг нападет какой бродяга, силой утащит? А нужна ей была обувка — справная, настоящая — взамен грязных, хлябавших на ногах онучей, и только когда Лина ей мокасины сшила, услышали от нее первое слово.

Мысли Ребекки текли, будто кровь из раны, — сливались, набухали каплями, события в них смешивались и искривлялись, путались времена, но не люди. Непрестанно требовалось сглотнуть, хотя болело горло и все нестерпимо чесалось, хотелось разодрать на себе кожу, всю плоть от костей отдернуть, а отпускало только на время бесчувствия — не сна, нет, потому что разве это сон, когда видения так явственны, что будто и не спишь вовсе!

— Чтоб в эту страну попасть, шесть недель я по нужде прилюдно тужилась, среди чужих...

Этой фразой она у Лины в ушах навязла, повторяла вновь и вновь. Лина осталась единственной, на чье понимание она могла рассчитывать и чьим суждением дорожила. Даже сейчас, в густо синеющих весенних сумерках, охочая ко сну не более Хозяйки, она потряхивала над кроватью оперенной палочкой, шептала наговоры.

— Прилюдно, — повторила Ребекка. — Не было иной возможности — напихано нас было между палуб, как сельдей в бочонок. — И цепким взглядом ухватила Лину, которая отложила уже свою волшебную веточку и встала у кровати на колени. — Знаю я вас... — произнесла Ребекка и хотела улыбнуться, но получилось ли, не поняла.

Возникали перед нею и другие знакомые лица, потом таяли — вот дочь, вот моряк, помогавший перевязывать короба, а потом тащить их, вот повешенный висит. Эк, лицо-то опухло, побагровело — как каменное... Нет. Это живое лицо. Как можно не узнать свою единственную помощь и опору? Чтобы утвердить себя в ясности ума, она сказала:

— Лина. А помнишь ли ты вот что... Камина у нас тогда еще не было... Стужа стояла. Смертная. Я думала, она немая или глухая... Кровь-то вот липнет. И не отойдет никак, сколько ты...

Тон при этом пристален и вкрадчив, будто она секрет выдает. Вдруг смолкла и провалилась, ухнула в горячку между беспамятством и вспоминанием.

Ничто в жизни не предвещало, не готовило ее к жизни водной — на воде, у воды, водою... — к тошности, водой вызываемой, и к жажде неутолимой. А уж как зачарованно, доколе скука слезою глаза не подернет, она вглядывалась в водные дали, когда в полдень женщинам дозволяли еще час провести на палубе. Разговоры с великой водой вела. "Спокойна будь, не хлещи меня валом своим. Ласково прошу. А двигать — двигай, весели душу. И верь, никому я не выдам тайн твоих — не расскажу, что духом ты подобна свежим кровям месячным; что шаром земным владеешь, а твердь — только шутка, твоим помышлением сотворенная; знаю — под тобой вертоград особый, где кладбище и вместе кущи райские, благостной лозой виноградной перевитые".

Сразу по прибытии Ребекка подивилась скорополучному счастью и удаче. Муж-то каков! Шестнадцати лет она знала уже, что отец занарядит ее в любую чужедальнюю сторону, лишь бы кто оплатил переплыв да снял с него тяготу окормления. Сам моряцкого звания, собирал все

слухи и сплетни, без устали мореходцев выспрашивал, и однажды поведал ему матрос, что их старший помощник разыскание учиняет — требуется здоровая, беспорочная женка, да чтобы не убоялась за море идти; тут он сразу и предложил старшую дочь. Девку норовистую, дерзкую и на язык невоздержанную. Мать Ребекки противилась "продаже", как она называла их сговор, потому что предполагаемый жених настойчиво сулил "возмещение" в части одежд, расходов, да и провиантишка кой-какого. Ведь не любовь к ней, не сердечное умиление им движет, а только то, что он, сам кощунствующий безбожник, живет среди сонмища дикарей. А религия, как внушала Ребекке мать, есть пламя, немирным борением полыхающее. Ее родители и друг к другу, и к детям относились с тусклым равнодушием, весь жар свой только для религиозного пристрастия и берегли. Любое радушие, любая щедрость к постороннему грозили загасить это пламя. Ребекка Бога понимала смутно, знала его лишь как великого царя царей, стыд же недостаточной своей приверженности утишала тем, что Он не может быть ни лучше и ни больше, чем вмещает в себя благоговейное воображение. У мелко верящего и бог мелок. Робкие чтят бога яростного, бога-ревнителя. Вразрез усердному нетерпению отца, мать опасалась, как бы дикари или раскольники не убили ее дочь, едва на берег сойдет, поэтому, когда Ребекка обнаружила в имении Лину, ожидавшую у входа в ничем не разгороженную хибарку, выстроенную новым мужем для совместного проживания, она тем же вечером затворила дверь и не позволила черноволосой девке с лицом невозможного цвета спать в обозримой близости. Возрастом та была лет четырнадцати, а ликом будто из камня тесана, так что немало времени прошло, прежде чем между ними возникло доверие. Но потому ли, что обе жили в оторванности от близких, или потому, что обеим надо было одному мужчине прислуживать, или потому, что обе понятия не имели о том, как учреждать на ферме хозяйство, только стали они друг дружке подспорьем. Сработались в пару — а иначе и быть не может, когда приходится согласно один урок вдвоем исполнять. Потом, когда первый младенец родился, Лина его нянчила с такой нежностью, с таким пониманием, что от былых своих страхов Ребекка отстранилась окончательно, будто их не бывало вовсе. А теперь лежит в кровати, — руки тряпками замотаны и связаны, чтобы сама себя не портила, — лежит, дух в себя сквозь зубы тянет и, окончательно вручив свою судьбу ближним, мучается явлениями былых ужасов. Первые повешения она видела на площади, посреди довольной толпы. Ей было тогда года два, и сцены смерти напугали бы ее, если бы толпа так не глумилась и не радовалась происходящему. Со всеми своими родственниками и большинством соседей однажды она присутствовала при потрошении с четвертованием[1], и, хоть сама она была слишком мала, так что деталей не запомнила, но год за годом ее кошма-

1. Имеется в виду английский обычай казнить особо обозливших короля преступников сперва повешением (не до смерти), затем отрезанием половых органов и потрошением внутренностей, которые сжигали на глазах казнимого, его же затем рассекали на четыре части, напоследок отрубая голову, чтобы выставить на обозрение, предварительно для более длительной сохранности слегка отварив. Ввел эту казнь Эдуард I в XIII в., а окончательно ее отменили в 1870 г. Впрочем, с 1814 г. вешали уже как подобает, а дальнейшее членовредительство производили нехотя и, наверное, не в полном объеме, но, главное, все-таки посмертно.

ры постоянно оживлялись подробными пересказами и вспоминаниями домашних. Ни в те дни, ни теперь она не ведала, кто такие Святые Пятого Царства (оно же Второе Пришествие) и чего ради пытались они свалить короля Карла II, но обстановка вокруг была такова, что самым ярким праздником бывала казнь, и наблюдали ее так же радостно, как, например, парадный выход короля.

Драки, поножовщина и похищения в родном городе были столь обыденны, что пугать ее погибелью в новом, невиданном мире было все равно, что предупреждать о возможном наступлении непогоды. В год, когда она сошла с корабля, милях в двухстах от их фермы между поселенцами и местными разразилась большая битва, но она кончилась прежде, чем Ребекка о ней узнала. Зато постоянно доходили слухи об очередной схватке-перестрелке; те против этих, стрелы против пороха, огонь против томагавка, но это ведь сущие пустяки по сравнению с ужасом, коего свидетельницей она бывала с детства. Вот горку дышащих, еще живых внутренностей подносят к глазам преступника, после чего бросают в ведро и вываливают в Темзу; вот пальцы отрубленной руки шевелятся, ищут утерянное тело; а вот привязана к столбу женщина, обвиненная в оскорблении действием, и ее волосы охватывает пламя. В сравнении с этим перспектива смерти в волнах вместе с терпящим бедствие кораблем или от неожиданного удара томагавка виделась не слишком-то и мрачной. В отличие от других поселенцев она не застала недавно еще обычной для здешних мест охоты за скальпами, да и в любом случае не такой это ужас, когда месяца через три после случившегося вдруг приходит весть о сражении, о том, что кого-то где-то похитили и съели или что вот-вот, похоже, мирная жизнь пойдет прахом. Язвящие страну нескончаемые раздоры местных племен то друг с другом, то с войском колониальной ландмилиции давно уж кажутся отдаленным фоном, неудобьем, которое в такой обширной и изобильной стране вполне преодолимо.

От облегчения, что ее не преследует больше ни городское, ни корабельное зловоние, Ребекка сделалась будто пьяная, и на то, чтобы отрезветь, привыкнуть к вольному воздуху, не один год ушел. Даже обыкновеннейший дождь казался в новинку: чистая, без копоти, вода падает тебе прямо с неба. Сцепив руки у горла, смотрела она на деревья, что выше соборной колокольни, смотрела и улыбалась — вот дров-то где обилие, не охолодаешь! — но нет-нет и слеза навернется, как братьев своих вспомнит, да и детишек, мерзнущих в городе, из которого сама сподобилась убраться. Таких, как здесь, она ни птиц не видывала, ни воды не пробовала такой вкусной, по чистым белым камням струящейся. А как занятно учиться стряпать из дичи, о которой ты слыхом не слыхивала, а попробуешь — прямо что жареный лебедь! Ну, бури тут, конечно, бывают свирепые — снегу выше обоконцев наметет, ставни не распахнуть. И гнус летом взвоет, взгундосит так, что хоть плачь. А все же мысль о том, какова была бы ее жизнь, засидись она там, на вонючих улицах, продолжай она терпеть плевки лордов и проституток и только приседай да кланяйся, приседай да кланяйся — нет, эта мысль ввергала ее в ужас. Здесь она отвечает перед мужем, и все; разве что иногда, может, надо долг вежливости отдать (если есть время и погода позволяет) — наведаться в единственный молельный дом, учрежденный поблизости. Баптисты все

же не то, что сатанисты, хотя их и обзывали этим словом родители, которые, впрочем, за таковых и сепаратистов-пуритан почитают, тогда как, увиденные вблизи, баптисты оказались славными и щедрыми людьми, несмотря на всю бестолочь своих заблуждений. Следуя нелепым своим воззрениям, они дошли до того, что там, дома, и их, и ужасных — как там? — квакеров до полусмерти избивали в собственных молельнях. Впрочем, Ребекка не питала к ним особой враждебности. Да ведь и сам король, отправив баптистов на виселицу, по дороге помиловал, а было их в тот раз не меньше дюжины. До сих пор она помнит, как раздосадованы были родители, что зрелище отменяется, как они гневались на легкоотходчивого короля. В общем, плохо ей было с родителями в мансарде, где не смолкали скандалы, подогреваемые вспышками зависти и угрюмострастной ревности ко всякому, кто не похож на них; все это будило в ней нетерпение, склоняло к бегству. Куда угодно.

Первая возможность избавления пришла довольно рано: в приходской школе четырех девочек, ее в том числе, выбрали для обучения на горничных. Однако в единственном доме, куда ее согласились принять на службу, ей пришлось спасаться от хозяина бегством и прятаться за дверьми. В том доме она выдержала четыре дня. Другого места ей уже не предложили. Потом пришло избавление более решительное — отец узнал, что некий человек ищет неслабосильную жену, а приданого как раз не ищет. С одной стороны, упреждаемая о немедленной погибели, с другой, получив обещание счастливого замужества, она ни в то ни в другое не верила. В то же время ни денег, ни наклонности торговать — что вразнос, что на рынке — у нее не было; за кров и кусок хлеба идти в подневольные ученицы тоже не хотелось; даже в публичный дом высокого пошиба ее не взяли бы, так что оставалось только в служанки, в уличные проститутки либо замуж, и, хотя страшное рассказывали о каждом из упомянутых поприщ, последняя возможность все же казалась наиболее безопасной. Направившись по этому пути, она может заиметь детей, а стало быть, и некоторое снисхождение. Что же до видов на будущее, то оно всецело зависит от того, к какому попадешь мужчине. Следовательно, выход замуж за незнакомого мужчину в заморской стране дает явные преимущества — прежде всего именно удаленностью: во-первых, от матери, сварливой мегеры, в недавнем прошлом по злоречивости едва не подвергшейся позорному окунанию в пруд[1]; во-вторых, от братьев, работающих день и ночь с отцом и от него набравшихся небрежительного отношения к сестре, помогавшей их взращивать; но особенно от ухмылок и грубых поползновений мужчин — пьяных ли, трезвых, — шарахаться от которых ей приходилось каждый божий день. Ну, в Америку. Ну, опасно, но ведь не хуже, поди, чем здесь?

Вскоре по прибытии на ферму Джекоба она сходила за семь миль в местную церковь, познакомилась с несколькими слегка подозрительными поселянами. Они отъединились от более крупной секты, чтобы практиковать здесь свою раскольничью религию в ее самом чистом ви-

1. Обвиненную в злостном сквернословии особу (мера касалась только женщин) привязывали к креслу, цепляли к снасти вроде колодезного журавля и в таком положении опускали в воду — столько раз, сколько предписано по приговору суда. Бывали случаи, когда, кроме позора, эта процедура, официально отмененная лишь в 1967 г., влекла за собой и смерть наказуемой.

де — истинном и по-настоящему богоугодном. С ними она старалась говорить как можно вежливее. В церкви была тише воды, ниже травы и, даже когда они объяснили ей суть своей веры, глаза закатывать не стала. И лишь когда отказались крестить ее детище перворожденное, ее прелестную доченьку, Ребекка от них отвернулась. Пусть и слаба в ней вера, но как же можно не защитить душу младенца от вечной муки?

Все чаще и чаще она делилась своим горем с Линой.

— Только что ведь изругала ее за порванную рубашонку и, представляешь, Лина, в следующий миг поворачиваюсь, а она лежит в снегу. И головушка треснувши, как яйцо.

Поминать о своих печалях в молитве она совестилась: в скорби следует оставаться стойкой, Богу непригоже выказывать ничего кроме хвалы и истовой благодарности за милость и заботу. Но она родила четверых здоровеньких детей, и три раза на ее глазах младенцы в разном возрасте уступали то одной, то другой немочи, а потом и Патриция, перворожденная, уже пятилетняя, дарившая ее таким счастьем, о каком прежде Ребекка и мечтать не смела, два дня пролежав у нее на руках, умерла от проломления темени. Да еще и хоронить ее пришлось дважды. Первый раз оставили замерзать в выстланном мехом гробике, потому что земля не пожелала принять этот коробок, который сколотил Джекоб, а второй раз весной, когда им удалось наконец под бормотанье пастора баптистов прибрать ее, уместив между братьями.

А по Джекобу ей, слабой, опрыщавевшей, не отпущено было убиваться и полной днины; ее скорбь выдернули непоспелой, как репу в голодный год. Уже ее собственная смерть — вот на что пора было сострем ить помыслы. Смерть уже стучала в ее крышу копытами своего коня — она виделась Ребекке нисходящей к ней закутанной в плащ, источающей мрак фигурой. Но каждый раз, едва чуть-чуть отступала му́ка, мысли ее отдалялись от Джекоба и возвращались к Патриции, к ее запекшимся волосам, к сбереженному на особливый случай пересохлому куску мыла, которым она отмывала их, к тому, как вновь и вновь отполаскивала каждую темно-медовую прядочку от кровавого ужаса, безнадежно застлавшего ей всю душу черным.

На гробик, под шкуряным покровом ждущий оттепели, Ребекка не взглянула ни разу. Но когда земля, наконец, помягчела, когда Джекоб сумел-таки уцепить ее заступом и они опустили гроб в ямку, она села наземь, схвативши себя за локти, и, забыв о сырости, не сводила глаз с каждого комочка и камушка, что сыпали сверху. Весь день там просидела и всю ночь. Никто — ни Джекоб, ни Горемыка, ни Лина — не мог приподнять ее. Да уж и пастору не осилить было, потому что кто, как не он с его присными, кощунственной ересью своей обездолил ее детей, лишил малюток спасения во Христе. Лишь рычала, когда ее трогали; набрасывали одеяло на плечи — срывала. Тогда ее оставили одну, ушли, качая головами и бормоча молитвы о ее прощении. На рассвете по свежевыпавшему легкому снежку пришла Лина и разложила на могиле красивые камешки и еду, украсив холмик пахучими ветками, потом стала говорить, что ее мальчики и Патриция теперь звездочки в небе или что-то еще, такое же благолепное, — желтые и зеленые пташки, игривые лисенята или облачка жемчужные с розовым подбоем, хороводящие на краю небосклона. Языческий лепет, конечно, но по утешности

своей, может, и не хуже чем *да избавлены будут скончавшиеся без покаяния сродники, ближние и знаемые наши от муки вечныя*... Вообще молитвы, которым и Ребекку научили, и сами неустанно повторяли баптисты местного сообщества, были труднопостигаемы и искомого облегчения не приносили.

...Однажды летним днем она сидела на завалинке, шила и перед Линой рисовалась сомнительными речами, а та помешивала белье, здесь же, подле нее кипятившееся в чане.

— Думаю, Господь и не ведает, кто мы есть. Ведал бы, пожалуй, возлюбил бы, но думаю, про нас Он и слыхом не слыхивал.

— Но ведь Он сотворил нас, так? Разве нет?

— Сотворил. Да Он и хвосты павлиньи сотворил такожде. Это, никак, поухищренней будет!

— Вот тебе на! Ведь мы поем и говорим, а павлины нет.

— Мы поневоле вынуждаемся. А павлинам оно не надобно. И что в нас еще хорошего?

— Разумения. И руки, чтобы всякую вещь ладить.

— Ну, так ведь то для себя все. Для собственной страды и пропитания. То ж не ему, не Богу. Он где-то далеко, в конце Вселенной. Что ему до нас!

— А что же Он тогда делает, коль не доглядывает за нами?

— Да черт его знает!

И обе они прыснули со смеху, как малые девчонки, что прячутся за конюшней и сами не свои, до чего рады своим опасным побасенкам. А теперь вот и не поймешь: ужасный случай с Патрицией, когда дочку копытом этим чертовым ударило, — не укоризна ли то Господня, не Он ли поставил матери на вид невежество ее.

И вот теперь сама лежит в кровати, проворные, ловкие руки обмотаны тряпкой, чтобы не закогтила себя до мяса, и даже не знает, то ли вслух говорит, то ли во сне внутри себя думает.

— По нужде на горшок... прилюдно... среди чужих...

Иногда они кружат возле ее кровати — эти чужие, которые чужими не были, ибо чужих не бывает в семье, порождаемой морским многоопаснейшим путешествием. То ли я брежу, — думала она, — то ли снадобье Линино действует. Но они — вот же, здесь: подходят, говорят, советуют, между собой языками чешут, смеются или просто смотрят на нее с сочувствием.

Кроме нее на судне "Ангелус" за океан были отправлены семь женщин. Ожидая погрузки, стояли, обратив спины к пронзительному ветру с моря, и дрожали среди составленных штабелями ящиков, судебных исполнителей, важных пассажиров (этих, понятно, поселят в помещениях верхней палубы), повозок, лошадей, стражников, тюков с поклажей и плачущих детей. В конце концов и пассажиров нижней палубы тоже призвали на борт, выспросив имена, прошлое место жительства и род занятий. Четыре или пять женщин сказались служанками. Но лишь для отвода глаз, и Ребекка скоро это поняла — как только их отделили от мужчин и женщин благородного сословия и привели в темный закут в трюме, рядом со скотскими стойлами. Свет божий вкупе с попутствием погодным проникал туда через люк, прорубленный в палубном настиле; на полу бочонок сидра, рядом поганый чан; на веревке корзина —

спускать пищевое довольствие. Если кто ростом выше пяти футов — худо: гнись да горбись, не то лоб расшибешь. Кое-как расползлись; разгородили, будто в ночлежке, углы простынками. Вид багажа, одежда, речи и манеры яснее всяких слов и признаний говорили о каждой, кто да что.

Одну звали Анна, ее с позором выгнали родители. Две — Джудит и Лидия — проститутки; этим на выбор — изгнание либо тюрьма. При Лидии дочь Пэтти, десятилетняя воровка. Еще одна, по имени Элизбет, божилась, что ее отец важный господин — член правления Компании. Другая, Абигейль, у них не задержалась: мигом усвистала к капитану в каюту, а еще одна, Доротея, на родине щипала кошельки, и ей за это приговор был тот же, что проституткам. Только у Ребекки проезд оплачен: конечно, девушка едет замуж выходить! За остальных должны заплатить встречающие — родственники или наниматели (кроме той, что щипала кошельки, и кроме проституток — им за место на судне и пропитание предстоит многие годы расплачиваться подневольным трудом).

Ребекка среди них — белая ворона. Это потом, прижатая к ним затеснением сундуков, узлов и одеял, свисающих с моряцких подвесных коек, Ребекка узнает их поближе. Малолетняя воровка оказалась певуньей; голосом сущий ангел. Дочь "господина члена", как выяснилось, родилась во Франции. Обеих взрослых проституток, оказывается, еще в четырнадцать лет погнали из дому за несусветное распутство. А щипачку втянула в ремесло и помогла развить воровские таланты родная тетка. Преступницы между собой быстро нашли общий язык и вместе скрашивали всем путешествие: без них оно, несомненно, было бы сто крат ужаснее. Их кабацкий юмор и практическая сметка, сдобренные невзыскательностью к другим и легкомысленным самохвальством, их смешливость и грубоватое дружелюбие забавляли и ободряли Ребекку. Уж как ей было бы страшно, плыви она, беззащитная девушка, в одиночку! Конечно, в заморскую опасную страну, да под венец там бог знает с кем идти, зато у этих-то женщин — вот до чего, и то ничего! Только вспомнит материнские пророчества, только у нее на сердце кошки заскребут, как тут же эти несчастные, падшие, гонимые женщины ее опасения и развеют. Особенно Доротея, с которой у нее установилось наиболее тесное приятельство. Напоказ вздыхая и перемежая тихие причитания должной толикой сквернословия, они разбирали пожитки, стараясь держаться отпущенной им территории — размером с подоконник. Когда на прямой вопрос Ребекка прямо и ответила: дескать, да, едет замуж выходить, — что? — да, в первый раз! — Доротея так и зашлась смехом, да еще и объявила громко, во всеуслышание:

— Она девица! Джуди, ты слыхала? С нами девчонка, голописька, недотыка!

— Так и не она одна. Про Пэтти ты, что ж, забыла? — подмигнув малолетке, усмехнулась Джудит. — Ты, Пэтти, с целкой своей, смотри не продешеви!

— Ребенку десять лет! — нахмурилась Лидия. — Охальницы! Меня-то вы за кого принимаете? Я ей мать все-таки!

— Что ж, годика через два поглядим.

Вся троица зашлась от хохота, но тут встрепенулась Анна:

— Слушайте, хватит! От ваших пошлостей у меня уши в трубочку.

— Это ты насчет кое-каких словечек или ващ-ще? — осведомилась Джудит.

— Или ващ-ще! — и поджала губки.

К этому времени они вполне освоились — значит, пора пошебаршить соседок. Доротея сняла туфлю и пошевелила пальцами, торчащими через дыру в чулке. Осторожно стянула истертые края, сложила вместе и закатала под пальцы. Сунув ногу обратно в туфлю, посмотрела на Анну и улыбнулась.

— А тебя, случайно, не за "ващ-ще" родители с нами в плавание послали? — При этом Доротея сначала сделала большие глаза, а потом, глядя на Анну с нарочито невинным видом, захлопала ресницами.

— Я еду в гости к дяде и тете!

Если бы света через приоткрытый люк проникало чуть больше, было бы видно, каким густым румянцем покрылись у нее при этом щеки.

— И везу им подарочек! Уж не без этого, а? — хихикнула Лидия.

— Уа-а! Уа-а! Уа-а! — Доротея на согнутом локте покачала воображаемого младенца.

— Кор-ровы! — огрызнулась Анна.

И вновь взрыв хохота, такой громкий, что скотину бы не переполошить, которая в стойлах, а стойла — вот они, за дощатой переборкой. По верху прошел матрос, вызванный, должно быть, кем-то из начальства, постоял над их люком да и накрыл крышкой.

— Сволочь! — раздался в навалившейся тьме чей-то выкрик. Доротея с Лидией заползали, зашуршали, но нашли-таки единственную на всех масляную лампадку. Долго стучали кресалом, дули на трут, засветили серничек, зажгли; свет вылился вовне, тени запрыгали по отсеку. Сразу стало тесней.

— А мисс Абигейль куда делась? — синичкой вывела Пэтти. Она пристроилась у левого борта, ей там сразу понравилось, когда еще паруса не открыли.

— У капитана на штыре засиделась, — равнодушно выговорила ее мать.

— Вот, с-цука, везет же! — пробормотала Доротея.

— Прикуси язык. Ты его не видела.

— Да была мне нужда на него смотреть! Я зато вижу, что он жрет. — Доротея мечтательно вздохнула. — Прямо так и вижу: вино, фрукты, мясо жареное, всякое пирожное...

— Не трави душу. Хватит. Одерживай. Может, она — шлюха такая — и нам чего-нибудь подкинет. Хотя нет, он ей так запросто разгуливать не даст. Хряк вонючий!..

— Эх, молочка бы сейчас парного, с-под коровки, и чтоб ни грязь там, ни мухи не плавали, да хлеба с маслицем... хотя бы непрогорклым.

— Хорош, говорю!

— У меня сыру немного есть, — сказала Ребекка. И смутившись оттого, как по-детски пискнул ее голос, кашлянула. — И галеты.

Все повернулись к ней, и чей-то голос восторженно пропел:

— Чу-удненько! Щас чайку попьем!

Масляная лампадка попыхивала, угрожая снова обвалить на них тьму беспросветную, какую только путешествующим в трюмах и дано изведать. Постоянная качка с боку на бок, забота о том, чтобы не сбле-

вать, не добежав до параши (да и бегать-то приходилось по большей части на карачках), — все это было почти невыносимо, но напряжешься — выдержишь, было бы только света чуть-чуть — ну, хоть с горсточку.

Женщины задвигались, сползлись ближе к Ребекке и вдруг ни с того ни с сего принялись изображать то, что им представлялось благородными манерами. Джудит расстелила свою шаль на крышке ящика, Элизбет откопала у себя в сундуке чайник и несколько ложек. Кружки оказались разные — жестяная, оловянная, глиняная. Лидия грела воду в чайнике над лампадкой, защищая язычок пламени ладонью. Никто даже не удивился тому, что чая-то в наличии как раз и не было, зато у Джудит и у Доротеи в мешках с пожитками был припрятан ром. Всем по чуть-чуть в кружки с тепловатой водой налила Доротея, сосредоточившись, как канатоходец и жонглер одновременно. На середину шали Ребекка выставила сыр, вокруг разложила галеты. Анна прочитала уместную молитву: *Услыши ны, Боже Спасителю наш, упование сущих в море далече...* Чуть дыша, они прихлебывали теплую, со спиртовым привкусом, водичку и жевали черствые галеты, деликатно, в подставленную ладонь, собирая крошки. Пэтти угнездилась между колен у матери, которая придерживала одной рукой кружку дочери, а другой гладила ее по волосам. Ребекке запомнилось, как они все до одной — и девчонка десятилетняя тоже, — поднося ко рту кружку, оттопыривали мизинчик. Еще в памяти осталась тишина, лишь оттеняемая плеском океанской волны. Должно быть, они так защищались (как и сама она) — отгораживались и от того, чего бежали, и от того, что может их ожидать. Как бы безвидна ни была вселенская дыра, их приютившая, но хотя бы свободна — ни прошлым тут им в нос не тычут, ни будущим не манят. Мужским миром для мужчин созданные и мужчинами кормящиеся, в эти краткие мгновения они и от мужчин были свободны. Поэтому, когда в конце концов лампадка угасла и мрак навалился, они долго-долго сидели не шелохнувшись, не слыша ни шагов по палубе сверху, ни мычания рогатых жвачных сзади за переборкой. Для них, отрезанных от неба, время прикинулось морем — плескучим, вечным, скучным и повсюду одинаковым.

По прибытии они не стали даже делать вид, что когда-нибудь встретятся снова. Знали: этого не будет, поэтому простились наскоро и равнодушно; каждая собрала пожитки и устремила взгляд в толпу — высматривать будущее. Они и впрямь никогда больше не виделись, если не считать мнящегося кружения около одра больной Ребекки.

Он оказался больше, чем ей представлялось. Все мужчины, которых она видела раньше, были низкорослыми. Крепкими, коренастыми, но низкорослыми. Мистер Ваарк (очень не сразу смогла она сказать ему *Джекоб*) подхватил оба ее короба, но сперва улыбнулся и потрепал по щечке.

— Помнишь, ты снял шляпу и заулыбался. Все улыбался и улыбался. — Ребекке казалось, что она отвечает на ухмылку новообретенного мужа, но ее запекшиеся губы едва шевельнулись, хоть и была она вся там, на месте их первой встречи. Ей тогда показалось даже, что всю свою жизнь он только к этому и стремился — после долгого ожидания наконец встретиться с ней, — столь явственно было его облегчение и радость. Шла за ним, после месяца с гаком в море земля была странно неподатливой, подгибались ноги, она запнулась на дощатых стланях и

порвала подол. Он не вернулся к ней, не остановился, и она зажала лоскуты юбки в кулаке, поправила под мышкой тюк с постелью и заспешила к телеге, нарочно не заметив поданную им руку помощи при посадке. Все, жребий брошен. Не хочешь меня баловать — и не надо. Не надо мне от тебя никаких поблажек. Что ж, в виду грядущих тягот это было правильным решением.

"Кому жениться — сюда", лаконично оповещала вывеска рядом с входом в кофейню, а пониже, мелкими буковками, строка или даже стих, в котором сквозь предостережение проглядывало нечто завлекательное: "Страсть похотения без брака не есть ли блуд, грехом чреватый?" Старый и не совсем трезвый дьяк оказался шустер. Всего через пару минут они уже сидели в телеге, и сердце — ах! — так и обмирало от предвкушения сладостной наполненности новой жизни.

Поначалу он был робок, что она объясняла себе отсутствием у него опыта жизни ввосьмером в одной-единственной чердачной комнатушке — его не приучили к тому, чтобы на рассвете певучим крикам уличных разносчиков вторили страстные стоны с соседней постели. В общем, между ними не происходило ни того, что описывала Доротея, ни акробатики, о которой, икая от хохота, рассказывала Лидия; на быстрые сердитые совокупления ее родителей это тоже не походило. Она даже не чувствовала, что он ее берет, как-то все само собой получалось.

— Звездочка ты моя путеводная, — приговаривал он.

Пошел период долгого взаимопознавания — предпочтения, привычки... Какие-то отпали, вместо них появились новые... Разногласия — да, злость — нет, не было такого. Появилось доверие, а с ним бессловесные нескончаемые беседы, которые и служат опорой многолетней совместной жизни. Попытки поговорить о религии (как же они бесили ее мать!) не вызвали в нем интереса. К этому он был непробиваемо равнодушен — уж сколько на него давили соседи, всячески понуждали присоединиться к пастве, а не поддался, но если ей захочется... пожалуйста, почему нет? Несколько раз Ребекка к ним сходила, но от дальнейшего слияния с общиной предпочла воздержаться, и он не скрывал, что доволен ее решением. В итоге изучили друг друга досконально, да и зажили малым своим мирком, переплетясь и корнями, и ветвием. Извне никто им не был нужен. Или так им казалось. Потому что ведь будут же дети! И они были. Родила Патрицию, затем сына. Да и потом рожала, каждый раз забывая, что предыдущий так грудничком ведь и помер. Забывая про то, как капает с грудей, как запекаются, пухнут и болят соски — сорочку не наденешь! А главное, забывая, как короток может быть путь от колыбели к могиле.

Сыновья умирали, а годы шли, и Джекоб постепенно убедился, что фермой выжить можно, но в люди не выбьешься. Стал больше торговать, мотаться в разъездах. Зато когда возвращался — вот было радости! Опять же новости привозил, рассказывал о всяких диковинах и напастях: какой гнев, бой и погром пошел, когда в городе среди бела дня воин тамошнего племени застрелил проезжавшего мимо пастора — прямо на скаку с лошади сшиб; какие шелка появились в лавке — всех цветов радуги, таких и в природе-то не сыщешь; как поймали пирата, привязали к колоде и тащили на виселицу, а он ругательски ругал палачей на трех языках; как мяснику задали плетей за торговлю заразным мясом;

как в воскресенье целый день лило без передышки, а на клиросе поют, и сквозь шум дождя издали это было нечто замогильное. Рассказы о его странствиях она слушала с удовольствием, но они и тревожили ее, бередили ощущение неустроенности здешней жизни, полной опасностей, защитой от которых у нее он один. Если помощницы, которых он вдруг иногда привозил ей, были молоды и неумелы, то подарками просто забаловал. Привез новый хороший разделочный нож, лошадь-качалку для Патриции... Какое-то время спустя она стала замечать, что рассказов становится все меньше, а подарков больше, да уже и не только хозяйственную утварь везет, а нечто, прямо скажем, эдакое. Серебряный чайный сервиз, например (который тут же спрятали с глаз подальше); хрупкий фарфоровый ночной горшок, которому по простоте обхождения быстренько отколотили край; и, наоборот, тяжелую, мощную расческу для волос — а ведь он их только и видел, что в постели. То шляпку, то чудные кружавчики. Шелковой ткани аж четыре ярда! Держа, как положено, язык за зубами, Ребекка только смотрела да улыбалась. Когда наконец осмелилась спросить, откуда деньги, он ответил: кое-что новенькое провернулось — и вручил зеркальце в серебряной оправе. Уже тогда, по одному тому, как хитро он повел глазом, распаковывая эти подарки, к хозяйству-то уж вовсе неприкладные, она должна была предвидеть, что однажды — и очень, наверное, скоро — прибудут наемные мужики помогать ему с вырубкой леса и раскорчевкой широченной плеши на взгорке. Новую хоромину учиняет строить! Да не хоромину, а каменные палаты, какие и не фермеру к лицу, и не торговцу даже, а прямо что высокородному сквайру!

Ведь мы обыкновенные, простые люди, — подумала она. — Жили себе тихо-мирно в таком краю, где этого не токмо что довольно, где это почитается чуть ли не за доблесть геройскую!

— Не надо нам новый дом! — набралась смелости высказать она. — А уж такой-то огроме́нный тем более! — При этом она брила его, заканчивала.

— Надо, не надо — э-эх, жена! Да разве в этом дело!

— А в чем же, святый боже? — Ребекка отерла лезвие от последнего шмата пены.

— Мужчина — это то, что он после себя оставит.

— Джекоб, мужчина — это его доброе имя, не больше и не меньше.

— Ты не понимаешь. — Он взял из ее рук холстинку, вытер подбородок. — Я его выстрою, я должен его выстроить!

С этого и пошло. Мужики с тачками, кузнец с горном, штабеля бревен, канаты с полиспастами, котлы с варом, молоты и ручники, па́рные упряжки лошадей, одна из которых как раз и саданула его дочери копытом в темя. Горячка строительства так его захватила, что он не заметил настоящей горячки, а она взяла да и свела его в могилу. А как только хворь свалила его, об этом прослышали баптисты и сразу запретили кому бы то ни было с фермы — особенно Горемыке — подходить к ним на пушечный выстрел. Разошлись работники, увели лошадей, унесли инструмент. Кузнеца-то давно уж не было, осталось железное кружево, сияло и красовалось — райские врата, да и только. Муж приказал, Ребекка без отказа — позвала женщин, насилу вместе подняли, переложили его с постели на одеяло. Все это время он хрипел: скорей, скорей! Совсем рас-

слаб, не мог им поспособствовать нисколько, лежал бревно бревном, еще не мертвый, а уже сделался мертвым грузом. Несли под холодным весенним дождем. Юбки волочились по грязи, платки сбились, чепцы на головах промокли и волосы под ними тоже. В воротах возникла заминка. Пришлось положить его в грязь и вдвоем дергать — одна щеколду, другая нижний шкворень, чтобы развести створки, да потом еще дверь дома отпирать. Дождь хлестал ему прямо в лицо, Ребекка наклонилась, заслоняя собой. Выискав самый сухой кусочек нижней юбки, стала осторожно промокать ему лоб и щеки, стараясь не бередить язвенных мест. Наконец процессия тяжко вдвинулась в сени, потом в зал, и там его опустили — подальше от дождя, заливающего в пустые проемы окон. Ребекка встала на колени, склонилась к нему, спросила: ну как ты там, сидра хочешь? Его губы шевельнулись, но ответа не было. Тут он вдруг взглядом повел в сторону, словно увидел что-то или кого-то за ее плечом, зрачки поплыли вбок и остановились, да так и замерли вплоть до того момента, когда она решилась ему прикрыть глаза. Вчетвером — сама она, Лина, Горемыка и Флоренс — сидели на досках пола. Каждой казалось, что остальные плачут, но то могли быть и капли дождя на щеках.

Что она может заразиться, Ребекка не верила. Даже когда в Лондоне всех косила чума, ни родители, ни кто-либо из ее родственников не умер. Они потом хвастали — дескать, ни у кого из них дверь не опоганили красным крестом[1], — хотя видеть видели всякое: и как собак убивали сотнями, и как по улицам глашатай ходил, выкликая: выносите трупы! выносите трупы! — а уж трупы мимо возили полными телегами, нагруженными до скрипа осей. Но вот она уплыла в новый чистый мир, в благоухающую свежестью Новую Англию, вышла замуж за рослого, крепкого мужчину, а он возьми да и помри вдруг; тут и она свалилась; кругом весна, все оживает, а она как Иов на огноище — будто в насмешку. Вот черт-то побрал! Это было излюбленное восклицание ее подружки карманницы в те моменты, когда на корабле в качку всех валяло и бросало друг на друга.

— Богохульствуешь! — пеняла ей Элизбет.

— Истинно говорю! — упорствовала Доротея.

А вот и они, легки на помине: в дверях помаячили, да и примостились с краешку ее одра.

— А я померла уже, — сказала Джудит. — И ничего страшного.

— Не говори ей об этом. Ужас какой!

— Да что вы ее слушаете? Она теперь знаете кто? Жена пастора!

— Щас чайку попьем! Чу-удненько!

— А я за моряка вышла, так что все время одна.

— Зато уж денежки гребет, мужу помогает. На приволье-то! Спросите ее как.

— Тсс! Это же против закона!

— Конечно, но если бы такого никто не делал, то и закон не надо было бы сочинять.

1. Во время Великой чумы 1665—1666 гг. было распространено ошибочное мнение, что заразу разносят собаки и кошки. Дома, где есть заболевшие, отмечали красным крестом на двери и замыкали цепью снаружи, никого не выпуская. Пищу приносили специально нанятые женщины (если зачумленным было чем заплатить).

— Слушайте, я расскажу вам, что было со мной. Этого мужчину я встретила...

В точности как на корабле, они перебивали друг дружку, галдели кто во что горазд. Пришли, вроде, утешать ее, но, как и положено потусторонним сущностям, интересовались только собой самими. А все же их рассказы, их сочувственные охи и ахи, простодушные советы и мнения худо-бедно давали Ребекке чуток отвлечься. Что ж, — думала она, — буду хоть знать ныне, чего стоила помощь горе-утешителей Иовлевых. Он лежал измученный болью, сокрушенный духовно, а они ему о себе талдычили; когда же ему стало еще хуже, услышал он ответ от Бога, сказавшего: кем ты там, внизу, возомнил себя? кто сей, омрачающий Провидение вопросами без смысла? Давай-ка Я тебя буду спрашивать, а ты объясняй мне. И на миг Иов пожалел, должно быть, что уже не от людей, столь же нетвердых на путях разума и таких же уязвимых, как и сам он, не от людей с их суетными измышлениями наставление получает. Но не так важно ему было, что приоткрыл его взору Господь мудрость Свою, как то, что обратил Он на него Свое око. Только этого и желал Иов. Не доказательства существования Всевышнего взыскался — нет, в том он никогда не имел сомнений. Не подтверждения власти Господней — кто может ее не признать? Он взор Его хотел привлечь, вот что! Не для того, чтобы признали в нем достойного или отвергли как дрянь никчемную, а чтобы искру жизни в нем заметил Тот, кто дарует ее и отнимает. Не торговаться жаждал; только бы отблеск на себе узреть неизъяснимый.

Однако Иов-то что ж... Он был мужчина. Мужчинам нестерпима незаметность. Но какую жалобу посмел бы Иов вознести, будь он женщиной? Да если бы такая женщина-Иов и посмела, а Он снизошел бы до того, чтобы поставить ее на место, показать ей, сколь безмерна ее слабость и неразумие, что нового было бы в том? Что Иова потрясло и смирило, возвратив на путь истинный, оказавшаяся на месте Иовлевом женщина знает сама, слышит в своей жизни ежеминутно. Нет. Лучше ложное утешение, чем никакого, — решила Ребекка и вновь стала слушать товарок по плаванию со вниманием.

— И он меня — раз! Ножом-то... Кровища повсюду. Я за живот схватилась, думаю, нет! Не падать, девочка моя, только не в обморок, держись...

Тут женщины поблекли и исчезли, но осталась луна, обеспокоенной подругой глядевшая с неба, бархатно-черного, как бальное платье благородной дамы. Лина тихо посапывала, лежа на полу в ногах постели. В какой-то момент — то есть давно уже, еще при жизни Джекоба, — просторное, невозбранно принадлежащее ему место, прежде вселявшее в нее сладостный трепет, сделалось незанятым. И пустота его была мучительной и гнетущей. Ребекка познала утеснение одиночества — бесцветность била по глазам, беззвучие оглушало, обездвиженность знакомых предметов таила смутную угрозу. А Джекоба нет и нет. А Патриция с Линой — разве они чем помогут? А местные баптистки? Всю душу вымотали разговорами, которые дальше огородов не простираются, когда не воспаряют прямо к небесам. Женщины эти казались ей туповатыми — они были твердо убеждены, что безгрешны, а потому свободны; что защищены, потому что воцерковлены; что имеют право попирать чувства ближнего просто потому, что живы и покамест здоровы. Новый избранный народ!

А сами-то, сосуды скудельные! — как все, как всегда, смотреть тошно. Словно дети, иначе говоря, — однако лишенные при этом детской невинности и любопытства. Их понятие о богоугодности еще более узко, чем у ее родителей. Их послушать, кроме них (и тех, кто с ними во всем соглашается) спасения не достоин никто. Впрочем, возможность к ним присоединиться они признают за всеми, кроме сыновей Хамовых, сиречь негров. Ну, правда, существуют еще папежи и племя иудейское — эти тоже окоснели так, что куда дальше-то... да к ним еще целый перечень всяких разных других, кто захряс в грехе и заблуждении. Всю эту их непримиримость всерьез не принимая (подобные попытки отгородиться в конце концов свойственны всем религиям), Ребекка им не прощала другого. Детей. Каждый раз, когда у нее умирал ребенок, она притворялась, будто ее гнев вызван тем, что из-за них ее дитятко умерло некрещеным. Однако правда состояла в том, что она не могла смотреть на их детей, таких здоровеньких, а главное, живых. Дело даже не столько в зависти, сколько в том, что эти их краснощекие смеющиеся детки виделись ей воплощенным укором, насмешкой, свидетельством ее жизненного провала. Впрочем, в любом случае общаться с бабами-баптистками ее нисколько не тянуло: все равно они ничего не могли бы поделать с тем, что без Джекоба на нее иногда, точно гром среди ясного неба, одиночество вдруг как обрушится да как скрутит! Бывало, стоит она, согнувшись в три погибели над грядкой редиски, выпалывает сорняки — руки ловкие, движения точны, как у горничной на постоялом дворе, когда та смахивает со стола в карман фартука чаевые. Сорняки тоже не пропадут — пойдут скотине. Но только это она распрямится, оправит передник, лицо подставив ливню солнечного света, как вдруг уютные сельские шумы словно отрежет. Будто снегом окутав голову и плечи, падет на нее безмолвие и раскинется вокруг сугробами, глуша и обесцвечивая все кругом — беззвучно трепещущую на ветру листву, мотающиеся на коровьих шеях ботала, взмахи топора, которым Лина поодаль колет дрова. Все тело обдаст волной сперва жара, потом холода. Звуки мало-помалу возвратятся, но чувство острого одиночества, бывает, не уходит и день, и два, и неделю... Пока, наконец, посреди этой пытки он не подъедет к воротам и не крикнет:

— Ну, где тут моя звездочка?

— Да как всегда здесь, на месте, — ответит она, а он положит к ее ногам рулон ситца или вручит пакетик с иголками. А милее и слаще всего, если к тому же вынет волынку, надует ее мешок, и-и-и... И тут уж устыдятся даже птицы: думали, только им подвластна музыка сумерек! У нее на коленях ребенок — живой, конечно живой! Все живы, вот и Патриция — топочет по полу, глазенки горят, рот до ушей... А папа то плясовую играет, то вдруг душевное запоет:

Чертоги небес затмевая,
Далёко за морем стоит
Спасенья постройка святая —
Тот дом, что прочней пирамид.
Покои в том доме просторны,
И окна широ́ко глядят,
Нет места там горю и скорби,
И каждый там каждому рад.

Пока он дома, никакая плата за их одинокую — без людей, без церкви — жизнь не казалась чересчур высокой.

Однажды, вся лоснясь от сытого довольства, распираемая великодушием, она так преисполнилась чувством полноты и богатства жизни, что снизошла до того, чтобы пожалеть Лину.

— Скажи-ка, а ведь мужчину ты и не знала, поди?

Они сидели в ручье, Лина держала на коленях младенца, смеялась, брызгая водой ему на спинку, и он тоже смеялся. Знойным августовским полднем они принесли постирушку к дальней заводи, где не кишели мухи и поменьше было злых москитов. Здесь никто не мог их увидеть, лишь изредка вдоль дальнего берега реки, в которую впадал их ручей, проплывало легкое каноэ. Патриция тоже залезла в воду, стояла неподалеку на коленках, смотрела, как струи течения раздувают ее панталоны. Ребекка сидела в сорочке, омывала водой руки и шею. Лина, обнаженная, как и ребенок на ее руках, поднимала его и опускала, глядя, как вода то на одну, то на другую сторону выглаживает его волосенки. Потом она подняла его к себе на плечо и напоследок обдала каскадом чистой воды спинку.

— В каком смысле, хозяюшка?

— Ну, Лина, ты меня, что ли, не поняла?

— Поняла.

— Ну — и?

— Ой, смотрите! — вскинулась Патриция, показывая ручонкой.

— Тш-ш-ш, — шикнула на нее Лина. — Не испугай их!

Но поздно. Лисица с лисятами шарахнулась и исчезла — повела их искать другого водопою.

— Ну так что, — не отступала Ребекка. — Знала?

— Да было раз.

— И как?

— Не хорошо. Не хорошо, госпожа.

— Что же так?

— Ладно бы только кланяться. Ходить за ним, убирать. Но когда меня порют, мне не нравится. Вот ни капельки.

Передав ребенка матери, Лина встала и пошла в малинник, где висело ее платье. Одевшись, повесила на локоть корзину с постирушкой и подала руку Патриции.

Оставшись одна с ребенком, Ребекка второй раз в этот день порадовалась чудесному своему благополучию. Ведь жен бить, вроде как даже и положено, а если ты, вдобавок, еще и не жена, то и ограничения (не бить после девяти вечера, бить только за дело, а не по гневливости) на тебя не распространяются. Кто был возлюбленный Лины? Туземец? Скорее всего, нет. Богач? Или простой солдат либо матрос? Богач, наверное, — подумала Ребекка, — они все такие! Добрые матросы ей встречались, зато короткий опыт пребывания в качестве кухонной девки у богатея ничего хорошего о благородном сословии не сообщил. Впрочем, кроме матери, ее никто ни разу в жизни не ударил. Прошло четырнадцать лет, а о матери она ничего так и не знает — жива ли? Какой-то капитан — знакомый Джекоба — наводил справки. Через полтора года после того, как его попросили разузнать, отчитался: они всей семьей, оказывается, переехали. Куда, никто сказать не может. Ребекка вылезла

из ручья, положила сыночка на теплую траву и, одеваясь, задумалась — как, интересно, изменилась мать? Небось, седая стала, сгорбленная, вся в морщинах. А глаза, поди, по-прежнему колючие, хитрые, так и сверлят тебя подозрительностью, помнится, ужасно бесившей Ребекку. Хотя, быть может, от старости и болезней помягчела, сделалась этакой вкрадчивой беззубой ехидиной.

Вдруг осознав себя прикованной к постели, она направила мысли в другую сторону. "А как изменилась я? На что я похожа? Что в моих-то глазах просвечивает? Череп и кости? Ярость? Покорность?" Захотелось на себя взглянуть... да где же оно — то зеркальце, что подарил Джекоб? Она тогда не сказала ничего, молча снова его завернула и сунула в сундук. Не сразу, правда, но спустя какое-то время Лина поняла, вложила его ей между ладонями. Ребекка глянула и зажмурилась.

— Простите, — пробормотала она. — Простите, пожалуйста.

От бровей одно воспоминание, когда-то нежный румянец щек стянулся в огненно-красные завязи. Медленно ведя глазами по отражению, она вновь и вновь извинялась.

— Глаза, глазоньки мои милые, простите меня. Нос... А губы-то, бедняжки. Бедные мои, милые, простите. И щеки тоже. Поверьте мне, я правда хочу, чтобы вы простили меня. Пожалуйста. Простите меня.

Лина пыталась отнять у нее зеркало, увещевала.

— Хватит, госпожа. Довольно. Ну довольно же.

Ребекка противилась, вцепилась в зеркало.

Ах, как она была счастлива! Сильна, здорова. Вот и Джекоб здесь, готовится строить новый дом. Вечерами валится от усталости, а она перебирает ему волосы, вычесывает дочиста, по утрам заплетает. Как ей нравилась его прожорливость, льстило, как он превозносил ее талант кухарки! Кузнец, внушавший опасения всем, кроме них с Джекобом, держал их вместе и на месте, подобно якорю в течениях предательских вод. Лина боялась его. Благодарная Горемыка ходила за ним как собачка. А Флоренс, бедняжка Флоренс, совсем голову потеряла. Из них трех только ей можно было доверить его разыскание. Лина всеми силами старалась бы отвертеться — конечно, ей не на кого недужную оставить, но не в этом дело. Главное, больно уж она его незалюбила. Брюхатая недотепа Горемыка вообще не в счет. Довериться Флоренс Ребекка решилась потому, что Флоренс, во-первых, неглупа, а во-вторых, добиться удачи ей страсть как нужно самой. Ребекка к ней, надо сказать, очень привязалась, хотя и вовсе не сразу. Джекоб, вероятно, думал сделать ей приятное, приведя девочку примерно того же возраста, что была Патриция. На самом деле он этим ее оскорбил. Даже точное подобие не может заменить первообраз, да и не должно, а тут... Поэтому, когда девчонка появилась, Ребекка на нее едва глянула, а после и нужды не было — вот еще, глядеть-то. И ее всецело приняла под свое крылышко Лина. Со временем Ребекка отмякла, потеплела к ней, ее стало даже забавлять жадное желание Флоренс заслужить похвалу. "Молодец, хорошо". "Да ты просто умница!" К любому, самому мельчайшему проявлению доброты и ласки та вся устремлялась, из рук выхватывала и быстро-быстро сгрызала, как заяц морковку. Джекоб говорил, что от нее отказалась мать — этим и объясняется, наверное, то, как она рвется всячески угодить. Отсюда же и ее привязанность к кузнецу — чуть что, по любому поводу рысью к нему бежит: вдруг ему покушать вовремя

не дадут, какой ужас! А Джекобу что Лина с ее недовольством, что тающая от обожания Флоренс: я сказал всё, уходить пора кузнецу вашему! Да полно, ну не прогонит же он его, такого нужного, такого мастеровитого кузнечика твоего из-за того только, что девчонка к нему присохла. Но уж присохла, да, — лепче клею и серы сосновой. Впрочем, Джекоб был прав: пора ему было, пора. Но пока он лечил Горемыку от непонятной какой-то хворости, кузнецу цены не было. Только на то и уповать остается, чтобы Господь ему это чудо дал повторить. А Флоренс сподобил бы затащить его к нам. Ноги ее мы обули в хорошие крепкие сапоги. От Джекоба оставшиеся. И хозяйское подорожное письмо за голенище сунули. И куда идти, как будто бы тоже ясно обрисовали.

Ведь все вроде на лад пошло. Начала отступать сосущая пустота бездетности, временами отягощаемая многочасовыми впаданиями в одиночество — как найдет, будто в сугроб провалишься, но вот уже и эти сугробы стали таять. Да и нацеленность Джекоба на непременный денежный успех перестала ее беспокоить. Решила, пусть: стремление все больше и больше иметь — это у него не от любостяжания, не само богатство его греет, а радость делания. Что двигало им на самом деле, бог весть, главное, тут был, под рукой. С нею. Дышал рядом в постели. Обнимал ее даже сонный. И вдруг ушел, так внезапно!

Неужели баптисты правы? Неужто счастье — прелесть сатанинская, дьяволово мучительство, обман? А ее молитва так слаба, что лишь в соблазн вводит? И вся упрямая самостоятельность обернулась лишь зловреднейшим богохульством? Не потому ли как раз в момент ее наивысшего довольства снова обратила к ней свою харю смерть? Смотрит, ухмыляется! Что ж, товарки по переплыву океанскому довольно ловко и со смертью столковались. Те, как узнала она во время их посещений, что бы ни извергала жизнь им в лицо, какие бы препоны ни ставила, всегда старались вывернуться, обратить обстоятельства к собственной пользе, превозмогали хитростью. Бабы-баптистки — другое. В отличие от ее товарок, они не имели решимости, поэтому даже и не пытались противостоять превратностям жизни. Напротив, вовсю призывали смерть. Пусть, дескать, она ищет их извести — ищет представить так, будто кроме земной жизни ничего нет; что за ней сплошное ничто; что нет утешения страждущим и, конечно же, нет награды — они полностью отрицают возможность вторжения в их жизнь бессмысленности и слепого случая. То, что зажигает ее товарок, побуждает их к действию, благочестивых баптисток ужасает, одни других считают глубоко и гибельно ущербными. Хотя взглядами те на этих нисколько не похожи, в одном они сходятся полностью: в своих упованиях на мужчин и опасной от них зависимости. И те, и другие согласно считают, что именно мужчина — корень как защищенности, так и риска. И те, и другие при этом идут на уступки. Некоторые, как, например, Лина, которой мужчины принесли и спасение, и поругание, от них отстранились. Другие идут по стопам Горемыки, так и не попавшей ни к одной женщине на воспитание и ставшей игрушкой в мужских руках. Кое-кто, подобно ее товаркам по плаванию, борется с ними. Благочестивые же им повинуются. Редко, но бывают и такие, кто, как она сама, испытав любовь и взаимность, в отсутствие любимого мужчины превращаются в растерянных детей. Без опоры на плечо мужчины, без поддержки семьи или доброжелателей вдова, например, оказы-

вается практически вне закона. Но не так ли и должно быть? Адаму первенство, Еве подчинение, потом — вы что, забыли, что она была первой преступницей?

Баптисты в этом поднаторели, не собьешь. Адам, подобно Джекобу, был добрый малый, но (в отличие от Джекоба) сбит с пути истинного супругой. Баптисты всех научат, как надо правильно себя вести и как благочестиво мыслить. Между прочим, в их понимании каждому народу изначально предписан свой уровень греховности. Индейцы и африканцы, к примеру, могут удостоиться благодати, но в рай не попадут. О, рай баптисты знают досконально, как собственный огород. Загробная жизнь для них не просто Божественна — они ее с волнением жаждут. Для них это не садик под ласковым солнышком, где круглые сутки поют псалмы, а реальная, деятельная, полная приключений жизнь, где всякий выбор удачен и всякое дело доводится до безупречного завершения. Однажды она разговорилась с какой-то теткой, пришедшей в церковь... как бишь она это описывала? А! там будет музыка и праздничные яства, пикники и барахтанье в сене. Веселые шалости и проказы. Мечты там все сбудутся. А над тобой, если ты истинно, благоговейно веруешь, может быть, Боженька сжалится и позволит твоим деткам, хоть и не удостоенным по малолетству правильного крещения, войти в Царствие Свое. Но главное — время. Времени будет сколько угодно! Сколько хочешь сможешь беседовать с другими спасенными, смеяться с ними. Даже на коньках кататься по замерзшим прудам, а на берегу будет потрескивать костер, чтобы отогревать руки. Кругом звенят полозья санок, дети строят снежные крепости, а другие на лужайке катают обручи, потому что погода такая, какую захочешь. Это ж — вдумайся! Просто представь! Ни тебе хворости — никогда! Ни боли. Ни старости, ни другой какой немочи. Ни утраты, ни горя, ни слез. И уж умирать-то точно больше не придется, даже если звезды низведены будут во прах, а луна ввержена во глубины морские и всплывет аки труп.

Все, что нужно, это уверовать и перестать думать. Язык у Ребекки во рту истомился словно зверек в ловушке, иссох в гортани. Она, вроде, и понимала, что мысли путаются, но в то же время они были такими ясными! Ведь вот, теперь и Джекоба нет — ужасно: не с кем даже поговорить. В любом расположении духа, в любом состоянии он всегда был таким, каким и должен быть настоящий супруг.

А теперь, — подумала она, — никого нет. Одни слуги остались. Лучший в мире муж ушел и похоронен женщинами, которых осиротил; дети тоже бродят по небу розовыми облачками. Боюсь за Горемыку: умру — что будет с ней, ведь пропадет же, дурочка, повредившаяся умишком от жизни на корабле, который сделался летучим голландцем. Одна Лина надежна, непоколебима, ей никакие беды нипочем, как будто повидала и пережила все на свете. Хотя бы вот как в тот раз, на втором году здешней жизни, когда Джекоб уехал, а их отрезало не по сезону жестокой пургой, и они с Линой и маленькой Патрицией через два дня начали голодать. Все дороги, все тропы замело. Патриция от холода посинела вся, несмотря на огонь — жалкий, кизячный, еле дышащий в приямке земляного пола. Что ж, Лина оделась в шкуры, взяла корзину и топор и храбро стала пробиваться к реке сквозь сугробы по пояс, сквозь ветер, от которого в голове стынут мысли. Там она наковыряла из-подо льда мерзлых лососей, побросала в корзину и пошла назад —

кормить домочадцев. Кошница полная набралась, тяжелая, только подымешь, руки с мороза костенеют. Она взяла и к перевеслу себя за косу веревкой привязала. Так волоком по снегу и перла.

В общем, Лина спасла их. Или то был Господь? Ныне же, в погибельной пропасти, Ребекка задумалась: уж не был ли переплыв в эту страну, вымирание всей ее семьи — не было ли то дорогой к откровению. Или к проклятью? Как поймешь? Вот смерть отворила уста свои, кличет по имени — кому повем, на кого уповать буду? На кузнеца? На Флоренс?

Сколько же еще терпеть-то? Дойдет ли? Не потеряется? Застанет ли? Приведет ли его? Не нападет ли кто, вернется ли она и успеет ли со спасением?

Дремлю, просыпаясь от каждого звука. Потом вижу сон: ко мне сходятся вишневые деревья. И знаю во сне, что сон, ибо листвой пошумливают и плодов полны. Чудно́ мне: что надо им? Посмотреть на меня? Потрогать? Одно вдруг валится, и я просыпаюсь со сдавленным криком. Вокруг все то же. Дерева не обременились вишнями и ближе ко мне не сошлись. Успокаиваюсь. Такой сон все же лучше, чем когда я вижу *минья мэй* – будто подходит она со своим маломерком ко мне. Обычно она будто сказать что-то хочет. Глаза большие делает. Губами шевелит. Я отворачиваюсь. И глубоко засыпаю.

То не птицы поют, то солнце. Но просыпаюсь. Весь снег сошел. Разумение возвращается с трудом. Вроде, на север теперь идти... или к западу уклоняться? Нет, на север, да попрямее, насколько позволяет густосплетение лесное. В конце концов ежевикой опуталась, уперлась — ни тпру, ни ну. Колючки да терновники по пояс и во все стороны. Долго продираюсь и продираюсь... оказалось правильно, потому что открылась вдруг передо мною луговина, вся солнцем напоенная и пахнущая пожаром. Эта земля еще помнит, как с нее огнем сводили лес. Ну вот, теперь под ногой разнотравье — мягкое, глубокое, нежное как овчина. Наклонилась потрогать и вспомнила Лину, как она любит перебирать мне волосы. Перебирает и смеется, говорит, будто бы они доказывают, что я ягненочек. А ты кто? — спрашиваю. Я лошадь! — смеется она и встряхивает гривой. Иду час, другой по залитому солнцем полю, и такая мучит жажда, хоть помирай. Впереди показалась рощица из берез и яблонь. Там уже сень зеленая, листочки проклюнулись. Везде птички чирикают — разговорчивые! Хочу скорей туда, может, воду найду. Но стоп. Стук копыт. Из-за деревьев всадники показались, ко мне скачут. Все как один мужчины, молодые индейцы. Есть которые моложе меня выглядят. Лошади неседланы, скачут голью. Да ловко так, я даже удивилась, и какая кожа у них — под солнцем чуть не светится, но и побаиваюсь. Подъезжают вплотную. Окружают. Улыбаются. Я вся дрожу. На ногах у них мягкие мокасины, а лошади без подков, и гривы что у коней, что у юношей, длинны и свободны, как у Лины. Говорят слова, которых я не понимаю, смеются. Один на свой рот пальцем показывает, да еще и тычет им туда. Туда, сюда. Остальные опять смеются. И он тоже. Потом он задирает голову, широко распахивает рот и большим пальцем туда показывает. Я от такой напасти в ужасе падаю на колени. Он спешивается, подходит ближе. Я даже запах чую — у него волосы благовонием каким-то смазаны. Глаза раскосые, а не большие и круглые, как у Лины. С улыбкой он снимает мех, свисавший с

шеи. Протягивает мне, но я так дрожу, что руки не держат. Он пьет из него и снова предлагает мне. Я пить хочу — умираю, а не могу двинуться. Только и сумела, что шире рот отворить. Он подступает вплотную и льет воду. Я глотаю. Кто-то из его приятелей говорит: бя-а, бя-а, как козленок, и все смеются, хлопая себя по ляжкам. Тот, что поил меня, закрывает мех и, посмотрев, как я вытираю подбородок, вешает обратно на плечо. Затем лезет в сумку, висящую у него на поясе, вытаскивает оттуда какую-то бурую полоску, подает мне и ртом еще эдак делает, словно жует. Полоска с виду кожаная, но я беру. Он тут же подбегает к коню и махом вскакивает. Поди ж ты! Нет, ты можешь вообразить? Разбегается по траве, взлетает, и он верхом. Я мигнуть не успела, а их и нет уже. Только что тут были, и нет их. Одни яблони, на которых со всех сил листочки пробиваются, да отзвук мальчишечьего смеха.

Кладу бурую полоску на язык — а что, и впрямь. Это действительно кожа. Но соленая и сочная; девчонке твоей от нее гораздо полегчало.

Опять нацеливаюсь через лес на север по следам, оставленным конями тех индейцев. Потеплело и становится все теплей. Но земля влажная от прохладной росы. Я все забыть пытаюсь, как мы на такой же мокрости лежали, стараюсь думать о светляках в высокой сухой траве. Было так многозвездно, светло, прямо что днем. А ты ладонью все мне рот зажимал, чтобы никто не подслушал мое удовольствие, да и кур не растревожить со сна. Ш-ш-ш! Тише! Вроде ото всех сокрылись, но Лина проведала. Берегись, говорит. Мы тогда ели, лежа в гамаках. Я только что от тебя вернулась, до боли нагрешив, и уже опять желаю. Я спросила ее, что она хочет этим сказать. Она говорит: из нас тут только одна дура, мол, и это не она, так что берегись. А меня уже столь сильно в сон клонит, что не ответить, да и не хочу. Предпочитаю думать про то место у тебя под горлом, где шея с косточками сопрягается — маленькая такая ямка, только кончик языка и поместится, не больше перепелиного яичка. Соскальзываю в сон, совсем тону и тут слышу, она говорит: ром? — что ж, ром, да... я говорила себе, его ром попутал. По первости это спьяну вышло, потому что человек такой учености да с таким положением в городе никогда бы так не уронил себя на трезвую голову. Я поняла его тогда, — продолжала бормотать Лина, — я поняла и повиновалась: это надо было сохранять в тайне, но с тех пор, едва он в дом, я глаза в землю. Смотрела только, нет ли соломинки во рту, а еще он, бывало, палочку в петлю ворот вставлял — знак, чтобы ночью встретиться. Тут Лина примолкла, а с меня и сон соскочил. Я села, свесила ноги. Гамак закачался, веревки скрипнули. Что-то в ее голосе было такое — меня как под ребро ткнули. Что-то древнее. Язвящее. Глянула на нее. Звезды на небе яркие, луна блестит, света довольно, чтобы видеть ее лицо, но не его выражение. Коса у нее расплелась, пряди свесились, сквозь переплет гамака торчат. Она говорила о том, что вот-де, без роду она, без племени и вся под властью европейцев. Ведь во второй раз ром ни при чем был, да и потом тоже, но тут он начал длань прилагать во гневе, если она лампадное масло ему на штаны прольет или он червячка какого малого обнаружит в вареве. Потом настал день, когда кулак в ход пошел, а потом и хлыст. Тогда гишпанская деньга пропала — дырка в кармане фартука завелась, деньга провалилась туда и исчезла, только ее и видели. Он этого простить не смог. Тебе уже четырнадцать, должна соображать, — говорил он. Вот я теперь, — бормочет Лина, — и со-

ображаю. И тут Лина рассказала мне, каково это — идти по улицам, утирая ладонью кровь из носа, и спотыкаться, падать, потому что глаза не открываются, а люди смотрят — думают, девка пьяная: ну, многие ведь из индейцев этим грешат; а что думают, то ей и говорят. Хозяева пресвитериане видели, что у нее с лицом, видели кровь на одежде, но ничего не говорили. Сходили к печатнику и выставили на продажу. В дом больше не впускали, и она неделями спала где придется, а еду ей оставляли на крыльце в миске. Как собачице, — усмехнулась Лина. — Как собачице. Потом появился Хозяин, купил, но прежде чем перейти к нему, она открутила головы двум петухам и положила по одной в каждый сапог любовнику. Теперь каждый шаг будет приближать его к гибели.

Ты слушай, слушай меня, — продолжала Лина. — Мне было столько же, сколько тебе, и только плоть одна во мне и говорила. Мужчины же двуличны по природе. Клюв может ласкать, но он и долбит. Вот ты скажи мне, что будет, когда его работа у нас завершится? Вот интересно, заберет он тебя с собой или нет.

А я и вопросом таким не задавалась. Ни тогда, ни вообще. Я знаю: ты не можешь ни украсть меня, ни в жены взять. Закон и то, и другое воспрещает. Еще я знаю, что ты ушел, и я завяла, а ожила, когда Хозяйка меня к тебе послала. Ведь я не убегаю, не потиху иду, я послана!

Все эти думы помогают мне идти. Идти без сна и отдыха, не позволяя себе прилечь. Однако устала ужасно, и опять жажда мучит.

Шла-шла, смотрю, коровы между деревьев пасутся. Коли коровы в лесу, где-то поблизости ферма или деревня. Ни Хозяин, ни Хозяйка не позволили бы своей скотине таким вот манером вольно разгуливать — не так уж много ее у нас. Выпас они обнесли загородкой: им навоз нужен, а не ссоры с соседями. Хозяйка говорит, что Хозяин сказывал, в наших местах выпасные угодья скоро вконец истощатся, и надо в другое дело вкладываться, потому что фермерства недостаточно. Одни черные слепни того и гляди скот загубят, когда волкам не успеть. Ферма живет и умирает по прихоти насекомых, а нет, так погода добьет.

Вижу тропу, пошла по ней. Дорожка ведет к узкому мостику у мельничного колеса в потоке. Скрип колеса и шум воды обрамляют тишину. Куры уже дремлют, собаки еще не спущены. Сбегаю с берегового откоса, жадно хлебаю прямо из ручья. Вода на вкус — свечной воск и ладан. Выплевываю налезшую в рот труху. Укрыться бы где. Солнце садится. Вижу два домика. Оба с окнами, но света изнутри не проглядывает. Еще какие-то строения, по виду сараи, откуда свет может исходить лишь через открытые двери. Но они закрыты. Дымом не пахнет. В чем дело? Должно быть, все куда-то ушли. Тут замечаю на холме за деревней колоколенку — вот оно что: народ на всенощной. Решаю постучаться в дом, который побольше — там наверняка хотя бы прислуга имеется. По пути к нему, оглядевшись, замечаю чуть дальше свет. Одно окно в деревне светится, решаюсь идти туда. На каменистой тропе при каждом шаге спотыкаюсь, ступню царапает сургуч. Начинается дождик. Слабенький. Его капли должны бы вобрать в себя сладкий запах клена, о ветви которого бьются, — но нет, пахнут горелым пером, будто птицу палили.

Стучу, почти сразу дверь отворяет женщина. Ростом много выше и Хозяйки, и Лины, на меня смотрит. Глаза зеленые. Белый чепец, коричневое платье. Из-под чепца рыжие пряди. Смотрит испуганно, ладонь вы-

ставила, будто я могу силком ворваться. От себя ли ты, — спрашивает, — или кто стоит за тобой? Я говорю, что́ вы... Одна я. Никого за мной нету. Ищу на ночь укрыться. Она заглядывает мне через плечо налево, направо и еще раз спрашивает, неужто ни защиты у меня нет, ни спутников. Я говорю, нет, мэм. Сузив глаза, она спрашивает, откуда я такая — этого ли мира порождение или, может, иного? Лицо каменное. Я говорю: этого, этого, мэм, никакого другого не ведаю. Христианка или язычница? Да никакая я не язычница, — отвечаю, — хотя отец мой, возможно. И где же он обретается? — спрашивает она. Дождь между тем припустил. Да и от голода меня шатает. Я говорю: я знать его не знаю, а мама у меня померла. Ее лицо становится мягче, и она кивает: а, сирота, стало быть... ну, заходи.

Она сообщает мне свое имя — Вдова Илинг, но как меня зовут, не спрашивает. Ты уж меня извини, — говорит она, — но тут у нас всякое бывает. Что всякое? — спрашиваю. Зло многолико, — говорит, — но тебе это ни к чему.

Стараюсь есть помедленней, но не выходит. Размачиваю черствый хлеб в чудной горячей перловке и не могу оторваться, поднимаю голову, только когда она подкладывает мне добавки, благодарю. Рядом с тарелкой кладет горсть изюму. Комната, где она кормит меня, довольно велика, в ней очаг, стол, табуреты и две лежанки — на сундуке и на лавке. В другие помещения дома ведут две закрытые двери и в глубине ниша вроде чуланчика, уставленная горшками и кувшинами. Более-менее насытившись, замечаю, что на устланном соломой сундуке лежит девушка, у нее под головой свернутое одеяло. Один ее глаз косит в сторону, другой смотрит прямо на меня, да пристально так; взгляд волчицы. Оба глаза угольно-черные, совсем не такие, как у Вдовы. Подумав, я решила, что лучше мне речей не заводить, поэтому продолжала наворачивать, ожидая, пока что-нибудь скажут Вдова или девушка. В ногах ее кровати корзина. В ней козленок — тоже, видать, такой хворый, что ни головы не поднимет, ни звука не издаст. Когда я все до последней изюминки доела, Вдова спрашивает: и что же ты одна-то ходишь? Ищешь чего? Я говорю, меня по делу хозяйка послала. Она поморщилась. Говорит: это какое же дело должно быть важное, чтобы ради него заставить девку жизнью рисковать! Моя хозяйка умирает, — пояснила я. — А я, может, спасение принесу. Она нахмурилась, уставилась в огонь. Потом говорит: от первой-то смерти вряд ли. Разве что от второй[1].

Что она имела в виду, я не поняла. Я-то знаю, что бывает только одна смерть, а не две, а вот жизней потом может быть много. Помнишь, как мы сычей тогда днем наблюдали? Мы сразу сообразили, кто это. В одном, что посветлее, ты узнал отца. И, пожалуй, я даже знаю, кто были другие.

Девушка, лежавшая на соломе, приподнялась на локте. Так ведь это мы смерть впустили, — проговорила она. — Смерть пришла, мы умрем теперь. Голос у нее оказался басистый, как у мужика, хотя на вид она одних лет со мной. Вдова Илинг не ответила, а я отвела взгляд — не хотела больше смотреть в те глаза. Девушка заговорила снова. Никакие розги, — сказа-

1. "...И увидел я мертвых, малых и великих стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное" (Откровение Иоанна Богослова. 20:11–15).

ла она, — ничего не изменят, хоть из меня ремни режь. При этом она встала и на подгибающихся ногах подошла к столу, где горела лампадка. Взяла ее, опустила пониже и задрала юбки. Я увидела на ее ногах полоски запекшейся крови. При свете лампадки раны на бледной коже искрились живыми рубинами.

Это моя дочка Джейн, — сказала Вдова. — Может быть, порка спасет ей жизнь.

Уже поздно, — вновь заговорила Вдова Илинг. — До утра они не придут. — Она затворила ставни, задула лампадку и встала на колени у лавки. Дочка Джейн вновь улеглась на солому. Вдова зашептала молитву. Тьма в доме сделалась гуще чем в коровнике, непрогляднее чем в лесу. Луна просвечивала через единственную щелку. Я легла рядом с больным козленком около очага и заснула, но сон все время прерывали их голоса. Только угомонятся, молчат, молчат и давай опять разговаривать. Кто что говорит, я различала не только потому, что у Вдовы голос другой, более певучий, но и смотря откуда шел звук. И оттого знаю, что это Дочка Джейн завела речь о том, как бы проверить, вдруг я бес какой, а Вдова ей отвечает: ш-ш-ш, утром придут, разберутся. Молчание. Молчание. Потом опять переговариваться начинают. Им луг тот нужен для выгона, вот и все, мам. Думаешь, во мне дело? А следующей будешь ты... Те двое говорят, что видели Черного Человека, видели, как он... Вдова Илинг осеклась, долго молчала, а потом говорит: ладно, утро вечера мудренее. Ну да, на меня все и свалят, — донесся голос Дочки Джейн. Они зашептали быстро и неразборчиво. Что бы эти знатоки ни говорили, правда моя, правда Божья, какой смертный может судить меня... Ты говоришь как испанская индианка... Послушай, пожалуйста, послушай... Нет, хватит, уймись, а то Он тебя услышит... Пусть слышит, Он не оставит меня... Ну я же тебя тоже не оставляю... Конечно, шкуру с меня спустила... Сколько раз повторять тебе, что ведьмы не кровоточат.

Вот интересно! Ты мне этого не говорил, теперь буду знать. Если моя мать не умерла, может, это она меня учит?

Мне кажется, одна только я и спала, а проснувшись, даже устыдилась: со двора вовсю неслось мычанье. От лежавшего в доме козленка тоже послышалось: бя-а, тогда Вдова взяла его на руки и вынесла, чтобы за ним поухаживала мама-коза. Вернулась, отворила ставни обоих окон и широко распахнула дверь. Тут же в дом вперевалку вошли два гуся, за ними с важным видом — курица. Еще одна влетела в окно, птицы принялись расхаживать, выискивать и клевать крошки. Спросившись, я сходила на горшок, стоявший за рогожной занавеской. Выйдя, увидела, что Дочка Джейн сидит, закрыв лицо руками, а мать бередит ее раны на ноге. Помимо высохших показались новые струйки крови[1]. В дверях появился козел, вошел и направился прямо к соломе, равнодушно ухватил клок, потянул. Дочка Джейн застонала. Завершив кровопускание, Вдова встала, вытолкала козла вон.

1. Этот эпизод — напоминание о реальном поветрии гонений на мнимых ведьм и бесов в Салеме (колония залива Массачусетс) весной и летом 1692 года. Тогда повесили и замучили 25 человек, не говоря уже о сотнях арестованных, в числе которых была четырехлетняя Дороти Гуд (умершая в тюрьме). Характерно, что четырехлетняя девочка проходила по делу отдельным, самостоятельным обвиняемым, и была арестована шерифом согласно отдельному ордеру. Быстро — лет через 10–12 — начавшийся процесс реабилитации затянулся на 300 лет: последние жертвы были оправданы 31 октября 2001 г.

Перед завтраком из хлеба с простоквашей Вдова и Дочка Джейн взялись за руки, склонили головы и забормотали. Я сделала то же самое, стала шептать молитву, которую учил повторять по утрам и вечерам падре; ее и мама со мной повторяла: *Патер ностер, кви эс ин целис, санктифицэтур номен туум...* Потом подняла руку ко лбу, но поймала на себе хмурый взгляд Дочки Джейн. Смотрю, головой трясет, — дескать, нет! Ну ладно, притворилась, что поправляю чепец. Вдова положила в простоквашу варенье, мы стали есть. Дочка Джейн есть отказалась, ее порцию мы с Вдовой поделили. После этого Вдова разожгла очаг, поставила чайник. Собрав со стола миски и ложки, я пошла в чулан, где на узкой скамье стоял ушат с водой, все тщательно перемыла и вытерла. Воздух словно сгустился. В чайнике, висящем над огнем, вода вскипела. Я обернулась, смотрю: выходящий из него пар против каменной кладки вздувается клубами. Одно такое облако тотчас замерло, повиснув мглою в виде песьей морды.

Шаги на крыльце мы услышали все вдруг. Я еще возилась в чулане, не видела, кто вошел, но слышала разговор. Вдова предложила пришлым садиться. Не захотели. Мужской голос сказал, что пока это все предварительно, но свидетелей несколько. Вдова прервала его, дескать, глаз ее дочки косит, потому что таким его Господь сотворил, а колдовской силы в нем нет. Да вы взгляните, — взмолилась она, — взгляните на ее раны! Сын Божий кровоточил! Мы все кровоточим! Но ведьмы — никогда.

Я вошла в комнату. Там стоял мужчина, три женщины и девочка, напомнившая мне меня в то время, когда от меня отказалась мать. Только я успела подумать, до чего она мила, как она вскрикнула и спряталась за юбками одной из женщин. Тут все пришлые повернулись, стали смотреть на меня. Женщины рты открыли. Посох мужчины стукнул об пол, отчего остававшаяся в комнате курица закудахтала, забила крыльями. Одна из женщин прикрыла рукой глаза: Господи, — говорит, — спаси и помилуй люди твоя! Девочка заплакала, заревела. Вдова замахала на них руками: это, — говорит, — гостья, странница, искала укрыться на ночь! Мы пустили ее, — как отказать? — накормили. На которую ночь? — спросил мужчина. На эту, которая прошла, — отвечает. Тут заговорила одна из пришлых женщин. Я, — говорит, — в жизни не видела, чтобы человек таким черным был. Тю-у, — говорит вторая. — Нашла невидаль! Я их знаешь сколько повидала — таких чернущих. Из Африки она. Из Африки — это еще мало сказать! — подала голос еще одна. И сразу первая: Смотрите, смотрите, что с ребенком делается! — и на девочку показывает, а та трясется и рыдает, за нее прячась. Слышите? Слышите? М-мм, и впрямь, — соглашается вторая. Черный Человек среди нас. Это его прислужница. А девочка все рыдает взахлеб. Женщина, за чьи юбки она цепляется, выводит ее во двор, там она быстро затихает. А я ни сном ни духом, понимаю только, что я в опасности, как то показывала песья морда, и защитить меня может только Хозяйка. Кричу: стойте! Пожалуйста, — кричу, — сэр! Они (наверное, от неожиданности) смолкли, я смогла говорить. Давайте я вам подорожную покажу, — уже потише предложила я. — Там все прописано. Ничья я не прислужница, кроме своей Хозяйки. Тут я со всей возможной быстротой снимаю сапог и скатываю чулок с ноги. Женщины поджимают гу-

бы, мужчина чуть отводит взгляд, потом опять смотрит. Я вынимаю письмо Хозяйки и протягиваю им, но никто не хочет его касаться. Мужчина приказывает мне положить его на стол, но все равно сломать печать опасается. Велит сделать это Вдове. Она цепляет сургуч ногтем. Когда печать отпадает, разворачивает лист. Бумага грубая, топорщится. Все, включая Дочку Джейн, которая даже привстала со своей постели, рассматривают строчки, держа письмо вверх ногами, так что мне ясно: из них грамоту знает один мужчина. Прижав бумагу концом посоха, он переворачивает ее как нужно и крепко держит, будто письмо может вдруг улететь или без огня обратиться у него на глазах в пепел. Низко склоняется, разглядывает вблизи. Потом берет в руку и громко читает.

Я, нижеподписавшаяся миссис Ребекка Ваарк из Милтона сим удостоверяю личность особы женского пола, держательницы письма. Она принадлежит мне и может быть опознана по следу от ожога на ладони левой руки.

Настоящим прошу также не чинить ей злого обстояния, оказывая, напротив, всякое поможение и содействие, какое ей будет потребно для успешного исполнения урока. Земные наши жизни, моя особо, зависят от быстрейшаго ея возвращения.

Своеручно начертано Ребеккой Ваарк, Хозяйкой.

Милтон, 1690 год, мая 18 дня.

За исключением тихого шевеления Дочки Джейн, тишина стоит полная. Мужчина смотрит на меня, опять на письмо, снова на меня и на письмо. Вновь на меня и еще раз на письмо. Ну, видите? — спрашивает Вдова. Не обращая на нее внимания, он поворачивается к двум женщинам, о чем-то с ними перешептывается. Они показывают мне на дверь, которая ведет, как выяснилось, в кладовую, и там, между ящиками, коробами и прялкой, велят мне раздеться. Не прикасаясь, показывают, что делать. Явить им зубы, язык. Хмуро разглядывают след от ожога на ладони, той, что ты целовал, чтобы прохладить. Заглядывают мне под мышки, между ног. Заставляют поворачиваться семо и овамо, наклоняются осмотреть ноги. Стоя голой под их взглядами, я смотрю за тем, что выражают их глаза. Нет, ненависти нет, как нет ни страха, ни отвращения, но они смотрят на мое тело словно вчуже, не узнавая. Свиньи и то, отрывая рыла свои от корыта, смотрят осмысленней. Глядеть в глаза мне избегают так же, как ты велел не взглядывать в глаза медведям, чтобы те, придя в горячество, не взыграли. В конце концов разрешают одеваться и выходят, затворив за собой дверь. Оделась. Слышу — спорят. Маленькая девочка вернулась, уже не плачет, но то и дело повторяет: ай-страшно, ай-страшно. Женский голос спрашивает: а не мог ли письмо написать Диавол. Другая подхватывает: спрашиваешь! Лукавый — он же весь обмана и коварства исполнен! На карте человеческая жизнь, — напоминает Вдова. — Кого-то за это Бог накажет! Тут забухтел мужской голос. Мы эт-то сами не рассудим, — говорит он. — Вот изучим, порадеем, помолимся и вернемся с ответом. Пока, стало быть, им не ясно, прислужница я Черного Человека или нет. Я вхожу в комнату, девочка вскрикивает, загораживается руками. Женщины ее окружают, уводят. Мужчина велит из дому

не выходить. Письмо уносит с собой. Вдова плетется за ним по двору и умоляет, умоляет...

Возвратившись, говорит: сказали, что хотят еще между собой посоветоваться. Письмо вселяет в нее надежду. Дочка Джейн усмехается. Вдова Илинг становится на колени, молится. Долго молится, потом встает и говорит: я, мол, должна кое с кем повидаться. Надо, чтобы он засвидетельствовал и помог.

С кем это? — спрашивает Дочка Джейн.

С шерифом, — отвечает Вдова.

Мать выходит, а Дочка Джейн за ее спиной криво усмехается.

Я в страхе наблюдаю, как Дочка Джейн возится с израненной ногой. Солнце уже высоко, а Вдовы все нет. Ждем. Солнце сползает ниже. Дочка Джейн варит утячьи яйца и, остудив, увязывает в тряпицу. Складывает одеяло и дает мне, потом манит пальцем: пойдем. Мы выходим, спешно забегаем за дом, распугивая хлопотливых, кудахчущих кур и уток. Бежим через выгон. На нас удивленно оборачивается коза. Козла мы не заинтересовали. Плохой знак. Протискиваемся между тычин забора, бежим к лесу. В лесу переходим на шаг, Дочка Джейн впереди, я сзади. Солнце иссякло, остатки клиньями валятся под деревья. Птицы и мелкие животные кормятся и переговариваются.

Мы приближаемся к ручью, русло почти пересохло, кое-где грязь. Дочка Джейн передает мне тряпицу с яйцами. Объясняет, куда идти, как выйти на тропу, которая выведет к почтовому тракту, что проходит вблизи поселения, где, как мне наказано, следует искать тебя. Я говорю ей спасибо, беру за руку, чтобы поцеловать. А она: нет, это тебе спасибо. Они на тебя так засмотрелись, что забыли про меня. Поцеловала меня в лоб и осталась стоять, смотреть, как я ухожу по сухому руслу. Я оборачиваюсь, встречаю ее взгляд. Спрашиваю: а ты правда ведьма? Ее косой глаз неподвижен. Да, — улыбается. — Еще какая. Иди давай.

Иду одна, а все равно глаза сопровождают, взгляды. Глаза, меня не видящие, не узнающие, которым только бы найти у меня хвост, лишнюю сиську, мужской член между ног. С любопытством озирающие меня. Это ж надо: разглядывали мой язык — вдруг он раздвоен, как у змеи; смотрели зубы — не заостренные ли, а то наброшусь из темноты да закусаю. Внутри себя будто усохла. Плетусь по усеянному каменьями руслу под сторожким надзором древес и сознаю, что я не та, что была раньше. С каждым шагом что-то из меня уходит. Всем существом ощущаю истечение. Потерю чего-то важного. Словно у меня нутро вынуто. С письмом была под защитой, законным человеком была. А без него как телок, брошенный стадом, черепаха без панциря, прислужница невесть чья, отмеченная хотя и не бесовскими причиндалами, но чернотой, в которой уродилась, — внешней, знаемо, но и внутренней тоже, и внутренняя эта чернота какая-то маленькая, скукоженная, пернатая и зубастая. В этом ли знание, коим делится со мною мать? Зачем она толкнула меня жить вдали? Вдали не от той внешней черноты, которая у нас с *минья мэй* все равно единосущна, а от возможности поделиться чернотой внутренней. Неужто мне с этим помирать одной? И эта царапчая пернатая штуковина внутри — единственное, что во мне живо? Это мне ты скажешь. Тебя тоже не обминула внешняя чернота. Когда я вижу тебя, сливаюсь с тобой, я знаю, что жива. Вдруг все меняется, все прежнее отсту-

пает и даже всегдашнего страха нет. Ничего больше не боюсь. Уходя, солнце оставляет за собою тьму, и оная тьма чернущая — это я. Это мы. Эта тьма — мой дом.

Все кличут Горемыкой? И пускай — пока Близняшка зовет настоящим именем, ей все равно. Когда чужие с кем-то путают, оно не страшно. То лесопильщику занадобишься, то его жене, то сыновьям — это одно имя; а в другой раз Близняшка гулять зовет, а то болтать или играть затеет — уже другое. Иметь два имени удобно, тем более, кроме нее Близняшку никто не видит. Поэтому стирает ли она белье или пасет гусей, как услышит имя, которым звал ее Капитан, понимает: Близняшка. Но если кто-то кличет Горемыку, она уж знает, чего ждать. Лучше, конечно, когда Близняшка крикнет ей от пилорамы или шепнет прямо на ухо. Тут она бросает всякую урочную работу и идет туда, куда ведет ее истинное я.

Когда-то они встретились на разграбленном судне под висячей койкой лекаря. Вся команда судно покинула или утопла, и она тоже разделила бы общую участь, если бы не проспала все происшедшее под дозой опия в судовом лазарете. Ее положили вскрыть червеный пупырух на шее, и она выпила микстуру, как сказал доктор, чтобы не было больно. Так что она даже не заметила, когда корабль стал тонуть, и ушел ли кто из команды или пассажиров живым, она тоже не знает. Только и помнит, что пробудилась, когда упала с койки на палубу, а кругом — никого. И капитана, ее отца, нигде нет.

Перед тем как очутиться в доме пильщика, Горемыка никогда не жила на суше. А теперь и вспоминание о судне, единственном ее родном доме, будто у нее кто похитил, как груз с того судна — кипы хлопка, ящики опия, клети с мушкетами, лошадей и бочки с патокой. Даже о Капитане помнится смутно.

После того как она вновь и вновь обошла судно в поисках выживших и еды, расплесканную патоку соскребла с палубы в рот и уже совсем погрузилась в отчаяние, ночами слушая вой студеного ветра и ропот моря, ее нашла, наконец, Близняшка, залезла в лазарете к ней под койку, и с тех пор они неразлучны. По сломанной мачте вместе перебрались на берег, пошли скакать по камням вдоль уреза воды. От съеденной дохлой рыбы разыгралась жажда, но жажда была забыта, едва увидели два тела, колышущиеся на волнах прибоя. Это колыхание раздувшихся утопленников так напугало их, что они забыли об осторожности и, забежав за мыс, пошли по воде лагуны, а тут прилив. Обеих потащило в относ; они пытались брести к берегу, но от холода лишились чувств и опять повлеклись не к земле, а к горизонту. Это оказалось великим везением, потому что в конце концов струей течения их прибило к берегу в устье реки.

Горемыка очнулась голая под одеялом, лежала с согревшейся мокрой тряпкой на лбу. Ошеломительно пахло опилками. На нее смотрела седая женщина.

— Ну и вид! — сказала женщина и покачала головой. — Ужасно выглядишь. Однако с работой служанки, по всему видать, справишься. — Она накрыла спасенную до подбородка одеялом. — По одежке мы тебя приняли за парня. Что ж, не померла — и то слава богу.

В эту добрую весть Горемыка поверила не сразу и считала себя мертвой, пока в ногах ее ложа не появилась Близняшка — хихикала, прикрываясь ладонью. Горемыка облегченно заснула вновь: теперь все в порядке — раз и Близняшка здесь, все хорошо.

На следующее утро ее разбудило вжиканье пил; запах опилок стал еще гуще. Вошла жена лесопильщика, принесла мужскую рубашку и штаны.

— Вот, держи, на первое время сойдет, — сказала она. — Потом придется сшить тебе что-нибудь более подобающее, а то в деревне ничего занять не удалось. Без обувки покуда обойдешься.

Еле держась на ногах, без единой мысли в голове Горемыка надела сухую одежду мальчишки и пошла на запах еды. Уже накормленная раз обильным завтраком, она достаточно пришла в себя и говорить могла, но не вспоминать. Когда спросили, как ее зовут, Близняшка прошептала: НЕТ, — поэтому она пожала плечами, раз навсегда найдя подходящий жест на замену тех сведений, которые не помнила или притворялась, что не помнит.

Где ты жила?

На корабле.

Да, но ведь не всегда же.

Всегда.

Где твои родители?

Пожатие плечами.

Кто еще был на корабле?

Чайки.

Кто из людей, милочка!

Опять плечи вверх.

Как звали капитана?

Плечи вверх.

Ну ладно, а как ты выбралась на землю?

Русалки... В смысле, киты вынесли.

Вот тогда жена пильщика и придумала ей прозвище. На следующий день дала балахон из мешковины, чистый чепец — прикрыть невероятные, чем-то даже пугающие лохмы — и велела пасти гусей. Разбрасывать им зерно, сопровождать к воде и следить, чтобы не разбредались. Босые ноги Горемыки намучились, борясь с земной тяжестью: после шаткой палубы неподатливая земля будто давила снизу. В первый день у пруда она так часто запиналась и падала, что, когда на двух гусят напала собака и начался тарарам, она так и не смогла вновь собрать стадо воедино. На этом посту продержалась несколько дней, но потом хозяйка развела руками и приставила ее к более простому делу чистки и уборки; впрочем, она и тут справлялась еле-еле. Но поучение негодной служанки оказалось радостью куда большей, нежели может дать само по себе хорошо исполненное ею задание, и жена пильщика со всевозможным рвением обрушивала на нее попреки за каждый невыметенный угол, неумело разводимый огонь в очаге, нечисто вымытый горшок, без прилежания прополотую грядку в огороде или плохо ощипанную птицу. И Горемыка сосредоточилась на том, чтобы появляться лишь к трапезе, а в остальное время усовершала в себе искусство исчезать, бегая с Близняшкой, игры с которой заводила как между, так и вместо уроков по хо-

зяйству. Временами у нее появлялись и другие тайные спутники, но никто не шел в сравнение с Близняшкой, которая была ее охраной, ее утешительницей и вожатой.

О крови жена лесопильщика сказала, что это кровь месячная, общее терзание всех женщин, и Горемыка верила, пока не прошел следующий месяц, а потом еще и еще, а кровь больше не показывалась. Она обговорила это дело с Близняшкой: не есть ли это, напротив, результат выходки, произошедшей при участии обоих братьев за штабелем досок. Больто была хотя и между ног, но шла как бы извне, а не изнутри, как, по словам жены пильщика, было бы естественно. Эта боль все еще не прошла, когда пильщик сговаривался с Хозяином, чтобы тот забрал девчонку — на том основании, что против нее, будто бы, жена возражает.

Хозяин спросил:

— Где она?

Горемыку привели к пилораме.

— Сколько ей лет?

Когда пильщик неопределенно пожал плечами, Горемыка сказала сама.

— Я думаю, одиннадцать мне уже есть.

Хозяин хмыкнул.

— Насчет имени голову не ломайте, — сказал пильщик. — Можете дать любое. Вот жена, например, зовет ее Горемыкой, потому что девка многое претерпела. С цветом кожи у нее, как видите, не совсем ладно. Но это все не важно, работать может, не жалуемся.

Сказав это, он, как заметила Горемыка, усмехнулся в кулак.

Много миль она ехала в седле позади Хозяина. Останавливались только раз. Поскольку для нее это был первый опыт верховой езды, она так себе все набила и натерла, что чуть не плакала. В седле качало, она еле держалась, цепляясь за камзол Хозяина, и в конце концов ее вырвало. Он остановил лошадь, опустил девчонку на землю и дал ей отдохнуть, пока он вытирает рукав листьями мать-и-мачехи. Подал ей мех, она отпила, но с первым же глотком извергла из себя все, что еще оставалось в желудке.

— Да уж, и впрямь горемыка, — пробормотал Хозяин.

Как же благодарна она была, когда он позволил ей слезть и остаток пути к ферме пройти пешком! Через каждые несколько сот ярдов оборачивался — не упала ли, не стало ли ей снова плохо.

Когда, наконец, показалась усадьба, Близняшка заулыбалась, захлопала в ладоши. Едучи верхом позади Хозяина, Горемыка озиралась со страхом, который был бы еще мучительнее, если бы ее не одолевала тошнота и боль. Миля за милей тянулись вдоль тропы высоченные пихты, как черные корабельные мачты, а когда отступили, огромная сосна, в толщину такая же, как лошадь в длину, распростерла над ними ветви. Как Горемыка ни старалась, вершин деревьев разглядеть не могла; ей казалось, что они ими воткнуты прямо в небо. Время от времени между деревьями показывался кто-то неуклюжий и бурой тенью маячил, смотрел, как они едут мимо. Один раз их путь пересек олень, и Хозяину пришлось свернуть в сторону, а потом четыре раза разворачивать заупрямившуюся лошадь. Так что, когда Горемыка вслед за лошадью Хозяина вышла на залитую солнцем поляну и услышала кряканье уток, их с Близ-

няшкой облегчению не было предела. В отличие от жены пильщика, у Хозяйки и у Лины носы были небольшие и прямые; цвет кожи у Хозяйки был как белок яйца, а у Лины — как коричневатая его скорлупка. Первым делом, прежде еды и отдыха, Лина потребовала, чтобы Горемыке вымыли голову. Не для того, что из-под чепца у нее торчали соломинки и хвоя. Вши — вот чего она боялась. Этим своим страхом она премного удивила Горемыку, которая привыкла считать вшей, как и прочих всяких клещей и блох, обитающих на теле, скорее мелкой досадой, чем опасностью. Лина считала по-другому и после мытья волос дважды отшкрапила девчонку с головы до ног, прежде чем позволить ей войти в двери. Потом, покачав головой, дала тряпочку с содой, чтобы та почистила зубы.

Хозяин, держа Патрицию за руку, объявил, что ночи Горемыка должна будет проводить в доме. На заданный Хозяйкой вопрос почему, ответил:

— Говорят, она может уйти и заблудиться.

Той первой ночью Горемыке было холодно, немилосердно хрустела рогожа, на которой она лежала у очага, Горемыка засыпала и просыпалась, засыпала и просыпалась, и снова ее убаюкивал монотонный голос Близняшки, которая рассказывала, как люди тысячами шествуют по волнам и поют бессловесно. Как их зубы сверкают ярче пенных волн под ногами. Как солнце садится, восходит луна и их черная как ночь кожа блестит и серебрится. Как при запахе земли, благостной и плодоносной, загораются глаза команды, но те, что шествовали по волнам, рыдают. Успокоенная голосом Близняшки и мазью, которую Лина наложила ей на потертости бедер, Горемыка впервые за много месяцев заснула сладким сном.

И все же в то первое утро, едва поев, она извергла из себя завтрак. Хозяйка дала ей чай из тысячелистника и определила на работу в огород. Таская из грядки позднюю репу, Горемыка слышала, как Хозяин на дальнем поле ломает камень. У огородного забора на корточках сидела Патриция, смотрела на нее и грызла яблоко. Горемыка помахала ей рукой. Та махнула в ответ. Пришла Лина и увела малышку. С этих пор если не Горемыке, то Близняшке стало ясно, что Лина тут командует и заправляет всем, что ускользает от внимания Хозяина и Хозяйки. Замечает все, хотя ее самой может быть и не видно. Встает раньше петухов, в темноте заходит в дом, носком мокасина касается спящей Горемыки и принимается возиться с очагом, раздувая угли. Осматривает корзины, заглядывает под крышки кувшинов. Проверяет запасы, — думает Горемыка. А вот и нет, — поправляет ее Близняшка. — Следит, чтобы ты не крала еду!

Лина к ней почти не обращалась, не говорила даже: с добрым утром — и заговаривала, только когда нужно сказать что-то действительно важное. Именно она сообщила Горемыке, что та беременна. Взяла из рук у Горемыки корзину проса. Поглядела ей прямо в глаза и говорит:

— Деточка, а́ ты знаешь, что у тебя будет деточка?

Горемыка разинула рот. И сразу ее охватила радость при мысли о том, что настоящий человечек, ее собственный, растет у нее внутри.

— Что я должна делать? — спросила она.

Лина еще постояла, посмотрела на нее, потом вскинула кошницу поудобнее и пошла. Если Хозяйка и знала, то не говорила ни слова — возможно, потому, что и сама ходила на сносях. Роды у Горемыки, как объяснила ей Лина, оказались преждевременными, младенцу было не выжить, а вот Хозяйка родила толстенького мальчишку, от которого всем была одна радость — в течение полугода во всяком случае. Его похоронили рядом с братом на взгорке за домом, прочитали молитвы. А ее новорожденного, хотя Горемыке и показалось, что он зевнул, Лина завернула в кусок мешковины и пустила плыть по самой середине ручья ниже бобровой запруды. Имени он так и не получил. Горемыка плакала, Близняшка велела перестать. Я же всегда с тобой, — сказала она. Что ж, неплохое утешение, но потом год за годом Горемыка возвращалась мыслями к тому, как ее ребенок вдыхает воду под неумолимой Лининой рукой. Поговорить было не с кем, и она все более замыкалась на общении с Близняшкой. Когда рядом Близняшка, Горемыке не нужна была ничья дружба, ничьи слова и разговоры. Пусть ее заставляют спать в доме, Близняшка ей и там сможет шептать на ухо, а днем они найдут способ вместе сбежать в лес и уж там порезвятся на славу. Познакомились с диаконом — вишнями кормит, орехами... Но об этом лучше помалкивать. Однажды он подарил ей платок, который пришлось нагрузить камнями и бросить в реку, — от такой обновки Лина будет в ярости, да и Хозяйка обеспокоится. А у Хозяйки еще один младенец помер, но Патриция подрастала здоровенькая. На какое-то время мысль о том, будто в смертях мальчиков виновата Горемыка, покинула Лину, но, когда лошадь проломила Патриции череп, она переменила мнение.

Тут появилась Флоренс.

А потом и кузнец. Дважды.

Когда той горестной зимой привезли Флоренс, Горемыка, обрадовавшись новому лицу, заулыбалась и готова была уже выступить вперед, чтобы с любопытством коснуться одной из толстых косичек новенькой. Но Близняшка остановила ее, приникнув к самому лицу Горемыки с криком: не надо! не надо! Ревность Близняшки была Горемыке привычна, и она от нее отмахнулась, но недостаточно быстро. Лина сняла с себя шаль и, обернув ею плечи новенькой, подхватила ее и унесла в коровник. С этих пор новенькая была целиком на попечении Лины. Они вместе спали, вместе купались, вместе ели. Лина шила ей одежду и тачала башмачки из кроличьих шкурок. Когда вблизи показывалась Горемыка, Лина отгоняла ее окриком — брысь! — или посылала по какому-нибудь неотложному делу, стараясь при этом и у всех прочих посеять то же недоверие, искры которого то и дело мелькали в ее глазах. Горемыка запомнила, как эти глаза вспыхнули и сузились, когда Хозяин велел ей ночевать в доме. И хотя Лина помогала ей во время родов, Горемыка не забыла, что ее младенец до сих пор плывет, вдыхая воду, по всем потокам и рекам мира. К новой девочке Горемыку не подпускали так же, как прежде к Патриции, она замечала это, но вела себя как всегда — с безмятежным равнодушием к кому бы то ни было за исключением Близняшки.

Но вот прошли годы, появился кузнец, и вся погода на ферме переменилась. Навсегда. Близняшка заметила это первой, сказала: смотри, Лина боится его, пытается предупредить насчет него Хозяйку, только

ничего у нее не выйдет. Хозяйка не обращает внимания. Она слишком счастлива, что Хозяин рядом, что он больше никуда не уезжает. А тот и впрямь все время был тут, при деле, командовал, куда что сложить, тянул от угла к углу мерную бечевку и жарко обсуждал с кузнецом, как должны быть изукрашены ворота. Лина в страхе; Хозяйка лоснится довольством; Хозяин летает как на крыльях. Флоренс, конечно, сама не своя.

Ни Горемыка, ни Близняшка толком не могли решить, как им к кузнецу относиться. Им казалось, что он сам по себе и даже не сознает, как влияет на окружающих. Действительно ли он так опасен, как считает Лина, или ее страх всего лишь от ревности? Кто он? Только ли идеальный напарник Хозяина по строительству или погубитель Флоренс, совратитель, заставляющий ее, прежде такую открытую, вести себя лукаво и воровато. Они с Близняшкой все еще раздумывали, когда Горемыка, возвращаясь от ручья с ведром воды, вдруг, не дойдя до площадки, где вели строительство, упала, сотрясаясь и вся горя. По чистому везению кузнец был тут же и все видел. Он поднял ее и уложил на топчан, на котором спал сам. Лицо и руки у Горемыки оказались воспаленными, все в пупырьях. Кузнец потрогал нарывы у нее на шее, позвал людей. В дверной проем сунулся Хозяин, подбежала и Флоренс. Подошедшую Хозяйку кузнец попросил принести уксус. За ним пошла Лина, а когда вернулась, он стал обмывать им язвы и волдыри Горемыки; та корчилась от боли. Пока женщины издавали сочувственные звуки, втягивая воздух между зубов, а Хозяин хмурился, кузнец прокалил на огне нож и взрезал один из нарывов. Все молча смотрели, как он капает Горемыке в рот ее собственной кровью. Не сговариваясь, решили, что лучше в дом ее не пускать, поэтому весь день и всю ночь мучимая жаром Горемыка лежала в гамаке; ей не давали ни пить, ни есть и, сменяя друг дружку, женщины ее обмахивали, прохлаждали. Постоянный ток воздуха от их маханий развел в ней ветер, воздвиг паруса и Капитана, сжимающего рукояти штурвала. Еще не видя, она его услышала. Как он смеется. Громко, хрипло. Нет. Не смеется. Это он рыдает. И остальные тоже. Кричат на разные голоса, но все их крики далеко, по ту сторону белого облака, в котором она увязла. А вот лошади. Бьют копытами. Повыскакивали из трюмов. Перепрыгивают через мешки с зерном, спотыкаются о бочки, летят обручи, клепки расходятся, тягучая липкая жижа течет по палубе. А она ни двинуться не может, ни прорваться сквозь облако. Забилась, завозилась и упала, задыхаясь в облаке, которое не пускает. Поняла, что плач — это крики чаек. Когда пришла в себя, на нее ласково смотрели глаза, точно такие же и формою, и цветом, как у нее самой. Вязкое облако распалось, расползлось, само собой рассеялось.

— Я с тобой, — сказала девочка, лицом схожая с ней как две капли воды. — Я всегда с тобой.

С Близняшкой было уже не так страшно, и вдвоем они пошли обследовать притихший, накрененный корабль. Медленно, постепенно. Туда заглянут, тут послушают, но ничего не нашли, только матросский берет и мертвого жеребенка, которого вовсю клевали чайки.

Обдуваемая самодельными опахалами, плавая в поту, Горемыка вспоминала, как день за днем мерзла на судне. Там если что и двига-

лось, то только силой ледяного ветра. За кормой ширилось море, с носа нависал скалистый мыс с кустарником на камнях. Горемыка никогда еще не ступала на сушу и сойти с корабля на берег боялась. Для нее он был таким же чуждым, как море для овцы. Но с Близняшкой получилось. Вместе сошли, и земля — жесткая, противная, неприветливая — им не понравилась. Тут она поняла, почему Капитан не пускал ее на берег. Он в ней воспитывал не дочь, а будущего члена команды. Так и жила она — грязная, в мужских штанах, одновременно и своевольная, и обреченная на послушание, обученная единственному делу — шить и латать парусину.

О том, давать ли ей пить и есть, Хозяйка и Лина с кузнецом поспорили, но последнее слово было за ним, и решили ничего не давать. Положились на прокаленный нож и лекарство из собственной крови, стали ждать. Лишь обмахивали и обтирали язвы уксусом. На исходе третьего дня жар Горемыку оставил, она запросила пить. Кузнец сам поддерживал ей голову, поднеся чашу из долбленой тыквы. Устремив взгляд вверх, она увидела Близняшку — та сидела на ветвях над гамаком, улыбалась. Скоро Горемыка объявила, что голодна. Мало-помалу под неусыпным наблюдением кузнеца и Флоренс она поправлялась: пупырья высохли, воспаления исчезли и стали возвращаться силы. Теперь всеобщее суждение было однозначно: кузнец — спаситель. Зато Лина стала совсем несносна с ее попытками удержать Флоренс от общения с Горемыкой и лекарем; только и знала, что бормотать о том, будто бы она эту хворь видела в детстве, что она как плесень — расползется и поразит всех. Однако битву за Флоренс Лина проиграла. К тому времени, когда Горемыка выздоровела, Флоренс была поражена совсем другим недугом — тем, что и мучит дольше, и губит вернее.

Как-то раз Горемыка лежала на лугу у опушки леса, слушала Близняшку, которая рассказывала любимую историю про стайку девочек-рыбок с перламутровыми глазами и черно-зелеными кудрями из морской травы вместо волос — как они играют и гоняются друг за дружкой, катаясь на спинах у огромных китов, — и тут Горемыка впервые увидела, как переплелись, слившись воедино, кузнец и Флоренс. Близняшка как раз перешла к тому, как морские птицы, увидев в пенном следе за китами россыпи падучих звезд, слетаются и тоже вступают в игру, но тут Горемыка приложила палец к губам, а другой рукой показала. Близняшка прервала рассказ, посмотрела. Кузнец и Флоренс подергивались, но не так, как животные при случке — самка не была неподвижна, подчиняясь тяжести и напору самца. То, что увидела Горемыка в траве под орехом гикори, было не похоже на бессловесную покорность медленному безрадостному копошению за штабелем досок или торопливому на церковной скамье, как это бывало с нею. Здесь женщина выгибалась, взмахивала ногами и мотала головой из стороны в сторону. Это было как танец. Флоренс перекатывалась — не уследишь: то она лежит на спине, то уже сама сверху. Вот он поднял ее, прислонил к дереву; она же склонила голову ему на плечо. Танец.

Горемыка смотрела не отрываясь, пока все не кончилось; пока они, пошатываясь, как усталые старики, не оделись. В довершение всего кузнец схватил Флоренс за волосы, заставил откинуть голову и впился губами ей в губы. Потом они пошли в разные стороны. Горемыку это удиви-

ло. Она в подобных вещах имела некоторый опыт, но никто никогда не целовал ее в губы. Ни разу.

Когда Хозяин умер, а Хозяйка заболела, что послали за кузнецом, это понятно. И он прибыл. Один. Некоторое время чего-то ждал, смотрел, не слезая с коня, на новый громадный дом. Поглядел на живот Горемыки, потом, глянув ей в глаза, отдал повод. Обернулся к Лине.

— Отведи меня к ней, — сказал он.

Наскоро привязав коня, Горемыка со всей доступной ей — с тяжелым-то животом — поспешностью догнала их; втроем вошли в дом. Он помедлил и, понюхав воздух, заглянул в горшок с варевом из полыни и прочих трав, которые использовала Лина.

— Давно не встает?

— Пять дней, — ответила Лина.

Он хмыкнул и вошел в спальню Хозяйки. Лина и Горемыка следили от двери, а он приблизился и сел на корточки у кровати.

— Спасибо, что пришел, — прошептала Хозяйка. — Меня ты тоже заставишь пить собственную кровь? У меня ее, кажется, и не осталось уж. Во всяком случае хорошей.

Он улыбнулся, потрепал ее по щеке.

— Я умираю? — спросила она.

Он покачал головой.

— Нет. Это болезнь в тебе умирает. Не ты.

Хозяйка закрыла глаза. Когда открыла, в них блестела влага; заслонила их обвитой тряпками рукой. Вновь и вновь она его благодарила, потом велела Лине приготовить ему поесть. Он вышел из комнаты, Лина следом. Горемыка тоже, но сперва обернулась, бросила еще один взгляд. И тут увидела, что Хозяйка скинула одеяло и встала на колени. Горемыка смотрела, как та зубами развязала на руках свивальники, затем сомкнула ладони. Озирая комнату, куда обычно вход ей был заказан, Горемыка заметила пряди волос, приставшие к влажной подушке; еще заметила, как беззащитно торчат из-под подола ночной сорочки ступни Хозяйки. Коленопреклоненная, с опущенной головой, она выглядела совершенно одинокой. Горемыка поняла это так, что слуги, как бы много их ни было, не в счет. Их забота и преданность почему-то ничего для нее не значат. И выходит, что у Хозяйки никого нет — вообще никого. Кроме Того, кому адресован ее шепот: *слыша Господь и помилова мя.*

Горемыка на цыпочках удалилась, вышла во двор, где сосновым духом изветрилась память о злосмрадии одра болящей. Где-то застучал дятел. В гряде редиски обнаружились зайцы, и Горемыка дернулась было гнать их, но по тягости живота раздумала. Вместо этого села в тени дома на травку и стала себя оглаживать, радуясь движениям в утробе. Над ней из кухонного окна раздавалось звяканье ножа, бряк чашки или миски: кузнец ел. Она знала, что с ним там и Лина, но та ничего не говорила, пока не шаркнула по полу ножка стула, возвестив о том, что кузнец поднялся. Тут Лина задала вопрос, который не выговорился у Хозяйки:

— Где она? С ней все в порядке?

— Вестимо.

— Когда же она вернется? Кто привезет ее?

Молчат. Что-то для Лины долго.

— Четыре дня прошло. Вы ее там что — против воли держите?

— Мне-то зачем?

— Ну так когда? Говорите же!

— Когда захочет, придет.

Молчание.

— Ночь у нас проведете?

— Часть ночи. Спасибо за обед.

С этими словами вышел. Прошел мимо Горемыки, в ответ на ее улыбку улыбнулся тоже и зашагал на взгорок к новому дому. Медленно провел рукой по железным прутьям, потрогал изгиб, сочленение, проверил, не шелушится ли позолота. Потом подошел к могиле Хозяина, постоял, сняв шляпу. В конце концов зашел в пустые палаты и затворил за собой дверь.

Восхода ждать не стал. Не сомкнувшая глаз Горемыка тревожно маялась в дверном проеме, смотрела, как в предрассветной тьме он уезжает, сам бодрый и безмятежный как жеребец. Вскоре, однако, обнаружилось, что Лина в отчаянии. Мучащие ее вопросы читались у нее в глазах: что все-таки случилось с Флоренс? вернется ли она? правду ли сказал кузнец? Горемыка засомневалась: может, она в нем ошибается, может, при всей его доброте и знахарской силе он нехорош, и Лина как раз права? Впрочем, сверившись с душевным проникновением, каковым хвалятся многие будущие матери, Горемыка и тут усомнилась. При помощи уксуса и ее собственной крови он спас ей жизнь; с первого взгляда определил состояние Хозяйки и сказал, чем смазывать, чтобы осталось поменьше рубцов. Лина просто не может стерпеть, когда кто-то становится между нею и Флоренс. У Лины, погруженной в новые заботы о Хозяйке и все глаза проглядевшей, не идет ли Флоренс, не оставалось ни времени, ни желания на что-либо еще. Сама же Горемыка ни согнуться толком не могла, ни поднять тяжелое; даже пройти сотню ярдов без одышки и то не осиливала, но, конечно, и она виновата в том, до чего запущена ферма. Приходили чужие деревенские козлы, разрыли обе только что засаженные грядки. В бочке с водой, которую никто не удосужился прикрыть, слоем плавают насекомые. Влажное белье, слишком долго пролежавшее в корзине, начало плесневеть, и ни одна не сходила на реку перестирать его. Во всем упадок. Тепло крепчает, а соседского быка так и не дождались; телушка, значит, осталась яловой. Да многие акры земли нераспаханы; опять же и молоко в лагунце скисло. Лиса без удержу повадилась в курятник, крысы яйца едят. Хозяйка скоро не поправится, ферма на развал идет. А Лина, единственная ломовая работяга, оставшись без любимицы, похоже, потеряла всякий интерес — вон, даже есть перестала. Всего-то десять дён, а уж во всем непорядок.

В такой вот предвечерней тишине прохладным майским днем, посередь неухоженной фермы, по которой только что своим покосом прошлась оспа, у Горемыки отошли воды, вогнав ее в страх. Хозяйке самой еще слишком плохо, чтобы она взялась помогать, а Лине, памятуя о том, как зевнул тогда ее младенчик, Горемыка не доверяла. В деревню являться запрещено, значит, выбора нет. Близняшка куда-то делась и на все попытки обсудить с ней, как быть, куда идти, отвечает

странным молчанием, неужто злится? В слабой надежде, что Уилл и Скалли, может быть, болтаются по обыкновению на рыболовном своем плоту, она взяла нож и одеяло и, едва ударила первая боль, поплелась на реку. Там в одиночестве и осталась, крича, когда приходили схватки, и засыпая, когда отступали – до тех пор, пока следующая не вышибет дух и вопль. Часы, минуты, дни – Горемыка сама не могла бы сказать, сколько прошло времени, но в конце концов двое приятелей услышали ее стоны и, толкая шестами, подвели плот к берегу. Они быстро распознали в страданиях Горемыки извечные и общие для всех животных родовые муки. При всей неопытности они сосредоточили усилия на том, чтобы новорожденный выжил, и принялись за дело. Встав в воде на колени, тянули, когда она тужилась, потом отпускали и поворачивали крошечное существо, завязшее у нее между ногами. Кровь и все прочее стекало в реку, привлекая рыбью молодь. Когда младенец, оказавшийся девочкой, наконец заплакал, Скалли перерезал пуповину и вручил новорожденную матери, и та ее обмыла, плеснув водой на ротик, ушки и пока еще мутненькие глазки. Мужчины поздравили друг друга и предложили отнести мать с дочерью домой на ферму. Горемыка, раз за разом повторяя благодарности, отказалась. Предпочла, отдохнув, попробовать добрести самостоятельно. Уиллард со смешком шлепнул Скалли по затылку.

– Ну, ты у нас знатная повитуха, как я погляжу!

– Кто бы сомневался! – усмехнулся в ответ Скалли, и они двинулись назад к своему плоту.

Когда вышел и послед, Горемыка завернула младенца в одеяло и несколько часов спала, просыпаясь и снова засыпая. На закате проснулась от детского плача, стала мять груди, и наконец из одной молоко пошло. Хотя всю жизнь ее спасали мужчины – Капитан, сыновья пильщика, Хозяин, кузнец, а теперь Уилл и Скалли, – на сей раз у нее было стойкое чувство, что она кое-что важное сделала сама. Отсутствие Близняшки как-то даже не ощущалось – настолько она сосредоточилась на дочери. Внезапно ей открылось, как дочку звать. И открылось, как звать ее самое.

Прошел день, потом еще один. Свое недовольство Горемыкой и беспокойство за Флоренс Лина скрывала под маской невозмутимости. Хозяйке про новорожденную не обмолвилась ни словом, но послала за Библией и запретила кому-либо заходить в недостроенный дом. В какой-то момент Горемыка, благодаря новому положению матери набравшаяся храбрости, осмелилась сказать Хозяйке: хорошо, что кузнец пришел помочь вам, когда вы умирали. Но Хозяйка посмотрела на нее холодно.

– Дурочка, – ответила она. – Исцеляет Господь. Ни один человек этой силой не наделен.

Нити отношений между ними всеми всегда были запутаны и натянуты. Теперь порвались. Каждая от прочих отъединилась; окуталась коконом собственных мыслей, остальным недоступных. С Флоренс или без нее, но получилось так, что друг от дружки они начали отпадать.

Близняшка исчезла бесследно, и единственная, кто знал ее, по ней не скучала. Блуждания Горемыки прекратились. Теперь она от дел не бегала, предпочитая ими так себя окружить, чтобы малышка оказалась

в центре, а к сетованиям других сделалась глуха. Смотрела только в глазки дочери и видела в них серую ширь зимнего моря, средь которого бежит по ветру, раздувши паруса, корабль. Я твоя мать, — говорила она. — А зовут меня Завершенная.

Тяжел мой путь к тебе и долог, но тягот и скорбей его как не бывало, стоило увидеть двор, и кузницу, и хижину, где ты живешь. Сразу ушел страх, что никогда на этом свете не видать мне больше ласковой твоей улыбки, не пробовать сладости твоего плеча, крепости объятия. От запаха огня и железа возгорелась, но радость в твоих глазах — вот что воистину согрело мне сердце. Ты вопрошаешь, как, какими судьбами, смеешься над моей одеждой и над тем, что я сплошь исцарапана. Но когда я отвечаю на твое зачем, хмуришься. И мы решаем по-твоему, я соглашаюсь, поскольку иного не дано. Ты тотчас поедешь к Хозяйке, но в одиночку. Мне ты велел ждать здесь. Я не должна ехать с тобой, ибо так скорее. И есть еще одна претыка. Тут ты отводишь взгляд. Мои глаза смотрят туда же, куда твои.

Подобное уже бывало. Дважды. В первый раз я так же проследила из-за маминых юбок за ее рукой, но оная рука была лишь для ее меньшого. Второй раз ее рука прямо указала на плачущую девчонку, что пряталась и цеплялась за юбки матери. Оба раза это была опасность, а результат — изгнание. Теперь я увидела мальчика, вошедшего с куклой из маисовой плевы в руках. Он младше всех, кого я знаю. Ты протягиваешь ему палец, он за него берется. Этого ребенка, которого ты зовешь Малаик, оставить одного никак не можно. Он найденыш. Его отец склонился с облучка повозки, да и упал, выпустив вожжи, а лошадь бежала тише и тише, потом шагом пошла в поле щипать траву. Из деревни пришли люди, смотрят — помер, а мальчишка сидит себе спокойно в телеге. Никто так и не знает, кто был покойник, и по пожиткам тоже сказать не получается. Ты мальчонку принял до времени, когда мировой судья или кто из управы в городе вынесет решение, куда его деть, но этого может не произойти никогда, потому что у помершего кожа была розовая, а у мальчика нет. Так что он, может, и не сын ему вовсе. У меня даже во рту высохло, как подумала, что ты хочешь, чтобы он был твой.

Малыш подходит к тебе, а меня аж трясет. Как ты ему протягиваешь палец, а он овладевает. Как будто это он — твое будущее. А не я. И мне совсем не нравится, как у него глаза сверкнули, когда ты отослал его поиграть во дворе. Но после ты омыл мое лицо и руки от праха путешествия и дал поесть. Только соли было скудно. А так кусочки кролика нежны и мясисты. Остры искания голода моего, но искание счастья еще острее. Много есть не могу. Поговорили о всяком-разном, но я не говорила, что́ думаю. А думала я, что останусь. Что, когда ты возвратишься от Хозяйки — хоть выживет она, хоть нет, — я буду с тобою тут всегда. И никогда-никогда без тебя. Ведь я уже не такова, чтобы меня выкинуть. Никто уже не украдет покров с моих плеч и обувь с ног по малости моей. И лапищами зад щупать не посмеет. Никто ржать не будет как козел или жеребец, оттого, что пала я в страхе и слабости. И криком никто не закричит при виде меня. И озирать со всех сторон мое тело не будет аки диковину. С тобой мое тело есть радость благая и достояние твое неотъемлемое. Без тебя, без того, чтобы быть твоей, не могу, не хочу и не буду.

Я совсем не теряю спокойствия, когда ты уходишь, хоть ты меня почти что и не коснулся. Ни даже не приблизил губ своих к моим. Седлая коня, попросил меня поливать бобы и собирать из-под кур яйца. Я пошла, посмотрела, но ни одна курица ничего не снесла, так что я теперь точно знаю: сюда идет *минья мэй*. Где-то поодаль Малаик. Он спит от тебя за дверью. Я спокойна, невозмутима, знаю, что скоро ты вернешься. Снимаю сапоги Хозяина и ложусь на твою постель, нюхаю запах огня и железа. Ставни щелясты, в щелях свет звезд. В дверь смотрит *минья мэй* с моими туфлями в кармане фартука и со своим мальчишкой за руку. Как всегда, пытается мне что-то сказать. Я посылаю ее прочь и, когда она растворяется, слышу тихий скрип. Сколь ни было темно, знаю, что он здесь. Глаза большие, удивленные, замерз. Встаю, иду к нему и спрашиваю: что? что тебе, Малаик, что? Он сам молчит, но ненависть в его глазах вопиет громко. Хочет, чтобы я ушла. Да не будет сего! Все сжала у меня внутри лапа с когтями. Врешь, не получится опять от меня избавиться!

Во сне вижу сон, что сплю и в тонце сне оном себя вижу. Будто я коленями на мураве, в среде которой белые цветочки. Благостно пахнет клевером, и я тянусь сорвать. Но аромат уходит. И вдруг смотрю — берег озера. А голубизна его как небо, голубее любой лазури, какую глаз видывал. Голубее Лининых бус и цветов цикория. И меня это голубое так влечет, так я люблю его, что с собой не сладить. Хочу лицом туда нырнуть поглубже. Хочу-хочу-хочу. Но что же держит, что же не дает дыханием выпить голубизну столь любезную? Я силюсь ближе, ближе подвигаться, клонюсь, за траву только и цепляюсь, чтобы не впасть туда. Трава долга, влажна, блестит, глаза режет. Тут я пугаюсь: на-а! у меня лица нет! Где положено лицу быть — пусто. Пальцем туда сую, идут круги по воде. Приближаю рот вплотную — пить? целовать? — но нет меня, даже тени. Куда подевалась? Почему? И уже Дочка Джейн со мною рядом стоит на коленях. И тоже в воду глядит. Ах, — говорит, — Ненаглядная, остынь, ты все узнаешь. Где же, — спрашиваю, — где мое лицо? — а ее уж и нет со мной. И тут я просыпаюсь, а у постели твоей *минья мэй* стоит, но вместо ее мальца с ней Малаик. Держит ее за руку. Она шевелит губами, вроде ко мне говорит, а руку Малаика в руке держит. Прячусь с головой под твое одеяло.

Я знаю, ты придешь, но вот утро пришло, а ты — нет. Так весь день. Мы с Малаиком ждем. Он меня сторонится. Я же то в доме сижу, то в огороде, но к воротам, где он, не выхожу. Стараюсь успокоиться, но внутри себя вся расхлебенена, не знаю, как быть. За изгородью, где чей-то выгон, лошади ходят. Жеребята ногами перебирают, на месте не стоят. Ну постояли бы спокойно! — нет, не хотят. Я смотрела, пока потемки не пали. В эту ночь снов нет. И *минья мэй* не приходит. Валюсь на твое ложе. Вот ветер воет, а вот мое сердце стучит. Громче ветра. Твой запах огня и железа ослаб совсем. Куда подевался? Ветер стихает. Теперь стук сердца спорит с топотком мышей.

С утра мальчишка исчез, но я готовлю кашу на двоих. И тотчас он опять в воротах — стоит и куклу держит из плевы маисовой, на дорогу смотрит, откуда ты должен приехать. Вдруг, его соглядая, припоминаю песью морду над чайником Вдовы Илинг. Тогда сего знамения не могла разгадать. Теперь смогла. Насторожилась. Думай! А то упустишь все по-

нимание, как защищаться. Во-первых, осмотрелась: нет сапог Хозяина. Туда посмотрела, сюда, потопталась в хижине, в кузню сунулась, поискала в куче золы — а ногам-то больно! Обрезки металла повсюду. Ранят, язвят. Вдруг вижу ужика. Тот сперва свернулся кольцами, потом пополз к порогу. Все медленней ползет, и вот уж околел прямо на солнцепеке. Тут наковальня. Коснулась ее. Холодная и выскоблена гладко, а тронешь — запоет о жжении, в котором ее жизнь. Так сапоги Хозяина и не нашла. Осторожненько, на пальчиках возвращаюсь в хижину, села ждать.

Мальчишка оставил ворота в покое. Зашел в дом, но не ест и молчит. Смотрим друг на друга через стол. Он не мигает. Я тоже. Я знаю, это он украл сапоги Хозяина. Пальцами вцепился в куклу. Ага, так вот в чем его сила! Отняла у него, кладу на полку — высоко, ему не достать. Он плачет, воет. Слезы. Кровавя ноги, выбегаю, чтобы не слышать. Он все воет, не перестает. Вот заладил. Мимо повозка. В ней едет пара, смотрят, но не остановились, не поздоровались. Наконец мальчишка замолкает, я вхожу. Куклы на полке нет. Брошена в угол, лежит как ненаглядное дитя, никому не нужное. Или нет. Может быть, затаилась там, прячется. От меня. Боится. Как это понять? Какое толкование выбрать? Со стола стекает овсянка. Табурет на боку. Увидев меня, мальчишка снова заводит плач, и тут я его хватаю. Я не хотела ему делать больно, хотела, чтоб перестал. Дергаю за руку. Для этого. Чтоб перестал, хватит. И слышу, плечико хрустнуло, но тихонько, как у жареной куропатки, когда отрываешь от грудки крылышко, чтобы съесть, пока горячее и нежное. Он вскрикнул и вдруг падает в обморок. Губой ударился о край стола, пошла кровь. Немножко. И только это он упал — твой крик. Я не услышала, как ты подъехал, только твой крик, но уже знаю, что я пропала, потому что выкрикнул ты не мое имя. Не меня позвал. А его. Малаик! — крикнул ты. — Малаик!

А когда увидел его неподвижным и обмякшим на полу, да еще и с красной струйкой изо рта, вообще в лице переменился. Отшвырнул меня прочь с криком: Ты что! Ополоумела совсем! Его поднял, да нежно так, мальчишку этого. А увидел, как у него рука косо торчит, — снова в крик. Мальчик открыл глаза, но тут ты ему руку на место вправил, он и опять сомлел. Да, кровь была. Немножко. Но когда пошла кровь, тебя не было, так откуда ж тебе знать, что я причинщица? Зачем было меня так отшвыривать, когда нет уверенности, что́ воистину приключилось? Увидел, что мальчонка на полу, и сразу про меня худое думать, даже не спросивши! Ну да, ты прав, но почему не спросил? А вместо этого сразу драться. Чуть ли не кулаком сразу в морду. Упала, оказалась на полу. В комок свернулась. Все, нет вопросов. Ты выбрал мальчишку. Первым его по имени позвал. Уложил его вместе с куклой, а ко мне со злым лицом обратился, в глазах холод, на скулах желваки. Пропала я. Ни словом даже не обмолвился, не пожалел, что с ног сшиб. Не прикоснулся нежно к месту, куда ударил. Я сжалась вся. И со всех сил держусь, чтобы перья не растопырить.

Сказал: Хозяйка твоя поправляется.

Сказал: найдешь кого-нибудь, кто отвезет тебя к ней.

То есть от тебя, значит, прочь опять. Каждое слово как острый нож.

Зачем убиваешь меня? — спрашиваю.

Хочу, чтобы ты ушла.

Дай объяснить.

Нет. Все.

Но почему? Почему?

Потому, что ты раба.

Что?

Ты меня слышала.

Так это Хозяин меня рабой сделал.

Он ни при чем.

Так кто ж тогда?

Ты.

Что ты несешь такое? Я раба, потому что Хозяин купил меня.

Нет. Ты сама рабой сделалась.

Как это?

У тебя пустая голова и разнузданное тело.

Но я люблю тебя.

И в этом ты тоже раба.

Но только ты властелин мой.

Властвуй собой сама, женщина, и оставь нас в покое. Ты чуть его не убила.

Нет. Постой. В какое горе ты меня ввергаешь!

В тебе нет ничего, одна разнузданность. Хоть бы чуть-чуть собой владела. Безмозглая.

Ты стал выкрикивать это слово — безмозглая, безмозглая, безмозглая — снова и снова, а потом еще и надсмеялся, повторил, что я раба по собственному выбору.

Я встала на колени, тянусь к тебе. Ползу. А ты отступаешь, говоря: уйди, убирайся.

Я теряюсь. Неужто ты хочешь сказать, что я для тебя ничто? И ничего в твоем мире не значу? И мое лицо, которое пропало в голубой воде, ты нашел, только чтобы ударить? Теперь я буду жить, внутри себя умирая. А вот и нет! Не выйдет. Перья все вверх. Нахохлилась. И когтями — р-раз! р-раз! — а тут и молоток в руке.

Джекоб Ваарк выбрался из могилы, пошел навестить свой прекрасный дом.

— Да и давно пора, — сказал Уиллард.

— Я б тоже не стерпел, — согласился Скалли.

Все ж таки этот дом — самый богатый в округе, так почему бы не скоротать вечность в нем? Когда они впервые заметили там тень, Скалли, еще не уверенный, что это вправду Ваарк, решил, что им следует подползти ближе. Но Уиллард, в привидениях разбиравшийся, удержал его, объяснив, какие могут быть последствия, если потревожить восставшего мертвеца. Ночь за ночью они следили, пока не убедились точно, что там ночами бродит не кто иной, как Джекоб Ваарк: ведь никаких постояльцев в доме не было от его воздвижения, Хозяйка вообще запрещает туда заходить. И они оба уважали ее волю, хотя не вполне понимали.

С течением лет жители соседской фермы сделались для них обоих, за неимением подлинной семьи, чуть не родственниками. Добросердеч-

ная чета — родители, три женщины-работницы вроде сестер, а они сами как бы услужливые сыновья. Все на ферме в них нуждаются, все добрые, зла не делают. Особенно глава семьи, который, в отличие от их владельца, по большей части, впрочем, отсутствующего, никогда не угрожал им и почти не ругал. Даже поил ромом во время святочных гуляний, а однажды пил с Уиллардом на пару из горлышка. Своею смертью он так их опечалил, что ослушались владельца: тот не велел им посещать место, где поселилась оспа, но они пришли и по собственному почину выкопали последнюю (на тот момент по крайней мере) могилу, понадобившуюся на ферме. Под проливным дождем заглубились на пять футов в грязь и поскорее уложили туда тело, пока яма не успела вся затечь водой. Теперь, тринадцать дней спустя, мертвец ушел из нее, выбрался из собственной могилы. Весьма похожим образом он, бывало, возвращался после многонедельных странствий. Самого призрака они, правда, не видели — ни лица, ни фигуры, — но наблюдали некое смутное сияние. Свечение начиналось около полуночи, какое-то время плавало по второму этажу, исчезало, а потом медленно-медленно начинало кочевать от окна к окну. Поскольку мистер Ваарк ограничивался посещениями только собственного дома, нигде больше не появлялся, никого не пугал и ни труса, ни грома не выделывал, Уиллард посчитал, что большой опасности не будет, если они со Скалли останутся верны Хозяйке и продолжат помогать ей со всякими ремонтами. Да и к севу надо готовиться: июнь на носу, а еще ни борозды не пахано. Полученные от нее шиллинги оказались первыми деньгами, которые им были когда-либо плачены, и с той поры для них работа от повинности возвысилась до увлечения и от соседского вспоможения выросла до прибыльного ремесла.

А сделать надо было много, потому что женщины, как бы ни были они привычны и выносливы, нынче стали медлительны, словно что-то их отвлекало. После того как кузнец вылечил Хозяйку и девчонка Флоренс вернулась домой, их ферма будто за мглистой завесой скрылась. Уиллард, впрочем, указывал на то, что Лина все это время продолжает спокойно и невозмутимо трудиться, но Скалли не соглашался, говорил, что и она вот-вот треснет, как те зеленые яблоки, что слишком долго бултыхаются в кипятке: кожица начинает лопаться, и надо их поскорее вынуть и охладить, а то, сколько потом не мни, правильной подливы не получится. А как она бултыхается, Скалли изучил: не один час за эти годы провел в густых зарослях, исподтишка наблюдая за ее речными купаньями. Но всё! Не видать ему ее наготы теперь даже издали — ни ягодиц, ни талии, ни смуглых грудей, — увы. Более всего скучал он по тому, чего и вовсе нигде не увидишь — зрелищу непокрытых женских волос. Дерзких, соблазнительных, черных, словно ведьмовство. Видеть, как они, мокрые, то спину ей облепят, то вверх взметнутся — ах, восторг! Почему-то уже который день ее не видно. Но где бы она теперь ни купалась (если все же блюдет этот свой обычай), он был уверен: Лина вот-вот сорвется.

Хозяйка тоже изменилась. Уиллард эти перемены объяснял просто: горе, болезнь — что тут скажешь. Волосы, когда-то бронзовыми пружинками выбивавшиеся из-под чепца, превратились в бледные, липнущие к вискам пряди, которые придают ее новому, посуровевшему лицу уны-

лое выражение. Восстав со смертного одра, она вновь взяла в руки бразды правления, однако утомительной работы, которую раньше выполняла запросто, теперь чуралась. Перестала стирать, копаться в огороде, тем более полоть. Только стряпала и по мелочам шила. Все остальное время проводила за чтением Библии или в благочестивой беседе с гостями из деревни.

— Я так думаю, она снова замуж выйдет, — сказал Уиллард. — Причем скоро.

— Почему скоро?

— Она женщина. Как ей иначе с фермой справиться?

— И за кого же?

Уиллард сощурил глаз.

— В деревне народу много. — И то ли кашлянул, то ли усмехнулся, вспомнив благообразное дружелюбие диакона.

Лишь Горемыка, с их точки зрения, изменилась к лучшему: не так уже и туго стала соображать, что скажут — делает. Но на первом месте у ней всегда ребенок — любое щупанье кур и собирание яиц, любую дойку отложит, если услышит, что захныкал младенец, который у нее непременно где-нибудь тут, под рукой. Оказав ей помощь с родами, они снискали положение вроде крестных отцов и часто предлагали, если надо, понянчиться с девочкой. Горемыка их предложения отклоняла, и не потому, что не доверяла им — им-то как раз доверяла, но ей нужно было стать увереннее в себе.

Самым странным образом изменилась Флоренс. Робкая и послушная девчонка вдруг словно одичала. Когда через два дня после приезда кузнеца к хворой Хозяйке они столкнулись с Флоренс на дороге, она вообще на живого человека была не похожа. Во-первых, вся окровавленная, замызганная и обтрепанная, а во-вторых, прошла мимо них и хоть бы взглядом удостоила. Как так? Ведь человек — любой человек, не говоря о женщине, — неминуемо испугается, когда из кустов вдруг выскочат потные мужики. А она ни ухом не повела, ни шаг не ускорила. Оба, ошалелые и запыхавшиеся, в панике вымахнули на дорогу прямо перед ней. Со страху и от нее чуть не шарахнулись. И во весь дух помчались к порученному их заботам стаду — надо было спешить, а то как бы свиньи не поели новорожденных поросят. А припозднились, потому что все утро прятались от обиженной медведицы — дичайшая приключилась история, вину за которую они согласно возлагали в основном на Уилларда. Поймали в силки жирненькую куропатку, подвесили старику на пояс, собираясь потом полакомиться. Не стоило, конечно, дерзостно испытывать судьбу, расположившись отдохнуть в самой чащобе, да чтобы Уиллард там еще и трубку раскурил. Оба знали, что́ может струйка дыма натворить в лесу, где запах — это всё — сигнал спасаться, нападать, прятаться или (как вышло в случае с медведицей) зайти на огонек. Когда из непроходимых зарослей каликофлоры, где они добывали куропаток, послышался треск, Уиллард встал и выставил ладонь: молчи, дескать, замри, не двигайся! Скалли вскочил, потянулся к ножу. Последовала неестественно тихая пауза — замолкли птичьи трели, прекратилась трескотня белок. И тут одновременно их и смрадом обдало, и увидели: ломая ветки, прямо на них лезла, клацая зубами, здоровенная медведица. Чтобы ей труднее было сообразить, они разделя-

лись, и каждый, надеясь, что сделал верный выбор, помчался в своем направлении — прикидываться мертвым было поздновато. Уиллард нырнул под торчащий из склона выход сланца и приткнул пальцем чашку трубки в надежде, что каменная преграда искривит ток воздуха. Скалли, уже чувствуя горячее дыхание в затылок, ухватился за сук и вскарабкался. Ошибка. Сама прекрасно умея лазать по деревьям, медведица даже и без того могла просто встать на задние лапы и схватить его зубами за ногу. Однако страх не лишил Скалли присутствия духа, и он решился на попытку самообороны, пусть безнадежную. Вытащил нож, покрепче ухватил и, толком не целясь, ударил им довольно шустрое чудовище в голову. Отчаяние обернулось удачей. Лезвие скользнуло и как игла вошло медведице в глаз. Раздался страшный рев, она забила лапами и, расшвыривая ошметки коры, осела на зад. Свора лающих собак не привела бы ее в бóльшее смятение. С рычанием она опять встала на задние лапы, а передними забила по застрявшему в ране ножу, пока он не выскочил. Упала на четвереньки, замотала головой, под шкурой заходили бугры лопаток. Скалли показалось, что прошло очень много времени, прежде чем ее внимание привлек к себе заскуливший детеныш, и тогда, сбитая с толку и на один глаз ослепшая (притом что медведи и так-то видят плохо), она опять вломилась в кустарник искать малыша. Скалли и Уиллард затаились в ожидании — один на дереве, сам как загнанный в ловушку медведь, другой со страхом вжимаясь в каменный утес, — вдруг она вернется? Уверившись в конце концов, что вроде бы нет, они осторожно, принюхиваясь — не пахнёт ли шерстью? — слушая, не раздастся ли рык, не затрещат ли кусты и не заорут ли вспугнутые птицы, тихонько двинулись. Медленно-медленно. Потом бросились наперегонки. Вот тогда-то они, выскочив на дорогу из леса, и заметили тень, как будто бы женоподобную, движущуюся к ним. Задним числом Скалли сопоставлял тогдашний вид Флоренс скорее не с призраком, а с раненым английским солдатом — босым, окровавленным, но сохраняющим выправку.

Проданный на семь лет виргинскому плантатору, Уиллард Бонд рассчитывал освободиться к двадцати одному году. Но три года добавились к сроку за нарушения — буйство, воровство, — и тут его перекупил фермер, выращивающий пшеницу на далеком севере. Но оба следующих года пшеница не уродилась — напала сухая гниль, и владелец вынужден был это дело бросить, перейти к скотоводству. Все вытаптывающим и подъедающим на своем пути стадам требовались новые и новые пастбища, и пришлось пойти на меновую сделку с соседом Джекобом Ваарком: тот предоставил землю, а ему за это иногда давали временно воспользоваться трудами крепостного. В основном же работа Уилларда стала пастушеской. Но один он со стадами не справлялся. Мальчишка-подпасок пришелся кстати.

Пока не появился Скалли, Уиллард много тяготился одиночеством, целыми днями наблюдая, как скотина жует и спаривается. Единственной его отрадой были воспоминания о непростых, но куда более веселых деньках в Виргинии. Работать там приходилось, конечно, на излом хребта, но бывали и передышки, да и компания подходящая. Там он был одним из двадцати трех обитателей табачной плантации. Рабочих кроме него было шестеро англичан, один местный индеец и двенадцать

африканцев, завезенных через Барбадос. Нигде, между прочим, даже поодаль, ни одной женщины. Ничего, сдружились на почве общей ненависти к надсмотрщику и сыну хозяина, законченному мерзавцу. Из-за него-то и произошла история с буйством. А с кражей поросенка — это Уилларда просто подставили, чтобы увеличить задолженность. К более суровому, холодному климату, в который пришлось переместиться, привыкал трудно. Качаясь по ночам в гамаке среди дикой, полной живности тьмы, он ежился от страха, боясь как живых, так и мертвых. Мерцающие глаза лося легко могли оказаться бесовскими, а завывания в аду мучимых душ поди отличи от волчьей переклички! Ожидание ночного одиночества держало в страхе, омрачало дни. Свиньи, овцы и коровы с быками составляли все его общество, пока не возвратился владелец и не увез большую часть на бойню. Появление Скалли Уиллард встретил с радушием и облегчением. И уже когда их обязанностью стало помогать время от времени на ферме Джекоба Ваарка, с обитателями которой они коротко сдружились, произошли те несколько случаев, когда Уиллард, выпив лишку, вел себя предосудительно. А несколько ранее дважды сбегал, но не дальше ближайшего кабака, где его ловили и добавляли срок.

Строительство у Ваарка богатых каменных палат способствовало великому его возвышению. Он вновь вошел в команду, стал работать со строителями, среди которых попадались и весьма умелые, а уж когда явился кузнец, стало совсем интересно. Надо сказать, что не только дом строился величав и чуден, но и забор вели ему под стать, а уж ворота... Хозяин требовал, чтобы вся изгородь была затейливо изукрашена, но кузнец уговорил его умерить пыл. В результате появился ряд вертикальных трехфутовых прутьев, увенчанных пирамидальными простыми наконечниками. В этот ряд железных прутьев искусно встроили ворота, по всем сторонам перевитые толстыми цветущими лозами. То есть Уилларду это сперва так увиделось. При рассмотрении более внимательном раззолоченные лозы оказались змеями — с чешуей и всем прочим, — но на передних концах у них не клыки, а расцветшие бутоны. Когда ворота открывали, каждая створка двигалась со своим цветком, но при закрытых воротах их лепестки сплетались.

Он был в восторге от кузнеца и его умения. Однако восторг увял, когда он увидел, сколько денег переходит из рук Ваарка в руки кузнеца. Звон серебра был столь же красноречив, как его блеск. Уиллард знал, что Ваарк значительно обогатился на вложениях в производство рома, но то, что он платит за работу не только возчикам, доставляющим материалы, но и кузнецу, привело его в состояние крайнего раздражения: еще с Виргинии он привык, что все вокруг такие же, как он, бесплатные и подневольные рабы, и он подговорил Скалли не слушаться кузнеца и заданий его не выполнять. Так, Уиллард отказывался то разделывать на дрова каштан, то таскать уголь, то качать мехи в кузнице, а однажды "забыл" прикрыть от дождя свежесрубленные бревна. Ваарк отругал их со Скалли обоих, они нехотя пошли на попятную, но потом кузнец покорил его.

У Уилларда было две рубашки — одна с воротником, другая вся рваная. В то утро он поскользнулся на свежем навозе и порвал рубашку на спине сверху донизу; пришлось переодеться в хорошую, которая с воро-

том. Прибыв на стройку, он заметил, как кузнец внимательно посмотрел на него, кивнул и поднял вверх большой палец, как бы в знак одобрения. Уиллард не совсем понял — то ли над ним посмеялись, то ли похвалили, но когда кузнец сказал: "О! Мистер Бонд! Доброе утро", ему было приятно. В Виргинии ни шериф, ни полицейские, ни священники, ни дети, никто не называл его мистер, да он и не ждал этого. Знал свое место, и кто бы мог подумать, какое воздействие окажет на него простая вежливость!

Была то шутка или нет, но первый случай оказался не последним — кузнец с тех пор только так к нему и обращался. И хотя Уилларда попрежнему раздражало — нет, надо же, как высоко по отношению к нему вознесен свободный африканец! — мириться с этим стало, вроде бы, полегче. Да и что поделаешь? Ведь закона, которым положение белого раба ставилось бы выше негра, не существует. А кузнец такой славный, да и приятно ведь, когда тебя называют мистер! Про себя посмеиваясь, Уиллард отдавал кузнецу должное: он-то понимал, почему девчонка Флоренс из-за него голову потеряла. Наверное, называл ее мисс или леди, когда они встречались в лесочке, чтобы на сон грядущий позаниматься глупостями. Ну да, должно быть этим он ее и взял — если нужно было ей что-то еще помимо улыбки на его черномазой роже.

Ты знаешь, Скалли, — сказал однажды Уиллард, — отродясь я не видал ничего подобного. Этот к ней лезет копытами на круп, где хочет и когда хочет, а стоит ему отойти, она за ним еще и следом бежит, как собачонка. Он на пару дней уйдет за рудой, так она прямо сама не своя, ждет не дождется, когда он наконец явится, притащит этой свой рыжей грязи. Горемыка в сравнении с ней прямо что квакер какой!

Сам будучи всего на несколько лет старше Флоренс, ее резкой перемене Скалли поражался куда меньше Уилларда. Он и вообще считал себя большим знатоком людей, был уверен, что, в отличие от Уилларда, он хитер и каждого видит насквозь — от природы этим наделен. Уиллард судит по внешности, Скалли же зрит вглубь. Хотя он и любил тайком полюбоваться наготой Лины, но видел, понимал ее чистоту. Заметил, кстати, что в основе ее верности — Хозяйке или Флоренс, неважно — нет подчинения, а только самоуважение, нечто вроде твердости слова. Честь, может быть. Да и над Горемыкой он хотя и посмеивался вместе с Уиллардом, но для себя выделял ее, ставил выше двух других работниц. Если бы он этим интересовался, то соблазнить попытался бы именно ее: иной раз как посмотрит на тебя своим загадочным обезоруживающим взглядом... При этом широко раскрытые дымчато-серые глаза у нее вовсе не пусты — в них ожидание. Именно это выражение выжидательной затаенности и не нравится Лине. Кроме него все считают ее дурочкой, потому что в полном одиночестве она иногда вдруг начинает громко разговаривать, но с кем же этого не бывает? Уиллард постоянно здоровается с овцами, да и Хозяйка очень часто самой себе вполголоса отдает распоряжения, а тоже ведь при этом одна. Да и Лина — она с птицами переговаривается так, будто они у нее совета спрашивают, как летать. Относиться к Горемыке свысока, как к убогой и глупенькой, — значит не замечать того, как четко и быстро она осознала свое положение. Ее отстраненность — самозащита; доступность для мужчин — поблажка самой себе. Беременная

она сияла, а когда подоспело время, за помощью пошла куда надо и к кому надо.

А вот если кого изнасиловать, то, конечно, Флоренс. В ней сразу бросается в глаза сочетание беззащитности, желания уважить и, главное, готовности винить себя в любой подлости, совершенной другими. Впрочем, по ее теперешнему виду этого уже не скажешь. В момент, когда он увидел, как она возвращается, идет по дороге будто дух какой или солдат, Скалли понял, что она стала неприкосновенной. Впрочем, в его оценке пригодности ее для изнасилования никакой личной заинтересованности не было. Помимо чисто зрительской одержимости Лининым телом никакого плотского интереса к женщинам Скалли не испытывал. Давным-давно мир мужчин отметил его клеймом, благодаря которому он с первого мгновения, едва увидев, сразу понял, какое кузнец произведет впечатление на Флоренс. Точно так же и бросающаяся в глаза перемена в ней от "вся твоя" до "не трожь" задним числом показалась ему вполне предсказуемой заранее.

На Хозяйку Скалли смотрел тоже куда менее благодушно, чем Уиллард. Нельзя сказать, чтобы осуждал, но в ее поведении после смерти мужа и собственного выздоровления усматривал не просто следствие траура и пошатнувшегося здоровья. Свои дни теперь Хозяйка коротала с равнодушием часового механизма. Была воплощением набожности и покаяния. Но как раз это и заставляло Скалли подозревать, что под благочестием кроется нечто холодное, если не злое. Тем, что она отказывается заходить в богатые палаты, выстройке которых сама так радовалась, она, похоже, налагает епитимью, наказывает, причем не только себя, но и всех вокруг, а особенно покойного мужа. То, что и муж, и жена приветствовали и даже превозносили, она теперь презирает, как несущее печати третьего и седьмого греха одновременно. Сколь ни любила она мужа, он умер, ушел и тем испортил ей жизнь. Как же ей не искать теперь способа излить свой гнев, хоть чем-то отомстить, показать ему, как ей плохо и как она сердита!

Что же до Уилларда, то за двадцать два года своей жизни Скалли сталкивался с людьми куда более странными. К двенадцати годам он успел побывать в учениках и брошенных возлюбленных англиканского викария. Тотчас после того, как мать Скалли упала и умерла на полу таверны, в которой работала, этот его так называемый отец сдал его в аренду местной церковной управе. Хозяин таверны требовал, чтобы Скалли три года отработал на него — в счет долга матери, но на сцену выступил "отец", погасил задолженность и перепродал сына вместе с двумя бочками испанского вина.

Скалли не был в обиде на викария ни за предательство, ни за порку, которая воспоследовала, потому что викарию волей-неволей пришлось извратить обстоятельства, в которых их застигли, все приписав злоумышлению похотливого мальчишки, ибо в противном случае ему грозило не только лишение сана, но и казнь. Согласные в том, что Скалли слишком юн, чтобы считать его неисправимым, пресвитеры передали его землевладельцу, которому нужен был подпасок для работы в дальнем краю. Краю лесном и малолюдном, где, как они надеялись, если Бог даст, мальчик исправится, а не даст, так ему там некого будет портить. Скалли собирался сбежать сразу по приезде. Но на третий день разыг-

ралась страшная пурга, кругом все замерзло и покрылось трехфутовым слоем снега. Коровы замерзали стоя. Обледенелые скворцы[1] из последних сил цеплялись коготками за ветви, обвисающие под тяжестью снега. Скалли с Уиллардом спали в хлеву среди набившихся туда овец и коров, оставив тех, кто не поместился, на верную гибель. Согретый теплом тел животных и Уилларда, к которому тесно прижался, Скалли пересмотрел свои планы. Уиллард не возражал.

Притом что старший его друг любил выпить, Скалли, в течение всего детства спавший под стойкой бара в таверне и насмотревшийся на воздействие горячительных напитков (в том числе на собственную мать), спиртного зелья старательно избегал. Решил, что уж теперь-то сумеет скоротать время до освобождения, когда получит куш и сможет купить коня. А что? Купит коня, и не надо даже ни повозки, ни телеги никакой. А пока ты пеший, как ни беги, где был, там и останешься. Один за другим проносились годы, он был смышлен, догадчив, глупостей не делал и всячески выказывал послушание, даже когда его надежды начали таять. А потом умер Джекоб Ваарк, и вдова стала от них с Уиллардом так зависеть, что даже деньги платить начала. За четыре месяца он накопил уже шестнадцать шиллингов. На коня надо четыре фунта, может, поменьше. А когда к этому добавится куш, выдаваемый при освобождении: товарами, зерном или деньгами — двадцать пять фунтов (или десять?), — все годы кабалы окупятся с лихвой. Ему совсем не хотелось всю жизнь провести в поисках, чего поесть и кого полюбить. Поэтому он старался вдову Джекоба Ваарка не раздражать, а то возьмет да и лишит заработка! Пророчество Уилларда о скором ее замужестве повергло его в беспокойство. Вдруг новый муж как-то совсем иначе распорядится фермой, оставив его за бортом? А так — возможность работать на женщин и среди женщин создавала для них с Уиллардом неплохие возможности. Сколько бы ни было в хозяйстве женщин, как бы ни были они усердны, но не могут они валить шестидесятифутовые деревья, строить загоны, чинить седла, забивать скот, подковывать лошадей и охотиться. Так что при первых признаках недовольства Хозяйки он делал все, лишь бы ей угодить. Когда она побила Горемыку, сорвала Линин гамак, дала объявление о продаже Флоренс, он внутренне сжимался, ежился, но ничего не говорил. Не только потому что не вправе, но, главное, стремился избавиться от зависимости навсегда, а это обеспечивают деньги и только деньги. Нет, по возможности он втайне старался изглаживать или смягчать чинимые Хозяйкой обиды. Сработал для ребенка Горемыки колыбельку, выстлал ее овчиной. Даже сорвал со столба в деревне объявление (правда, не учел того, что еще одно вывешено в доме собраний). Лина, однако, была подчеркнуто неприступна, ничего не просила и отказывалась принимать подношения. Так, холодец из свиной головы, который они с Уиллардом специально для нее приготовили, давно уже стоит, прикрытый тряпочкой, в сарае с инструментами, где женщины теперь ночуют.

1. Недоумение вдумчивого читателя справедливо: скворцы, являясь перелетными птицами, очевидно, не могут обледеневать в зимнем лесу. Мало того, в XVII–XVIII веках этот вид птиц в Америке отсутствовал. Подобно уже упоминавшимся куропаткам, скворцов специально туда завезли на рубеже XIX и XX веков в ходе выполнения монструозного плана по поселению в США всех птиц, чьих названий касалось перо Шекспира. Подобной же исторической невероятностью грешат и упоминания автором растений.

Вот так всех подкосила кончина Ваарка. Но не только. Еще это следствие порабощенного положения женщин, из-за боязни впасть в которое они порой норовят держаться от мужчин подальше, но и тут попадают опять в ту же зависимость.

Скалли это так расценивал. Точно знать, что у них на уме, он, разумеется, не мог, но по собственному опыту судя, пришел к уверенности: предательство — вот яд, что отравляет нынешний момент.

Печально.

Когда-то они считали себя чем-то вроде семьи, потому что сблизились, высекли искру товарищества из нескольких одиночеств. Однако семья, в которую, как все воображали, они сплотились, обернулась обманом. Каждый любил свое, своих страхов бежал и своего добивался, и будущее у каждого было отдельным, да и поди еще пойми каким. Только и ясно, что одной отваги будет мало. За неимением кровного родства, он не видел в обозримой близости ничего, что могло бы объединить их. И тем не менее, припоминая, как викарий описывал мир, существовавший до Творения, Скалли и тут наблюдал подобное: темную материю, густую, вязкую, непознаваемую, — но как же она томится, жаждет быть пресотворенной в мир!

А заработки... Что ж, заработки у них, конечно, не такие, как у кузнеца, но, чтобы помечтать, Скалли и мистеру Бонду хватало.

Шла всю ночь. Одна. Без сапог Хозяина трудно. В сапогах мне ничего не стоило пересекать каменистое русло. Быстро идти сквозь леса и продираться через заросли крапивы. Все знаки, чтение примет — все втуне. Песьи морды, ужики огородные — все чепуха, бессмыслица. Зато ясен стал путь, когда потеряла тебя — тебя, в ком, я считала, вся моя жизнь, защита от любого зла, от всякого, кто поманит взглядом, чтобы потом выкинуть. От тех, кто думает, будто они вправе притязать на меня, приказывать. Но для тебя я ничто. Ты сказал: во мне одна разнузданность. Пускай. Что же так дрогнули твои губы, что ты глаза отвел? Боишься? Бойся! Молоток много раз ударил по воздуху, но все-таки добрался до тебя и замер в слабости. Ты его вырвал у меня и отбросил. Долго дрались. Я оскалилась, пыталась укусить, рвануть зубами. Слышу, кричит Малаик. Ты мне скрутил руки назад. Я рванула и вывернулась. Тут где-то кочерга, где-то рядом. Где? — вот! Размахнулась и сильно ударила. Смотрю, ты пошатнулся, весь в крови, я — бежать. Потом шла. Потом плыла. На льдине, оторвавшейся от берега реки еще глухой зимой. Босиком. Уже ни злости в сердце нет, ни дома, ни надежд на завтра. Шла весь день. Всю ночь. Перья прижала, пригладила — временно.

Уже три месяца, как я бежала от тебя, и я не видывала в жизни, чтобы листва так нагло, так кроваво зеленела. Такая яркая, что болят глаза, и я для отдыха смотрю на небо, выше деревьев. По ночам, когда яркость зелени уступает звездным россыпям на холодном черном небе, я выскальзываю из объятий спящей Лины и прихожу в эту комнату.

Если ты выжил и когда-нибудь поправишься, чтобы читать мой рассказ, придется тебе нагнуться, кое-где даже встать на карачки. Что ж, извини за неудобство. Временами острие гвоздя соскальзывает, слова выходят кривые. Падре этого не любил. Лупцевал нас по пальцам, заставлял переписывать. В самом начале, когда я в эту комнату только

вошла, была уверена, что вот — расскажу, поплачу, явятся слезы, которых так ведь и не было. Нет, не удалось поплакать. Не пролив ни слезинки, я прервала рассказ, только когда в лампе кончилось масло. И тут же, среди слов, заснула. А вместо сновидений новые слова в голове, так что, когда проснулась, еле ушла, оторвала себя от этой комнаты, взялась работать. Делать дела, в которых нет смысла. Вот моем мы ночной горшок, а пользоваться им нельзя. Вот ставим высокие кресты на могилы, потом их обратно — пилим, укорачиваем, и опять. Моем в комнате, где умер Хозяин, а ни в каких других покоях появляться, видите ли, не должны. А там пауки гуляют на просторе и непуганые ласточки по углам потолка гнезда вьют. В окна всякую мелкую живность ветром заносит. Я телом заслоняю огонь лампы, зябну: ветер такой студеный, кусачий, словно зиме не терпится — сейчас придет и погребет нас. А Хозяйке наплевать и на то, как холодно в сараях, и даже на то, что́ может ночной сквозняк сотворить с младенцем, — она этого будто не помнит. Хозяйка поправилась, но явно не здорова. Стало неверным ее сердце. Не улыбнется никогда. Каждый раз, как возвратится из дома собраний, у ней взгляд не поймать и глаза пустые. Точь-в-точь глаза тех женщин, что изучали меня в чулане, — только и высматривает, где что не так, и все ей не по нраву. Одета в темное, тиха. Много молится. Заставляет всех нас — Лину, Горемыку, Горемыкину дочку и меня — в любую погоду спать либо в хлеву, либо в сарае, где свалены кирпичи, веревки, всякий инструмент и остатки со строительства. Во дворе — это пусть дикари спят, — говорит она, — так что никаких чтобы больше гамаков под деревьями! Запретила, стало быть, что мне, что Лине, как бы жарко ни было. И Горемыку с ее младенчиком с места около очага тоже прогнала — вот не нравится Хозяйке ее ребенок! Однажды ночью, когда лил ледяной дождь, Горемыка забралась с дочкой сюда, на нижний этаж, сидела, затаившись за дверью в комнате, где умер Хозяин. Хозяйка ударила ее по лицу. Много раз. Она не знает, что я каждую ночь здесь, иначе бы меня тоже отхлестала — считает, что этого требует благочестие. Как стала ходить в церковь, сразу изменилась, но я не думаю, что это там ее учат так себя вести. Она сама такие правила придумала — сама стала другая. Скалли и Уиллард говорят, что она выставила меня на продажу. А Лину — нет. Горемыку она бы тоже сбыла, но ее никто брать не хочет. Кроме того, Горемыка мать. Ни больше ни меньше. Мне нравится то, как она предана своей малышке. Она уже не хочет, чтобы ее звали Горемыкой. Она изменила имя и готовится бежать. Хочет, чтобы и я с ней, но мне тут надо кое-что докончить. Хуже с Линой. Хозяйка требует, чтобы она провожала ее в церковь, но сама войдет, а Лину садит прямо у дороги в любую непогоду, входить не разрешает. Запретила Лине купаться в реке, и пахать та ныне должна одна. Теперь уж не услышу, как когда-то, как они смеются, вместе копаясь в огороде. Лина все порывается поговорить со мной, напомнить, как она меня насчет тебя предупреждала. Но ее доводы делают само это предупреждение нелепым. А я помню, что́ ты говорил мне — тогда, давно, когда Хозяин еще не помер. Ты говорил, что рабы, по-твоему, свободнее свободных. Один — лев в шкуре осла. Другой — осел в шкуре льва. Что только внутренняя порча делает рабом и открывает дверь всякой дикости. Я понимаю так, что моя порча родилась в чулане у Вдовы. И еще я понимаю, что та пернатая тварь,

которая напустилась на тебя когтями, вырвалась потому, что я не смогла остановить ее, хотела, чтобы она растерзала тебя так же, как ты растерзал меня. Но есть в этом еще одно. Лев только о своей гриве и думает. Львица — совсем другое дело. Я это узнала на примере Дочки Джейн. Ноги в крови, а туда же. Пошла на риск. Рискнула всем, чтобы спасти рабыню, которую ты вышвырнул.

Все, больше в комнате места нет. Словами покрыт весь пол. Теперь, чтобы меня услышать, ты должен встать. На стенах писать труднее — огонек в лампе мал, толком ничего не видно. Держу свет в одной руке, выцарапываю буквы другой. Болят руки, но я должна тебе это сказать. Помимо тебя мне некому. Я уже у самой двери, скоро ее закрою. Что я буду делать ночами, когда мой рассказ будет кончен? Сны уж ко мне не вернутся. Вдруг вспомнила. Ведь ты не прочтешь! Ты знаешь мир, но не ведаешь грамоты. Не умеешь читать по-писаному. Ну, может, когда-нибудь выучишься. Если так, то приди опять на эту ферму, разъедини змей на своеручно кованных воротах, зайди в эти огромные жуткие палаты, взберись по лестнице и прямиком в говорящую комнату, и лучше днем. Если не ты, то никто. Эти старательные слова, запертые и всем открытые, заговорят сами. От стены к стене, сверху донизу, везде сплошь, по всей комнате. Или... Но будем надеяться, что нет. Может, этим словам как раз и нужен ветер, воздух, которым полон мир. Чтобы взлетать и падать, сыпаться пеплом на бирюзовы озера вглубь и благоцветны травы дурманны вширь, где стрижи в облаках между радуг стригут кругами, сыпаться и сыпаться, чтобы удобрены были почвы земные. Тут Лина поможет. Она в этом доме находит ужас, и сколько бы ни силилась она быть для Хозяйки незаменимой, я-то знаю, что огонь Лина любит больше.

Ты понял? Да, ты прав. И *минья мэй* тоже. Да, я — сама разнузданность, но я Флоренс. Непрощенная. Непрощающая. Ни милосердия, ни раскаяния не будет, любовь моя. Ничего не будет. Ты слышишь? Раба, свободная... Аз есмь!

Одно только печалит меня. Все это время я не знаю, что говорит мне мама. И ей, что хочу сказать я, не узнать тоже. Что ж, *минья мэй,* в одном ты можешь быть мною довольна: ступни у меня стали жесткими, как кипарис.

На брата твоего из них никто не покусится. Их вкусы я знаю. Кологрудость женская — вот что дает им их нехитрую усладу. А у тебя сиськи растут слишком быстро, уже начинают подымать тряпицу, прикрывающую девчоночью грудку. Они это видят, и я вижу, что видят. И ничего хорошего не получится, даже если я отдам тебя за какого-нибудь паренька из поселка. Файго. Ты его помнишь. Он был ласковым с лошадьми и играл с тобой в господском дворе. Я собирала для него всякие обрезки и куски хлеба, чтобы он отнес другим. Бесс, его мать, знала, как я смотрю на это, и соглашалась. Она за сыном доглядывала ястребиным оком, как я за тобой. Но надолго это бы ничего не решило, доченька. Нам нет защиты. Никакой. Особенно при твоем пристрастии к туфлям. Ты этим подхлестывала, гнала в рост свои сиськи и торопила старую женатую пару. А они уж и губы раскатали.

Пойми меня. Нет никакой защиты, и никакой ни Библией, ни катехизисом ты не прикроешься. Я пыталась говорить со святым отцом. На-

деялась, что, если выучимся буквам, настанет день, когда ты сможешь чего-нибудь достичь. Святой отец был сама доброта и отвага, сказал, что это богоугодно, и не важно даже, пусть его накажут — деньгами ли, посадят в острог или будут охотиться за ним с ружьями, как делали это с другими священниками, которые учили наших читать. Он полагал, мы будем сильнее любить Бога, если узнаем буквы, чтобы читать о Нем. Не знаю насчет этого. Знаю только, что в учености есть волшебство.

Когда высокий мужчина с желтыми волосами пришел обедать, я увидела, что еда ему не по нраву, и заметила в его глазах нечто, говорившее, что он не верит ни Сеньоре, ни Сеньору, ни их сыновьям. Его пути, — подумала я, — к их путям не льнут. Страна его далеко. И в сердце у него нет зверя. Ни разу не взглянул на меня глазами Сеньора. Смотрел, но без похотения.

Я ведь не знаю даже, кто твой отец. Там так темно было, я никого из них не разглядела. Пришли ночью и потащили нас, трех девчонок — и Бесс тоже — в сушильню. Там тени — мужики, сидящие на бочках, — сидели, встали. Сказали, что им приказано нас обратать. Нет защиты. Быть в этом мире женщиной все равно что быть раной открытой, незаживающей. Засохнет, а под струпом все равно гноится.

Обиды, надругательства и месть, туда-сюда, туда-сюда, по кругу, много сезонов — вождь наших семей против вождя чужих. Мне кажется, мужчины этим упиваются, готовы надругаться над кем угодно — над скотиной, женщинами, над водой и полем. И так все накалялось, пока мужчины их семей не сожгли наши дома и не собрали всех, кого не вышло убить сразу, на продажу. Связали друг с другом лианами и четыре раза продавали, каждый раз куда-то гнали, опять кого-то отбраковывали, опять люди умирали. То больше нас становилось, то меньше, пока всех — может, семь по десять или десять по десять душ, не загнали в острог. Тут мы увидели людей, которых приняли сперва за больных или мертвых. Скоро узнали, что нет — не то. Это их кожа сбила нас с толку. Те, что нас охраняли и продавали, были черные. У двоих были шляпы и странные тряпки на шее. Они нас уверили, что отбеленные не собираются нас есть. А мучение все длилось. Иногда мы пели. Иные между собой дрались. Но по большей части плакали или спали. Потом отбеленные нас разделяют и емлют в лодки. На них мы поплыли к большому дому, который сделан так, чтобы плавал по морю. В каждой воде — что в реке, что в море — с-под низу живут акулы. И те отбеленные, что охраняли нас, довольны были, что нас много, радовались, как акулы радуются, когда много еды.

Я думала: сюда, плывите же, акулы, — но акулы ходили кругами и не трогали меня, словно знали, что по мне лучше их зубы, чем цепи на шею, вокруг пояса и на щиколотки. Когда лодка перевернулась, кто-то из наших выпрыгнул, кого-то затянуло под низ, и мы не видели, как в воде расплывалась их кровь, пока нас — тех, кто уцелел, — не вытащили и не поместили под стражу. Нас завели в тот дом, что плавает по водам, и мы впервые увидели крыс. Все мысли были только о том, как бы это исхитриться умереть. Некоторые пытались; кому-то удалось. Отказывались есть помасленный ямс. Душили себя за горло. Кидались к акулам, которые за нами плыли всю дорогу, день и ночь. Я понимаю, нас хлестать плетьми им по душе, но я заметила, что им приятно и своих мучить. Во всем бессмыслица. Кто жив, кто умирает? Да поди разбери в этой

стонущей тьме, в этом ужасе! Одно дело жить в своем дерьме, в чужом — другое.

До меня донеслось: Барбадос. А я столько раз уже один и тот же вопрос решить не могла — почему я не сумела умереть, как другие? Я уж и трупом прикидывалась, чтобы за борт выкинули. Но это головой умышлять легко, а тело по-своему рассуждает. Ну ладно, прибыли на Барбадос, там полегче стало — все же воздух чистый, встать позволили, в рост выпрямиться, да и небо того же цвета, что до́ма. На солнышке хоть пообсохли благодарно — лучше знакомая жара, чем вонь и пар от скученных тел. Еще спасибо скажи, что земля твердая, есть во что ногу упереть, пусть и в загоне, куда всех толпой согнали. Хотя загон-то меньше был, чем трюм, в котором плыли. Одного за другим нас заставляли прыгать, нагибаться, открывать рот. Детишкам легче. Дети, как трава, потоптанная слонами, — распрямились и давай опять жить. Они давно уж плакать перестали. Стоят, таращатся и только бы угодить, показать, какие они хорошие, ценные, стоят того, чтобы им дали пожить. А то, поди-ка, выживи! Эти не убили, так другие сокрушительной ордой набегут. Опять какие-нибудь зубастые, с плетьми и батогами. Мужики с красными остервенелыми рожами. Или другая погибель придет, о чем я после узнала, — от живности, что водится в земле среди тростника, рубить который нас тут же и погнали. А там змеи, тарантулы, ящеры — назывались "лигаторы". Я проливала пот в тростниках недолго — меня вскоре забрали, посадили на солнцепеке на помост. Тогда я и узнала, что я не какой-то там страны, роду и племени, а "негрита" — черная. В этом всё — язык, одежда, боги, танцы, обычаи, украшения, песни... Всё в кучу, всё в один ком, всё — цвет кожи. Так что Сеньор купил меня уже как "черную", вытащил из тростников и кораблем вывез на север, на свою табачную плантацию. Тогда в этом была надежда. Но первым делом нас "обратали" — затащили меня, и Бесс, и еще одну в сушильню. Потом мужчины, которым был приказ сломить нас, извинялись. А надсмотрщик дал каждой по апельсину. Да и все было бы ничего. Все бы только к добру, потому что в результате появилась ты. Но тут вдруг замаячили Сеньор с его женой. Я стала жаловаться падре, но от стыда и рассказать-то не могла толком, все околесица какая-то получалась. Он не понял или не поверил. Велел не впадать в отчаяние, крепиться и всей душой возлюбить Бога и Иисуса Христа; молиться об избавлении, которое придет в Судный день; что не важно — пусть говорят что хотят, но, конечно, я не бездушное животное; что протестантство — грех и ересь, и если в помыслах и делах своих я останусь невинной, то вознесут меня ангелы от скорбной юдоли сей в сад приснопроцветающий, аминь.

А тебе вынь да положь копытца дурной женщины, да и тряпка на груди уже ничего не скрывает. Вижу, Сеньор запоглядывал. Когда высокий господин, отобедав, пошел с Сеньором гулять по поселку, я над туфлями этими пела и слезы лила. Пела о птице зеленой, что билась и погибла, когда шакал пришел красть ее яйца. Услышала голоса господ и встала с тобой и твоим братиком у них на пути.

Последняя надежда, подумала. Нет нам защиты, но есть разница. И вот, стоишь ты в тех туфлях, а высокий усмехнулся и сказал, что взял бы за покрытие долга меня. Я знала, что Сеньор не пойдет на это. Я гово-

рю: вот, ее! Ее возьмите, дочь мою! Потому что сердцем чуяла: высокий видит в тебе дитя человеческое, а не кучку серебра. Встала на колени. В надежде на чудо. Он сказал: да.

Но не было тут чуда никакого. То не от Бога было ниспослано. То была жалость. Человеком оказанная. Так я и осталась на коленях. В пыли, где лежит мое сердце и будет лежать день и ночь, доколе ты не поймешь то, что я знаю и жажду сказать тебе: власть над человеком — тяжесть; добиваться ее — кривда; отдаваться же во власть другому — лукавство.

Ах, Флоренс! Доченька любимая. Услышь, что говорит *туа мэй.*

Иван Динков

Почтение к литературе

Фрагменты книги

Вступление Беллы Цоневой-Динковой

Перевод с болгарского Э.Мезенцевой

Об Иване Динкове (1931—2005)

Болгарин до мозга костей. Для русского читателя это вряд ли достаточная характеристика, но, если речь идет о мастере Слова, она все же дает некоторое представление о поэте, глубинно связанном со своим народом. Он утверждал, что наша земля — не та, что завоевана кровью, а та, которая освящена и воспета в Слове. И еще: что в Слове скрыт тайный национальный код. Эти убеждения, как мне кажется, определяли и его поведение, и все, что он написал. Но именно они и отделяли его от когорты воспевающих времена социализма, ибо любовь к Отечеству, для него — не простое и не легкое чувство, не заслоняла того негативного, что он видел в национальных чертах и что существовавший тоталитарный режим лишь усиливал. Чтобы понять его расхождения с тогдашней властью, надо понять его характер, а я билась над этим все 33 года, которые мы прожили вместе, и могу с уверенностью сказать, что до конца мне этого так и не удалось. От своего первого поэтического сборника "Личная карта" (1960), составленного из стихов школьной поры, он отказался публично, следующий сборник стихов —

© Иван Динков, 1980
© Белла Цонева-Динкова, 2009
© Э. Мезенцева. Перевод, 2009
Редакция благодарит Беллу Цоневу-Динкову за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации фрагментов книги Ивана Динкова "Почтение к литературе" на страницах журнала.

"Эпопея незабываемых" (1963) — был восторженно встречен читателями и критикой и выдержал три издания, но после выхода третьего сборника — "На юг от жизни" (1967) — его обвинили в очернительстве, в непонимании требований времени, и тираж книги был уничтожен. Последовали десять лет молчания — книги не издавались, имя его было предано забвению. Его книгу прозы "Хлеб из крошек" (1969) подвергли жестокой публичной расправе. Лишь в 1977 году сборник "Антикварные стихотворения" дал повод вновь, хотя и с осторожностью, о нем заговорить.

Сегодня, после его смерти, в Болгарии проводятся научные конференции, посвященные его творчеству, издана книга эссе, биографические и мемуарные тексты, его изучают в университетах, ему открыт памятник. Это не значит, что началась переоценка его творчества. Задолго до этого — и в годы молчания, и после — он уже получил признание: его Слово цитировали, он уже стал своеобразным олицетворением таланта и гражданского мужества, уже тогда у него была подпольная, официально не санкционированная слава.

Конечно, без опасений честно говорить и писать о его стихах и прозе можно стало только после наступивших в Болгарии в 1989 году перемен. Тогда на него буквально посыпались едва ли не все национальные литературные премии — Ивана Вазова, дважды Пейо Яворова, Николы Вапцарова, Пеньо Пенева, газеты "Труд", посмертно — Димчо Дебелянова и другие. На него это не производило никакого впечатления. И именно тогда он написал самые горькие стихи — "Урна" (1996) и "Спазмы от Отечества" (1999). Мне кажется, он никогда не писал для того, чтобы получить что-то от власть имущих. Его редкие встречи с читающей публикой всегда шли вразрез с общепринятыми нормами. Он так ни разу и не произнес доброго слова в адрес власти, независимо от того, какая это власть — тоталитарная или демократическая. Служение Слову, считал он, требует безупречного гражданского поведения, не допускающего никаких компромиссов.

Когда-то давно, в раннем детстве, когда он раскапывал могилу своей только что похороненной сестры, чтобы ее воскресить, отказываясь поверить в то, что она умерла, именно тогда, я думаю, в нем начали зарождаться "вечные человеческие вопросы" и самый важный из них — о совести. Отсюда до стиха был даже не шаг, а только вдох.

"Высеченный из глыбы" (писать для него — как дышать и говорить), очень красивый, очень мрачный, но в то же время поразительно сердечный — таким я его встретила, таким и проводила. Встретила в самый тяжелый для него период. Поддержка, ровесника и друга Николы Вапцарова, дружески протянутая рука Христо Радевского[1], возможно, сыграли какую-то роль в том, что его пригласили принять участие в подготовке сборника переводов поэм Маяковского. Он перевел "150 000 000". По-моему, блестяще. Но больше он не брался за переводы других поэтов. Его сжигало собственное Слово, внутренне вычерпывало. Его волновали судьбы поэтов. Он утверждал, что только перенесенные страдания рождают настоящие стихи. Подкованные "вечные" ботинки Маяковского в гробу, самоубийства Есенина и Цветаевой, Анна Горенко, превратившаяся в Анну Ахматову, — как часто он вспоминал о них. Поэзия славянских народов — прежде всего стихи русских поэтов — устанавливала для него высокую планку единения Слова и дела.

1. Христо Радевский (1903–1996) – поэт, писатель, председатель Союза писателей Болгарии (с 1949 по 1958 г.). (*Прим. перев.*)

В его стихе нельзя обнаружить ни подражательства, ни имитации, ни влияния иноземных и родных поэтов. Больше всего он ценил отфильтрованность Слова, достигнутую немногими гениальными болгарскими поэтами — Ботевым, Яворовым, Дебеляновым, Вапцаровым. Ему были близки стихи "прóклятых" французских поэтов — Рембо, Бодлера, Верлена, русская поэзия в высочайших ее образцах, поэты второй и третьей волны русской эмиграции. Невероятно лаконичный, часто укутанный в молчание, загорающийся, но не перед каждым, обладающий завидной эрудицией, категоричный в жестах и слове — таков он для меня. Нынешнее молодое поколение болгарских литературных критиков и исследователей, прошедших обучение в разных постмодернистских школах, критиков, пользующихся незнакомым мне, да наверно и ему, инструментарием для анализа, открывает его снова и снова, ищет и находит в его стихах новые глубины и прозрения, которые давались ему легко — из-за его дара, из-за его интуиции. Хотя это и не мои слова, но я их полностью разделяю: "Каждое его стихотворение написано как первое и последнее в жизни".

Предлагаемая вниманию читателей подборка афористичных текстов взята из его книги "Почтение к литературе" (1980), выдержавшей на родине три издания. Написанная в перерыве между стихами, на коленке, без всякой надежды увидеть ее напечатанной, она содержит зачатки будущих, осуществленных и нереализованных стихотворных замыслов, краткие, отрывочные мысли о различных событиях, а также поразившие его высказывания других поэтов об искусстве; в этой книге он искал и находил сакральную общность "поэтического братства" и выражал свое "почтение к литературе".

Белле Цоневой с любовью
и признательностью посвящается

От автора

Вначале я писал с таким чувством, что делаю это исключительно для себя, как пишут предсмертные стихотворения. Я не хотел увеличивать национальное письменное одеяло, которое и без того слишком велико для такого малого народа, как болгарский. Однако с возрастом это чувство меня покинуло, и я решил рискнуть: предложить написанное тем, кто любит читать книги. В сущности, в этом и состоит риск в литературе – занимать собой людей, не будучи уверенным, что они нуждаются в твоем слове.

Писать должен только тот, для кого реальность не есть нечто само собой разумеющееся.

Внешний мир интересует писателей меньше, чем их собственное мнение о нем.

Может быть, искусство есть что-то вроде трепанации черепа при живой голове, хотя требуется много смелости, чтобы заявить об этом.

Эффективность поэтического слова определяется количеством молчания, которое слово содержит внутри себя.

После Флобера не жизнь вообще, а ее банальность — серьезное испытание для беллетристов.

Если воспевание земли увеличивает ее плодородие, тогда Фракия может накормить население Азии.

Позволено избегать рифм лишь тому поэту, у которого с ними были многолетние любовные отношения.

Искусство обновляется через свою сущность, а не форму. Андре Шенье однажды призвал поэтов: "О новом будем петь античными стихами".

Доступ к умершей культуре — платный.

Первая строка стихотворения может начинаться описанием покинутого убежища, но последняя любой ценой должна намекать о возвращении в него людей.

В спокойное время героизм и поэзия раздражают.

Поэт живет и умирает без права на заключительный концерт.

Некоторые произведения искусства действительно непреходящи, но иные непреходящи только потому, что мы их любим.

Современная болгарская строфа имеет вид холеной эмигрантки. Это уже опасно для нашего национального характера.

Молодые мятежники в искусстве обычно добывают свой хлеб чтением публичных лекций.

Выражение "и другие" — самое большое кладбище, которое знает человечество.

Интересно проследить связь между возрастом писателя и жанром, в котором он работает. Типична эволюция от молодежных стихов и драм к эпическим формам, а затем к эссе и мемуарам. Текстов из загробного мира все еще нет.

Популярность гения иногда обязана созвездию видных исполнителей его произведений.

Те, кто хотят жить по-человечески, хотят слишком многого. Несмотря на это, долг искусства — их поддерживать.

На заре романтической поэзии Роберт Бёрнс написал стихотворение, обращенное к полевой мыши, чей дом был нечаянно разорен его плу-

гом. Его мучило то, "что человек с природой в ссоре". Сейчас такое от поэта не услышишь.

Почти все творцы хотят господствовать в той культуре, которую органически презирают.

В дни славы писатель всегда удивляется, как много людей вдруг поняли, что они — его друзья.

Посредственные лирики не только кричат на равнине, но и терпеливо ждут, чтобы гора повторила их крик.

Рассуждая о поэзии, хорошо бы кто-нибудь из болгарских поэтов хотя бы однажды, хотя бы случайно повторил слова Элиота: "Развитие художника — это постоянное самопожертвование, постоянный отказ от всего личного". И, повторив слова этого замечательного англичанина, родившегося в 1888 году и умершего в 1965-м, хорошо бы поверили ему беспрекословно.

Гений не может поднять простого смертного до собственной высоты, но он, по крайней мере, понуждает его следить за своим полетом.

После мировых пожаров люди вновь собираются у семейного очага. И первая книга, которую они раскрывают, по сути своей — призыв к новой мировой войне.

Поэтическая идея похожа на лихтенштейновское войско XIX века: уходит на войну с пятьюдесятью восемью солдатами, а возвращается с войны с пятьюдесятью девятью; пятьдесят девятый — непременно иноземец и приходит в Лихтенштейн командиром остальных.

Деревообрабатывающая промышленность в Болгарии стала развиваться после того, как Христо Ботев воспел лес.

Из всех романистов к поэтам ближе всего стоит Чарльз Диккенс.

С рифмы начинается вера в поэзию.

Великие открытия в науке, как и великие произведения искусства, обязаны всем гению своих авторов, но гениальность авторов принципиально различна. Без Ньютона закон всемирного тяготения не остался бы неоткрытым, в то время как "Евгения Онегина" мог написать только Пушкин.

Трупом писателя тоже кто-то должен распоряжаться, а если им никто не распоряжается, то это наводит на мысль, что в писательской биографии были какие-то зловещие моменты... и может создаться ситуация страшная и трагическая. Всего лишь один пример. Итальянский писатель Пиранделло пожелал, чтобы его похоронили голым, потому что боялся, как бы его не обрядили в фашистскую форму.

Каждый большой поэт умирает со словами Генриха фон Клейста: "...истина в том, что не было мне спасения на земле".

Архилох, отец ямба, может быть, более великий поэт, чем Сафо. Грубый, мускулистый, циничный, он неотделим от жизни. Сафо иное. Человек силится читать ее великолепные стихи, но его глаз постоянно видит движения влюбленной куропатки.

Введение неясности в основной поэтический принцип без сомнения впечатляет и возбуждает. Но оно же означает и постоянное кружение на лодке вслепую вокруг ничего.

С каждым случается: ест арбуз, от арбуза падает семечко на клеенку, он пытается взять семечко, оно ускользает, он снова пытается его взять, оно снова ускользает, человек начинает злиться, а оно все равно увертывается... Это семечко — одно-единственное слово, одна-единственная рифма.

Немецкий поэт Рильке действительно провел три года у французского скульптора Родена, чтобы учиться форме, но он даже самому себе не доказал, что одному виду искусства можно научиться у другого.

Потрясающее замечание Фонтане — одного из наиболее современно мыслящих литераторов XIX века: "... даже подметание улиц и дробление камней более благородное занятие, чем стихоплетство голодного, слабого поэта". Потрясающе и то, что подобные замечания только увеличивают число таких стихоплетов.

Предпочтение публики всегда в пользу имен утвердившихся.

В искусстве первый шаг на "боковую тропинку" — обычно самый верный.

Неясные тексты в поэзии еще и самодовольны.

Каждому большому творцу позволительно величаво выйти из болота жизни, но и большому творцу непростительно превращаться в "сверхчеловека".

В литературе плодотворна только та эротика, которая в конечном счете поднимается до таинственного обряда.

Это слова Шарля Бодлера: "Мечтаю об абсолютном отдыхе и долгой ночи. Певец безумного наслаждения вином и опиумом, я жажду лишь одной неизвестной на земле жидкости, которую мне не может предложить даже небесная фармакология; жидкости, не содержащей ни жизненности, ни смерти, ни возбуждения, ни небытия. Ничего не знать, ничему никого не учить, ничего не хотеть, не чувствовать, спать и снова спать — таково мое единственное желание. Желание подлое и

отвратительное, но искреннее"; и, возможно, именно тогда, когда он произносил эти слова, родился болгарский поэт Пейо Яворов, испытавший и "жестокость детства", и "бурную молодость", трагически зрелый и трагически обреченный.

Слова Шарля Бодлера: "Трудная задача в искусстве — подняться до абсолютного безразличия. Я и сам, несмотря на похвальные усилия, не смог устоять перед искушением нравиться современникам, о чем свидетельствуют подмазанные то здесь, то там — нечто вроде грима — льстивые грубоватости в адрес демократии, даже сквернословие — чтобы как-то извиниться перед другими за мой грустный сюжет". В конечном счете эти слова Бодлера — к его чести — направлены против тех "счастливых толстокожих, которых и яд не берет".

Раз Артюр Рембо так уверенно заявляет, что в его личном архиве есть всевозможные пейзажи, значит, по всей вероятности, там должна быть и фотография его могилы, сделанная им самим.

Когда Флобер говорит о том, что чем совершеннее будут телескопы, тем больше будет звезд, он тем самым намекает на то, что даже Эмма Бовари обладает такими чувствами, которые следующие писатели обязательно разовьют.

В болгарской литературе все еще нет исповеди, подобной той, что оставил Бунин в русской литературе: "Попишу немного, оденусь, возьму двустволку, выйду через сад на гумно, куда всегда прилетает множество голубей, вернусь с пятью, шестью тушками, убитыми одним выстрелом, и снова сажусь писать"; и черт его знает, как лучше — с такой исповедью или без нее.

В биографии писателя должны встречаться и такие факты, которые хотя бы намекают на "конфликты с королем".

Всегда ли в поэзии одно стихотворение — это всего лишь одно стихотворение?

Уильям Блейк говорил: "От моих пальцев исходит сияние в ожидании будущей работы". Его жена Кэтрин после этого имеет полное право сказать: "Я редко вижу господина Блейка. Он постоянно в раю".

Если Уолт Уитмен в одном стихотворении говорит: "Нет, это не только книга. Тронь ее — и тронешь человека", то можно надеяться, что когда-нибудь какой-то другой большой поэт скажет почти с такой же категоричностью: "Нет, это не только человек. Тронь его — и тронешь стих".

До древнегреческой классики тоже была классическая древность.

После такого количества импрессионизма хорошо было бы открыть заново то, что вокруг нас, а это означает — сесть на удобный стул и хотя

бы ненадолго отрешиться от собственного толкования, которое порой бывает агрессивно, потому что амбициозно.

В жизни так: Гала, "муза сюрреалистов", поначалу вдохновительница Макса Эрнста, потом супруга Поля Элюара, а под конец – спутница Сальвадора Дали; Гала всегда неопределенного возраста, худая брюнетка с мальчишеским телом, но взгляд у нее – взгляд, "пронизывающий стену".

Все же грустно, что в болгарской литературе нет такого письма от поэта поэту, как письмо Евгения Баратынского Пушкину, написанное в 1825 году: "Иди! Довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он совершил один, а наше дело – признательность и удивление".

Предсмертные слова Бальзака записаны точно: "И все это напрасно, напрасно, напрасно!..", но кто произнес эти слова, автор "Утраченных иллюзий" или Люсьен де Рюбампре, герой романа, еще не установлено.

Те писатели, которые оправдывают недуги своих произведений недугами общества, должны хотя бы раз плюнуть в зеркало, а если им не хватает смелости, то могут почерпнуть ее у Гоголя: "Если писатель начнет оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причиной неискренности, или необдуманности, или поспешной торопливости его слов, тогда и всякий несправедливый судья может оправдаться в том, что брал взятки и торговал правосудием, складывая вину на свои тесные обстоятельства, на жену, на большое семейство, словом – мало ли на что можно сослаться".

Писатель – кто угодно, только не педагог.

Трудно объяснить, а может быть, этому и нет объяснения, но порой некоторые стихотворения принимают неожиданную смерть, предназначенную для других стихотворений.

Перед бездной и писатели говорят, как обычные люди.

Современная поэзия настолько уравняла поэтов, что женщинам совершенно все равно, с кем из них провести ночь.

Гоголь говорит о Пушкине: "Самая жизнь его совершенно русская", Аполлон Григорьев дополняет: "Пушкин – наше все", Луначарский идет дальше: "Пушкин был русской весной, Пушкин был русским утром, Пушкин был русским Адамом"; и, наверное, это так и есть, если и Достоевский восклицает: "Пушкин унес с собой некую великую тайну. И вот теперь без него мы эту тайну разгадываем".

Люди постоянно в чем-то оправдываются вместо того, чтобы попытаться быть добрей.

Изданные книги Альфонса Доде ближе к рукописям его жены Мари, чем к его собственным; и, может быть, это единственный случай фальсификации в истории мировой литературы, продиктованный любовью.

Поэты падают всегда так неожиданно и с такой высоты, которая предполагает перелом всех костей.

Серьезная проблема, когда пишешь дневник... или надо забыть о том, что пишешь его для других, или, точнее, не забывать, что пишешь его только для себя.

Одна из посмертных книг Эрнеста Хемингуэя называется "Райский сад", а одна из последних Трумэна Капоте – "Услышанные молитвы". Этому нет доказательств, но, по всей вероятности, заглавия некоторых книг рождаются от предвкушения большого безделья, как некоторые авангардисты называют смерть.

Хулио Кортасар
"Поговорим-ка о Евгении Гранде"

Письма издателю и другу Франсиско Порруа

Перевод с испанского, вступление и примечания Эллы Брагинской

Нет, сама по себе Евгения Гранде вовсе ни при чем, это у Кортасара такая игра и о ней чуть позже. А начну я с писем не Кортасара, а с удивительных, уже безответных, писем к нему, которые мы с дочерью увидели в первый день нашего приезда в Париж в 2002 году. В тот предновогодний день мы с утра отправились пешком из гостиницы, что рядом с Плас де Конкорд, на кладбище Монпарнас, где похоронен Хулио Кортасар. Утро было солнечное, но ветреное. Шли долго, бестолково, спрашивая на дурном французском, правильно ли идем. В конце концов, оказавшись за оградой знаменитого кладбища, увидели высокий столб, унизанный стрелками-указателями с прославленными именами. Рядом — веселая компания школьников лет десяти-двенадцати. Молодая учительница, срываясь на крик, пытается настроить ребят на торжественный лад, но что детям смерть и могилы знаменитостей, увидели в небе след самолета и все как один задрали головы вверх. Среди указателей тщетно ищем имя Кортасара. А день воскресный, контора закрыта, кроме детей, посетителей не видно. Кладбище — целый город, вроде бы четко выстроенный, но для непосвященных — настоящий лабиринт. Бродили чуть не полдня, уже было отчаялись. И вдруг навстречу молодая темноволосая женщина. Мы к ней: "Пожалуйста, как найти могилу Кортасара?" А она, вот совпадение, чуть не в слезах принялась объяснять, что уже три часа ищет его могилу, что специально для этого приехала, улыбнулась как-то виновато и исчезла. Но мы, изрядно продрогшие, все-таки могилу нашли. В стороне от асфальтированной дорожки, отличаясь от темных могильных плит, белела мраморная плита, под нею похоронены двое: в 1982 году тридцатипятилетняя Кэрол Данлеп — последняя любовь Кортасара, а в 1984-м — он сам. Цветы мы положили с робостью — принято или не принято? — потому что цветов, даже увядших, не было, на белом мраморе лежали самые обыкновенные камешки, а кое-где, прижатые камешками, проездные билеты: метро, автобусов, поездов, листочки с расчерченными классиками и... три конвертика с письмами Кортасару на разных языках. Памятник, красивый, какой-то загадочный — на первый взгляд овальные листья кактуса, но может быть — символическое изображение хронопов, придуманных Кортасаром задолго до того, как появилась его знаменитая книга "Истории о хронопах и о фамах". Хронопы — этакое странное существо, которое писатель так и не наделил четкими приметами, то ли зеленое насекомое, то ли зеленый влажный микроб, но что-то живое и очелове-

© Herederos de Julio Cortázar, 2008
© 2002, Santillana Ediciones Generales, S. L.
© Элла Брагинская. Перевод, вступление, примечания, 2009

ченное. Главное, хроноп — это бунтарь, возмутитель спокойствия, враг всего закоснелого, возведенного в давно обветшалую систему. Это метафора Кортасара, его утопия, его иллюзия. Слово "хроноп" вылетело со страниц его книг и эссе в реальную жизнь, в речевой обиход и почти сразу стало паролем среди интеллектуалов: свой-чужой. Для Кортасара слово это — похвала и восторг, а порой и укор, но такой, будто выговаривают любимой собаке или кошке. Кстати, самого себя он тоже числил хронопом. У Кортасара все дорогие ему персонажи неизменно хронопы и все, кем он восхищался в жизни, кто был ему близок по духу — тоже хронопы, будь они художники, джазисты, боксеры, писатели, а то и бродяги, да мало ли кто, лишь бы шли "поперек", против течения, против шаблонов, лишь бы пробивали стену видимости, условности.

Можно подумать, я ухожу от темы кортасаровских писем, но нет, не совсем. Потому что именно там, у могилы Кортасара, где мы увидели эти безответные письма к нему, утвердилось во мне давнее решение перевести на русский его собственные письма. В эпоху электронной почты, смайликов и прочих компьютерных утех почти забылось, что это такое — отправлять и получать письма в конвертах, бегать к почтовому ящику, ждать-не дождаться ответа, волноваться — а вдруг потерялось, а вдруг что случилось? Там, у могилы Кортасара, вспомнились его собственные письма, в которых он так нетерпеливо, нервно ждал писем ответных и чуть не в каждом корил своих адресатов, неизменно прикрываясь шуткой, если они запаздывали. А как письму успеть вовремя, когда между "собеседниками" такие расстояния, когда зачастую их разделяет океан, а в Аргентине нескончаемые политические распри? За свою жизнь Кортасар написал великое множество писем, реже коротких, чаще длинных, и относился к самому факту переписки всерьез, сохраняя порой машинописные копии. Но при этом — никаких черновиков, пальцы его летели по клавишам машинки вместе с мыслью, а то и опережая ее, и ни следа эпистолярных красот. "Я ненавижу литературные письма, тщательно обдуманные, переписанные набело, да не один раз..." — сказал Кортасар еще в 1942 году и в том остался верен себе. В кортасаровских письмах, даже деловых, столько простора, столько динамики, столько внезапных переходов с одного речевого жанра на другой, в его речь рафинированного интеллектуала то и дело врывается трудно переводимый или вовсе непереводимый лунфардо[1], и все приправлено французскими, английскими, немецкими, латинскими оборотами, аллюзиями, цитатами: открытыми, скрытыми, перевернутыми с ног на голову — настоящий парад эрудиции, щегольство, весьма свойственное латиноамериканским интеллектуалам, где Кортасар в первых рядах, хотя в одной из бесед иронично заметил, что "в жизни не писал ничего интеллектуального..."

Его письма, собственно, мало чем отличаются от его литературных творений, в первую очередь — от эссе. В письмах ему нет нужды обволакивать сюжетом свои идеи и позиции, в них четко, подчас воинственно, выражена смысловая, идейная нацеленность его сочинений, в них видны и отстаиваются новые подходы к языку, открываются особенности его стиля, вернее антистиля. Во всех письмах его легко узнаваемое свободное дыхание, прелесть игры — "я пишу, укрывшись в зазоре между ребенком и взрослым", и вместе с тем его всегдашние запальчивые и решительные "нет" окаменевшим догмам, подгнившим устоям общественного устройства, искусства, замшелым канонам литературного творчества, литературного и не-

1. Лунфардо – язык припортовых жителей Буэнос-Айреса, социолект, образованный на основе испанского языка под влиянием жаргона итальянской рабочей эмиграции. Кортасар активно использует лунфардо в письмах, эссе, "Игре в классики" и других произведениях.

литературного языка, зашоренным представлениям о реальном и фантастическом, словом, всему, что намертво въелось в сознание людей, которые "ошиблись дорогой". Правда, на вопрос: какой дорогой идти? — у Кортасара нет ответа, и его пылкая поначалу вера в кубинскую революцию постепенно сошла на нет. Зато в литературе Кортасар воистину революционер, сумевший порушить закосневшие и, собственно, заемные стереотипы своих соотечественников.

Мы не знаем, сколько писем Кортасара сохранилось. В трех объемистых томах содержится 723 письма, которые охватывают период с 1937 по 1983 год. Десять лет их собирала, упорно разыскивала и, наконец, подготовила к печати его первая жена, аргентинка Аурора Бернардес, с которой он встретился в Париже в 1953 году, а в 1968-м развелся. И вот в самом начале XXI века она, будучи уже далеко немолодой, преодолев самые неожиданные и весьма серьезные препятствия, сумела все-таки опубликовать письма великого писателя и своего бывшего мужа, который умер на ее руках. Кто-то до конца своей жизни не хотел расставаться с его письмами, и Ауроре удалось заполучить их лишь у наследников. Многие — бесценные — письма, например, к Октавио Пасу, исчезли безвозвратно. И по каким-то своим причинам сожгла почти все письма Кортасара его собственная мать. Поначалу Аурора Бернардес хотела публиковать письма без купюр, но в процессе работы над ними какие-то, неизвестные нам, соображения ее остановили — немало кортасаровских посланий все-таки напечатаны в урезанном виде.

У писем разные адресаты — друзья детства, писатели, поэты, кто с громкой мировой славой, кто вовсе без оной. Много писем адресовано маститым критикам, дизайнерам его книг, художникам, кинорежиссерам, переводчикам, нет-нет и читателям, и, конечно, издателям. Самые длинные — издателям, вернее, одному из них — Франсиско Порруа[1]. После долгих сомнений я все-таки остановилась на письмах к Франсиско Порруа, к "Дорогому Пако". Почему? Во-первых, Франсиско Порруа, в глазах Кортасара, — хронопов из хронопов, он безоглядно поверил в "литературные безумства" писателя, стал его преданным другом и многолетним издателем не только в Аргентине, а в определенном смысле и в других странах Латинской Америки и в Европе, иными словами сыграл огромную роль в его литературной судьбе и в его мировом признании. И все кортасаровские письма к "дорогому Пако" не похожи на обычные деловые письма, они воспринимаются как личные в силу своего обаяния и всего того, о чем сказано выше. Кортасару вообще было невмоготу сочинять официальные, чисто деловые письма, и он писал их лишь в крайних случаях.

Во-вторых, когда подборка писем ограничена одним адресатом, создается единый текст, где есть свое "сквозное действие", свой контекст и свой подтекст. Конечно, в письмах к Франсиско Порруа у Кортасара и особая игра, и особая мелодика, свои модуляции голоса и, в известной степени, свой речевой жанр, как, впрочем, у каждого человека, который вольно или невольно меняет интонацию голоса, да и речь, в зависимости от собеседника и ситуации. Мы не знаем, что пишет в ответ "дорогой Пако", но от письма к письму, которые посылает ему Кортасар, все легче и легче догадаться о подтексте разговора, о том, что кроется за шуткой или вскользь брошенным намеком, мы видим, как растет их доверие друг

1. Франсиско Порруа (р. 1922) — один из самых влиятельных и просвещенных издателей испаноязычной книжной продукции в XX веке. В 1954 году основал издательство "Минотавр", выпускавшее преимущественно фантастическую литературу. Его первым издательским успехом была публикация "Марсианских хроник" Рея Брэдбери. Будучи советником и членом директората издательства "Судамерикана", подготовил к печати "Истории о хронопах и о фамах", сборник "Конец игры", "Игру в классики" Кортасара, "Сто лет одиночества" Гарсия Маркеса, "Властелина Колец" Джона Роналда Толкина и др.

к другу, как они становятся соучастниками, а порой заговорщиками, и уже понимаем их с полуслова.

Есть и в-третьих. В письмах, отправленных самым разным людям в одно и то же время, речь зачастую идет об одних и тех же событиях, переживаниях и заботах. Такие письма могут разниться тональностью, но в них все равно много общего.

В подобных случаях любой отбор — заведомо досадное ограничение, но письма Кортасара к Франсиско Порруа, письма к другу и единомышленнику дают уникальную возможность увидеть все этапы и перипетии рождения книг, от замысла до выхода в свет. Кортасар делится с Франсиско Порруа тем, что видит, слышит, читает; рассказывает о своих поездках, едко шутит по поводу своей работы переводчика-синхрониста на всяческих международных "говорильнях", доверительно сообщает о проектах фильмов по своим книгам, но обо всем этом — как бы наскоро, пунктиром.

А главное ему — *"поговорить о Евгении Гранде..."* Это его любимое присловье, фигура речи. *"Поговорим, однако, о Евгении Гранде"*[1] — так он неожиданно обрывает любую тему в своих письмах и эссе, возвращаясь к тому, что для него самое главное: к своим писательским замыслам, своей работе над рукописью, гранкам, верстке, обложкам — о, эти обложки, какая буря чувств, еле прикрытая иронией: почему исчезли полутона, почему не тот ритм в рисунке, почему не тот размер шрифтов, сколько огорчений и досады! А правка, какое негодование по поводу пропущенной запятой или своевольно снятой строки! И сколько в этих письмах сомнений: поймут-не поймут, что он хотел сказать, доказать, сломать. Какие язвительные слова в адрес критиков, не готовых осмыслить то, что существует вне литературных догм. И сколько радости от писем читателей, у которых есть ощущение игры! И какая глубокая благодарность Франсиско Порруа за то, что не обманул ожиданий, за то, что понял, во имя чего Кортасар отказывается от старых привычных норм в своих романах, которые сам он называл "игрой на краю подоконника, горящей спичкой, поднесенной к бутыли с бензином..."

Здесь представлено семнадцать писем Кортасара, охватывающих лишь четыре года (1960—1963) — такая малость из огромного эпистолярного наследия. Но как раз из этих писем мы узнаем, как рождаются кортасаровские "Истории о хронопах и о фамах", как складывается сборник рассказов "Конец игры", куда включен знаменитый рассказ "Преследователь", без которого, по словам самого Кортасара, не была бы написана "Игра в классики", а главное — перед нами разворачивается целая эпопея о нелегком, временами мучительном рождении этого антиромана, этой эпохальной книги Кортасара, которую один из его соотечественников назвал "Новым открытием Латинской Америки". Иными словами, эти семнадцать писем счастливо приходятся на тот период, когда Кортасар становится Кортасаром, когда его уже вовсю переводят в Европе.

Однажды Хулио Кортасар сказал: "В своих письмах — вот где я самый настоящий", значит, эти первые опубликованные семнадцать писем, эти, в сущности, страницы его дневника, его автобиографии, позволяют нам видеть самого подлинного Кортасара, без вымысла и домысла, без верхнего "ля", которого он так старательно избегал и в жизни, и в своих творениях. А дальше... дальше — надежда на более широкую и объемную публикацию писем Кортасара, где он, "самый настоящий", предстанет перед нами в полный рост.

1. Бальзаковеды утверждают, что однажды Бальзак, прервав деловой разговор с адвокатом, сказал: "Все это прекрасно, мой дорогой, но вернемся, однако, к действительности. Поговорим о Евгении Гранде".

Париж, 15 марта 1960 года

Дорогой Порруа,

недели две назад я закончил правку *Счастливчиков* и уже отослал верстку в "Судамерикану"[1]. И вдруг, вспомнив наш разговор о *хронопах*, решил собрать все машинописные листочки, которые разбрелись по всему дому кто куда, что весьма в духе моих хронопов. В конечном счете нашлись все до единого, правда многие оказались в жирных пятнах или со следами жевательной резинки. Пришлось перепечатывать, но зато некоторые тексты я поправил и соорудил книжку, стараясь изо всех сил, чтобы при явном сумасбродстве ее содержания в ней была определенная цельность. Посылаю свой труд заказной бандеролью, морем, то есть Вы получите ее приблизительно через месяц после этих строк, которые на почте пользуются явным преимуществом.

Теперь, когда все эти коротенькие тексты собраны воедино и мы с Ауророй их прочли и обсудили, я, пожалуй, готов поверить, что они вполне ладят друг с другом, хоть и написаны в разное время и с разным посылом. Есть тексты намеренно эстетизированные (*Свод наставлений*[2]), а есть — совершенно неокультуренные. Впрочем, юмора, надеюсь, вполне хватает в каждом из них, и это стягивает воедино всю книгу, если уместно говорить о книге. Всего в ней четыре части, и последняя, Вы увидите, посвящена историям о хронопах.

Если у Вас еще не отпала охота издавать нечто подобное, то я бы очень просил для начала сказать мне с присущей Вам прямотой (которой Вы покорили меня сразу[3]) о достоинствах и недостатках этих чудиков. И если дойдет до дела, я напишу Вам, какой мне представляется книга. Я имею в виду ее художественное оформление. В США или Англии за книгу такого толка тут же схватился бы иллюстратор, ведь эти занятные истории, по-моему, так и просятся в рисунок. В Буэнос-Айресе, само собой, это невозможно по причинам чисто экономическим, а раз так, ни в коем случае нельзя скупиться на поля и пробелы, пусть в книге будет хорошая вентиляция, чтобы моим рассказикам легко дышалось, и пусть себе болтают ногами в свое удовольствие, а не теснятся в духоте, словно в вагоне Англо[4] в часы пик.

Впрочем, все это пока лишь сны наяву. Однако ж замечу в свое оправдание: кто, как не Вы, предложил мне выпустить моих хронопов на улицы Буэнос-Айреса, единственного города, с которым они еще не свели знакомства? (В Мексике, на Кубе, в Нью-Йорке и Париже эти, в сущности, бездомные бродяги чувствуют себя, как дома.)

Возможно, Вы уже знаете от коллег из "Судамериканы", что "Файяр"[5] собирается издавать *Счастливчиков* на французском. Новость, конечно, прекрасная, но при одной мысли о переводе я хватаюсь за голо-

1. *Счастливчики* — первый опубликованный роман Х. Кортасара (1960). Название дано в переводе Л. Синянской. "Судамерикана" - крупнейшее аргентинское издательство широкого профиля. Основано в 1939 г. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.*)
2. Первая часть *Историй о хронопах и о фамах*. Перевод П. Грушко.
3. И не только этим. (*Прим. автора.*)
4. Англо — первая линия метро в Буэнос-Айресе.
5. "Файяр" — парижский издательский дом. Основан в 1857 г.

ву. Переводить взялась одна моя приятельница[1], и мне придется сидеть с ней ночами, чтобы Мохнатый[2] заговорил на жаргоне Менильмонтана[3]. Подумать страшно, что из этого выйдет!

Ну, да ладно. Жду от вас вестей. <...>

Сердечный привет Саре[4]. Обнимаю,

Ваш *Хулио Кортасар.*

Париж, 19 августа 1960

Дорогой Порруа,

я не просто обрадовался Вашему письму, а испытал почти физическое чувство облегчения. Ваше долгое молчание встревожило меня не на шутку. Оно, конечно, известно, что мы, аргентинцы, — народ мудрый, неделей раньше, неделей позже — какая разница? — но меня бросало в жар при мысли, что мой пакет валяется где-нибудь в придорожной канаве около Харлингэма[5]. Правда, название городка несколько обнадеживало: об англичанах можно сказать много чего нелестного, но они никогда не позволят себе такое безобразие с почтой. Короче, так или иначе хронопы прибыли в Ваш дом, а это самое главное, тем более что, не теряя времени, они пробрались в издательские шкафы и сразу взяли в оборот "Минотавра". Это еще одна, причем основная, причина моей радости, не говоря уж о том, что я, наконец, вздохнул с облегчением. Еще бы! Во-первых, я получил от Вас долгожданное письмо, а во-вторых, судя по всему, "Минотавр" бесстрашно ринулся в глубины издательского лабиринта. Как Вы знаете, много лет назад я принял сторону Быкоголового[6], и с тех пор уверен — никакому Тезею не обломать ему рога. В моих глазах Тезей просто силач, не более того.

А теперь о другом: меня бесконечно тронула Ваша симпатия к хронопам, а еще более — Ваша героическая готовность дать им приют под крышей из твердой обложки. Но, как человек более-менее порядочный, обязан Вас предупредить: от них житья не будет. Уж я-то знаю. Шесть лет назад я выбросил всех хронопов из окна, а им хоть бы что, они по-прежнему забираются в мою тарелку с супом, в мои сны, на пишущую машинку (обратите внимание, как скомкан уголок бумаги слева вверху — это все они!), да и вообще беспардонно лезут, куда их не просят, даже в самые серьезные дела. Как только истории моих хронопов будут изданы, поднимется чёрте что: Вы разом поймете, на что способны эти коварные микробы, когда увидите растерянные и кислые физиономии некоторых сеньоров. Мне с трудом верится, что все эти тексты (не многовато ли, не пугает ли такое количество страниц?) выйдут отдель-

1. Лаура Гий Батайон (1928–1986) — французский переводчик романа *Счастливчики.*
2. Мохнатый — один из главных персонажей романа *Счастливчики.*
3. Менильмонтан — рабочий район в Париже, где в 20-х годах обреталась и парижская артистическая богема.
4. Сара Фассио — жена Франсиско Порруа.
5. В Харлингэме, небольшом городке (23 км от Буэнос-Айреса), находилось издательство "Минотавр".
6. В своей ранней пьесе *Короли* (1949) Кортасар дает оригинальную интерпретацию мифа о лабиринте, выступая на стороне Минотавра.

ной книгой. Я писал их где придется, в самое разное время и в самых разных местах, годами они таскались со мной повсюду, рассованные по карманам и ящикам. Но если они соберутся все вместе, то, надеюсь, сумеют за себя постоять. Мне, само собой, не терпится услышать от Вас критические замечания. Кто-то сказал, что толстая книга лучше худой. Словом, Вам судить.

Дата, которую Вы предлагаете, меня вполне устраивает. Год на исходе, и нет никакого смысла спешить. Вы просите написать, какой я вижу книгу, но, честно говоря, у меня на этот счет нет идей. Я всегда был бездарен в художественном оформлении. Мне видится красивая книга, и пусть в ней будет много пробелов. Хорошо бы сделать необычный формат — ширина больше высоты, например. И на том моя фантазия исчерпывается. А может, придумать что-нибудь со шрифтами? Или издать ее на цветной бумаге, ну не знаю... Не лучше бы для начала Вам самому сделать макет, а уж я пойду от него, вдруг да и у меня проклюнется что-нибудь эдакое? Я Вам бесконечно благодарен за желание подарить мне красивую книгу. Ну наберитесь духу и сделайте макет. Мы всегда можем обменяться мнениями. Да мало ли, глядишь, тем временем я набреду на интересно изданную книгу и тогда пришлю ее немедля.

В письме трудно выразить некоторые вещи, но хочется, чтобы Вы почувствовали, насколько для меня важно Ваше мнение о том, *что* и *как* я пишу. <...> Однажды я попрошу Вас прочесть то, что пишу в настоящее время и о чем сейчас едва ли возможно рассказать в письме, тем более что мне самому пока это не очень ясно. И не представляю, когда, чем и как все это завершится. У меня уже написано около четырехсот страниц, есть отрывки из финала, из начала и даже середины книги, но очень может быть, что они исчезнут без следа под напором других четырехсот или шестисот страниц, которые я намерен написать в этом и будущем году[1]. В итоге должно получиться что-то вроде наших альманахов, набитых всякой всячиной, не найду сейчас более подходящего слова (разве что арабский баул[2]...). Нет одного угла зрения, их множество. А язык — порой настолько грубый, что мне самому невмоготу перечитывать, и сомневаюсь, что у меня достанет смелости показать такое кому-нибудь еще, а порой — такой правильный, что почти нехудожественный... Знать бы, что из этого получится. Но чего я решительно теперь *не знаю* — так это как писать рассказы, а мои *Счастливчики* — такое далекое прошлое, что чтение их гранок будет для меня сплошной мукой. <...>

Я взял на карандаш все, написанное Вами о французских книгах. Судя по всему, Вы уже убедились, что научная фантастика — вовсе не процветающий жанр в этой стране, но, глядишь, мы сослужим добрую службу какой-нибудь хорошей книге. Я не знаю ни Хеннеберг, ни романов Штернберга[3]. Мне обещали дать на время одну книгу, вроде бы интересную, выскочило из памяти имя автора. Если понравится, пошлю ее авиапочтой. В любом случае буду держать Вас в курсе моих поисков.

1. Кортасар впервые пишет Порруа о своей работе над книгой *Игра в классики*.
2. Так назывались огромные сумки, набитые пожитками, с которыми эмигранты из арабских и восточных стран приезжали в Аргентину.
3. Натали Хеннеберг (1917–1977) — французская писательница, работавшая в жанре фантастики. Жак Штернберг (1913–1978) — французский писатель, автор научно-фантастической прозы.

Антологию Кайуа[1] можно бы издать, но с значительными изменениями. Разумеется, "Обезьянью лапу"[2] надо выкинуть, зато совершенно необходимо включить сюрреалистическую фантастику, которую Кайуа презирает, впрочем, это его parti pris[3]. Но пойдет ли он на такие изменения? Вот Вам пара достойных имен, чтобы сюрреалисты были представлены должным образом: Леонора Каррингтон ("Белые кролики", например), Андре Пьейр де Мандьярг[4]... Если надумаете издавать их, рассчитывайте и на меня, я постараюсь найти хорошие рассказы.

Не приходило ли Вам на ум составить антологию текстов, написанных душевнобольными? К этому виду литературы здесь большой интерес. Лично я уже давно коллекционирую их поразительные высказывания. Тут главное — суметь разглядеть золотые крупинки, которые обычно теряются в ворохе пустых слов. Их надо извлечь оттуда, и тогда они заиграют. А если приложить к ним репродукции картин naifs[5] (как раз сейчас в Париже открыта прекрасная выставка их работ) — выйдет отличная книга.

До свиданья, мой друг. Вы меня очень порадовали. Пишите, когда будет на то желание, и не слишком доверяйтесь хронопам.

Самый сердечный привет Саре. Обнимаю,

Хулио Кортасар.

Париж, 22 апреля 1961 года

Дорогой друг,

нам нет нужды извиняться друг перед другом, хроноп Кортасар прекрасно знает, что такое хроноп Порруа. <...> Ребенком я всерьез верил, что с другом можно общаться на большом расстоянии с помощью двух садовых улиток, если тронуть их рожки. <...> Вам когда-нибудь случалось прикасаться к рожкам улитки? Поразительно, как мгновенно они исчезают, раз — и нет, и движение их так изысканно, что по сравнению с ним самый утонченный сонет Вокоса Лескано[6] покажется громоздким, как новое здание нашего Факультета права. Кстати, коль скоро речь зашла об улитках, спешу заметить, что *Флора и фауна* в *Хронопах* — это песнь любви к животным, вот почему из всех текстов, которые Вы предлагаете снять, именно эти мне особенно жалко выбросить в корзину. <...> Меня очень позабавило одно место из письма

1. Роже Кайуа (1913–1978) — французский социолог, антрополог, писатель, эссеист, исследователь мифологических, фантастических и игровых начал в культуре.
2. "Обезьянья лапа" — "страшный" рассказ английского драматурга и прозаика Уильяма Уаймарка Джекобса (1863–1943).
3. Предвзятое мнение (*франц.*).
4. Леонора Каррингтон (р. 1917) — английская художница, скульптор и писатель — близкая группе "Блумсбери". Автор сновидческих, визионерских произведений, которые она писала на французском и английском языках. Андре Пьейр де Мандьярг (1909–1991) — французский поэт и прозаик, переводчик испаноязычной поэзии, автор сюрреалистической прозы с эротической и фантастической направленностью.
5. Naif — наивный (*франц.*); название, которое в начале XX века в Париже получило творчество художников-самоучек, не следующих канонам академической живописи.
6. Хорхе Вокос Лескано (1924–1989) — аргентинский поэт и прозаик, признанный мастер сонетов.

Ургоити[1], где он говорит, что, перечитав роман *Счастливчики*, уже не находит в нем неровностей и перебора по части высокоумных разговоров, о которых он писал мне прежде. Открою, почему я так развеселился: небезызвестный Вам хроноп не пропускает мимо ушей справедливые замечания, и двадцать два дня нашего возвращения в Европу на борту "Рио Бельграно" подарили хронопу Кортасару счастливую возможность вырезать лишние места, что-то выправить, что-то укоротить и выполнить прочие портняжные работы, которые, к великой радости, увенчались успехом. Словом, как видите, мне лучше говорить все впрямую, хотя не дам гарантий, что тотчас поддамся...

Посему давайте-ка вернемся к хронопам. <...> Очень бы хотелось увидеть эскиз обложки, и отнюдь не потому, что я в состоянии сделать какие-то существенные замечания, но в подобных случаях я прибегаю ко всякого рода магическим средствам, и самое верное — солидная доза коньяка, после нее мне не раз приходили в голову такие идеи, на которые в нормальных условиях я совершенно не способен. Однако все это чепуха, пойдем дальше.

Мне навсегда запомнится потрясающая фраза в Вашем письме: "Наконец-то Буэнос-Айрес может стать или не стать хронопом!" Вы не представляете, как меня это пронзило, и, клянусь, дело не в тщеславии, я отлично понимаю, что Вы имеете в виду. Вольный дух хронопов должен ворваться в Буэнос-Айрес, и неважно, я или кто-то другой распахнет окна. <...>

Знаете, Ваша идея снять несколько текстов, по-моему, вполне справедлива. Я перечитал один за другим все рассказики, попавшие в черный список, и полностью солидарен с Вами насчет *Наставления, как правильно причесываться*, *Наставления, как делать чучело совы* (правда, этот текст мне нравится, и даже очень, но, согласен, он не в той тональности, которая задана для всей книги), и насчет *Пленника*, *Дорожного дела*, и *Never stop the press*[2] — тоже. Как видите, у нас нет разногласий в отношении пяти текстов, и Вы можете ставить на них большой крест синим карандашом.

Однако не соглашусь с Вашим желанием снять *Притчу без морали*, по мне это digest[3] латиноамериканской жизни в чистом виде, к тому же весьма актуальный. Трудно поверить, что Вам не нравится *Работа в офисе*, ведь это первооснова, стержень всего, что следует далее, и не только в манере письма, но и в миропонимании. Объяснюсь: да, допускаю — он может Вам не нравиться, да, допускаю — текст слабоват. Но для меня он имеет особое значение и не случайно стоит первым в *Пластилине для лепки*. То же самое скажу и о тексте *Как дела, Лопес?* Я, знаете, предпочитаю рисковать и не страшусь ошибок.

<...>

Похоже, я совсем заморочил Вам голову, так что на сегодня хватит. Мой сердечный привет Саре. <...> Обнимаю,

Хулио.

1. Хулиан Ургоити — в ту пору директор издательства "Судамерикана".
2. Здесь: *Никаких "Срочно в номер"* (*англ.*).
3. Краткое изложение; справочник (*англ.*).

Париж, 22 мая 1961 года

Дорогой Порруа!

<...>

Пока что не получил письма от Вашего друга Бетанина[1]. То, что Вы говорите о нем, внушает надежды на успех, теперь и я готов поверить, что роман превратится в фильм и, как вы пророчите, "понравится нам всем". Что касается цвета и широкого экрана, то, увы, это неизбежное зло нашего времени, хотя, когда видишь, как умело этим пользуется, скажем, Рене Клеман в "A plein soleil"[2], начинаешь думать, что даже такие затеи не мешают делать хорошие фильмы. А насчет того, чтобы мне самому написать киноверсию романа, — это совершенно нереально. Во-первых, я понятия не имею, как это делается, а во-вторых, сейчас я целиком и полностью занят вещами, очень далекими от *Счастливчиков,* и напрочь оторвался от их узкого мирка. Думаю, Бетанин и сам прекрасно справится, ну а я, понятно, не откажусь просмотреть диалоги и внести что-то свое. <...>

Французское издание романа[3] получилось очень красивым, но поставили такую астрономическую цену, что даже я не собираюсь тратиться на него. Буду весьма удивлен, если на его долю выпадет хоть какой-то успех, правда, так же я думал насчет его судьбы в Аргентине и, похоже, ошибся. А пока что, воспользовавшись пребыванием в Вене, я сумел поработать над первым вариантом *Игры в классики.* После отпуска возьмусь за *Игру* вплотную, хочу доделать ее до Нового года. Для меня чрезвычайно важно любое Ваше слово о моей новой работе; хоть бы удалось быстрее все перепечатать и послать Вам рукопись в ноябре или декабре. Готовьтесь — почти семьсот страниц. Но, смею надеяться, в них заложена такая взрывная сила, что Вы, быть может, одолеете их с легкостью. Вот такими иллюзиями, собственно, и жив человек.

Мой самый сердечный привет Саре. До встречи. Крепко обнимаю,

Хулио Кортасар.

<...>

Париж, 22 июля 1961

Дорогой друг,

надеюсь, Вы получили мое письмо, которое я послал Вам в середине мая. Моя жена бросила его в почтовый ящик, не заметив, что на конверте не хватает марок, и, стало быть, Вам в лучшем случае пришлось доплачивать, а в худшем — письмо до Вас не дошло. Тем временем пришло еще одно письмо от Ургоити, к которому приложены два договора с "Минотавром". <...>

1. Альфредо Бетанин — аргентинский кинорежиссер.
2. "На ярком солнце" (*франц.*) — фильм (1960) французского режиссера Рене Клемана (1913–1996).
3. Имеется в виду французское издание романа *Счастливчики.*

В договоре книга называется *Истории о хронопах и фамах*, но это, надеюсь, ошибка редактора. Мне крайне важно, чтобы в названии было "*и о фамах*", тогда у заголовка иное звучание и совсем иной смысл.

<...> Ургоити порадовал меня прекрасными новостями о *Счастливчиках* и о других книгах, которые, похоже, вот-вот заполонят итальянские земли. Я же прекрасно провел время в Италии, посетил этрусские захоронения, побывал в маленьких местечках и городах, с которыми прежде не был знаком. (Урбино, к примеру, настоящее чудо.)

В Париже пробуду до 20 августа, затем еду в Копенгаген и Вену. Хорошо бы получить от Вас весточку до отъезда. Черкните пару строк про то, как ведут себя зеленые и влажные микробы. Знали бы Вы, до чего мне не терпится увидеть верстку книги!

<...>

Сердечный привет Саре. Обнимаю,

Хулио.

<...>

Париж, 14 августа 1961

Дорогой Хроноп,

...и о фамах. Вот и прекрасно! Верстку лучше всего отправить в Париж, потому что к 10 октября вернусь домой и немедля приступлю к чтению этих бессмертных текстов.

Машины и монументы Фассио[1] привели меня в восторг. И я надеюсь, что мы вместе нагрянем к нему, когда мне выпадет счастливый случай прогуляться вдоль реки цвета львиной шкуры[2]. Коль речь зашла о машинах, скажу, что никогда я так не веселился, как в тот день, когда Тингели демонстрировал свою машину для рисования на одной из террас Трокадеро[3]. Действо происходило в воскресенье, собрались все старухи, все бездельники 16 округа, они в полном замешательстве пялились на механизм, который не только превосходно рисовал что-то на длинных бумажных лентах (у меня есть один рисунок с автографом), но еще и перемещался, чуть подпрыгивая, с одного места на другое, этакий марсианин. Почти все, кто был на площади, от буржуа до полицейских, надрывались со смеху, орали во всю глотку, что современное искусство — сплошное надувательство, таких проходимцев пора сажать и т. д. и т. п. Но при всем при том каждый старался подобраться как можно ближе к машине, и те, кому удавалось заполучить обрывок разрисованной бумаги, аккуратно складывали его и прятали поглубже в карман. А

1. Эстебан Фассио — аргентинский художник-авангардист, основатель Колледжа патафизиков в Буэнос-Айресе, художник-дизайнер книжных изданий. Изобрел машину, указывающую с помощью пяти кнопок порядок чтения "Игры в классики".
2. Видимо, имеется в виду дельта реки Параны, где вода, как и в самом заливе Ла-Плата, куда она впадает, всегда мутно-желтоватого цвета.
3. Жан Тингели (1925–1999) — швейцарский скульптор и художник, представитель кинетического искусства, создатель мобилей, напоминающих одушевленные существа. Трокадеро — полукруглая площадь в Париже, лежащая на склоне холмов Шайо напротив Эйфелевой башни.

самый потрясающий номер машина выдавала с интервалом минут в десять или даже чаще: незаметно от публики у нее с одного бока вздувался огромный пузырь и затем лопался с таким ужасающим треском, что все разбегались с перепугу. Меж тем Тингели, главный герой этого представления, с невозмутимым видом, весь в черном, подписывал машинные художества. Каждый уносил свою добычу и, как знать, возможно, у кого-то эти шедевры висят над ночным столиком.

<...> *Счастливчики* встретили прямо-таки жаркий, едва ли не тропический, прием, хорошо еще, что среди стольких хвалебных слов в мой адрес до меня наконец дошла заметка Рамы, опубликованная в "Марче"[1], где он меня ругает почем зря. Мне бы искренне хотелось понять, что он силится сказать, но я так и не уяснил себе, почему ему не нравится книга. А кроме того, манера чередовать хвалу с хулой, на мой взгляд, мало что дает. Если окажусь в Монтевидео, непременно приглашу его на чашку кофе в "Тупинамбу"[2], вдруг да извлеку что-либо полезное для себя. Кстати о Монтевидео — я получил оттуда лучшую награду в моей жизни: письмо Онетти, в котором он говорит, что *Преследователь*[3] терзал его душу недели две подряд. Для меня это так же лестно, как если бы такое сказал Музиль или Малколм Лаури[4], писатели планетного масштаба.

Про Вашу ангину ничего не знал, так что вдвойне благодарю Вас за письмо. Надеюсь, Вы уже поправились (и не станете курить меньше — столь несуразные советы обычно дают наши тетушки). У меня в юности было нечто похожее, когда я готовился к экзаменам в Университет. В конце концов, я их сдал, и даже успешно.

<...>

Игра в классики? Да я еще только в третьем "домике", и каждый раз битка летит мимо. До конца года вряд ли справлюсь с этой книгой. Но пошлю ее Вам всенепременно, а там видно будет. (Мало верю, что "Судамерикана" решится издать нечто подобное. Все, скорее, разочаруются, ужас, этот Кортасар — *который-начал-так-хорошо...*) У меня уже готова основная часть книги, и теперь привожу все в порядок, то есть устраиваю полнейший беспорядок по совершенно особым правилам, а насколько они действенны, мы увидим, когда у меня (у Вас) достанет мужества перечитать все 600 страниц.

<...>

Самый сердечный привет Саре. Обнимаю,

Хулио.

Сделайте милость, пришлите испанский перевод Кэрролла, мне бы очень хотелось посмотреть, что получилось.

1. Анхель Рама (1926—1963) — уругвайский литературный критик, исследователь латиноамериканской литературы, университетский деятель и публицист левых взглядов. Был постоянным автором "Марча" — уругвайского еженедельника левого толка, основанного в 1939 г. и закрытого в 1974-м.
2. "Тупинамба" — старинное кафе в Монтевидео, место встреч творческой интеллигенции.
3. Карлос Онетти (1909—1994) — уругвайский писатель, близкий к экзистенциалистам. *Преследователь* — программный рассказ Кортасара (1959), где прототипом главного героя стал великий джазовый альт-саксофонист Чарли Паркер (1920—1955).
4. Малколм Лаури (1909—1957) — канадский писатель английского происхождения.

Дорогой Пако,

твое письмо и гранки благополучно прибыли. Сегодня вечером я закончил их читать и в понедельник прямо спозаранку отправлю тебе бандероль, но до этого раскупорю бутылки, чтобы воздать — дело святое — щедрые возлияния богам, вот тогда, надеюсь, возвращение гранок будет столь же удачным, тем более, что я над ними просидел всю неделю не разгибая спины. Должен сказать, что текст набран на редкость хорошо, в типографии очень облегчили мой труд. Думаю, для пользы дела лучше отдельно послать все мои вопросы по корректуре Лопесу Льяусасу[1], но я сделал копию и прикладываю к гранкам, чтобы ты был во всеоружии и сумел отразить нападки какого-нибудь пуриста, которых видимо-невидимо в известных тебе издательствах.

Работа над корректурой пришлась на тяжелую полосу в моей жизни и потому была очень ко времени. После смерти бабушки (она, может, помнишь, тяжело болела, когда я был в Буэнос-Айресе) на меня безжалостно обрушились видения из прошлого, и я не находил себе места. Словом, эта свалившаяся вдруг работа, невероятно кропотливая, оказалась благом, а заодно и прекрасным предлогом, чтобы избавиться от предновогодней суеты, телефонных поздравлений и туристов, понаехавших в Париж. (От этой эпидемии обостренного сентиментализма, которая вспыхивает в канун Нового года, можно свихнуться.) Мы с Ауророй, укрывшись в нашем амбаре, спокойно работали, читали, слушали квартеты Альбана Берга и Шёнберга, радуясь тому, что никто не колотит в потолок. Что до твоего обещания явиться к нам в обличье единорога, кентавра или двуглавого пса, оно не сбылось, как мы и думали. Но зато сегодня мне приснилось, будто я — португальский кардинал и меня представляют Королю *на-очень-торжественной-церемонии.* Че[2], а вдруг тут есть какая-то связь? В любом случае, если Король — это ты, то скажу не без грусти, что король — пузан, каких мало. Вполне возможно, это порадует Сару, но нас — нисколько.

Быть может, тебе интересно узнать, что я испытал при виде напечатанного текста. Ну так вот, я воспользовался своим handicap[3] и прочитал его бегло. Когда получу сверку, у меня, конечно, будет более четкое представление об *Игре.* Я снял несколько повторов и отказался от идеи бедного Морелли[4] — сделать книгу, не сшивая страницы, оно и так получилось что-то в виде папки. (Мне вдруг подумалось, что это ни к чему, а жаль, у такого вида издания, есть, по-моему, чудесные возможности.) Право, не знаю, когда читаешь отдельные пассажи, нарушая установленный порядок чтения, теряется напряженность. Но если восприни-

1. Антонио Лопес Льяусас (1888–1979) — исполнительный директор издательства "Судамерикана".
2. Че (*исп.* Che) — характерное для аргентинцев междометие, позаимствованное у индейцев *гуарани*, которое передает, в зависимости от интонации и контекста, различные чувства. Чаще всего переводится как "друг", "приятель".
3. Гандикап (*англ.*).
4. Морелли — один из главных и программных персонажей *Игры в классики*, писатель, бунтарь, выступающий против укорененных стереотипов в толковании сущностей реальной действительности (в значительной степени alter ego Кортасара).

мать каждый пассаж как нечто самостоятельное, то это совсем-совсем неплохо.

Поверь, мне хочется сказать тебе столько всего сразу, что и не знаю, с чего начать. Меня самого подавляет амбициозность книги, равно как и все то, чего ей временами удается достигнуть. Это и в самом деле такая головоломная "путань", с какой не часто столкнешься, согласись! Внося правку, я должен был строго следить за своей реакцией, ведь не раз казалось: а не лучше ли сократить или вообще снять некоторые главы или абзацы... Но тут же спохватывался: нет, так думаю вовсе не я, внутри меня думает "старик", другими словами, это реакция чисто эстетического свойства, литературного, реакция в защиту неких формальных ценностей, из которых стряпается "великая" литература. А уж ты достаточно хорошо знаком с Морелли и знаешь, что если старик чего и хотел, так это стереть в порошок все ценности, они для него лишь истлевшие маски порядка вещей, который и сам уже давно истлел.

Отсюда парадокс: я не хочу и не могу устранить бесконечные дефекты и изъяны, хотя они меня сильно удручают, иногда просто бесят. Думаю, что никогда и никто не писал книгу настолько против шерсти и настолько против книги. Поэтому возникает достаточно серьезный вопрос: как нам представить *Игру в классики* бедному читателю, который рискнет попробовать ее на вкус. Об этом нам с тобой хорошо бы потолковать обстоятельно, и будь я рядом, мы бы решили все без особого труда, а заодно неплохо бы повеселились. В переписке все куда сложнее, но так или иначе мне придется сделать первый шаг, а ты, если захочешь, выскажи свое мнение.

Прежде всего, эту книгу нельзя выпускать в свет с набором комплиментарных и высокоумных слов, всех этих шаблонов, принятых сейчас при издании книжных новинок. Если б в Аргентине практиковалось *предиздание*, как во Франции, имело бы смысл опубликовать те выдержки из Мореллианы, где достаточно четко изложена вся сущность моей книги. Эту задачу мог бы, пожалуй, выполнить "Бюллетень 'Судамериканы'", если еще не поздно. В общем, я назову самые значимые тексты, которые, на мой взгляд, помогут читателю составить предварительное мнение о книге. Это конец главы 54, глава 62, глава 79, третий абзац которой хорошо бы вынести на суперобложку. Подходят и главы 95 (первая заметка), 97, 99, 109, 112 и 116. В них, полагаю, освещены самые разные и самые существенные аспекты книги.

Если я так упорно настаиваю на этом, Пако, то в первую очередь потому, что боюсь, как бы не слишком напирали на слово "роман". В таком случае мы в известной мере надуем читателя. Да, я знаю, что *Игра* тоже роман и, возможно, если она чего и стоит, то именно в этом качестве. Но я писал *Игру в классики* как контрроман, и Морелли взял на себя труд твердо сказать об этом, он самым убедительным образом разъяснил все в тех главах, которые я назвал выше. И наконец, я считаю, что надо сделать упор на аксиологических аспектах книги, здесь я имею в виду последовательное и яростное изобличение неаутентичности человеческого бытия (например, монолог Оливейры[1] в главе 48), а также

1. Оливейра – главный герой романа *Игра в классики*.

(((((наиважнейшая вещь для Аргентины!))))) иронию, насмешку, издевку всякий раз, когда автор или персонажи соскальзывают в философскую "серьезность". Согласись, после романа "О героях и могилах"[1] самое малое, что мы можем сделать для Аргентины, так это выставить на посмешище, осудить выморочную "серьезность" наших онтологических придурков, которые мнят себя писателями.

Словом, теперь, думаю, ты сумеешь объяснить, как, на мой взгляд, должна быть представлена *Игра*, если она все-таки будет где-то представлена заранее. В дальнейшем, разумеется, книга должна полагаться на себя и прокладывать себе дорогу собственными силами, но если вы планируете сделать что-то до ее выхода, то пусть *предиздание* хоть в какой-то степени отвечает тому, что я набросал выше. Заодно вы определенно выгадываете: не надо возиться с материалом, эти тексты вполне можно дать так, как они есть.

Огромное спасибо, что фрагмент "Фердидурке"[2] идет в испанском переводе.

Ох, Пако, тут есть одна вещь, которая меня очень беспокоит. Внося правку, я дошел до того места, где Тревелер читает и комментирует незабвенный трактат Сеферино Пириса[3]. И вдруг мне пришло в голову, что многие читатели могут подумать, будто я сам наворотил все это. (Возомнил, лишь по отсутствию скромности, что кто-то поверит, будто я способен на подобные чудеса.) Как, по твоему, надо или не надо указать, что весь текст принадлежит этому Сеферино и что автор существует в реальности? (По крайней мере существовал в 1953 году, когда послал свой трактат в Париж, а я его ухватил чудом, когда он летел в корзину.) Не дать ли нам сноску внизу или что-то в этом роде...

А теперь приступим к вопросу о страницах. Но ты, надеюсь, все же решишься сперва сказать, что, по-твоему, плохо, спорно в книге, что, наконец, следует вовсе убрать, пока не поздно. Ты, видимо, сделал какие-то пометки или вспомнишь, с чем не согласен. Я жду тебя на пленарном заседании Клуба под председательством Морелли и конечно с Бэпс[4], которая непременно захватит с собой четыре бутылки отборного коньяка.

Бедный Оливейра, че. До чего было грустно снова встретиться с ним. И какой потрясающий тип! Ему выпало (о чем я не догадывался до самого конца) довести до края отчаянные усилия Джонни Картера[5]. Все эти дни Оливейра живет во мне, и в чем-то я ему завидую. Я, с моим "домиком" и моей битой...

<...> Мы оба крепко обнимаем Сару. До свиданья, с сердечным приветом,

Хулио.

1. "О героях и могилах" (1961) – роман аргентинского писателя, эссеиста, художника, лауреата престижных национальных и международных премий Эрнесто Сабато (р. 1911).
2. "Фердидурке" – роман (1938) польского драматурга, писателя, эссеиста Витольда Гомбровича (1904–1969), который с 1939 г. жил и работал в Аргентине. (См. "ИЛ", 2004, № 12.) Кортасар включил отрывок из "Фердидурке" в свой роман *Игра в классики*.
3. Тревелер – один из главных персонажей *Игры в классики*. Сеферино Пирис – гражданин Уругвая, приславший в 1953 году на конкурс в ЮНЕСКО графоманский утопический трактат "Свет Мира" о переустройстве жизни на земле. Кортасар включил фрагменты трактата в *Игру в классики*.
4. Бэпс – персонаж романа *Игра в классики*.
5. Джонни Картер – главный герой рассказа *Преследователь*.

ХРОНОПИАНА: В "Luchterland Verlag"[1] все, похоже, на седьмом небе, хронопов покупают, как горячие пирожки. Да здравствует МИНОТАВР! Переводчица прочитала мне по телефону частное письмо, в котором издатель буквально заходится от счастья. Из Лимы мне прислали чудесную и толковую рецензию. Про отзывы в Аргентине ничего не знаю. А ты, знаешь ли что-нибудь? Если у тебя сохранилась какая-то, пусть даже маленькая, вырезка, не будь таким "тайнолюбцем", как говорят в "Седьмом круге"[2].

<...>

Париж, 25 июля 1962

Мой дорогой Пако!

Вчера ранним утром прибыли хронопы. Эти зазнайки исключительно по вредности своей заставили бедную консьержку колотить нам в дверь, когда мы с Ауророй спали блаженным сном, как спят после звонка будильника, когда уже решительно на все наплевать, даже на то, что притащишься в офис с опозданием на час. Но письмо твое, напротив, явилось к вечеру, оно тайком пролезло сквозь дверную щель. Словом, радость в квадрате! По этому случаю мы откупорили целую батарею бутылок. Но вот досада, на празднестве страшно недоставало Сары, тебя и Эстебана. Мы на все лады изругали Атлантический океан, Педро Мендосу[3] и "время, что подламывает дружбу"[4]. Тем не менее праздник удался, и на Place du General Beuret[5], куда ни глянь, разгуливали хронопы.

Че, это и в самом деле книга. Не какая-нибудь там брошюрка, а действительно — книга. Есть что взять в руки и на что посмотреть, с такой внешностью она сумеет постоять за себя, ничего не скажешь. Все в лучшем виде, ну а отдельные недочеты, которые я бы отметил, ты, наверняка, знаешь не хуже меня. За какие грехи, скажи, меня урезали на корешке книги до "Х. Кортасара"? Ну и скаред ваш "Минотавр"! Как гляну на корешок, так и ахну: "А кто это — Х. Кортасар?" Согласись, звучит странновато. Впрочем, я сам виноват, надо было вовремя поделиться с тобой моими высокими мыслями насчет того, как неудачно называются разные части книги. Вот скажи, с какой стати "корешком" назван, по сути дела, "вершок" — самая значимая, самая яркая часть книги? Стоит поставить книгу на библиотечную полку, и ты видишь только ее корешок. В сущности, книги преспокойно можно издавать в белой обложке (для новой книги вполне достаточно рекламного пояска, чтобы ее с гордостью выставил в витрине хозяин книжной лавки, а народ сообразил, о чем речь), тогда издатель, макетчик, художник все свои таланты отдадут подлинному лицу книги, или как его там — *корешку*. Неплохая, по-моему, мысль, согласись? Х. Кортасар! Х. Кортасар! Выбирайте оружие, сеньор Порруа!

1. "Лухтерланд Ферлаг" — немецкое издательство.
2. "Седьмой круг" — название серии детективных романов, которую составляли Хорхе Луис Борхес и его друг, аргентинский писатель, Адольфо Бьой Касарес.
3. Педро Мендоса (1487–1537) — испанский конкистадор, основатель Буэнос-Айреса.
4. Очевидно, слова из популярного танго.
5. Место, где жил Кортасар в Париже.

Шутки в сторону, книга издана превосходно, за что я тебе очень благодарен. Скажи об этом Эстебану. Че, наконец я на своем опыте убедился — рано или поздно за добро платят добром. Пятнадцать лет тому назад я взял под защиту Минотавра, и вот теперь этот благодарный зверь прекрасно издает мою книгу. Хотя большинство увидит в этом простое совпадение.

Ну а то, что ты написал об *Игре в классики*, меня настолько проняло, что сейчас я просто не в состоянии сказать тебе что-либо вразумительное. Самое главное (и единственно по-настоящему ценное) — твое восприятие книги целиком и полностью соответствует тому, что в нее вложено. Слова, которые ты нашел: "огромная воронка", "черная дыра огромной воронки" — это как раз и есть *Игра в классики*, это то, чем я жил последние годы, что хотел, вернее, мучительно силился сказать, зная наперед, что едва подобные вещи *говорятся*, тотчас выныривают превратности смысла, вылезает весь ужас языка (о, эти "черные суки" — слова), который не давал покоя Морелли. Знаешь, Пако, мне не так уж важно, что моя книга тебе понравилась, — хотя, врать не буду, это, конечно, очень существенно, — но главное, ты в замешательстве, ты ошалел, "двинулся", оказался на самом краю, на том краю, где был бедняга Оливейра, где был и я, когда дрался чуть не кулаками с этим Оливейрой в каждой главе книги. Я сказал Ауроре: "Теперь я могу умереть, потому что там, за океаном, есть человек, испытавший ровно те чувства, которые, как я надеялся, должен испытывать мой читатель". А все прочее: непонимание, набор пустых хвалебных слов, всегдашняя шумиха — это уже неважно. Вдобавок ко всему, тебе хотелось запустить в меня этой книгой. Ну, Пако, я в полном восторге! <...>

В дальнейшем, если книгу будут печатать, я бы хотел услышать твои конкретные замечания, кто-кто, а ты не станешь лукавить. Но, чёрт возьми, теперь я могу вздохнуть с облегчением, теперь я знаю: четыре года работы не пропали даром.

Пожалуй, ничего больше не в силах добавить. Напиши мне что-нибудь на этих днях и спасибо за все. Крепко обнимаю Сару и тебя,

Хулио.

Аурора читает через мое плечо — ох, эти женщины! — и у меня уже все ухо мокрое от поцелуев, которые она шлет вам обоим.

Париж, 27 августа 1962

Огромный хроноп,

что означает это молчание, чей "отзвук прячется под лебедиными крылами и гибнет у астролябии в когтях", как сказано у Валли Сеннер[1]? Нет, я вовсе не претендую на то, чтоб ты писал мне каждые две недели, не такой уж я оптимист да и слабоумием, вроде, не страдаю, и все-таки, че, ни разу в жизни мне не встречался минотавр, страдающий аграфией

1. Валли Сеннер — аргентинская поэтесса, которую высоко ценил Хорхе Луис Борхес.

в столь острой форме. Не будь Аурора еще похуже в этом смысле, я бы подбил ее начать переписку с Сарой, а там, глядишь, дух соревнования сделал бы свое дело. Однако, я подозреваю, ты усмехнешься на манер какого-нибудь удальца из ковбойских фильмов и отправишься в АЛЬСИНА РАНЧ выпить bourbon, под носом бедного Кортасара-Kid[1]. Ведь, честно говоря, вы, издатели – все на один лад, чего уж там.

Но учти, Эйнауди (похоже, я уже писал тебе об этом, что увеличивает твою вину) буквально насел на меня, вынь да положь ему книгу. Вполне допускаю, что он ее бросит в корзину, кто его знает. Но разве это дело – до такой степени трепать нервы доктору Этторе Гонфио, заместителю директора столь достопочтенного заведения, и все из-за твоей скупердяшции и финтифигизма. Одумайся, Пако, одумайся, пока не поздно.

Кстати, надеюсь, что огромнейший хроноп Эстебан получил мое высоконаучное послание недели две назад и уже поделился с тобой своими соображениями, которые, если не ошибаюсь, будут достойны доктора Фостероля[2].

Лопес Льяусас написал недавно, что собирается послать мне верстку *Игры в классики*. (Дойдет ли она, и если дойдет, то когда?) Скажу тебе, что известия из Аргентины отбивают у меня всякую охоту шутить. Как можно жить в такой обстановке? И до каких пор?

Мы с Ауророй постоянно думаем о вас и о других наших друзьях, представляя, каково вам всем. Конечно, каждый чем-то живет, как-то устраивает свою жизнь, но от всего, что пишут об Аргентине французские политологи и экономисты, впадаешь в уныние. *Сплошная безысходность.* Единственный выход, если это выход, – покаяться всем народом, признать свою вину, свои ошибки с твердым намерением начать все сначала, только умнее и лучше, но, увы, нам этого не увидеть. Средний аргентинец пребывает в убеждении, что виноват кто-то *другой*. Ну, конечно, евреи, кто бы спорил, ну и, само собой, янки, да еще Фидель, да этот Никита. Да кто под руку попадет. Знаешь, мне вдруг показалось, что я заново пишу *Экзамен*[3]. Чёрт побери, выходит, я и напророчил все эти беды.

А вообще-то, потерзай немного свою "Корону Смит"[4] (минотавры – они всегда монархисты, им "Ундервуд" не к лицу) и расскажи, как идут дела. В другой раз мы подробнее поговорим об *Игре в классики*. Хочу просить тебя вот о чем – отнесись с особым вниманием ко всему, что касается обложки. Надо полностью отказаться от этих картинок "вырви глаз", что красуются на обложке *Счастливчиков*. Лучше всего что-нибудь в духе Дюбуффе[5], скажем, граффити, где будут начертаны обычные классики, какие рисуют дети в любом квартале. Я их прямо вижу, жаль,

1. Детка, малышка (*англ.*) – часто добавляется к имени в среде ковбоев. Издательство "Судамерикана" располагалось на улице Альсина. Добавляя к названию улицы слово "ранч", а к своему имени слово "kid", Кортасар обыгрывает стереотипы американского вестерна.
2. Отсылка к посмертно опубликованному роману французского писателя Альфреда Жарри (1873–1907) "Деяния и мнения доктора Фостероля, патафизика".
3. *Экзамен* – роман Х. Кортасара (1940), сюжетной основой которого стали политические события того времени. Был отвергнут (в том числе и по цензурным соображениям) издательством "Лосада" и опубликован лишь посмертно (1986). Русский перевод Л. Синянской.
4. Марка пишущей машинки.
5. Жан Дюбуффе (1911–1985) – французский художник и скульптор, эссеист, увлекался творчеством маргиналов и душевнобольных, граффити и детскими рисунками, теоретик и пропагандист ар брют.

что не смогу нарисовать тебе. Но, держитесь, вдруг да и сделаю несколько набросков, вы с Эстебаном посмотрите, а затем, конечно, придется дать ему кислородную подушку. С акварельными красками в руках я становлюсь опасным человеком, клянусь.

Ну довольно, потому как ты даже не заслуживаешь, чтобы я пожелал тебе спокойной ночи. Крепко обнимаю Сару, она несомненно лучше тебя и к тому же сейчас наверняка вся в заботах о своем толстяке, не то, что ты — и не думаешь заботиться о любимых авторах. Аурора обнимает вас изо всех сил (хочет обхватить руками обоих разом).

А я и не подумаю.

Хулио.

Нет, Сару — да, и очень крепко.
Только Сару.

Париж, 8 октября 1962 года

Мой дорогой Пако,

как я обрадовался вчера, когда по приезде домой увидел твое письмо, такое длинное и такое твое. У меня, представь, скопилась куча писем, однако тебе я пишу в первую очередь. А Папа римский, Макмиллан[1], и заодно сеньора Дельфина Ведиа с Митре на улице Дель Валье Иберлусеа[2], пусть подождут. Но, шутки шутками, Пако, а мы приехали домой в большом огорчении — пришлось прервать наши итальянские каникулы на середине. Из Мантуи, куда мы приехали в пятницу ночью, мы уже первым утренним поездом мчались в Париж, потому что у Ауроры случился приступ аллергии, и весьма тяжелый. Короче, я перепугался и решил, что живопись Мантеньи надо отложить до следующего раза. Сейчас Ауроре гораздо лучше, но, думаю, мы правильно сделали, что вернулись домой, здесь близкие друзья и здесь свой врач. До этого печального происшествия мы безмятежно путешествовали по Италии. Из Вены — там мы бываем ежегодно и вкалываем на благо атомной энергии в мирных целях (sic!) — отправились в Венецию с благородным намерением поменять наши честно заработанные доллары на сверкающие итальянские лиры и промотать их со звоном, достойным столь звонкой монеты. Солнце в Венеции было восхитительным, и мы целую неделю с наслаждением предавались лени, прерываемой лишь распитием очередной бутылки кампари с содовой. Нечего и говорить, что тамошние голуби преспокойно разгуливали по нашим телам, и одна голубка вздумала свить гнездо на голове у Ауроры, а немецкие туристы, останавливаясь, заглядывали в свои Baedeckers[3] и, не обнару-

1. Гарольд Макмиллан (1894—1986) — премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии (1957—1963). С середины 60-х годов — глава крупнейшей издательской фирмы.
2. Очевидно, имеются в виду восковые фигуры президента Аргентины (1862—1868), политического деятеля либерально-позитивистского направления Бартоломе Митре (1821—1905) и его красавицы-жены Дельфины Ведиа в Музее восковых фигур на улице Дель Валье Иберлусеа в Буэнос-Айресе.
3. Известные путеводители, получившие название по фамилии их издателя и писателя Карла Бедекера (1801—1859).

жив нас в списке скульптурных изображений Ренессанса именно на этом углу площади, уходили в явном замешательстве. У нас достало мужества осилить пару музеев, но на сей раз мы твердо решили дружить исключительно с самим городом, и, поверь, нам обоим открылось, что нет ничего прекрасней, чем завести дружбу с миллионом венецианских кошек, со светлоголовой детворой и пиццей "alla marinara"[1], и все это под кьянти, причем большими дозами (сие по моей части, Аурора охотнее склонялась к знаменитому мороженому с фисташками и прочей отравой). Знаешь, куда лучше оставить в покое Венецию, ходишь себе, этак руки в карманах, насвистываешь и — вдруг раз! — что-то сработало, и ты уже полноправный крохотный фрагментик неповторимой венецианской мозаики, и вот оно счастье. Жаль, о таком, как всегда, не получается написать. А вот о вышеупомянутой прилизанной Вене, о ней — вполне получается, потому что Вена — это проснуться ни свет ни заря, купить в газетном киоске "Курьер" и мучиться, пытаясь понять, что скрывается под заголовком CHAOTISCHE BESTELLUNGEN IN ARGENTINIEN[2]; ну да, опять один генерал свергает другого, а мы — в постоянной тревоге о вас троих (ты же знаешь, что вы трое — Сара, Эстебан и ты — всегда в моих мыслях) и вновь терзаемся вопросом: какой хреновиной закончится (закончится ли?) весь этот бред. Между тем, читая "Монд", делаешь вывод, что все разрешилось не так драматично, как оно виделось. Но возникает вопрос, насколько серьезно повлияет на будущее прекращение огня, или в конечном счете наша страна снова сделала шаг назад. Найди, пожалуйста, время и поделись своими мыслями, поверь, меня это по-настоящему беспокоит. Судя по твоему письму, ты настроен крайне пессимистически; как подумаешь, что мы уже согласны и на короля Убю[3]...

Ну хорошо, Пако, поговорим, однако, о Евгении Гранде. Твое письмо доставило мне огромную радость (повторюсь) еще и потому, что два моих последних послания дошли до тебя — при бесконечных забастовках и таких волнениях в стране надежды на это почти не было. Что может быть печальнее, когда диалог прерывается из-за этой удручающей бессмыслицы, доказывающей, что Дьявол существует. Но нас с тобой соединяет волшебная нить, и нам не придется трепать себе нервы из-за этой чертовщины: "В письме, которое затерялось, я, по-моему, говорил..." и пр. и пр. Нечто подобное только что произошло у меня с одним бедолагой, который задумал, ни больше ни меньше, как снять фильм по моему *Преследователю* — идея фантастическая. И началось — телеграммы, телефонные звонки, пропавшие на полпути письма и прочие напасти. Все это без конца отрывает от машинки. К слову о фильмах, сообщаю тебе конфиденциально — учти, пока это висит в воздухе, — что Луис Буньюэль задумал сделать триптих из "Градивы" Йенсена, "Ауры" Карлоса Фуэнтеса и *Менад* Х. К.[4]. Я только что узнал это от Карлоса Фуэнтеса.

1. Здесь: "по-матросски" (*итал.*).
2. БЕСПОРЯДКИ В АРГЕНТИНЕ (*нем.*).
3. Главный персонаж пьесы Альфреда Жарри "Король Убю" (1887) — простодушный и жестокий кретин, который становится королем Польши.
4. "Градива" (1903) - роман немецкого писателя Вильгельма Йенсена (1837–1911). "Аура" (1962) — фантастическая повесть мексиканского писателя Карлоса Фуэнтеса (р. 1928). *Менады* (1956) — знаменитый рассказ Хулио Кортасара, где обезумевшие от восторга меломаны пожирают дирижера.

Он написал мне из Мехико, что Буньюэль загорелся мыслью снять на камеру моих дамочек, пожирающих дирижера. Я написал тебе "пока это висит в воздухе", и так оно и есть в буквальном смысле: именно сейчас Буньюэль летит в Париж и, приземлившись, наверное, позвонит мне насчет своего проекта. Признаюсь, меня конечно не оставила равнодушным такая новость, но тут в некотором романтическом смысле торжествует справедливость — недаром я всю жизнь присягаю на верность его "L'age d'or" и когда-то даже написал для "Эль Сур" восторженную рецензию на его "Забытых"[1]. Здесь, в Париже, месяца два назад я видел "Ангела-истребителя"[2], по-моему, это потрясающее творение, подобную картину способен создать лишь такой хроноп и такой Монстр, как он. А в Буэнос-Айресе она шла? Едва ли. Короче, если услышишь, что "Ангел" идет в Монтевидео, кидайся туда, хоть вплавь. А "Виридиана" мне понравилась меньше, в ней все-таки многовато пафосу. Но Буньюэль — гигант. В общем, я буду держать тебя в курсе событий.

<...>

Я искренне рад, что директор "Минотавра" все-таки признался, что его упрятанный в лабиринт зверюга до сего дня кормился авторскими экземплярами, он, видимо, принимал их за семь афинских девиц и семь эфебов, которые в оные времена входили в его диетический рацион. Значит, лишь Брэдбери и Кортасар имели счастье получить авторские экземпляры? А ну как об этом узнает мой дорогой Слоане... Я же, воодушевившись столь радужными известиями, в ожидании бесценного пакета весь день смотрю в сторону улицы d'Alleray, где располагается почта, а правый мой глаз косит в сторону Лионского вокзала, откуда, предположительно, должен заявиться хроноп Патрисио Эстеве с твоим пакетом. Огромное спасибо, мне действительно позарез нужны эти экземпляры. Мой, побывав в стольких руках, похож на мочалку, которой Аурора моет посуду. Временами его так жаль, беднягу.

Ну, а аннотация — с ума сойти. Че, нет слов. Тут явный перебор. Тебе, наверно, что-то привиделось. Ко всему еще и "Автор" с прописной буквы, знаешь, это рвет сердце. Меж тем я решительно протестую против одной странной фразы в твоем письме: "По-твоему, значит, я небрежен даже с моими избранными авторами... и т. д.", надо же! И после этого тыкать мне в нос такую аннотацию... У меня даже в мыслях не было ничего похожего. Но коль скоро ты это "вычитал" в моих последних письмах, будем считать, что я их не писал — и все дела. Скажу лишь, что, когда мой единственный экземпляр стал расползаться на махры, я захандрил, и тут у меня закралось подозрение: коль скоро ты из пристрастия к античности назвал издательство Минотавром, то, видимо, по своей дотошности и обустроил его сообразно лабиринту. И мои десять авторских экземпляров не иначе как все еще плутают по нескончаемым, глухим и совершенно бесполезным галереям. <...>

1. "L'age d'or" — "Золотой век" (*франц.*) — фильм Луиса Буньюэля (1930). "Эль Сур" — влиятельный буэнос-айресский журнал, публикующий материалы по современной литературе, искусству, философии и политике. "Забытые" — фильм Луиса Буньюэля (1950), получил премию на Каннском кинофестивале (1951).
2. "Ангел-истребитель" (1962) — фильм Луиса Буньюэля, получил премию ФИПРЕССИ в Канне (1962).

Напоследок я оставил самое важное для меня, что совсем нелегко выразить словами. Все, что ты пишешь об *Игре в классики*, волнует меня до такой степени, что, пожалуй, лишь в беседе с тобой за чашечкой кофе, да еще с сигарой, я бы сумел найти нужные слова. Я очень ценю твой ум и твою особую восприимчивость (и, клянусь, тут я полностью абстрагируюсь от нашей дружбы), и потому каждое твое соображение по поводу *Игры*, которое я нахожу в твоих письмах, показывает мне строй и образ моей книги *извне* – ох, это труднодосягаемое *извне*, как редко оно дается мне таким ясным и эмоционально наполненным, как у тебя. Я изъясняюсь очень нескладно, но, поверь, то, как ты, именно ты воспринимаешь *Игру в классики*, возвращает мне книгу, освобожденную от меня самого, от моего субъективного к ней отношения, и я могу, словно со стороны, без примеси моего "я", обозреть поле внутренней битвы, из которой возникали главы, ситуации и догадки. Когда ты пишешь: "Я просто потерял дар речи, увидев, с какой свободой творит мир Оливейра, натягивая веревки или укладывая доски, и это же в конечном счете и есть подлинная реальность нашего мира", словом, когда ты пишешь такое, для меня это больше чем суждение, это как долгожданная встреча, где я, ты и книга не играют никакой роли, но зато есть *доказательство* того, что мы не заблуждаемся, что мы видим невесть какие вещи нашими незрячими глазами.

<...>

Понемногу возвращаюсь к своей жизни в Париже и намерен прочитать кучу книг, до которых не доходили руки. У меня нет никакого желания писать, зато я добил все рассказы *Конца игры*, которые обещал послать в "Судамерикану". Рассказов, правда, стало больше, один из них я написал за несколько дней до отъезда в Вену. А может, я придержу папку с рассказами, чтобы не создавать лишних проблем в издательстве? Не лучше ли послать их сразу после выхода *Игры*? Как ты считаешь? В любом случае, если ты по каким-то соображениям захочешь получить рассказы немедля, я вовсе не против, пошлю сразу — они у меня готовы.

<...>

Мы оба крепко обнимаем вас обоих,

Хулио.

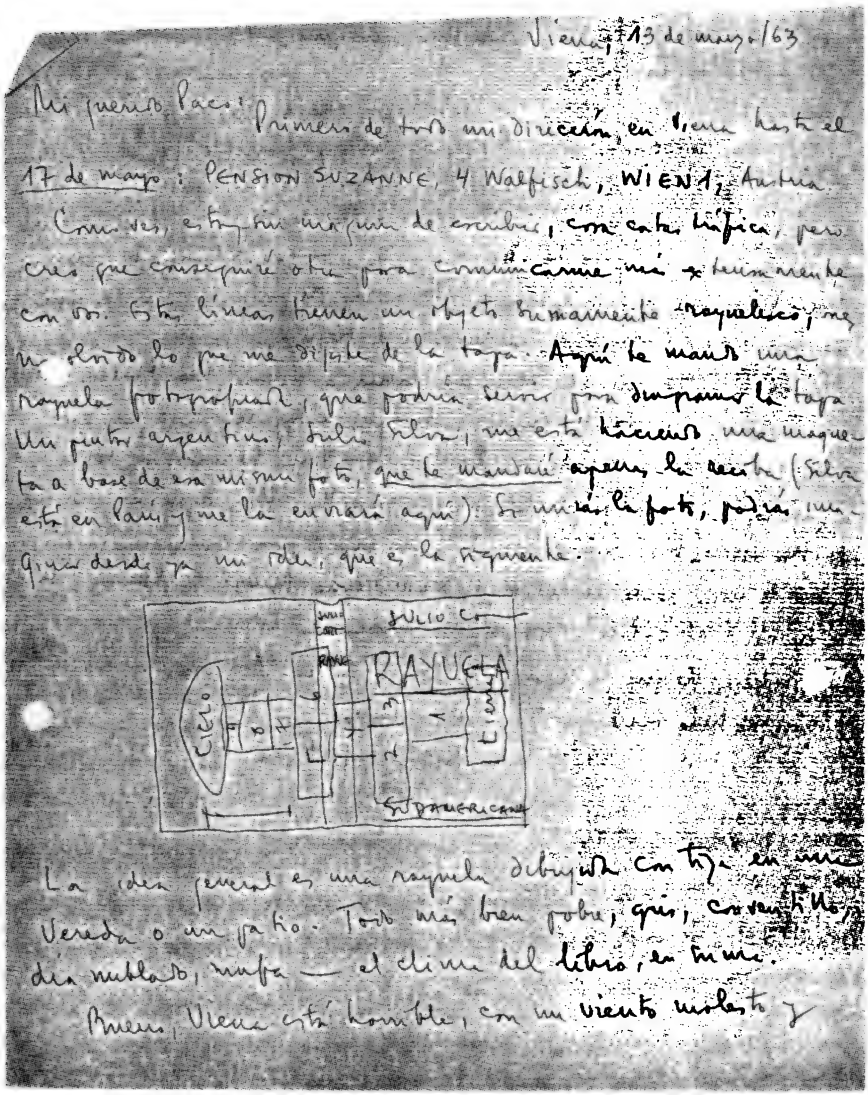
Вена, 13 марта 1963

Дорогой Пако!

<...> Посылаю тебе фотографию расчерченных классиков — такой примерно я вижу обложку. Один аргентинский художник, Хулио Сильва[1], взяв за основу эту фотографию, делает для меня макет, и я *отправлю тебе его*, как только получу. Присмотрись получше к фотографии, и ты поймешь в чем суть моей идеи.

1. Хулио Сильва (р. 1930) — аргентинский художник и книжный график, друг Кортасара, оформивший несколько его книг.

Главное — классики, расчерченные мелом на уличном тротуаре или во дворе. Все остальное дается скупо, серо: бедный домишко, хмурый день, морось — словом, атмосфера моей книги.



Мы прибыли в Вену с опозданием на неделю, потому что в Париже подхватили грипп и шесть дней провалялись в постели, кашляя и читая Итало Свево, Анри Мишо и Хосе Лесама Лиму[1], о котором ты мне говорил. Здесь у нас нудная работа (конференция по правовым аспектам консульских отношений!) и время тянется медленно. Я скучаю по Кубе, по ее людям, по морю. Ничего не пишу и со страхом жду прибытия вер-

1. Итало Свево (1861–1928) — итальянский прозаик и драматург. Анри Мишо (1899–1984) — французский поэт и художник. Хосе Лесама Лима (1910–1976) — кубинский прозаик и эссеист. Один из любимых писателей Кортасара.

стки *Игры в классики*. Восьмичасовые "консульские отношения" выматывают донельзя. <...>

Напиши мне хоть пару строк сюда, в Вену, и пришли вместе с письмом теплого ветерка, который я так люблю и с которым разлучен в этом стылом мире, где барокко — по-своему прекрасное — в конечном счете оборачивается ночным кошмаром. Здесь есть один монумент (он сооружен в память избавления от чумы в XVIII веке) — люди в таких немыслимых корчах, что Музиль назвал его "памятником почечным коликам". Вот пиво тут хорошее, что да, то да.

Аурора крепко обнимает вас обоих, а я жду вестей.

С любовью,

Хулио.

Виндобона[1], 1 апреля 1963 года

Дорогой Пако,

огромное тебе спасибо: ты ответил на мое послание прямо-таки с молниеносной быстротой. Я получил твое письмо вчера, поздним вечером, по возвращении из Musikverein, слушал там "Страсти по Иоанну"[2] — это настоящее чудо. Музыка здесь — просто спасение, музыка и 17 работ Питера Брейгеля в музее, не говоря уж о великолепном Веласкесе (целых пять портретов инфант и инфантов, в том числе и портрет инфанты Марии Маргариты, в платье таких оттенков розового, каких у него не было ни прежде ни потом). Но что ни говори, а после Кубы понимаешь, что город этот — всего лишь тривиальный стакан пива после стакана рома, ну а ром на Кубе — это Бакарди, это, собственно, — священный мед Одина, Вотана и всего пантеона Валгаллы[3]. Да нет, смешно сравнивать кубинский ром со скандинавской мифологией. Ром — это Чанго[4], это вуду... (а за окном идет снег, Пако, и зряшное дело толковать о роме в такую погоду, да еще в таком городе, где живут, будто в холодильнике "Сиам Золотая марка"[5]).

То, что ты пишешь об Аргентине, мне более-менее известно, здесь я читаю все французские и английские газеты (надеюсь, все, какие есть, ибо венские кафе в этом смысле поистине гениальная штука), и душа болит от каждого известия об этой чудовищной игре в крестики-нолики, в которую "вооруженные силы" втянули всю страну. Беспросветный кошмар, как ты пишешь; он терзает меня, когда я представляю все это. Чаша вот-вот переполнится, не знаю, не знаю, но боюсь, что все их телефонные договоренности в любой момент могут лопнуть и привести к кровопролитию. Вообще говоря, эти "ответственные лица" (!), скорее

1. Виндобона — древнее название Вены.
2. Musikverein — знаменитый концертный зал в Вене. "Страсти по Иоанну" — произведение Баха для солистов, хора и оркестра.
3. В германо-скандинавской мифологии Один (Вотан) — верховный бог; Валгалла — загробное местопребывание богов и героев, рай.
4. Чанго — божество войны, грома и молнии в "Сантерии" (общее наименование афрохристианских культов кубинских негров).
5. Холодильники этой марки выпускали в 40-е годы XX века в Аргентине.

всего, помышляют о гражданской войне, сведении счетов, что, конечно, ничего хорошего стране не принесет. Наш долг, как я узнал из "Тайм", превысил два миллиарда шестьсот миллионов долларов, а мы не в состоянии платить по нему даже проценты, let alone[1] о полном погашении долга. В "Обзёрвер" я вычитал, что аргентинские власти упразднили ряд железнодорожных служб под предлогом их убыточности и в то же самое время пустили скорый поезд до Сантьяго де Чили. Автор заметки пишет: "Упразднение этих служб лишило рабочих мест множество людей, и возникает вопрос, найдется ли столько пассажиров, которые то и дело ездят в Сантьяго де Чили и которым позарез нужно попасть туда не за 22 часа, а за 13"?

Ну, ладно, поговорим-ка лучше о Евгении Гранде. Перво-наперво, конечно, о верстке. Надежнее всего, думаю, послать ее в Париж, тут мы ничем не рискуем. Я, возможно, отправлюсь в Париж между 20 и 27 этого месяца, стало быть, если верстку отправят числа 15, как ты пишешь, я получу ее в виде anima vili и прочитаю calamo currente, короче, управлюсь с ней на манер Макробио[2] и ему подобным. Словом, решено, верстку высылайте в Париж. Если она немного опоздает, ничего страшного. Я попросил хорошего приятеля раз в неделю просматривать мою почту и пересылать в Вену все самое важное, так что, в крайнем случае, получу верстку, когда снова вернусь сюда (в Вене буду работать с 29 апреля по 17 мая) и займусь правкой в достославном пансионе "Сюзанн". Но, знал бы ты, как я мечтаю увидеть долгожданную верстку в Париже, у себя на столе, с моей любимой трубкой, под моей любимой лампой!

(Теперь — один "рабочий" и все же в высшей степени важный момент: гранки *Игры в классики* предстали предо мной в состоянии, близком к катастрофе. Они напоминали остатки требухи, которой уже попользовался кот в саду под осыпавшейся глицинией, да еще рядом с раковиной для стирки. Кто этот гениальный упаковщик, полагавший, что вполне достаточно завернуть корректуру в один слой тонкой оберточной бумаги, годной, пожалуй, для скрутки сигарет? Я не преувеличиваю, старик. Мой гениальный роман вылез наружу какими-то ужасающими махрами, весь в слюнях, ну вылитый монстр из Бомарсо[3] в карманном формате — тут, заметь, нет ни малейшего намека на моего коллегу Мануэля Мухику[4]. Я повествую об этом печальном факте, вовсе не считая, что ты сам должен заниматься вещами подобного рода, а всего-навсего с досады: по забывчивости не учинил в свое время официальный скандал издательству. И вот теперь, смея предполагать, что верстка полетит ко мне не иначе как из дальнобойного орудия, нижайше прошу, если у тебя в запасе есть лишний снаряд, уничтожь этого пресловутого упаковщика во благо культуры. Я, че, в таких вещах похуже нациста.)

<...>

1. Не говоря уже (*англ.*).
2. Как подопытное животное... наспех, не слишком вникая (*лат.*). Макробио — журналист, не отягощенный совестью, главный отрицательный персонаж из оперы-буфф Дж. Россини "Пробный камень".
3. Имеются в виду чудища, вырезанные в скалах "Сада чудес", созданного в местечке Бомарсо (70 км к северу от Рима) в XVI в.
4. Подразумевается роман "Бомарсо" аргентинского прозаика Мануэля Мухики Лайнеса (1910–1984).

Я рад, что вы сами, без моего участия, приняли предложение Галлимара. Пора, уже не маленькие, че. И с немецким издательством все решилось отлично. Как видишь, при таких картах мы не пропадем.

Думаю, что мое скоропалительное письмо — я его писал в офисе — развеет твои тревоги по части моего настроения. Оно, как видишь, совсем неплохое. Да и улучшилось сразу после твоего письма. И не только после него, но и после рецензии на *Хронопов* в "Кларин", которую мне переслали на этих днях. Ты, думаю, должен *уу-пи-ваа-ться* этой рецензией. В жизни не встречал такой отменной пошлятины. Че, надо же, две верхние строки вдруг закрутились, чуть не оторвались! Мое письмо явно демонтируется. Надо поскорее укутать его в синенькое пончо и послать тебе. Крепко обнимаю Сару и вас обоих,

Хулио.

Я задолжал тебе рассказ о Кубе. Обещаю послать его из Парижа, где меньше снега и больше покоя. На святую неделю (А как насчет прописных букв, молодой человек?) мы прямо из Вены махнем в Прагу. Потом расскажу тебе и о ней. В прошлом году прочел "Голем" Мейринка[1]. Можешь представить, как я мечтаю увидеть Прагу...

Париж, 21 мая 1963

Дорогой Пако,

ну вот и все. Сегодня утром, выпив невесть сколько мате, я все-таки добрался до *не-конца* нашей *Игры в классики*. Думаю, я достаточно хорошо вычитал верстку, хотя грех не отметить, что все очевидные ошибки были обнаружены и со всей строгостью наказаны вашими корректорами. Очень прошу тебя поблагодарить их от моего имени, если ты их знаешь. И вот что поразительно — именно здесь, в такой дали от вас, я проникся особым чувством к этой неблагодарной работе, где требуется такая сосредоточенность и скрупулезность и где так легко поскользнуться. Будь я в Буэнос-Айресе, непременно сходил бы в издательство и выразил благодарность корректорам.

Я столько всего хочу тебе сказать, что, право, не знаю, с чего начну. Если угодно, с самого затруднительного, с нашего знаменитого текста, открывающего книгу. Я сделал около двадцати вариантов и остановился на этом, так что, будь другом, прочти с особым вниманием.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

"Эта книга в некотором смысле — много книг, но прежде всего это две книги.

Первая книга читается как обычно и заканчивается 56 главой, где внизу под текстом красуются три звездочки, равные по значению слову

1. Густав Мейринк (1862–1932) — австрийский писатель-экспрессионист, автор широко известного романа "Голем" (1915), в котором преобладает иррационально-фантастическая стихия.

Конец. Стало быть, читатель без особых угрызений совести может пренебречь всем, что следует далее.

Вторая книга читается с 73 главы и лишь в том порядке, который указан в конце каждой главы. Если случится упустить это из виду или перепутать, достаточно справиться по приведенной ниже табличке:

73 – 1 – 2 – .....
.....

Чтобы быстрее найти нужную главу, номер каждой главы повторяется вверху на всех соответствующих ей страницах".

Внимание: если ты это принимаешь – с поправками или без, – то учти, что 8 страница остается чистой и что заново нумеровать этот кирпич – лучше умереть. Не стоит ли сказать:

"Если случилось упустить из виду или перепутать, легче легкого справиться по табличке на 8 странице" (вместо "по приведенной ниже табличке"). Я бы, конечно, предпочел, чтобы таблица была там, где текст инструкции. Но тогда что делать с чистой 8 страницей? Напиши, как, по-твоему, лучше, и критикуй меня без всякого стеснения.

У издательства, по-моему, больше нет никаких резонов мастерить свое профилактическое вступление. Они еще не отступились от него? По-моему, достаточно прочесть мои руководства, чтобы понять, что за все "графические аномалии" ответственность несет исключительно сам АВТОР. Лопес Льяусас, надеюсь, согласится со мною. На мой взгляд, здесь любое издательское вступление – это пустой перевод бумаги. Но если насядут, повторяю, все полномочия у тебя, решай сам.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ – заголовок несколько ироничный и весьма легкомысленный, подсказан автомобилем, как ты понимаешь. Если не понравится, предложи что-нибудь другое, я лишь хотел убрать унылую педантичность, присущую инструкциям, что оказалось нелегким делом. Отсюда и пассаж о трех звездочках, который мне очень нравится, и несерьезный тон всего текста. Не знаю, что еще можно придумать. Но скажи честно, как тебе это.

Хорошо, Пако, теперь я перехожу к очень серьезным вещам, которые касаются самого текста. Завари мате или налей стакан каньи, раскури трубку и потерпи еще немного, че.

1. Ты обратил внимание – когда идут 2 или 3 главы, которые читаются подряд, я не дал никакой отсылки внизу, читатель просто перевернет страницу и пойдет дальше?

Но, прочитав верстку *глазами читателя,* я встревожился, мне не понравилось, что внизу некоторых глав много белого, пустого. Меня это несколько обеспокоило. Пораскинув умом, я решил, что ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ надо указывать в конце каждой главы, внизу, что именно следует читать дальше.

Таким образом, я подчеркнул все необходимые отсылки. Любая ошибка в отсылках неминуемо будет роковой, поезд рванет по другому

пути и тогда караул — сотня погибших и три сотни раненых. Словом, я прошу тебя, нужен самый строгий checking[1] на *страницах:*

23, 47, 48,166, 219.

<...>

2. Дальше пойдут мои критические замечания, и тут без твоего бдительного ока не обойтись. Вообще-то, вопросы такого рода снимает автор, явившись собственной персоной в типографию, чтобы проследить за всем до последней точки. Но я, наглец, буду спокойно спать в Париже, не сомневаясь, что ты все сделаешь за меня, и гораздо лучше. Ах, Пако, до чего я тебе благодарен и как трудно выразить это словами, знаю-знаю наперед, как ты тихонько хмыкнешь, грандиозный монстр! Итак, вот они, мои вопросы, которые вместе со мной, *за-мирая-от-страха,* ждут решения. (Не удивляйся, что страницы даны вразброс, я ставил вопросы, читая не подряд.)

Стр. 438 — В первой фразе должно быть "призрачные", а не "призрачный". Это существенно, потому что фраза стартует. Я теперь, как Флобер, ma parole[2].

<...>

Стр. 58 — Почему подчеркнули слово "трамвай"? Разве в Поситос[3] больше нет трамваев? Если это так, поставь тогда бонди[4] или троллейбус, у меня широкие взгляды по части транспорта.

<...>

Стр. 533 — вернуть "или" — это очень важно.

Стр. 179 — слово "старый" не дали курсивом.

<...>

Стр. 468 — в "blues" Дюка Эллингтона пропало существенное The. И помимо этого тут явная путаница с вопросительными знаками.

Стр. 493—4 — часть текста с 493 стр. переходит на 494. Меж тем время ночное, на лестнице слабый свет, и, если эта часть заплутает, будет очень жаль. Зажги, пожалуйста, свой прекрасный фонарик "Evereday", и все встанет на свои места.

Стр. 252 и 253 — здесь я взорвался не хуже турка[5]. В конце главы, где все, по-моему, напряжено до предела, все рвется к финалу... тебя просят с полным равнодушием убрать *две строки*! Чёрт возьми, в таком сжатом тексте! Мало того, в самом конце *надо добавить отсылку*, а это еще одна строка, как я полагаю. Короче, я убрал со страницы 253 все, что мог, но, заклинаю, посмотри эти две страницы как можно внимательнее, по моему разумению, они самые лучшие в первой части книги.

1. Контроль (*англ.*).
2. Честное слово (*франц.*).
3. Поситос — престижный район в Монтевидео.
4. Бонди — так называли в Аргентине трамваи, выпущенные британской компанией, затем это название перешло на автобусы.
5. Турками в Аргентине называют эмигрантов из восточных стран.

Стр. 561 — Я убрал целую фразу, которая, думается, не имеет смысла в данном контексте (быть может раньше, когда я тасовал главы, эта была где-нибудь впереди, ну, что-то подобное). Словом, придется набрать заново, и я умоляю — проследи.

TOP DANGER[1] — стр. 537. CAVE REMISIONEM!!![2] Ошибка! — 49, а не 41. Мать родная!

<...>

Стр. 618 — Как читатель *Игры* уже в печатном виде, я все больше дивлюсь на себя. Вот, к примеру: ума не приложу, какие у меня были серьезные основания (а серьезные ли?) для выбора этой цитаты. Хорошо помню, что этот пассаж из Прево (я его читал в Буэнос-Айресе в свой последний приезд) показался мне откровением. Сейчас он мне ничего не говорит, решительно ничего, так что нелепо оставлять цитату. Во избежание всяческих типографических драм, я выбрал небольшое стихотворение Октавио Паса[3], предваряя тему "Doppelgänger"[4], оно само по себе совершенно замечательное. Please, проверь, не напутали чего в тексте стихотворения, которое я прислал, иначе, того гляди, Пас пойдет на меня Войной[5].

Стр. 377 — А тут, хоть стой хоть падай! Ребята просят "добавить еще одну строку", посмотри, что я написал на полях, и поймешь, что *это никак невозможно*, ведь речь идет о "тайной главе" (к ней вообще нет отсылок, и она читается лишь в том случае, когда читают все подряд, а по такой системе *никто читать не будет*). Ну, так вот, эта глава повторяется слово в слово, с небольшими сокращениями, на стр. 588–589, значит, потребуется еще строка для отсылки, что уж категорически невозможно. Стало быть, надо растянуть немного строку, как жвачку, не трогая текста, вот и все.

<...>

ADDENDA[6]: в этой своей знаменитой инструкции я указываю, что в конце вместо точки лучше поставить тире, пусть читатель увидит, что книга остается *открытой*, и поймет весь смысл игры с финальными качелями от 131 главы к 58, и снова к 131, и так без конца. Подумай, возможно ли это.

<...>

Ну вот, Пако, похоже, я сказал тебе все, что хотел сказать. I have made a clean breast of it[7]. Теперь я на неделю уезжаю в Сестри Леванте[8], пусть мои глаза наконец посмотрят — помимо латиноамериканских фильмов — на Средиземное море и на округлую красоту пиццы. А у тебя пока что будет время разобраться в этой куче ошибок и прочих напас-

1. ВНИМАНИЕ – ОПАСНО (*англ.*).
2. Здесь: ОСТОРОЖНО С ОТСЫЛКАМИ!!! (*лат.*)
3. Речь идет о стихотворении "Здесь" мексиканского поэта, эссеиста, лауреата Нобелевской премии Октавио Паса (1914–1998).
4. "Двойник" (*нем.*).
5. Кортасар обыгрывает фамилию Паса – по-испански "пас" (paz) – мир.
6. ДОПОЛНЕНИЯ (*лат.*).
7. Я чистосердечно во всем признался (*англ.*).
8. Сестри Леванте – итальянский курортный город, расположенный на Лигурийском побережье.

тей. Лопес Льяусас снова написал мне в последнем письме, что книга, скорей всего, выйдет в июле. Это, по-моему, прекрасно. Если у тебя возникнут какие-либо вопросы перед тем, как дать bon à tirer[1], ты сможешь написать мне в Париж. Я вернусь домой 2 или 3 июня, а значит, у нас еще остается время, чтобы поговорить о ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, да мало ли о чем. Я, по правде, не спал несколько ночей, обнаружив в верстке несколько весьма серьезных ошибок, а кое-где путаницу в отсылках, но теперь, выдав тебе все до последней мелочи, пришел в себя.

<...>

Я непременно выполню твою просьбу и отправлю тебе *Конец игры*. У меня есть хорошая новость для издателя (а может, и нехорошая): кроме рассказов из прежнего *Конца игры*, там еще много других, теперь их — 18. Мексиканская книжечка превратилась в солидный томик. Я даже подумываю, не изменить ли название, поскольку 8 прежних рассказов как-то растворились среди 10 новых.

И на этом все, и снова спасибо, и пиши мне побольше обо всем. А я расскажу о Сестри Леванте, где, как только что выяснилось, увижусь с Алехо Карпентьером, Астуриасом, Альберти[2] и другими ВИП-монстрами. Qu'est-ce qui'ils vont faire dans cette galère?[3] Бог знает.

Крепко обнимаю хронопку Сару и еще крепче, чуть не до смерти, тебя,

Хулио.

Париж, 26 июля 1963

Мой дорогой Пако,

ты, надеюсь, получил мою телеграмму, по краткости достойную Юлия Цезаря, но, право, в телеграмме любая фраза, в которой больше двух слов, выглядит нелепо и претенциозно. Вообрази, я написал бы: ПОЛУЧИЛ "ИГРУ В КЛАССИКИ" ТЧК. ОЧЕНЬ ВЗВОЛНОВАН ТЧК. Или: ИЗВЕЩАЮ ПОЛУЧЕНИЕ КИРПИЧА ТЧК. ЭТО НАПИСАЛ Я? ТЧК. УДРУЧАЕТ ВЕС АРТЕФАКТА ТЧК. Вот почему я предпочел здесь скромность и вместе с тем не утерпел — время идет, а ты все не знаешь, что круг наконец (сколько лет, а!) замкнулся, и эта старая рука, написавшая эти старые страницы, уже поглаживает обложку с черным фоном.

Вот бы очутиться сейчас в Буэнос-Айресе и предложить: "Давай разопьем бутылочку!" А потом, шагая по какой-нибудь ночной улице, высказать, на мой манер, все, что здесь, на бумаге, деревенеет и, выстраиваясь в горизонтальные линии, становится письменным языком. Благодарить — штука неудобная, говаривал не помню кто; и не то чтоб оно само по себе было неудобно. Беда в том, что мужчинам почти невоз-

1. Здесь: дать добро (*франц.*).
2. Алехо Карпентьер (1904–1980) — кубинский поэт, прозаик, эссеист, музыковед. Мигель Анхель Астуриас (1899–1974) — гватемальский писатель, общественный деятель, дипломат, лауреат Нобелевской премии (1967). Рафаэль Альберти (1902–1999) — испанский поэт, художник, общественный деятель.
3. Что их понесло на эту галеру? (*франц.*) — перефразированная цитата из "Проделок Скапена" Мольера.

можно выразить друг другу благодарность словами, разве каким едва заметным жестом, ну, предложить сигарету или слегка тронуть за плечо, а то и помолчать в те минуты, когда, по правилам этикета, изложенным в руководствах, следует произносить общепринятые фразы. Но, к счастью, мы с тобой немало повидали в этой жизни и, стало быть, знаем, что многое, не сказанное нами, уже сказано друг другу давно и навсегда. И мне довольно, что ты в этом не сомневаешься.

Че, это очень хорошее издание. Я показал книгу Хулио Сильве, автору самого первого макета, канувшего в небытие, и он нашел, что она издана неплохо. Лично я заявляю, что доволен очень и очень, тем более что в один день, с перерывами в несколько часов, мне случилось увидеть два или три последних романа, вышедших в "Лосаде"[1] с такими обложками, которые, похоже, сделаны для умственно отсталых детей. Но наши *Классики* выглядят очень достойно, очень стильно, а уж на корешке они просто прелесть. Не знаю, как ты, но что до меня, я не налюбуюсь корешком, аж причмокиваю от удовольствия, будто предо мной аппетитный ростбиф (во мне явно заговорил плотоядный аргентинец).

А вот что *внутри* этого внушительного с виду сооружения? Но пока у меня хватает ума повременить с чтением, и ты наверняка это поймешь. Конечно, я с замирающим сердцем кинулся к отсылкам и проверил все до единой, *дрожа-как-осиновый-лист*. Ты с полным правом можешь считать меня неблагодарным, но до самой последней минуты во мне сидел страх, что какая-то циферка вдруг перевернулась или случилось что-то еще, отчего машина забуксует. Но нет, наш поезд с паровозиком идет через все положенные ему станции, оставляя в стороне те, что должны держать себя в секрете. А что до Морелли, то он, старый хрен, был бы в восторге, обнаружив, что бумага, на которую расщедрилась "Судамерикана", столь прозрачна, что некоторые главы можно читать с двух сторон одновременно, а это весьма ощутимый прогресс в сравнении с главой, где бедняга Перес Гальдос ни за что ни про что поплатился за чужие грехи[2]. Шутки в сторону, насчет бумаги я все отлично понимаю. Будь она плотнее, мы имели бы книгу размером с рюкзак бойскаутов.

Ну ладно, чтобы не остаться в долгу, я в тот же день, как получил *Игру в классики*, сразу отправил тебе заказную бандероль авиапочтой (с меня содрали, будь здоров!) с машинописной рукописью *Конца игры*. Очень позабавился, наткнувшись на анонс этой книги в последнем бюллетене книжных новинок; просто фантастика, ведь все еще на стадии "поживем-увидим", зато ты-то уж точно увидишь — там уже есть на что посмотреть. Жду от тебя отзывов и критических замечаний по поводу этой книжки. По-моему, в одном из писем я тебя уже спрашивал, можем ли мы оставить название, как в мексиканском издании книги. "Судамерикана" анонсирует ее под тем же названием, и, наверно, так оно лучше. Ты увидишь, что книга заметно прибавила в весе, но в некотором

1. "Лосада" — крупнейшее буэнос-айресское издательство, созданное в 1938 г. известным испанским издателем Гонсало Лосадой.
2. Речь идет об известном романе испанского классика Бенито Переса Гальдоса (1843–1920) "Запретный плод" (1885), начало которого Кортасар цитирует в качестве устаревшей традиционной прозы, чередуя его текст с рассуждениями своего героя (глава 34).

смысле это уже "посмертное издание", как ни крути, все, что в ней есть, всего лишь предваряет *Игру в классики*, в какой-то степени она сродни тем книгам, которые издатели, когда маэстро уже отправился к праотцам, собирают из остатков, чтобы люди получили шанс потратить несколько песо и пополнить домашнее собрание его трудов. Даже название — *Конец игры* – странным образом оборачивается вдруг эпитафией (превращается в могильную плиту). Но мне оно нравится, в конце концов я ведь тебе говорил однажды, что теперь намерен посвятить себя живописи и безделью. Через одиннадцать месяцев мне стукнет 50 лет, пора заняться чем-то серьезным.

Есть некоторое подозрение, что ты не ответил на одно из моих писем, так что сделай одолжение, сядь за машинку и напиши о себе, Саре, "Минотавре" и Эстебане. У меня нет особых новостей, разве что в конце августа я должен лететь в Хельсинки. Руководству Интерпола пришла в голову бредовая идея именно там провести совещание, и я, как водится, буду переводить на испанский их разглагольствования о марихуане и контрабанде бриллиантов. А пока что у меня вовсю идет переписка с Мануэлем Антином, который надумал снимать *Цирцею*[1], и я пишу для него диалоги; это интересное занятие, но тоже, в известном смысле, из разряда "посмертных". А что до *Преследователя*, то я имел неудовольствие увидеть его на фестивале в Сестри Леванте[2]. Вот такие дела. Для собственного развлечения читаю рассказы из "Теневой стороны" Бьой Касареса, он несколько повторяется, зато его безупречно выстроенные фразы с головокружительной быстротой переносят меня в самую безгреховную пору моего буэнос-айресского сочинительства. И еще занятное совпадение: в одном из рассказов этой книги — он называется "Путешествие, или Бессмертный волшебник" — главный герой хочет снять номер в отеле "Сервантес" (куда я поместил свою *Заколоченную дверь*[3]), но свободного номера не оказалось, и он селится в другом отеле, где из своей комнаты слышит все, что происходит за стеной. Конечно, наши рассказы совершенно разные, однако и там и там обнаруживается, что вместо двух людей в соседней комнате был лишь один человек... Скажи, разве не удивительно? Клянусь, я никоим образом не намекаю, что Бьой Касарес был знаком с моим рассказом (возможно, он вообще написал свой рассказ раньше, ведь дата публикации, как известно, ни о чем не говорит), но меня потрясает магия отелей Монтевидео...

Ну, хорошо, Пако, я буду ждать от тебя вестей. Хотелось бы сказать тебе еще много всего, но не знаю, что-то внутри не дозволяет. When shall we two meet again / In thunder, lightining, or rain?[4] По крайней мере пиши ты, чтоб мне не сбиться с пути. Нежный привет Саре. Крепко обнимаю вас обоих,

Хулио.

1. *Цирцея* - рассказ из сборника *Бестиарий* (1951).
2. Рассказ *Преследователь* был неудачно экранизирован аргентинским режиссером и актером Серхио Ренаном (р. 1933).
3. *Заколоченная дверь* — рассказ из сборника *Конец игры* (1956).
4. Когда средь молний, в дождь и гром / мы вновь увидимся вдвоем? (*англ.*) Кортасар изменяет первую фразу "Макбета": "Когда средь молний, в дождь и гром / мы вновь увидимся втроем". Перевод Б. Пастернака.

Париж, 13 сентября 1963

Мой дорогой Пако,

твоя готовность взойти на костер ради достойных моей особы портретов тронула меня до слез, хотя Аурора утверждает, что этот соленый продукт возник от приступа смеха, которым я чуть не подавился, представив, как ты упорно пытаешься пройти сквозь стеклянную дверь. Клевета, dear sir, клевета, мое сердце обливалось кровью, потрясенное твоим героическим спринтом, столь бесцеремонно прерванным коварной прозрачностью стекла. Я избрал столь высокий слог, поддавшись влиянию одного молодого аргентинского прозаика по имени Марио Родригес, в чьем рассказе "Нож" можно прочесть такие вот перлы (речь идет о скотобойне): "Коровы и быки, исходя слюной, пережевывали в нескончаемом мычании однозвучную ноту своего животного протеста". Затем, как оно водится, для одной из благородных животин "настал свой Сан Мартин"[1], и "убойщик, с непостижимой ловкостью взрезав ее дермальный покров, полностью обнажил розовато-красную соматическую цельность и, быстро высвободив ее от огромного шерстистого чехла, безжалостно бросил огромную тушу на край чана..." Ну, а далее между двумя убойщиками, само собой, вспыхивает дикая ссора, которая приводит к хрестоматийной поножовщине, как и положено в уважающем себя аргентинском рассказе. И вот что мы имеем (sic):

"ОУУГГГГОО!! – вырвалось предсмертным эпилогом из каменеющей глотки, когда шея, перегнувшись под прямым углом, ударилась о самый край чана".

Не веришь? Купи сборник "Одинокие", издание "Гойянарте"[2].

Огромное спасибо за вырезки и за твои подробные комментарии к ним. Но все это, согласись, лишь отдаленное подобие литературной критики. <...> Уму непостижимо – даже странности, назовем это так, чисто формального плана не могут столкнуть этих типов с накатанной дорожки. Сунь им под нос сияющего белизной единорога, они, ничтоже сумняшеся, увидят в нем белесого теленка. <...>

<...> Че, ты сто раз прав во всем, что пишешь насчет *Конца игры*, но не забывай, что множество людей так и не смогли раздобыть мексиканское издание, а им бы очень хотелось прочесть эти рассказы. Я сам знаю, что было бы логичнее выпустить их в свет до *Игры*. Но ведь мы умирали, Пако, *што* ни г*ава*ри, а умирали? Теперь – вот она, *Игра в классики*, перед нами. И теперь меня уже мало волнует хронология и даже то, что *Конец игры* покажется многим (в том числе тебе и мне) тыквенным мармеладом[3] на десерт после королевских креветок по-американски. И все же хорошо, что ты уже раздумываешь, как подать эту книгу – то ли рассказать о ней на клапане суперобложки, то ли вообще схит-

1. В День святого Мартина (11 ноября) в Аргентине обычно забивают свиней. Отсюда испанская пословица: "Не миновать свинье Сан Мартина в ноябре".
2. "Гойянарте" – аргентинское издательство, созданное в 1956 г. писателем Хуаном Гойянарте.
3. Популярный и недорогой десерт в Аргентине и других латиноамериканских странах.

рить с копирайтом. Я было собрался написать несколько прочувствованных строчек "на входе", вроде тех, что сочиняют писатели в подобных обстоятельствах. Но лучше, если все-таки издатель возьмет на себя этот труд. Одним словом, тебе виднее. Слушай, а в какую обложку мы ее оденем? Здесь все в диком восторге от обложки *Классиков*. Давай подумаем об этом.

<...>

Ну, пока все, старик. Аурора шлет сердечные приветы вам обоим, а я вас крепко обнимаю,

Хулио.

Обрати внимание на конверт и тогда поймешь, до каких изысков я могу дойти под настроение. Это финский, представляешь? Хельсинки показался мне поначалу абсолютно стерильным городом, однако их современной архитектуре можно позавидовать. Финские женщины, они между 16–24 годами просто обалденные, но годам к двадцати пяти, я не знаю, что с ними такое, они проваливаются куда-то в самих себя, как в черную дыру, а к тридцати годам их уже почти не отличить от мужчин, может, потому что вкалывают куда больше. Лосось – наивкуснейший. Ассамблея Интерпола – веселенькая, как всегда (в Боливии ежегодный урожай листьев коки составляет 60 000 тонн, из которых 20 000 тонн попадает в руки наркоторговцев). Это строго конфиденциальные данные. Смотри у меня, а то, не ровен час, я лишусь привилегий в Интерполе.

Париж, 29 октября 1963

Дорогой Пако,

твое письмо двадцать дней пролежало на коврике у дверей, но ничего, оно не скучало, к нему пристроилось килограмма три корреспонденции, и что ни возьми – об *Игре в классики*. Пишут мужчины, женщины, все больше молодые, из разных уголков Аргентины и других стран нашего континента. А какой шум поднялся из-за книги в "Эль Эскарабахо де Оро"[1] – это, пожалуй, забавнее всего. До отъезда в Вену я получил письмо от Арнольдо Либермана[2], он расхвалил меня до небес, назвал монстром, зверем и прочая – модный нынче лексикон для выражения чуйвств-с. Следом пришло письмо от Абелярдо Кастильо[3], более сдержанное, но не без восторгов. А теперь, по возвращении, я прочел рецензию некой сеньоры Лилианы Хекер[4] – эта мутузит меня, прижав к канатам, – и еще одно письмо от Либермана, где он сообщает об уходе

1. Название аргентинского литературного журнала (в переводе с испанского означает "Золотой жук" – в честь Эдгара По).
2. Арнольдо Либерман (р. 1934) – аргентинский психолог, эссеист, писатель, в 60-е годы зам. главного редактора журнала "Эль Эскарабахо де Оро".
3. Абелярдо Кастильо (р. 1935) – аргентинский прозаик, драматург, лауреат престижных литературных премий, основатель литературного журнала "Эль Эскарабахо де Оро".
4. Лилиана Хекер (р. 1943) – известная аргентинская писательница, успешно работающая в жанре рассказа. Главный редактор журнала "Эль Эскарабахо де Оро" (1961–1974).

со своего поста в журнале в знак протеста против ее рецензии. Словом, как видишь, задиристый агрессивный дух, на который претендует роман, кое-где дает о себе знать.

<...> И еще: вчера в "Deux Magôts"[1] я встретился с мексиканским художником Хиронельей[2], он хроноп каких мало, так вот первое, о чем он сказал (помимо того, что *Игра в классики* вызвала дикий переполох у мексиканской литературной братии), так это о том, что в Мексике обретается некий аргентинец по фамилии Пьяцца, который перечитал решительно все, что я написал, и много чего сам написал обо мне... Значит — выносим за скобки мое бахвальство, — у меня есть полное право предполагать, что в самых разных странах появились отдельные рецензии или заметки и какая-то их часть по понятным причинам исчезает бесследно. Если честно, это не имеет особого значения, тем более когда возникает Гиано[3] и, бряцая словами, выносит приговор: *Игра в классики* — полная чушь. Ну и гад, че! У меня нет ни малейшего желания пускаться в рассуждения насчет его высокопарной белиберды, отмечу лишь одну вещь, на которую и ты наверняка обратил внимание, и в чем, по сути, заключается самое большое заблуждение этого надутого индюка. Когда он утверждает, что в *художественном письме* я слаб и намного уступаю Маречалю[4], он, собственно, расписывается в том, что не читал Мореллианы или ни хрена в ней не понял, ведь там чуть не через строчку говорится, что "стили" уже давно покрыты плесенью, что надо начинать с чистого листа и т. д. Он воспринял *Игру* (практически, почти все так воспринимают, прямо беда) как еще одну книгу в общем потоке, не более того. Не видит, что это — преднамеренный слом, не уразумел, что, плохо оно или хорошо, а книга моя пытается вспороть историю испаноязычной литературы. С ним произошло то же, что с критиками времен Сервантеса, которые, столкнувшись с живым, самобытным языком "Дон Кихота", посчитали это полным провалом в сравнении с дистиллированным слогом "Персилеса и Сихизмунды". Такое, полагаю, случалось всегда и везде. Я не знаком с критическими работами об "Улиссе", но смею думать, что и там не лучше. "Мистер Джойс пишет плохо, поскольку не пишет на языке нашего клана, как Томас Харди или Джон Голсуорси..." Да, есть над чем посмеяться день-другой. А что до Лилианы Хекер, она бесспорно умна и даже очень, но в том и закавыка, что всего лишь умна, и посему, не чуя подтекста, не заглядывая вглубь, берется утверждать, что особенности романа и все то, что она называет "отдельными историями" и "мешаниной" (у меня нет под рукой ее рецензии, но вроде бы так), — собрано a posteriori и приляпано к книге как ненужная добавка, избыточный продукт. Да бог с ней, кто так считает, тот все еще в мирке Энрике Ларреты[5]. Барышня сердится, укоряет

1. "Две мартышки" (*франц.*) — знаменитое парижское кафе, место встреч интеллектуальной элиты.
2. Альберто Хиронелья (1929—1999) — мексиканский художник, график и скульптор.
3. Хуан Карлос Гиано (р. 1920) — аргентинский литературовед, автор исследований по национальной и латиноамериканской литературе, драматург, эссеист. Опубликовал резко критическую статью под названием "'Игра в классики' — антироманные амбиции" в газете "Ла Насьон" (1963).
4. Леопольдо Маречаль (1900—1970) — крупный аргентинский прозаик, творчество которого высоко ценил Кортасар.
5. Энрике Ларрета (1875—1961) — аргентинский классик, автор хрестоматийного исторического романа "Слава дона Рамиро" (1908).

меня в глупости (она права, но только глупостью она называет во мне то, что ее ум не способен ухватить, определить и классифицировать), однако вместе с тем говорит и дельные вещи. И потом — это самый детальный и внимательный разбор моей книги, какой мне довелось прочесть. Я предпочитаю ее рецензию потоку писем со сплошными дифирамбами, их отправителям в конечном счете главное — заполучить какого-нибудь кумира, божество. А я в качестве божества — ну, полный караул. <...> Ладно, пожалуй хватит про *Игру в классики,* мы сыты ею по горло.

Поговорим лучше... о *Конце игры.* (Нарцисс был святым Франциском рядом с тем, кто сейчас тебе пишет.) Но куда деваться, ты задаешь вопросы, а я — отвечаю. В другой раз непременно найдем тему более увлекательную, а сейчас нам бы все утрясти по этому сборнику. Я очень рад, что книга выйдет не осенью, а в числе новинок 64 года. Не стоит попусту раздражать издателей. Обложку обсудим, когда захочешь. А теперь о проблеме "распроданных книг". <...> Лично я считаю, что книга должна быть представлена на рынке, а хорошо или плохо она продается, это другая песня. Я сейчас говорю как читатель и как автор.

Морис Надо планирует устроить презентацию в "Леттер Нувель" моих хронопов с предисловием Алехандры Пизарник[1] (очень яркое и тонкое). Полагаю, что они обратятся к тебе с просьбой об официальном разрешении. <...>

<...> (Подумай, я пишу тебе все это, а тем временем в "Фигаро Литтерер" появилась потрясающая статья Грэма Грина о Кубе. В. О.[2] проглотила бы, как горячую котлетку, текст своего идола, к тому же ревностного католика. Пусть наконец поверит, что на Кубе дети не замерзают на улице.)

В заключение: не подумай, что я все прохаживаюсь насчет В. О. из-за личной неприязни к ней. НЕТ, Пако, нет и нет. Это знаковое, это боль, это страшная беда нашей несчастной страны, где даже самые лучшие ее представители всего лишь со страху, всего лишь из-за дурацких предрассудков, готовы пойти на всяческую низость во спасение трухлявых манекенов. Не считай, что я по злопамятству. Этого нет и в помине. На самом деле (я знаю это даже во сне) у меня в этом подлунном мире есть лишь один злейший враг и зовут его Билли Петролле, он навсегда отправил в нокаут Хусто Суареса[3]. Такое не прощается, че.

<...>

А теперь, чтоб ты понял, в чем сила научной фантастики, рассказываю: вчера мне звонит одна дама и, задыхаясь от волнения, едва выговаривает, что на Луне высадились разом четыре космонавта. Я — к радио, и правда — подробности, репортажи, восторги... но чую что-то подозрительное, мой энтузиазм несколько охлаждается. Однако это было так чу-

1. Морис Надо (р. 1911) — французский литературовед, эссеист, исследователь истории сюрреализма, основатель журнала "Леттер Нувель" и одноименного издательства. Алехандра Пизарник (1936–1972) — аргентинская поэтесса, близкая к сюрреализму. Кортасар принимал живейшее участие в ее литературной судьбе.
2. Виктория Окампо (1890–1979) — аргентинский литератор и журналист, основательница и издатель журнала "Эль Сур".
3. Билли Петролле (1905–1983) — знаменитый американский боксер. Хусто Суарес (1909–1939) — знаменитый аргентинский боксер. После поражения в бое с Петролле ушел из бокса. Кортасар неоднократно вспоминает о нем в своих эссе и посвятил ему рассказ *Бычок.*

десно, что к ужину (уже не купить газету, и веришь одному радио, которое передает все новые и новые детали) мы пригласили нашу хорошую приятельницу, которая на радостях явилась к нам с двумя бутылками шампанского, мы выпили за космонавтов, размечтались... и под конец узнали, что это — радио-сериал. Но ты бы слышал, какие у нас звучали потрясающие тосты!

Самый нежный привет Саре. Аурора крепко вас обнимает, а я жду, когда ты под настроение мне напишешь. Обнимаю от всей души,

Хулио.

Париж, 20 ноября 1963

Дорогой Пако!

<...>

Итак, объявляю закрытым коллоквиум, посвященный обидам, досадам и прочим подобным вещам. Ты правильно ставишь вопрос: "Неужто тебе не понятно, кому зелен виноград"? Слушай, мне и в голову не приходило, а теперь, конечно, понимаю, но и ты будь начеку — не зря говорится: "Хватай лом — идет Мом"[1].

А пока мы имеем рецензию Мурены[2] в "Куадернос", я ее еще не видел, но один услужливый приятель — такие всегда найдутся — поспешил пересказать мне все по телефону сегодня утром. Ну, хоть стой хоть падай, дружище. Это как раз про лису и виноград. Ты прав, хитрому лису Мурене наш виноград решительно зелен... У них там, на улице Виамонте[3], мало что вызревает. (Они не переехали? Вроде переехали. Но, как были, так и остались кислыми до оскомины.)

Зато какая трогательная и милая рецензия Гудиньо Киеффера[4]. Ты прав, в ней определенно чувствуется какая-то робость, он сам пишет об этом в письме, которое прислал мне вместе с вырезкой из журнала. Гудиньо никак не придет в себя от *Игры в классики*, но это ему не мешает понять в ней очень многое. То же могу сказать и о Диане Кастелар[5] (она написала прелестную рецензию о хронопах, и ты просто обязан послать ей букет роз или жасмина). Как вижу, ты не знаком с ее статьей об *Игре*, и, если тебе любопытно, я пришлю, мне, собственно, ни к чему коллекционировать все эти вырезки. (Аурора обнаружила одну, совсем, правда, крохотную, в моей кроссовке. Ну разве это дело?)

Знаешь, Пако, мне очень неловко, что с каждым разом я строчу все больше страниц, где только и разговору о моих книгах, но с ними такая морока, столько нерешенных проблем, что у меня просто нет другого выхода. Сумеем ли мы когда-нибудь поговорить с тобой, к примеру, о

1. Мом — в греческой мифологии божество злословия, изгнанное с Олимпа за постоянные насмешки над богами.
2. Эктор Мурена Альварес (1923–1975) — аргентинский прозаик, поэт и эссеист, входил в редакционный совет журнала "Эль Сур". Отрицательный отзыв об *Игре в классики* поместил в № 79 "толстого" литературно-общественного журнала "Куадернос" (1963).
3. На этой улице в Буэнос-Айресе располагалась редакция журнала "Куадернос".
4. Эдуардо Гудиньо Киеффер (1935–2002) — аргентинский писатель и журналист.
5. Диана Кастелар — аргентинский искусствовед и литературный критик.

Дэшиле Хэммете[1], вот кто молодец, умел быть немногословным! Хоть бы это сбылось, че, ты не представляешь, как мне осточертело пялиться в "зеркало" из 51 клавиши (то есть "Ремингтон", который не без наглости именует себя "Quiet-writer"[2], sic). Одним словом, я все время пристаю к тебе, но, пойми, так бы хорошо развязаться со всем поскорее.

<...>

СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА НОВУЮ СТРАНИЦУ. Тык вот, раз нам не уйти от этого нудного занятия — разговора о *Конце игры* (право, че, меня почти уже тошнит от этого письма), я бы хотел предстать перед тобой на отдельной странице, так, по-моему, будет намного легче справиться с моими очередными безумствами. Тут я говорю тебе чао, ты, небось, давно этого чаешь... но все-таки продолжу, пока не свалюсь с ног.

PLAY'S END[3]

Думай, что хочешь. Наша миленькая игра только начинается. Вот, к примеру, макет обложки. Сделал ее Эдуардо А. Хонкиерес[4], наверно, тебе это имя знакомо, хотя он давно уехал из Буэнос-Айреса. Мне кажется, обложка будет просто замечательная, но только в том случае, если:

1. Рисунок сфотографируют или воспроизведут так, чтобы не пропал мягкий переход черного в серое. Хонкиерес — человек очень категоричный: если цвета будут точными, он застрелится. Ведь понятно, что сразу уйдет ощущение глубины, которое создает соседство серых полос с насыщенным черным.

2. Буквы на макете, разумеется, поставил Хонкиерес, обозначив порядок действий. Если ты не против такой обложки, тогда есть три варианта, где нам поместить название. Лично я хотел бы, чтобы буквы не налезали на рисунок, который мне очень нравится. Одним словом, мне по душе именно этот оригинал-макет. Но шрифт заголовка, на мой взгляд, слишком крупный, и — я подчеркиваю — он не должен быть крупнее, чем на макете, пусть ваш художник это учтет.

3. Образец желтого, который я тебе посылаю, может быть фоном. Черное на таком желтом всегда смотрится замечательно. Мои имя и фамилию, а также изд. "Судамерикана", тоже пусть дадут черным. Хонкиерес хочет, чтобы название книги было сочно-красным с уходом в лиловое. Он обещал показать образец, который я приложу к макету, если успею получить от него.

Ну ладно, посмотри внимательнейшим образом этот эскиз и скажи честно, как он тебе. Если ты с ним согласен, то, думается, справедливости ради, следует послать Хонкиересу верстку обложки, надо же знать, доволен он или нет соотношением рисунка и шрифтов. Договорились?

1. Дэшил Хэммет (1894—1961) — американский писатель, сценарист, один из мастеров "крутого детектива". Один из его героев, сыщик Сэм Спейд ("Мальтийский сокол"), отличался немногословностью.
2. Здесь: пишущий бесшумно (*англ.*).
3. Здесь: КОНЕЦ ИГРЫ (*англ.*).
4. Эдуардо А. Хонкиерес (р. 1918) — аргентинский художник и поэт.

PLAY'S END MY FOOT[1]

У тебя еще были какие-то иллюзии? Нет, брат, теперь перейдем к тексту. На твое счастье, здесь не очень много. Набрано прекрасно. Вот вопросы, которые мы должны с тобой снять:

<...>

Стр. 59. Ну, заменил 103 знака на 93. Это что, существенная разница? Знаешь, в *Менадах* я нашел немало слабых мест, и пришлось поправить больше, чем в других рассказах, которые, по-моему, очень и очень. Прости, я конечно должен был все это сделать в рукописи, но куда деваться, читаешь, думаешь, что все хорошо, а в последнюю минуту чего только не вылезет, жуткое дело. Но при всем при том у меня не так много правки.

Стр. 64. В доказательство — пример: я прозевал, что подряд идут "неспособный", "способный на" и "неспособные". И в середке заменил на "готовый". Осталась дырка, но реши сам, как поправить.

Стр. 69. Тут много изменений... и я каждый раз подсчитывал, чтобы не создавать лишних проблем.

<...>

Стр. 134. Я и грамматика, сам понимаешь... Но почему здесь убрали запятую? Почему? Решай сам.

<...>

Стр. 168. Пако, тут я внес кое-какие изменения в текст, и, по-моему, стало лучше. Но умоляю, проследи внимательно в сверке, а то, чего доброго, проскочит новая опечатка, и все аксолотли[2] вывалятся на пол. Поразительно, но в этом цикле все, практически все зависит от ритма, от сохранения баланса между фразами. Если пропадет хоть одна запятая, все нарушится и полетит к чертям собачьим. Вот почему, умоляю, прояви особое внимание к этой страничке в сверке.

Стр. 182. Знаешь, послав тебе эти тексты, я не учел одну вещь. В них очень много тире, которым я слишком щедро пользовался в моей прозе и в котором теперь не вижу смысла (скорее всего, это у меня от английского, этим можно пренебречь безо всякого ущерба). Проще говоря, я упраздняю тире и заменяю его запятой. Но тире занимает больше места, значит, возникнут дырки. В таких случаях пусть текст скажет "чуть-чуть меньше", чем "чуть меньше".

AND THIS TIME IS THE END OF THE PLAY, YES SIR[3]

Не совсем. Еще немного. Я все думаю, что делать с хронологией в этой книге. Мне не нравится, когда под каждым рассказом ставят дату. (Ты, разумеется, ничего подобного мне не предлагал, но так обычно делается в посмертных изданиях, что конечно полезно.) С другой стороны, могут запо-

1. Здесь: КОНЕЦ ИГРЫ, КАК БЫ НЕ ТАК (*англ.*).
2. Речь идет о рассказе *Аксолотль* из сборника *Конец игры*.
3. ВОТ ТЕПЕРЬ КОНЕЦ ИГРЫ, ДА, СЭР (*англ.*).

дозрить, что мы все это извлекли невесть из каких сундуков после *Игры в классики*. Вот чего бы никак не хотелось! Словом, я написал страничку, а ты погляди, что получилось. Это может идти вроде как от автора или просто на суперобложке, где, вместо подписи, поставим мои инициалы. И тогда мы увернемся от этой приевшейся всем суперобложки с неизменной информацией об авторе и его произведениях. Короче, сообщи, что думаешь. Я напишу сейчас этот текст на отдельной странице.

Если он тебе не понравится сам по себе или как текст для суперобложки, не страдай, я от него тоже не в восторге. А не лучше, если издатель возьмет на себя труд объяснить в той или иной форме, что тут у нас с хронологией. В любом случае мой вариант текста поможет найти должное решение.

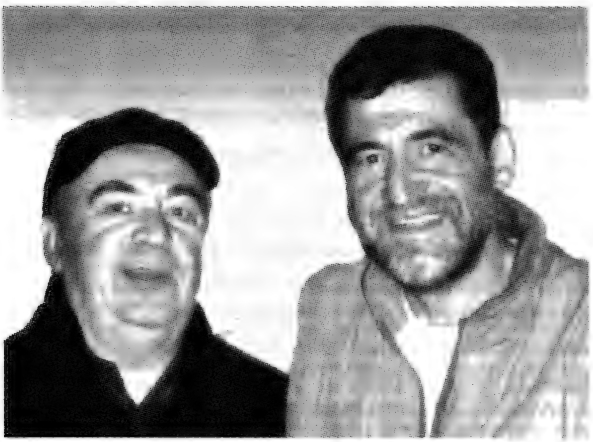
Ну ладно, у меня еще немало вещей, о которых надо бы поговорить с тобой. Есть одна, строго конфиденциального характера, потому что никак нельзя, чтобы это попало (так уже случилось по вине одного буэнос-айресского журналиста) в газеты. На сей раз, похоже, Буньюэль действительно намерен сделать картину по *Менадам*. Такое совпадение, было бы здорово! Разве нет? Дело вот в чем: испанская цензура спустила всех собак на Буньюэля, и он решил для собственного спокойствия закончить во Франции работу над новой версией "Mémoirs d'une femme de chambre"[1]. И вот на днях ко мне пришел испанский продюсер и сказал, что Буньюэль думает ограничиться лишь *Менадами,* поскольку испанская цензура не увидела ничего предосудительного в том, что восторженная публика учиняет кровавую расправу над дирижером оркестра и его музыкантами. Че, к счастью, я не вставил в рассказ ни одного епископа... Словом, меня просили назначить сумму гонорара и обещали списаться со мной в ближайшее время, потому как съемки начнутся в феврале. Нет нужды говорить, что если я подпишу контракт, то сообщу тебе незамедлительно, чтобы "Судамерикана" как-то использовала все это, если сочтет нужным (можно, например, написать на рекламной манжете LUIS BUNUEL WAS HERE или L'AGE D'OR DU CONTE ARGENTIN[2], а еще лучше – КАННИБАЛЫ ЗАВОЕВЫВАЮТ МИР, словом, что-нибудь в этом духе).

Пако, пиши, не откладывай надолго, и тогда мы сумеем поговорить о других вещах. Мне бы так хотелось рассказать тебе о недавно прочитанных книгах, о моей поездке в Мантую и Бергамо, о новом замечательном фильме Алена Рене[3], погляди, какой у нас богатый тематический список. Но сейчас, после такого письма, у меня спина согнулась, как от мешка с мукой. Спасибо тебе за все еще раз (как это плохо у меня получается) и передай наш нежный привет Саре. Держись, обнимаю тебя изо всех сил,

Хулио.

1. "Дневник горничной" (*франц.*) – фильм (1964) Л. Буньюэля.
2. ЛУИС БУНЬЮЭЛЬ БЫЛ ЗДЕСЬ (*англ.*)... ЗОЛОТОЙ ВЕК АРГЕНТИНСКОГО РАССКАЗА (*франц.*).
3. Ален Рене (р. 1922) – французский кинорежиссер, сценарист, оператор, представитель "Новой волны". Возможно, Кортасар имеет в виду фильм "Мюриэль, или Время возвращения" (1963).

Анатолий Королев,
Георги Борисов



Хиатус

Путешествие из Софии в Софию

Перевод с болгарского Э. Мезенцевой — *глав, написанных Г. Борисовым*

Данный текст не содержит свинины.

Воскресенье 19 октября 2003

Из Москвы в София

Самолет вылетел почти по расписанию.

Мой сосед, турок в феске и с белой розой в петлице халата, держит на коленях мешок, в котором кто-то повизгивает.

Вежливо спрашиваю, кто там?

О, закатывает турок глаза: маленькая китаянка, и сладко прищелкивает языком.

© "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" 2007
© Э. Мезенцева. Перевод, 2009
© Н. Ванханен. Перевод стихов, 2009

Через полчаса стюардессы развезли по салону завтраки в пенале из прозрачной пластмассы. Обычное меню "Балканаэро": кусок мяса с овощами, масло, два куска хлеба. На пенале аккуратная наклейка:

"Това ястие не съдержа свинско!"

Для тех, кто не умеет читать, рисунок: розовая свинья, зачеркнутая крест-накрест двумя жирными чертами.

Кресту придан цвет голубой инверсии от самолета.

Я тут же пугаюсь — перепутал рейсы! — и спрашиваю стюардессу, куда мы летим? Неужели в Стамбул?

Меня успокаивают — через час приземлимся в Софии.

Турок тайком кормит свое сокровище в мешке лепестками розы.

Мне очень хочется увидеть маленькую китаянку, говорят, у них ножки не больше ладошки младенца.

Но турок настороже — прикрывается феской.

Листаю путеводитель по Болгарии из серии "Poliglott" для русских туристов, купленный в Москве. Автор текста Гельмут Вайс, консультант Кирстен Винклер, карты и планы Сибиллы Рахваль.

Я никогда еще не был в Болгарии.

После мечети путеводитель советует гостям столицы Болгарии посетить:

"1. Минеральный источник рядом с мечетью — там прямо в скверике из дюжины кранов бьют фонтанчики горячей воды, обладающей целительными свойствами. Тысячи софийцев наполняют водой бутылки и канистры.

2. Центральную синагогу, построенную в псевдомавританском стиле венским архитектором Фридрихом Грюнангером. Эта синагога недавно отреставрирована. Кипы для туристов можно купить прямо в синагоге.

3. ЦУМ, этот храм торговли, возведенный по лучшим западным образцам, доставит вам немало удовольствия".

И так далее.

Под номером 13 я обнаруживаю в перечне достопримечательностей Софии какой-то собор Александра Невского.

Путеводитель пишет, что итальянский мрамор, бразильский оникс, африканский алебастр и русская иконопись создали подлинный шедевр болгарской культуры.

Сомневаюсь.

Аэропорт

Самолет начинает снижаться. Прилипаю к иллюминатору болгарско-американского "Боинга". Вот облака раздвинулись, и появилась осенняя земля. Темнеет буквально на глазах. В небе еще день, внизу — вечер.

Сверху София похожа на захолустную Анкару у подножия горы Ататюрка.

Здесь всего лишь октябрь, а в Москве вот-вот упадет снег.

В Софии уже ночь.

В зале прибытия стоит шумный гомон всех местных наречий, прилетевшие из Москвы турки тут же расстилают маленькие коврики на полу, спешат совершить вечерний намаз.

А вот и мой дорогой брат по "Хиатусу", великий болгарский поэт Георги Борисов с бородой Овидия, изгнанного императором Августом из Рима в братскую Болгарию.

Мы обнялись.

– Толя, где твой чемодан? – восклицает Георги на прекрасном русском языке. Когда-то он учился в Москве.

– У меня нет чемодана!

В переводе на обычную речь наш диалог на самом деле звучит так:

– Где бренные узы, которые цепями куют каждую жизнь?

– Я объявил войну бренности, мой дорогой Овидий. Мои узы – только лишь музы. Но они, слава богу, незримы и невесомы.

Я первый русский писатель, который приехал в Болгарию без чемоданов и автомата Калашникова.

В моем колчане (спортивной сумке) только бритва и помазок, да гостинцы для Георги, любителя русской речной рыбы: икра, семга, форель и королева застолья – белоснежная узкорылая стерлядь, пойманная браконьерами на русской Волге.

А вот и Александра, жена Георги, необыкновенная умница и обаятельная болгарка за рулем "фольксвагена-гольфа", как и положено настоящей болгарской женщине, ставшей женой поэта. Георги, как и я, не водит машину. Больше того, Георги до сих пор не верит, что электричество это всего лишь поток направленных электронов.

За стеклом автомобиля – ночная София.

Я удивлен – не вижу ни одного минарета, не слышу пения муэдзинов, впрочем, наверное, ночь слишком густа. Да и едем мы стороной от центра, по склону горы Витоши, через элитное предместье.

Вилла у подножья горы.

Машина, урча, сворачивает от развалин итальянского ресторанчика "Венеция", где Александра любила отведать устриц с белым вином в годы детства и отрочества, и поднимается по ленте асфальта в гору. Где-то недалеко находится вилла покойного лидера болгарской компартии Тодора Живкова, рассказывает Александра, он был большим любителем чистого воздуха.

– Никому не разрешал пукать на вилле, – добавляет Георги.

Отклонение от маршрута первое (народно-психологическое)

Тут я, видимо, должен вмешаться. Правда, по не слишком возвышенному поводу, но возвышенных поводов дальше будет сколько угодно.

А о том, что бай Тошо[1] *любил чистый воздух, помнит весь наш народ, по крайней мере та его часть, которая еще пытается дышать и, пукнув, не обделаться. Он любил его даже больше болгаро-советской дружбы, которая для этого самого народа должна была быть "как солнце и воздух" по ослепительной ме-*

1. Бай – уважительно-ласкательное, принятое у болгар обращение к старшему; Тошо – уменьшительное от Тодор. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

тафоре его учителя, моабитского льва Георгия Димитрова[1]*. Здесь уместно будет упомянуть и еще одно имя, чьим вкладом в сближение двух братских народов мы незаслуженно пренебрегаем. Я имею в виду Васила Коларова*[2]*, верного соратника Генерального секретаря Коминтерна Димитрова, а также многолюдные сталинские лагеря, в которые Коларов, по повелению истории, переселил тысячи своих земляков. Как раз мимо белой стены его бывшей резиденции, а ныне "виллы Т. Ж.", взбирался по раздолбанной брусчатке в ту памятную ночь "фольксваген" со своим драгоценным грузом.*

А у итальянского ресторана только
название было итальянским.
Но что-то меня опять одолевает
ностальгия.

Асфальт сменяет полоса гравия, выше, еще выше! Поэт должен жить под облаками.

А вот и причал моего полета — вилла! Ну и ну! Ее строили немцы. Самая настоящая немецкая квадратная вилла в стиле "Баухауз", куб мощных очертаний минимализма и возвышенной лапидарности немецкого гения. Этот дом, пояснили хозяева, выстроила еще в далекие тридцатые годы семья болгарских дипломатов, родственники Александры по линии матери — кажется, ее дядя.

Внутри та же прекрасная простота, что и снаружи.

А камин! Это настоящее чудо для настоящего огня, паровозная топка в стене. Тут можно принести в жертву Гефесту и благородный дуб, и ливанский кедр, и турецкий ковер.

Узнаю от Александры историю виллы. Она полна драматизма. В годы ареста дядюшки тут поместили австрийскую миссию и вдруг вернули дом прежним владельцам.

Интересно, как храм и перец болгарской поэзии (Георги) сочетается с комодом немецкого духа и...

Отклонение от маршрута второе (историческое)

Ничего подобного! Если бы дом имел уши – а таковые, как мы знаем, есть и у стен, – пусть он их пока заткнет и захлопнет двери! Не только перед любознательным гостем (боже сохрани, чтоб к тебе в дом явился писатель!), но и перед случайным хозяином, которого хорошо если его будущие наследники признают хотя бы поэтом, но собственником едва ли. Не уверен, что даже в качестве летописца я буду в него допущен... Потому что, кто знает, какие семейные тайны смогу невольно выдать. Но если я опять вмешиваюсь, то только потому, что счи-

1. Моабитский лев – так называли деятеля коммунистического и антифашистского движения Георгия Димитрова (1882–1949), руководителя Болгарской коммунистической партии, который в 1933 г. был заключен в Моабитскую тюрьму по обвинению нацистского правительства Германии в причастности к поджогу Рейхстага. Благодаря своей смелой защите на Лейпцигском процессе он добился оправдательного приговора и приобрел широкую международную известность.
2. Васил Коларов (1877–1950) – руководитель Болгарской компартии и видный деятель Коминтерна.

таю историю этого дома поистине драматичной, и в масштабе 1:200 000 эта история воспроизводит историю всей нашей страны в те годы. Извини, Толя, что в самом начале прерываю твой столь вдохновенный рассказ. Но, будучи в твоем тексте гостем, я все же хозяин и имею право на некоторые уточнения.

Во-первых, дом построен не немцами, где было Болгарии в те времена нанимать иностранную рабочую силу. Построили его наши мастера, а архитектором был известный Петр Кантарджиев. Правда, строили дом по немецкому проекту, но такова была воля первого владельца, немца Л. из Тюрингии, женатого на болгарке. Когда началась война, Л. ушел на фронт, а его жена, одноклассница бабушки моей жены Александры, продала дом. Купил его Борис Велев, дед, а не дядя моей жены (еще одно подтверждение коварной близости между нашими двумя языками и народами – "дед" по-болгарски "дядо", а "дядя" – "вуйчо"). Это приобретение сыграло немалую роль как в судьбе дома, так и всей семьи. С приходом народной власти и по Закону о крупной городской собственности семья была вынуждена отказаться от имущества в центре Софии и жить на окраине. Пока в один из августовских дней 1950 года (мне тогда было всего несколько недель) Борис Велев не получил повестку. Бывший член Правления Союза болгарских журналистов и атташе по печати нашего посольства в Белграде, он уже был в непризывном возрасте. Но на призывной пункт все же явился и пропал. Родственникам сказали, что он служит в секретном подразделении на границе, а он в это время считал деньги в одном из подвалов Государственной безопасности в центре столицы. В двухстах метрах от подвала, куда его бросили, находился Народный театр, и только по вечерам, по цоканью женских каблучков, он мог определить время суток. Девять месяцев его били до потери сознания, а потом звали врача измерить давление, чтобы прикинуть, сколько еще он сможет выдержать. Когда у него выросла борода до пят, они ее подожгли, чтобы не "портить ножницы". Обвинили в шпионаже. Во время процесса услужливые соседи предоставили в пользу обвинения новые свидетельства относительно дома. Якобы он был не куплен, а подарен за заслуги перед фашистами. (По иронии судьбы дед был англофилом, и, когда вспыхнула война, сказал Л.: "С Германией покончено".) Его приговорили к 15 годам лишения прав и к 13 годам тюрьмы. За несколько месяцев до объявления приговора перед домом остановились два крытых брезентом грузовика. Без предъявления каких-либо санкций на обыск или конфискацию имущества несколько посыльных в милицейской форме вынесли всю мебель. В приступе алчности им никак не удавалось сдвинуть с места один из двух изящных дубовых комодов с растительным орнаментом, опирающийся на львиные лапы и привезенный из Белграда. Именно этот породистый экземпляр заставил залетевшего через полвека в наши края русского писателя Анатолия Королева задаться вопросом: как такая ветреная конструкция, как душа болгарского поэта, сочетается с квадратными формами грубой материи, будь они даже иностранными и в высшей степени изысканными.

Ну, видимо, так же, как нас терпит сама материя.

Но закончу историю с домом.

Его конфисковали.

Однажды средь бела дня явились те же самые посыльные в гражданской одежде и без каких-либо судебных решений, заявили двум жившим в доме женщинам, что, если они не уберутся отсюда добровольно, их отправят в Белене[1]*. Так*

1. Один из болгарских концлагерей.

мать с дочерью остались без крыши над головой, зато на свободе, а дом перешел в распоряжение Дипломатического корпуса. Сменилось несколько арендаторов (деньги, естественно, пошли на лечение нашей молодой республики от язв капитализма и фашизма), последними были сотрудники югославского посольства. Между тем старик Велев был освобожден через два года после процесса, обвинение в шпионаже было признано сфабрикованным, и его реабилитировали, а молодой Велев, его сын, совершенно случайно столкнулся в Министерстве иностранных дел с нанимателями. Молодой Велев – это был мой будущий тесть. Он рос в Белграде и потому быстро нашел общий язык с братьями сербами, особенно когда узнал, где они живут. Ну и как они, довольны? Ведь речь идет о его родном доме, так сказать... Чудесный дом, сочувственно ответили ему сербы, воздух, тишина, только вот зимой наведываются дикие звери, горы все-таки, а уж о том, чтобы топить печь, и говорить нечего. Тесть – адвокат – мгновенно сориентировался в обстановке, да и они тоже. С полуслова поняли, на что намекает "бугарин", да и сами-то уж сидели на чемоданах, отбывали в Белград. Доложили куда надо, что, дескать, место, может, и волшебное, но для использования, тем более круглый год, тем более дипломатами, вилла вообще непригодна, и вернули ее законным владельцам.

Год был 1962-й. Времена уже явно были другими, более вегетарианскими, как сказала бы Ахматова.

Но какие бы ни были времена, в одном были правы сербы: как придет зима, да как поднимут Большой и Малый Сечко[1] *свои секиры, напяливай шапку и давай бог ноги! Иначе не сдобровать... Сколько раз поутру я стоял на коленях перед "настоящим чудом настоящего огня", как назвал этот камин, облицованный кафелем, заделанный в стену, посланник вечной мерзлоты в нашей стране, сколько пернишского и чукурского угля всыпал я в его ненасытную пасть – только мне одному известно. А уж когда стемнеет и начнет карабкаться белкой мороз по ногам, когда и камин в момент остынет, да еще и ветер в трубе завоет, а заледеневшие поленья начнут зловеще потрескивать... Сколько раз до полуночи сидел я за пишущей машинкой – с исцарапанными в кровь пальцами – и обещал себе: вот придет весна, найду того инженера, который когда-то давно советовал тестю пробурить в подвале скважину и провести наконец в дом горячую воду из бьющих здесь – уже столько веков – минеральных источников,*
и решу наконец эту проблему. Но ничем иным,
кроме очередного стихотворения,
дело так и не кончалось.

Моя комната на втором этаже.

Это мансарда с косым потолком и окном в ночь, которое открывается специальным рычагом. Блаженство! На белой стене — два детских портрета в духе ар-нуво. Прелестная девочка (Георги, это мать Александры?) в костюме русской принцессы с кокошником в жемчугах и мальчик, одетый, как тирольский охотник, в шляпе с пером. Каким утонченным был быт болгарской элиты — сшить маскарадные костюмы девочке и мальчику всего лишь для снимка на память о детстве! Ночью я слышу их шепот и легкую беготню.

Первое ночное застолье из нависающей сотни.

1. В болгарском фольклоре Большой Сечко – январь, Малый Сечко – февраль.

Болгарская кухня — это обилие свежих овощей и сухого вина кровавого колера.

На обильном столе блюдо из красных перцев с начинкой из нежного мясного фарша, любовно перемешанного с рисом, луком, помидорами, яйцом, петрушкой, укропом и базиликом. Вся эта роскошь, рассказывает Александра, сначала тушилась в духовке, а потом была залита йогуртом с разбавленным в йогурте сырым яйцом!

Александра — редчайший тип женщины — интеллектуалка (профессор, сотрудник ООН), которая умеет прекрасно готовить.

По виду блюдо напоминает описание щита Ахилла из поэмы Гомера "Илиада".

Кроме болгарской Трои из башен перца, на берегу застолья красуется белоснежная, как молоко, брынза, салат из свежих помидоров, сладкого красного лука и огурцов. Плюс крупные оливкового цвета оливки. Царствует красный цвет, поддержанный багровым светофором сухого вина "Мавруд", шершавый вкус которого придает застолью эффект горящего Рима времен Нерона. Мы пьем римское пламя.

Но где же долгожданный традиционный гювеч?

Как пишет мой путеводитель, это самое любимое болгарское блюдо среди турецких туристов, которое можно сравнить по впечатлению только с видами бухты Золотой рог у Стамбула в час намаза.

Александра и Георги берут мое желание на заметку и обещают обязательно угостить блюдом "гювеч".

А пока Георги вдохновенно открывает мне высшее предназначение Болгарии в мире. Оказывается (а я не знал!), эта благородная земля — родина самых великих ересей мира, здесь вырос корень манихейства, горечь богомильской мысли о том, что мирозданием правят два господина — Бог и Сатана, что зло такое же дело рук Божьих, как и благо, и кровь преступления течет из вены пасхального агнца, и той черной кровью забрызганы пелены Вифлеемского чуда, а волхвы, пришедшие с дарами к Христу, были Люцифер, Сатана и Белиал...

"Но почему здесь?" — кричит мое пьяное сердце, наше застолье уже давно перевалило за полночь. Александра поднялась в спальню, у нее с утра лекции в университете, и печь русской мысли обильно поливается болгарским спиртом.

Это жребий этой земли. Она — мать тьмы, невеста света, отец пролитой крови. Болгария — ягненок, сваренный в молоке матери.

Открыв костылем окно, я пытаюсь хоть что-нибудь разглядеть в темноте, но небо затянуто таким брюхом из туч, что не видно ни зги. Полчаса назад Александра сказала, что Россия сделала много зла Болгарии, я заступился за родину и сказал, что себе самой Россия сделала зла намного больше.

Утро 20 октября. Понедельник

А вот утром глазу открылся простор!

Дом Георги и Александры стоит на склоне Витоши, слева за низкой оградой виден дом в национальном вкусе, слышен лай пса, видна одино-

кая серая кошка на траве, слышен хмельной запах осенних лесов... склон придает душе ощущение взлетающей птицы.

Во сне я размышлял о тайне болгарской почвы, родившей идею двоевластия зла и добра. Ответ снился в виде неясного волшебства. Я пытался вспомнить призрачную сутолоку чудес, но видел лишь слабую тень сна. Это был некто Властный, и за ним проглядывался вид на болотце, а может, вид на мысль о болотистой почве, где резвятся нестрашные юморные лягушки. Прыжки веселых гримас.

Александра везет гостя в центр Софии, к Университету, где меня ждет Мира Златарева, секретарь редакции "Факела". Это она по просьбе Георги прислала в Москву приглашение, и сегодня я обязан встать на учет в софийской милиции.

Озираюсь по сторонам, окраины довольно унылы, но чем ближе сердце Софии, тем больше город напоминает Париж, где-нибудь в районе бульвара Капуцинов у Гранд-опера. Но мой путеводитель неточен. Гельмут Вайс! Ни одного верблюда! Ни одного караван-сарая! Кирстен Винклер! Ни одного софийца с баллоном целебной воды из горячих источников из бывших турецких бань и вот так фокус — ни одного минарета. Сибилла Рахваль! Турок тоже не видно — зато в милиции, куда меня приводит элегантная Мира, парижанка в длинном шарфе алого цвета вокруг шеи, полным-полно англичан, немцев, французов и американцев. Стоны, вопли, проклятья — всем нужна срочная регистрация. Тут же берут кровь на анализы, отпечатки пальцев, требуют справки об отсутствии венерических заболеваний. Только мне, русскому парню из московского Пекина, все по фигу. О, я знаю нравы коммунистических империй, ставших архипелагом свободы! Справку о психическом здоровье? Пожалуйста. Вот три экземпляра. Справку о прививке против бешенства? Отлично, я специально взял ее накануне вылета.

Толпа иностранной сволочи замирает от зависти — баба за окошком теряется. "Семь стотинок в кассу!" — выпаливает она от растерянности. Всего семь стотинок вместо двух литров крови! Мира достает кошелек. Пожалуйста. Есть регистрация! И уже через секунду мы с Мирой выходим на улицу... какой-то отчаявшийся японец тут же, перед зданием народной милиции, на улице делает харакири. Дворник терпеливо приготовил совок и метлу собрать свежие кишки.

Отклонение от маршрута третье (надпартийное)

К сведению российского читателя, у которого за спиной на четверть века больше советской власти, чем у болгарского, полиция в Болгарии давно не милиция. И не народная, ибо всегда была над народом, а с тех пор, как деполитизировалась, стала и над законами, которые каждая управляющая на данный момент партия меняет по своему усмотрению. Полиция потеряла всякий интерес к насилию и беспорядкам, ее волнует, в основном, всестороннее развитие и самоорганизация в мире капитала и денежные знаки. Главная ее цель – царство свободы и полное освобождение граждан от цепей частной и личной собственности,

наслоений вековых предрассудков в сфере добра и зла, жизни вообще. Святое человеческое право на самоубийство для нее неприкосновенно. Болгарская полиция сегодня – одна из самых свободолюбивых и развитых полиций в мире (это к сведению Гельмута Вайса).

М-да, София – одна из самых чистых столиц Европы, пишет в путеводителе Гельмут Вайс. Гуляя с любимой собакой, софиец всегда наготове держит в руке пластмассовый совочек и мешочек из плотного пластика, стоит только любимцу нагадить на тротуар у театра имени Вазова или у центрального почтамта, как он тут же присядет на четвереньки рядом с четвероногим другом и уберет какашки. Говорят, этот пример болгарскому народу подал сам Георгий Димитров.

Идем с Мирой на выставку болгарского художника, затем я меняю первые сто долларов (всего я взял с собой пятьсот долларов) на болгарские левы по курсу...

Затем короткий визит в Союз болгарских писателей и редакцию "Факела", где, оставив на час своего Вергилия, я один, без Миры, иду в глубь незнакомого города в поисках музея Георгия Димитрова. Музей Димитрова – это жемчужина болгарской архитектуры и так далее.

Отклонение от маршрута четвертое (писательское)

Здесь мне хотелось бы совсем вскользь остановиться на визите в Союз болгарских писателей такой редкой для нас в годы перехода птицы, как российский писатель вообще и Анатолий Королев, в частности, как человека, который, в отличие от огромного большинства наших авторов, зарабатывает свой хлеб лишь литературным трудом и которого считают одним из ярчайших представителей интеллектуального направления в российской литературе, одним из "отцов российского постмодернизма". Прежде всего хочу уточнить, что по стечению обстоятельств Толя попал в ту половину Союза, которая, после того, как он с треском развалился в начале 90-х годов, втихаря сохранила название и имущество бывшего Союза, но не писателей. "Визит" – это громко сказано, и я прекрасно понимаю, почему Толя так деликатно не стремился к тому, чтоб его описать. Дело было в разгар рабочего дня, в районе обеда, но во всем Союзе не нашлось ни одного писателя, за исключением, пожалуй, портрета Ивана Вазова. Входная дверь обширной мрачной квартиры, купленной еще во времена Элина Пелина[1], была закрыта на цепочку. Не успели они с Мирой позвонить, как дверь открыла секретарша. Она была слепой, но знала наизусть произведения всех членов Союза, их биографии, старые и новые адреса

1. Элин Пелин (1877–1949) – писатель, классик болгарской литературы.

и телефоны. Комнатка без окон, и по всему было видно, что когда-то это была ванная. Ни компьютера, ни какой-либо другой техники не было и в помине, только полная раковина чашек и пепельниц, да еще электроплитка, на которой мирно булькал попахивающий конским потом отвар. Толя хотел взглянуть на кабинет тогдашнего Председателя Николы Радева, но и он был заперт. Ему так и не удалось увидеть хрестоматийный портрет Петра Морозова (Вайс, ты слышал?), которому патриарх нашей литературы согласился позировать в первый и последний раз в жизни и под которым теперь обычно сидит Председатель Союза. Живопись – детская страсть Королева, в том году, когда он приехал в Болгарию, в Москве был издан его юношеский роман "Дракон". В издание вошли десятки его собственных рисунков и коллажей, которые позже произвели впечатление даже на столь искушенного ценителя, как Светлин Русев[1]*, во время нашей встречи у него в ателье, где за несколькими чашками убийственно крепкого кофе они долго и мило говорили о параллельных мирах и шести перевоплощениях таинственного Леонардо... Кроме того, Королев – член российского ПЕН-клуба, лауреат международных литературных премий, поэтому я попросил его, чтобы по дороге они заскочили в еще какой-нибудь из наших союзов, может, хоть там живого писателя увидят. Никто, однако, его не видел... Ну, с секретаршей понятно, она, благодаря врожденному чувству красоты, хотя бы его почувствовала. Но что можно сказать о секретаре по международным вопросам, который сам с собой играл в шахматы и которого Толя углядел на выходе через щелку в двери в другом конце квартиры. На нем были черные очки, и, вероятно, он пребывал в вечном пате, ибо даже не поднял головы, чтобы поприветствовать далекого посланца. Толя так и не понял, когда он скатился по лестнице вниз до площади, на сей раз до чугунной скамьи с двумя сидящими на ней другими классиками Петко и Пенчо Славейковыми. В таком состоянии совершенно естественно потерять всякую ориентацию и, едва выплыв из одного кошмара, утонуть в другом...*

Пытаюсь объясниться с болгарами с помощью мини-словаря из путеводителя:

– Колата ми е разбита[2], – взываю я к прохожим, чтобы узнать, как пройти к мавзолею Димитрова[3].

Тщетно! Отчаявшись отыскать мавзолей, я пока решил перевести дух в парке у театра имени Вазова. Усевшись на скамейку, наблюдаю за Болгарией. Кругом кипят маленькие страсти, описать которые – как плеск волн о камень – невозможно. Что ж, болгары не похожи, например, на чехов. Чехи – замечательная отварная картошка, даже самый яркий чех – это кнедлик с начинкой из творога, а болгарин – это ярко-красный перец, фаршированный противоречивыми желаниями. Если сравнить с автомобилем, то чех – малолитражка, в нем русской душе тесновато, а болгарин – мотоцикл с коляской проблем.

Надеюсь, что я не обижу сравнением с кнедликом и картошкой дорогих мне пражан.

1. Светлин Русев (р. 1933) – известный болгарский художник.
2. Машина моя разбита (*болг.*).
3. Мавзолей Георгия Димитрова, построенный в 1949 году, был разрушен в 90-е гг. Тело Г. Димитрова перезахоронено. На месте бывшего мавзолея разбит сквер.

Как только болгары выживают при такой дороговизне, 100 долларов равны 166 левам, а письмо или открытка из Болгарии в Россию или на Украину — пишет путеводитель — обойдется в 400 левов! Дешевле уехать в Бургас и бросить в море бутылку с запиской. Глядишь, ее обязательно прибьет к русскому берегу.

Размышления о еде естественно возбудили аппетит, и я возвращаюсь к Мире. Мы идем в ресторан "Пицца" недалеко от редакции "Факела", по дороге я узнаю от Миры, что опоздал на десять лет, — оказывается, мавзолей Димитрова давным-давно разрушен болгарскими демократами во главе с политиком Евгением Бакырджиевым.

Вандалы! На мавзолей надо смотреть как на произведение актуального искусства, как на артефакт с элементами хеппенинга. Слава богу, в Москве мавзолей еще жив, и недавно наша пресса писала, что, по мнению врачей, Ленин выглядит гораздо лучше, чем в 1924 году.

А вот музей Ильича похерили. А это был музей подлинного абсурда, например, траурный зал покушения на Ильича — в центре строгое пальто Ленина на манекене, места, простреленные пулей эсерки Каплан, отмечены крупными крестами из алого шелка, их вышивали лучшие ткачихи страны, тут же на стене картина — Каплан стреляет в вождя мировой революции у завода Михельсона. У нее лицо антисоветской обезьяны и руки по локоть в крови. Тут же у стены легендарная бочка из-под бензина, где тело расстрелянной террористки собственноручно сжег комендант Кремля Мальков, и — бюст поэта Демьяна Бедного, который помогал сжечь преступницу. В этом зале юных октябрят принимали в пионеры. Полный кайф!

Словом, коммунистический город без мавзолея некрасив, как необрезанный евнух.

В ресторане многолюдно.

Выбираю изысканную пиццу "Венеция" с морепродуктами.

Любопытствую о жизни Миры, русскому писателю все интересно, Мира рассказывает о том, что ее дочь учит немецкий язык, чтобы уехать из Болгарии в Германию, и это общая тенденция среди столичной молодежи: здесь нет работы и никаких перспектив.

Все молодые болгары бредят США, Англией или на худой конец Швейцарией.

М-да...

Я их понимаю, как жить в стране, где открытка стоит 400 левов?

Мира вновь открывает мне глаза — это ошибка! Путеводитель устарел!

Внимательно изучаю мой Бедекер — он издан в Москве издательством "АЯКС-ПРЕСС" в 2002 году. Неужели у немцев бывают промашки? Чтобы Гельмут Вайс? Чтобы Кирстен Винклер и Сибилла Рахваль?

А правда ли, — читаю вслух из главки про чаевые, — что в Болгарии не принято давать чаевые в отелях и что особенно не поощряется эта манера сорить деньгами в ресторанах.

Мира сочла эти сведения тоже устаревшими.

Кстати, забегая вперед, скажу, что, когда я попросил официантку подать счет, Мира сказала, что обед оплачен редакцией "Факела".

Это была моя первая попытка честно истратить деньги.

Тут подали круглую ароматную пиццу.

Глотая горячие куски, делюсь своими первыми впечатлениями от Софии и первыми сомнениями по поводу самостоятельности болгарской культуры. Все, что попалось на глаза, — либо перепевы немецкого гения, либо явные русизмы или французские кальки. И объясни, Мира, почему болгарская скульптура присела?

В Риме я не видел ни одного сидящего императора.

Цезарь и Траян стоят на форуме в полный рост, император Аврелий всадником венчает коня на Акрополе, а в Софии мрамор то и дело хочет опустить задницу на скамейку: вот у входа в университет слева и справа мирно присели два полноватых болгарина с пышными усами...

— Это основатели университета, — перебивает меня Мира.

— А кто сидит на железной скамейке недалеко от редакции?

— Это чудесные люди, работа замечательного скульптора Георги Чапкынова.

— Стоят только Кирилл и Мефодий?!

Вечером я задаю этот же вопрос Георги: где болгарская культура? Сегодня стол отдан вину.

Царствует "Мавруд"! Это вино из южных районов Болгарии, где под Асеновградом[1] раскинулись замечательные виноградники, придающие "Мавруду" оригинальный вкус терпкой телесности.

Правда, как пишет мой гид Гельмут Вайс, в Болгарии пока не сложилась многолетняя традиция производства классических вин с учетом жестких ограничений, характерных для контролируемых наименований, принятых в развитых странах. Увы, вкус болгарской "Гамзы", "Мерло", "Каберне", "Шардоне" и всех остальных пока уступает вкусу красных бордоских вин и даже белым винам из Калифорнии, вздыхает путеводитель. Формально существующая система таких наименований, типа "Шардоне от Варна" с указанием на этикетках "контролиран", размыта, огорчается путеводитель, но, если вас застала в дороге нужда выпить, а рядом нет супермаркета, можно попробовать и болгарских вин.

Итак, спрашиваю я Георги, где хваленая болгарская культура, если даже (читаю у Вайса) темные крепкие ароматные вина из Мелника напоминают соседнюю Грецию?

— Черт судья такому путеводителю! — восклицает Георги, вырывая путеводитель и швыряя в камин. — Ты спрашиваешь, в чем суть нашей культуры? Так вот! Дух болгарской культуры в походке Орфея, который родился в Родопах и отправился в Грецию. Только в пути болгарская душа набирает высот, а стоит болгарину остановиться, как он камнем падает под копыта собственной лошади. Наша душа хороша в дороге. И чем круче дорога, тем крепче красное вино в бочке болгарского сердца. Перебродив, оно вышибает пробку из бочки и льется из поющего рта кровавой струей музыки. Путь превращает болгар в Орфея, в античную арфу. Пьяный поющий болгарин делает пьяным даже лошадь, на которой скачет по Родопам к Олимпу, он усмиряет своим

1. Асеновград — город в 17 км от Пловдива.

ревом диких зверей и даже вой бури. Львы ползут к его руке облизать пальцы. Завтра мы пускаемся в путь, и ты все сам увидишь! — восклицает Георги.

Поднимаясь к себе в комнату, я украдкой достаю из камина путеводитель Гельмута Вайса, Георги забыл разжечь огонь. Я привык дочитывать все до конца...

Ничего подобного, в тот вечер резко похолодало, и я разжег камин, но путеводитель Вайса оказался не только непромокаемым (до этого мы несколько раз заливали его вином), но и огнеупорным, в соответствии с негасимой мыслью Булгакова, что рукописи не горят. А Толя, хотя ему и стыдно было в этом признаться, так с ним сроднился, что уже был готов броситься за ним в огонь...

Итак, утром в путь!

Едем в Пловдив.

Утро 21 октября

Прохладно.

Я был уверен, что встал самым первым, но обнаружил, что вилла пуста. Александра уехала в университет, а Георги ушел в горы.

У него есть своя тропа по склону Витоши к самой вершине.

Он идет налегке, распугивая шагами Орфея стаи злобных бродячих собак.

При виде поэта псы трусливо пятятся, и только вожак скалит зубы.

Георги в ответ тоже рычит рыком голодного льва, и стая бросается врассыпную, теперь можно спускаться к дому.

Тем временем к вилле подъезжает автомобиль, это брат Георги — Стоян Богданов. Стоян с трудом говорит по-русски, он только на днях бросил осточертевшую Швейцарию и вернулся навсегда в Софию.

Но как быстро русский язык всплывает в его памяти!

Выпиваем на дорогу по большой чашке крепкого чая, который Георги заваривает на травах. Заедаем белым хлебом, намазывая поверх ломтей толстым слоем желтого вязкого меда.

Что бы там ни писал Гельмут Вайс — завтрак на склоне Витоши на фоне небес прекрасен, как хадж мусульманина в Мекку.

Я беру с собой в дорогу только кошелек с долларами, болгары предпочитают иметь доллары, к левам у них отношение плевое.

В путь!

Отклонение от маршрута пятое (горное)

Прежде чем сесть в машину, читатель, два слова о дороге. Ты не обнаружишь ее в путеводителе Вайса, да и самому Вайсу никогда ее не найти. Она довольно крутая, но по ней быстрей (вечная битва со временем!) добираться по прямой до местности Бяла Вода. Так называет ее воскресная городская толпа, прору-

бившая просеку под нависающей сломанным крылом канатной дорогой, ведущей к Копыту. Только старые горнолыжники помнят, что свое настоящее название – Бяла Вода – она получила от источника, чьи вырывающиеся из трубы струи сначала перехватывают дух, а потом и горло изнеженных жителей Софии. Оттуда дорога катится к Копыту по обглоданным дождями позвонкам старого хребта, сквозь навалённые друг на друга деревья и вековой буковый лес, по которому тонкой ниточкой вьется пунктир моих собственных следов.

Вот об этой дороге я и веду речь, на ней несколько лет назад повстречался мне медведь. Он спускался и, увидев меня, застыл на месте. Я тоже замер. А дальше что? Ни туда ни сюда!.. Попытаться проскользнуть между засыпанными листвой пнями и камнями вниз – полный бред: того и гляди шею или ногу сломаешь, а коварная ловкость этого животного хорошо известна. Лечь поперек пути – сказка Льва Толстого вдруг самым нелепым образом всплыла в моем помутившемся сознании, мертвым притвориться, а что это даст? Медведь тоже, гляжу, кожа да кости, после тяжелой зимы и бесконечного перехода к гражданскому обществу явно вышел в поисках пищи. И поскольку ничего другого мне не оставалось, кроме как кричать, я уставился на него и изо всех сил, не слыша собственного голоса, заорал свое стихотворение "Медведь-шатун"!

Зверь прислушался, отвел глаза от смущения, повернул голову и уже на втором куплете пустился наутек.

Пора, дескать, валить, а то кто его знает, чего от него ждать.

А на третьем куплете медведь дал такого деру вверх по склону, словно его преследовал пчелиный рой.

Вот что такое сила поэзии, спасибо Тебе, Господи! Да будет благословенно Слово!

На обратном пути я летел как на крыльях, а пышущие злобой стаи беспризорных дворняг казались мне ангелами небесными.

На следующий вечер по телевизору предупредили, что впервые за шестьдесят лет гонимые голодом медведи сошли аж до Копыта. Показали опустошенные от остатков еды контейнеры и разорванные целлофановые пакеты. Пострадавших нет, но будьте бдительны. О моем
"Шатуне" не было сказано ни слова,
в силу чего позволю себе включить
его в настоящий путеводитель,
*а то кто знает, **что** может*
с человеком случиться!

Медведь-шатун

Тебе бы спать без просыпу до срока,
Без памяти, покуда у берлог
Уснул мороз, в мохнатость спрятав око –
С кровавыми прожилками белок.

Остывшему дыханию людскому
Не одолеть небес медвежьих свод,
Здесь камень, впавший в ледяную дрему,
Вдруг рвется в пыль, как будто сердце рвет.

Ты пробудился – туша отлежала
Себе бока и вскинулась, урча,
Когда тебе зрачок кольнуло жало
Пчелы – золотоносного луча.

Ты взроешь муравейники и ульи,
Пойдешь шататься, поплетешься прочь,
Чтоб тыкаться в траву в дурманном гуле,
Мясистой мордой зарываясь в ночь.

Дичая, станешь нюхать темный ветер,
А голод будет мучить и колоть,
И ты поймешь, что ты один на свете

И завтра раздерешь живую плоть.

София–Ихтиман

Стоян прекрасно ведет машину.

Увы, ни я, ни Георги водить не умеем. Что взять с русского писателя и болгарского поэта! Два остолопа! (Объясняя, как пользоваться системой охраны в квартире на бульваре имени Евлогия Георгиева, Георги врубил для демонстрации систему охраны, и, если бы не Александра, полиция б примчалась через минуту.) Наудачу у Стояна есть свободное время, он еще ищет работу и пока живет на проценты со своих швейцарских счетов.

Обращаю внимание на множество цыган.

Странно, что в путеводителе Вайса про цыган нет ни слова.

А здесь, на выезде из Софии, наша машина движется сквозь настоящий цыганский табор, повозки, костры, лошади, красотки в пестрых юбках, какой-то цыган угнал цементовоз, но забыл закрыть люк, и цементный раствор льется на асфальт вялой массой, как повидло из пирожка.

Я сижу рядом со Стояном и любуюсь панорамами солнечной Болгарии. Слева и справа идут прекрасные виды плоской долины между силуэтами двух горных цепей. Слева видны Балканы, справа громоздятся к небу горы Рилы, а впереди поднимаются контуры хребтов Родоп.

– Какую страну мы потеряли!

Братья хохочут над моими словами.

Георги ласкает бутыль "Мавруда", иногда передавая драгоценный сосуд старшему русскому Брату. Бог мой, нет вина слаще, чем вино, которое пьется на скорости сто километров в час.

Я предлагаю Георги придать нашей поездке художественный смысл. Создать диалоги о Пустоте. О зияниях! Об эманациях ничто!

Георги мгновенно соглашается и тут же дарит нашему замыслу название: "Хиатус"!

На часах ровно полдень. 12 часов 00 минут. 21 октября 2003 года.

Мы ровно на половине пути между Софией и Ихтиманом.

Запомни, читатель, точку творения.

Эта дата войдет в историю русско-болгарской культуры!

Стоян первый из болгар, кто разделяет наш восторг.

Я спрашиваю у Стояна, почему он сбежал из благословенной Швейцарии, о которой сегодня горячо мечтают тысячи молодых болгар?

И вот что он мне рассказал.

Оказывается, его достала проблема отходов.

Каждое утро швейцарец начинает с сортировки бытового мусора.

Перед домом стоят 34 специальных бака, где предусмотрены все возможные виды бытовых отходов. Бак № 1 только для бутылок, тут же два стальных кармашка для крышечек от пивных бутылок и для наклеек, которые надо тщательно соскоблить. Если ты попытаешься бросить в щель бутылку с наклейкой, электронный прибор немедленно обнаружит обман и сообщит по электронной почте сумму штрафа в банк, где лежат твои деньги. Бак № 2 для бумаги. Прежде чем выбросить газету, ее требуется тщательно разгладить — иначе она не пролезет в узкую щель. Иначе снова штраф! Бак № 3 для собачьего кала, а бак № 4 для кошачьего, есть даже специальный бак для рыбьего кала, который соскребывают со стенок аквариумов. Бак № 5 для использованных презервативов, бак № 6...

Тут я взмолился, Стоян, у меня уже разболелась голова! Неужели нельзя вывалить ведро мусора залпом в одну дырку.

Ведер для мусора в Швейцарии нет, ответил Стоян, только пакетики размером с пакетик для чая. Сами швейцарцы научились сортировать свой мусор в считаные минуты. Кстати, кал у швейцарцев тонкий как нитка, они спокойно опорожняются в пустой флакон из-под "Шанели № 5". Ему же приходилось вставать ни свет ни заря, чтобы рассортировать говно по пакетикам. У болгар говно намного толще.

И так каждый день все двадцать лет!

Это не для болгар, вздохнул Стоян и, остановив машину на обочине шоссе, вышел из кабины и с наслаждением стал мочиться на куст розы.

И вот пока Стоян освобождает пузырь, мы остаемся с Георги одни в машине и тот рассказывает мне об истинных причинах бегства брата из проклятого Цюриха.

Так вот что случилось на самом деле.

Год назад, как раз в этот же день, Стоян возвращался домой после работы и нечаянно порезал палец. Чтобы избежать заражения, он зашел в аптеку, купил пузырек медицинского спирта и продезинфицировал ранку, и — надо же такому случиться! — выбрасывая пузырек в специальный ящик для использованных пузырьков, Стоян пролил спирт на палец и, чтобы не искать бумажный платок, просто слизнул каплю языком. Первый раз за двадцать лет он отведал алкоголь такой крепости. У той проклятой капли спирта было никак не меньше 70 градусов.

Что было дальше?

То ли от усталости, то ли от забытого вкуса, напомнившего о Болгарии, а скорее всего от потери крови у Стояна закружилась голова, на одном из поворотов он задел задним бампером бордюр и не заметил, как отвалился номер, кстати, самое уязвимое место всех западных машин: стоит только на ходу задеть номером бордюр, как он тотчас отваливается ко всем чертям собачьим.

С трудом добравшись до дому, Стоян поставил машину в гараж и, зайдя в дом, где жена послушно накрывала стол к ужину, прошел к аптечке, чтобы снова продезинфицировать ранку, но, как назло, в аптечке не оказалось ничего подходящего, и Стоян был вынужден взять в ба-

ре и вылить на раненый палец бутылку сувенирной ракии, которую когда-то привез из Болгарии и держал дома в память о родине. В этот момент он увидел, что к дому подъехала полицейская машина. В полной уверенности, что ему ничего не угрожает, он поставил бутылку ракии на стол и впустил полицейских.

Эти сволочи заботливо держали в руках номер, оторвавшийся от машины Стояна. Он понял, что, подобрав номер, они мигом установили по компьютерной сети адрес владельца. В Швейцарии найти трезвого человека — пара пустяков.

— Это ваш номер?

— Мой.

— Как он мог оторваться по дороге и вы этого не заметили?

— Без комментариев.

— У вас все в порядке?

— Все в полном порядке, правда, я порезал палец и мне пришлось промывать рану ракией.

Принюхавшись к нарушителю, псы-полицейские потоптались на месте и переглянулись, затем, оставив номер, стали прощаться, что ж, раз все в порядке — мы уходим.

И тут жена Стояна — швейцарка — кинулась в бой.

Словом, она настояла, чтобы Стояна забрали в участок и проверили кровь на содержание алкоголя! И убедились, что он абсолютно трезв, потому за двадцать лет супружеской жизни она ни разу не видела мужа с бутылкой в руках. Она даже пригрозила, что вскроет себе вены, если они будут подозревать мужа в недостойном поступке.

Полиция, чтобы отвязаться от дурной бабы, застегнула на руках Стояна наручники и отвезла в участок. Просто так, для проформы. Там, ты не поверишь (рассказывал Георги), чудеса продолжались. Анализ крови показал, что у Стояна от той капли спирта, которую он слизнул с порезанного пальца, в крови целых 1000 промилле. В истории Швейцарии XXI века такой результат анализа еще никогда не был достигнут. Собрали консилиум. По мнению швейцарских врачей, человек с таким количеством алкоголя в крови не то что водить машину, он даже в гробу лежать не может.

Стоян лез вон из кожи, доказывал, что техника спятила, что раз он стоит на ногах, значит, трезв... в общем, процесс шел четыре месяца. Стояна лишили водительских прав на два года, присудили к колоссальному штрафу, и он еще потратился на адвоката. Итак, в общей сложности из-за жены он потерял двенадцать тысяч швейцарских франков.

— Двенадцать тысяч пятьсот, — добавил Стоян, застегивая, наконец, ширинку и садясь за руль.

— Как ты наказал жену? — спросил я, потрясенный поведением чистоплюйки.

— Все четыре месяца, пока шел процесс, я не сортировал мусор!

Ихтиман

Полчаса спустя.

Мы выходим на центральной площади из машины — полюбоваться памятником турецко-болгарской дружбы.

Между прочим, в путеводителе Вайса вообще ни слова про Ихтиман! Хотя он и пишет, что Болгария — страна очень маленькая, но зато она с оптимизмом смотрит в будущее.

Памятник изображает обнаженного турка, лежащего на спине, на теле которого восседает полуобнаженная болгарская девушка.

Стоян рассказывает мне, что название городка — Ихтиман! — это турецкий аналог слова "кайф", вопль наслаждения турка от прелести болгарской девушки, слаще которых, как известно, нет во всем мире.

По-турецки это звучит: Айтемен!

Ай! Это воздух, который вырывается из горла турка, когда на него присаживается красавица.

Те! Так скрипят ножны девы, в которые входит турецкая сабля.

Мен! Вопль турка, который умирает от наслаждения.

Оказывается, в молодости Стоян был гидом и хорошо помнит многие достопримечательности Болгарии.

У памятника полно туристов, которые фотографируются на фоне любовной сцены.

Тут между мной и Георги завязывается первый разговор о хиатусе.

Я. Что такое хиатус?

Георги. У хиатуса много значений, в поэзии — это место, где сталкиваются гласные звуки, в философии — это идея пустоты, зияния, в медицине хиатус — это полость внутри организма.

Я. Понятно. Хайдеггер считал, что только пустота всему придает смысл. Кувшин — это пустота, окруженная глиной, без пустоты кувшин не заполнит вода, и, следовательно, он не пригоден. Колесо тележное тоже круг вокруг пустоты втулки. Без нее вращение невозможно. Пустота матки впускает в себя плод. Без нее невозможно рождение ребенка. Следовательно, в центре Вселенной что?

Георги. Пустота. Черная дыра. Полный абсолютный..здец всему.

Стоян (*кивнув на памятник*). По-моему, пустота — фикция, она всегда чем-нибудь заполнена. В центре Вселенной — член турка.

По-моему, брат сказал "меч", он не мог позволить себе грубость, которую ему приписывает автор.

Мы озадаченно садимся в машину и трогаем в путь, до Пловдива примерно час езды.

Ихтиман–Пловдив

Пейзаж по-прежнему прекрасен. Балканы и Рила остаются позади, а вот Родопы становятся все выше и выше. Их очертания напоминают тела девственниц, окутанных в горный туман.

Ихтиман не выходит из моей головы.

— Неужели болгарские девушки самые сладкие на свете? — спрашиваю я у болгарских братьев и рассказываю, что у нас в России считают самыми сладкими женщинами маленьких китаянок. Раньше они были наложницами китайских императоров. Сейчас их держат для утех китайских миллионеров.

Так вот, у них такие маленькие ножки, чуть больше детской ладони, что жить они могут только в гареме. Их специально выращивают для секса, как редких сиамских кошек для ловли канареек.

– А чем они хороши? – оживляется Стоян.

– У них много достоинств, но главное – они умеют своими ножнами так сильно тискать мужскую саблю, что от массажа фаллос начинает увеличиваться в размерах и достигает невероятной длины.

Стоян мрачнеет.

Тут Георги подает мне знак – замолчи.

Я смолкаю. Почему?

Дождавшись, когда ситуация на шоссе на миг отвлекает нашего водителя, Георги шепчет мне на ухо ответ... Бог мой, оказывается его брат – в его-то годы! – все еще девственник, и это мучительная проблема до сих пор не нашла своего разрешения.

– Стоян – девственник?!

– Да.

– Но ведь у него была жена в Швейцарии?

– Да.

– Чем же они занимались ночами?!

– Сортировали мусор, – вздыхает Георги.

Пловдив

Тут тоже цыгане!

Мы едем сквозь живописный цыганский табор: женщины в пестрых юбках, звон монисто, костры, ржание, лошади, цыганские дети живописно едят консервы ножами, вот какой-то цыган угнал асфальтовый каток. Лицо угонщика искажено страхом – догонят! – каток ползет со скоростью черепахи, но выпустить руль воришка просто психологически не может. Цыган никогда не разжимает рук.

Но почему в путеводителе Вайса ни слова о цыганах?

Когда машина тормозит на перекрестке, я высовываюсь из машины и спрашиваю у группы цыган:

– Вы – цыгане?

– Нет, – отвечают они хором, – мы – македонцы.

Читаю.

Прогулку по Пловдиву, пишет мой верный немец, обычно начинают от отправной точки, это огромная мечеть Джумайя Джамийя. Она построена в середине XIV века трудолюбивыми турками. Мечеть в Пловдиве уникальна тем, что молитвенный зал увенчан не одним огромным куполом, как в большинстве других мечетей Болгарии, а девятью небольшими. Особенно красив минарет, который виден со всех концов Пловдива, украшенный орнаментом из белого и красного кирпича. Другая вторая достопримечательность, продолжает путеводитель, небезынтересная мечеть Имарет, которая находится всего в десяти минутах от Джумайя Джамийя, к северу. На каменной плите над входом указана дата ее сооружения: 1444–1445. И хотя (честно предупреждает Вайс) доступ во внутренний двор мечети для туристов закрыт, тем не менее стоит совершить эту короткую прогулку к мечети, чтобы полюбоваться ее фасадом.

Между прочим, мы едем по Пловдиву уже минут десять, но я вижу вокруг унылый, типичный советский город из блочных домов. Ни одной мечети! Наша первая цель – визит к замечательной переводчице Здравке Петровой. Она перевела все мои романы с русского на болгарский и, говорят, перевела замечательно. Напечатаны они были в журнале "Факел". Она живет на улице Достоевского. А вот и ее дом. Во дворе все те же смуглые македонцы греются у костра. Видимо, Болгария слишком холодная страна для них. Выходим из машины. Здравка живет в маленькой квартире, где царствуют книги. Так живут у нас профессора университетов. У меня сжимается сердце – вот бедный храм интеллигента, он построен из исписанной бумаги. Здравка усаживает нас за стол, где потчует чаем с горячими тостами. У хозяйки прекрасное пытливое лицо. Вскоре к беседе присоединяется местная радиожурналистка Стефка Тотева. Она берет у меня короткое интервью. Ваши первые впечатления о Болгарии? Отвечаю, что любые впечатления похожи на еду, их нужно хорошенько приготовить, как таинственный гювеч. Пока Болгария только еще режет овощи на кухонном столе, поэтому впечатления сырые, не прожаренные на сковородке. Но оказывается, гювеч не жарят, пояснила мне Стефка. Что бы вы как писатель хотели сказать нашим радиослушателям? Я сказал, что на меня огромное впечатление произвело бегство Стояна из Швейцарии. Это предупреждение всем молодым болгарам, которые мечтают уехать в Цюрих или Берлин. Западный мир помешан на чистоте, всем, кто уехал, придется жить на белом кафельном полу в огромной прачечной. Нельзя даже высморкаться. Одна наша знакомая ехала в машине с любимым женихом немцем по автобану на скорости двести километров в час и выбросила за окно обертку от скушанной конфетки. Немец впал в истерику, сказал, что из машин, идущих сзади, это заметили и уже названивают в полицию. Она не поверила. И точно, через полчаса на полицейском посту машину остановили и показали видеозапись, которую успел сделать какой-то психопат: вот обертка летит из окна под колеса большегрузного трейлера и налипает на колесо. Это видят дети из школьного автобуса, детей начинает тошнить от отвращения. Одним словом, немца-жениха тут же оштрафовали на тысячу евро, они жутко поссорились, и свадьба не состоялась. Этот огромный сумасшедший дом чистюль, говорю я в микрофон, не для славян. У нас не принято мыть руки перед сексом, чистить зубы перед поцелуем и выщипывать пинцетом волосики в ноздрях. Там это норма. Молодые болгары хотят стать немцами, но это не под силу даже обрусевшим немцам из Поволжья.

Необъяснима логика, по которой эта тихая и столь трудная для обнаружения улочка, застроенная неприглядными блочными домами в три этажа, названа именем одного из величайших писателей – Достоевского, но живущая на ней наша самая известная переводчица с русского перевела тысячи страниц первоклассной прозы, включая "Анну Каренину" Толстого, и ни строчки из Достоевского...

От Здравки Петровой, вместе со Здравкой Петровой едем в центр старого Пловдива, ну и ну! Внезапно уродливый советский райцентр превращается в римскую провинцию! Камень узких улиц вьется как виноград. Душа вскипает от красоты. Каждый вид Пловдива хорош, как колонна Траяна. Оставив машину на узенькой улочке, мы шагаем в сторону Дома

творчества болгарских писателей. Я прощаюсь с Петровой, она идет по своим делам, оглядываюсь: бог знает, увидимся ли когда-нибудь. Такие молниеносные встречи всегда трагичны. Только поздоровались и уже хороним друг друга.

С высоты холма открывается вид на панораму города. Красота! Пловдив — город для римских богов, смертным жить здесь неуютно, только чиркнул спичкой — рассмотреть панораму античного форума, — а жизнь уже гаснет, и человек скорчился в руке судьбы, как обгоревшая спичка.

Отклонение от маршрута шестое (заупокойное)

Там, где для богов широко распахнуты врата, простым смертным места нет... Хотя если ты заметил, читатель, чем проще и бедней у нас человек, тем более живописные и полезные для здоровья места он выбирает. Богатый непременно зайдет в ресторан, а бедняк сбросит одежку с плеча на траву и пирует себе целый день на чистом воздухе у какого-нибудь водоема. Возьмем цыган, которых русский Королев с вызовом именует македонцами. Всю жизнь они проводят под открытым небом и все время в сказочно красивых, объявленных заповедными горах, у реки и озер или, в крайнем случае, возле дачных мест... Другой вопрос, что они оставляют после себя, если вообще что-нибудь оставляют, и что вообще означает для них "всю жизнь под открытым небом..." Я всегда спрашивал себя, как это возможно, чтобы такая божественная земля была заселена таким проклятым, как наше, племенем. Однако со времени падения Берлинской стены Болгария опустела, как разоренный двор. Дорога к столице и дальше на Запад стала односторонней. Население начало массово умирать и удирать, сломя голову, с насиженных мест, словно они стали радиоактивными. Провинция обезлюдела. В один из воскресных дней, после того как по поручению Толи до глубокой ночи освежал воспоминания во всех описанных им ниже пловдивских заведениях, я решил, что надо бы вернуться, по возможности самым дешевым способом, в Софию. Моросило, но я шел пешком по главной улице, с наслаждением вдыхая чистый воздух. Шел так минут десять, как вдруг меня пронзило чувство, что я движусь по некой пропитанной влагой и осенней печалью аллее Центрального кладбища. Я остановился и огляделся. И тогда вдруг осознал, что на этой любимой мной пешеходной улице второго по величине города Болгарии, прежде многолюдной и шумной, как весенний поток, в любое время дня, я единственный пешеход. Был конец марта, ветки верб уже зазеленели. Я перешел на другую сторону и направился к железнодорожному вокзалу, этому огромному для каждого одинокого и бездомного столпотворению дорог и языков, заполнившему мою память грохотом, гудками локомотивов, человеческими судьбами, спешкой и толчеей, запахом пота, гвалтом и плачем, чемоданами, тюками, узлами... Когда я вошел внутрь, было так тихо, что я слышал, как шуршат стрелки привокзальных часов. Словно ночь не кончалась или только начиналась, и ни одного пассажира или бродяги, лишь длинные ряды пустых скамеек и закрытых окошек. Я разбудил какого-то бедолагу, уснувшего прямо в очках за стеклянной перегородкой кассы, и вышел подкрепиться на оставшиеся монеты. Приближалось время обеда, но и голодных вроде бы не наблюдалось. Я взял кусок курицы гриль и сел за деревянный столик под зонтом с надписью "Coca cola". Напротив заканчивали трапезу двое полицейских, явно после ночной смены, за соседним столиком бородатый дальнобойщик гасил окурок в куче косточек на тарелке. В сторонке, стоя, поедал нас глазами ме-

стный юродивый и мычал. Едва дальнобойщик приподнялся, бедняга схватил его пластмассовую тарелку и с быстротой летучей мыши спрятался за палатку. Через несколько минут он выскочил снова и собрал объедки со стола полицейских. Больше я его не видел. Я едва дождался поезда, но описывать свое путешествие по железной дороге у меня нет сил. В следующий раз я
отправлю Толю на поезде по Болгарии,
его описание будет намного ярче.
У русских куда более богатый
и горький, чем у нас,
опыт езды на
поездах.

Нам навстречу — Миа, дочь гениального художника Георги Божилова по прозвищу Слон. Она будет нашим гидом по Пловдиву. Миа — красавица, а вот дом художника производит мрачное впечатление — все комнаты завешаны шинелями русских солдат. Во дворе дымит полевая кухня. Кругом слышен русский мат-перемат. Оказывается, идут съемки болгарско-русского фильма. Время действия — Первая мировая война. Раздвигая шинели, Миа показывает мне полотна отца, я помогаю ставить в угол винтовки, откатываю ручной пулемет. Картины Слона замечательны, но рассмотреть толком картины я не в состоянии, от амуниции рябит в глазах, шинели воняют потом, перекладываю лошадиные седла, чтобы полюбоваться живописью, спотыкаюсь о шашки, словом, без русских в Болгарии и шагу не ступишь и всегда от них одни неприятности.

Бегом из царства шинелей в царство свободы — на смотровую площадку. Ба! Пловдив как на ладони Цезаря! Горы на горизонте — профиль Овидия, тучи над крышами — груди Деметры, солнце — щит Аполлона. А вот и дом, где мы проведем предстоящую ночь — на углу перекрестка гордо стоит особняк в три этажа. Мраморная доска указывает, что здесь в 1832 году в гареме падишаха останавливался великий французский поэт Ламартин[1], который ехал через Пловдив в Париж, но подцепил в турецкой бане болотную лихорадку и чуть не умер в этом прекрасном особняке, но выжил благодаря любви одалисок и легендарному болгарскому блюду "гювеч", которое побеждает смерть.

Отклонение от маршрута седьмое (фундаментальное, в трех частях)

1

Для всепоглощающего "Хиатуса" и нынешнего его читателя, может быть, не имеет никакого значения, но год 1833-й. Вот что гласит та самая мраморная доска (правда, на французском, с полустертыми буквами, но цифры, Толя, цифры-то арабские!):

1. Альфонс Ламартин (1790–1869) — французский писатель-романтик, политический деятель. Во время путешествия по Османской империи посетил Пловдив и описал это в своем "Путешествии по Востоку".

В этом доме поэт ЛАМАРТИН
был принят с исключительным гостеприимством
во время его ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ВОСТОКУ,
в июле 1833.
Установлено Французским альянсом. Пловдив 1923.

А чуть выше по булыжной мостовой, справа от деревянной входной двери, на белой каменной стене висит другая табличка с другой надписью (на болгарском и английском):

Дом Георги Мавриди.
Построен в 1829/1830 г.
Какие гаремы и одалиски, какой гювеч, какой падишах!

Ведь есть поговорка: "Голодной курице просо снится" ("У кого что болит, тот о том и говорит"). Или летать на крыльях воображения гораздо легче, дешевле и быстрее, если есть кому после тебя рыться в библиотеках и идти по следам утраченного времени? Но что я придираюсь к моему осененному вдохновением другу?

А потому, что чувствую себя ограбленным, потому что считаю, что проза, которую завтра будут читать и которую мы сейчас пишем, должна преподносить художественный вымысел с документальной точностью. Более того, ей следует придавать максимальную аутентичность. Потому что это Новая проза. А Королев рушит наши сокровенные мечты об эксперименте, лишь кое-где намечая его контуры. И вместо новой, взрывчатой смеси воображения и действительности появляются подозрительные, надуманные элементы действительности и небрежно выписанные герои и обстоятельства, хотя, может, еще и объективно существующие, но всем уже слишком хорошо известные.

2

Даже такой романтик, как Ламартин, не смеет прибегать к подобному способу описания, когда повествует о своем сказочном восточном приключении вместе с женой, десятилетней дочкой Жюли, несколькими слугами, тремя друзьями, один из которых семейный доктор, на специально арендованном для этих целей морском корабле. И еще не будучи депутатом.

Это в 1832 (!) году.

А в 1833 году уже нет более несчастного человека. Он уже депутат, но во время путешествия в Бейруте умирает Жюли. Убитый горем Ламартин сокращает маршрут и направляется в Константинополь. Он называет престольную Святую Софию "караван-сараем Бога" и оплакивает агонию христианства. Пересекает Родопы и тоже чуть не умирает, но не в Филиппополе и не в объятьях одалиски (тетушек и сестры Мавриди!), а на соломенном тюфяке в пазарджикском селе Еникей, на голом земляном полу и под зорким взглядом убитой горем супруги. И не от болотной лихорадки, которая может осложняться менингитом, менингоэнцефалитом, гепатитом и острой почечной недостаточностью, а от "простуды и воспаления крови вследствие скорби и истощения", как пишет сам поэт.

Какие строки о Болгарии оставил бы нам Ламартин, будь он жив и следуй он по стопам такого сочинителя, как Королев, в его нынешнем путешествии к хиатусу!

И узнали ли бы мы вообще о том, что как-то июльским вечером летом 1833 года (sic!) недалеко от Пловдива Ламартин увидел тучу скачущих галопом ту-

рецких, армянских и греческих всадников. Первым к нему подъехал красивый юноша на великолепном коне и коснулся пальцем его одежды. На чистом итальянском языке юноша объяснил, что согласно их обычаям поэт должен посетить его дом. Ламартин согласился, отказавшись принять настойчивое приглашение самого губернатора Филиппополя, как назывался тогда Пловдив. В сопровождении 6080 всадников он вступил в тридцатитысячный город, который столпился на улицах и у окон, встречая его, в тот же вечер в дом Мавриди пришли засвидетельствовать свое почтение писателю первые лица города, а через три дня поэт продолжил свой путь в Париж. Вскоре после Татар-Пазарджика, заваленный дарами местного феодала, сына бывшего визиря Хусейн-паши, он остановился на ночь в Еникее (сейчас Ново Село). Спать ему пришлось на хворосте в шалаше без окон, и он заболел так, что думал – ему конец. Он позвал своего друга Кальма, чтобы отдать последние распоряжения: закопать его под деревом на краю села, а на могиле положить камень с единственным утешительным словом: "Бог". Жена не отходила от его постели пятнадцать суток. Слух о смертоносной болезни дошел до Пловдива и до ушей Мавриди, который вместе со своим личным доктором отправил в Еникей прислугу, лекарства, мебель и еду. Не опоздал и караван, посланный губернатором Пазарджика.

Ничто не помогло.

Спасли его шестьдесят болгарских пиявок, которых по страстной просьбе жены поэта наловили в местных болотах крестьяне. Пиявок поставили на виски и грудь больного, чтобы те отсосали плохую кровь, и на шестой день смертельная опасность миновала.

Так, во всяком случае, утверждает поэт.

И все Ново Село.

3

Постепенно возвращаясь к жизни, Ламартин не прекращает наблюдать и изучать происходящее вокруг.

"Нравы у болгар, – пишет он, – как у наших швейцарских крестьян и савойцев: эти люди простодушны, кротки, работящи, исполнены религиозного усердия и уважения к своим священникам... Священники – обычные крестьяне, пахари, как и все... Болгарское население – несколько миллионов и постоянно увеличивается, живет в больших селах и маленьких городках, отдельно от турок, которые круглый год объезжают села, собирая дань... Одежда у них как у немецких крестьян, а женское платье напоминает швейцарское; женщины и девушки красивые, живые и милые. Их нравы – хотя они не носят паранджу, как турчанки, и свободно общаются с мужчинами – показались мне чистыми... Болгары презирают и ненавидят турок и полностью созрели для того, чтобы обрести свободу [1833! – прим. мое] и вместе с сербами создать основы будущих государств Европейской Турции... Земля, которую они населяют, могла бы стать прекрасным садом, если бы не страшный гнет не со стороны правительства, а со стороны турецкой администрации..."

Какова же истина, спрашиваю я Толю, – с позиции
2007 года? И прежде чем он ответит, спешу
его успокоить: истина такова, что
спустя 175 лет Болгария сво-
бодна, не созрев для
свободы.

Мрамор вдохновил меня воскликнуть, простирая руку к зениту.

— Георги! Когда-нибудь рядом с Ламартином появятся наши имена. Здесь 21 октября 2003 года болгарский поэт Георги Борисов и русский писатель Анатолий Королев сочиняли великий "Хиатус"!

И мы трое — Георгий, Стоян и я — по братски обнялись.

Стучим в запертую дверь.

На стук выходит старик с парализованной рукой. Это Саша, сторож пловдивского Парнаса, давний поклонник песен Георги, который, напевая под нос его популярную песню о море, ведет нас по широкой лестнице на второй этаж, где по периметру круглого зала расположены комнаты для гостей, куда ведут прекрасные двери. По всей видимости, когда-то здесь находился гарем падишаха, дверь вела в объятия, а в зале на подушке сидел евнух, которого на всякий случай не только выхолостили, но и ослепили.

Я выбираю комнату, где жил Ламартин, а Георги и Стоян комнату, где сейчас живет привидение Ламартина.

Из моего окна чудесный вид на панораму города. Слева и справа окно обрамляют узкие доски, смысл которых мне непонятен. Любуюсь очертаниями зданий.

Боже мой, какую страну мы потеряли!

В уютном зале на втором этаже ресторана "Старый Пловдив" нас окружают фотографии старого Пловдива и юркие официанты.

Открываю меню и — бац — мордой об стол. В меню нет никаких следов любимого болгарского блюда "гювеч". Зато все точь-в-точь как в путеводителе Гельмута Вайса: в болгарских ресторанах живет дух венских кафе, здесь всегда можно отведать шоколадный австрийский торт "Захер" и разнообразные венские сладости. А вот Симеону Второму[1] (продолжает путеводитель) нравятся современные болгарские вина, которые болгары часто разливают в кувшины и пьют из керамических стаканчиков с традиционным орнаментом, что придает более домашний вид всему застолью, к тому же такая посуда лучше сохраняет нужную температуру вина. Правда (подводит горький итог путеводитель по Болгарии), эта керамика совершенно не годится для дегустационных целей, например, она не дает насладиться дивным цветом болгарского красного вина.

Я огляделся по сторонам: прав, прав мой верный Гельмут — никто из посетителей ресторана и не думал наслаждаться цветом вина, все как один пили ракию и ели с таким зверским аппетитом всякую снедь, что от хруста челюстей лаяли собаки в соседнем дворе.

Ну почему болгары не немцы!

Обычный болгарин обязательно с пузом, кажется порой, что он спрятал под рубашкой живого поросенка, который повизгивает и трясется при каждом шаге, назло экспансии Османской империи. Но вот загадка для немца, как в этой упитанной плоти может жить целый сад соловьиного пения! Когда мы вернемся в Софию, Георги познакомит меня с легендарным болгарским певцом Бойко Цветановым.

1. Симеон Второй — болгарский царь (1943—1946). Долгое время жил в Европе, вернулся на родину в 1996 г. С 2001 по 2005 гг. был премьер-министром Болгарии. В настоящее время — лидер национального движения "Симеон Второй".

Бойко — вот образец болгарина, в круглом теле которого прячется целый сад соловьев.

Но мы отвлеклись. Вернемся в ресторан "Старый Пловдив" к подаче самого главного блюда этого вечера. Имя этого блюда — Пламен Масларов, самый оригинальный человек Софии после Георги, с которым я познакомился в тот знаменательный час.

Стоило ему только войти в дверь, как весь ресторан вперил в него глаза, налитые ракией. В тот вечер Пламен был одет в турецкий национальный костюм с алой феской на голове. Все турецкое — его страсть, а Кемаль Ататюрк — любимое блюдо его размышлений. В минувшие парламентские выборы Пламен пришел на избирательный участок в Софии в этом же костюме и его — надо же! — заставили немедленно покинуть помещение, не превращать выборы в пошлый спектакль и надеть что-нибудь приличное. Оказывается, если ты одет во что-то турецкое, то в Болгарии тебя считают голым.

Отклонение от маршрута восьмое (возрожденческое[1])

Специально на первые в нашей стране свободные выборы Пламен получил из далекого тогда Стамбула лиловые шаровары и белую расшитую рубаху. Шаровары были такие широкие и длинные, почти до земли, что он в них удивительно напоминал Маленького Мука. В таком виде непосредственно в день выборов, когда запрещена любая пропаганда и продажа алкоголя, Пламен вышел на балкон и начал бросать жвачку и конфеты детям своего квартала, призывая их скандировать: "ДПС! ДПС!"[2]. Дети воодушевленно кричали, скакали до изнеможения, не сводя с Маленького Мука исполненных преданности и восхищения глаз. Эта акция ребятни была столь неожиданной для властей и местных активистов, что длилась несколько часов, пока родители силой не увели детей домой. Однако вечером при подсчете голосов обнаружилось, что за ДПС был отдан только один голос. Все, естественно, посчитали, что это был голос Пламена Масларова, который наверняка выторговал у лидера Движения за права и свободы Догана что-то выгодное для себя, возможно, транш на очередной фильм (кроме того, что Пламен прославился как скандальный режиссер и продюсер, снявший десятки художественных и более пятидесяти документальных фильмов, он снимал и предвыборный клип ДПС). Тогда Движение делало свои первые робкие шаги и немногие его поддерживали, да и не старалось оно мозолить глаза. Болгария раскололась на две части и яростно голосовала за демократов или социалистов. Для третьей политической силы места не было, никто тогда и предположить не мог, что наступит момент, когда нашей страной будут управлять турки в союзе с коммунистами и монархистами. Я знаю Пламена со школьной скамьи и уверен, что, если бы тогда он голосовал за ДПС, сегодня был бы по крайней мере министром культуры. Но он не стал министром. Он про-

1. Возрожденческой называлась акция, проводившаяся при Тодоре Живкове по принудительной замене турецких имен на болгарские — для поддержания национальной однородности общества.
2. Движение за права и свободы, основанное турецким меньшинством.

сто любитель эпатажа, и ему нравилось среди всеобщей эйфории, расхаживая в шароварах и феске, напоминать людям, что несколько лет назад мы все были подспудными участниками протекавшего гладко и незаметно Возрожденческого процесса, при котором у нас меняли не шапки, а имена и головы.

Мы сразу нашли общий язык.

Пламен предложил обсудить философские аспекты секса. И сказал, что близость – это потеря, то есть в постели в самый пик наслаждения муж и жена забывают друг о друге. Георги вспомнил слова маркиза де Сада: для того чтобы насладиться партнером, надо лишить предмет наслаждения всяких признаков личности. Я изложил Пламену свой взгляд на коитус: в момент любви мужчина и женщина переживают роды ребенка. Вот почему этот миг так сладостен. Секс – это роды без боли, а фаллос, по сути, играет роль пуповины младенца.

Итак, прощай, Фрейд, ты не прав, близость – это слипание в одно целое, это женско-мужские роды, а не секс.

Только мы вышли из "Старого Пловдива", как к Пламену подлетела вечерняя оса – ее привлекла алая феска, и тут Георги продемонстрировал свою поразительную быстроту реакции – он спокойно перехватил в воздухе осу, словно сорвал с ветки спелую оливку, с любопытством Фабра рассмотрел это наглое насекомое и отпустил его на волю.

Увы, я в лучшем случае могу схватить рукой только птицу, да и то если она низко летит.

Пьяный Георги – великолепен! Его стихи гениальны.

В поисках точных сравнений я открываю путеводитель.

Вот то, что нужно. Георги – это Балканы.

Его линия дня похожа на профиль Балканских гор: начало – скучноватое плоскогорье, где-нибудь в районе Казанлыка, то есть похмелье, затем в права вступает гекзаметр, жизнь обретает цель и запах долины роз, как пересохший рот – глоток красной лавы вина "Мерло"; полдень, гекзаметр сминает равнину в череду гористых пиков: Энин сменяет Шипченский перевал, затем следует Тетевен. Тетевен сменяет Гложен, а вот пик Георги Борисова, вершина Балкан – Ботев (2376 м). Весь пейзаж скомкан в горы штормом страстей. Поэт исполняет танец вертящегося волчком дервиша. Он плюет раскаленным потоком ос или ядом кобры. Счастлив тот, кто получит яд от поэта, это целебный яд.

Внезапно танец обрывается, душа поэта погружается в полночь.

Орфей спит.

Сон поэта описан в путеводителе как фракийская гробница в Казанлыке.

"Двухметровый коридор ведет в усыпальницу духа. Фрески на стенах прохода изображают две враждующие армии; душа Георги – бой враждующих армий. На куполе – мужская и женская фигуры. Они тянут друг к другу руки. Этот сюжет символизирует переселение души из царства живых в царство мертвых".

Что ж, день Георги состоит именно из путешествий на тот свет и обратно.

На редкость проникновенные слова. Как говорила в свое время одна поклонница: "Вы рассказываете так, словно сами там были".

Отклонение от маршрута девятое (потустороннее)

Пребывая на полях борьбы духа и страстей, поэт с годами превращается в посредника между живыми и мертвыми. Каждую ночь его душа покидает тело и терпеливо переносит послания туда и обратно. В мире "Хиатуса" он – ангел-вестник. Бесконечные шеренги мертвых жадно впитывают новости из мира живых – помнят ли о них там, внизу? – и нагружают его своими новостями. Утром поэт просыпается разбитым, все его тело болит, во рту привкус крови. Вокруг глаз – огромные тени, солнце слепит, как прожектор. Он идет, пошатываясь, и рыгает словами. Живые бегут от него как от облученного. Редко какое-нибудь доброе существо приютит его, даст воды и станет слушать, пусть даже ничего не понимая, а, бывает, еще и скажет что-нибудь... Сильные мира сего давно списали его со счетов, хотя втайне и побаиваются. Втайне они преклоняются перед ним и мечтают о том, чтобы он их воспел. В душе они его ненавидят. Если и допускают к своему столу, то только для того, чтобы он был у них на виду и чтобы развязать ему язык, пока тот у него еще не отсох. Однако чем больше они опаивают его, тем светлее становится его голова, сильнее и стройнее тело. Неожиданно шум вокруг стихает, и в наступившей мертвой тишине он читает их мысли. Воздух наполняется жужжанием, делается все более звучным, все более напевным. Мир живых перестает вращаться, оса в чаше бытия застывает, мысль приобретает цвет и звук. И тогда наступает его черед. Черед ритуального танца, когда, не отделяясь от земли, поэт начинает вращаться вокруг земной оси с такой скоростью, что превращается в ее продолжение, в ее алмазную сущность и вершину. На какое-то мгновение он становится неподвижным и летит, словно стрела, рассекая воздух. С поразительной точностью и убийственным хладнокровием хищника
и укротителя хватает он оси
слов и глотает их, глотает.
Пока не перестает
дышать.

Между тем до полночи еще далеко, и мы одним махом переносимся в стеклянный ресторанчик, где Стоян представляет нас своему давнему другу Христо Данову, который изумил меня, как изумил вид на античный стадион в Пловдиве. Настоящий фракиец! Его взгляд обрезает пальцы. Он похож на Марлона Брандо в роли дона Корлеоне из знаменитого фильма Фрэнсиса Копполы "Крестный отец". От Христо исходит мощная сила и уверенность в себе, как от гладиатора на римской арене. Только вместо меча в его руке мобильный телефон, который беспрерывно звонит. Он — знаменитость, легендарный футболист, бывший центрфорвард национальной сборной страны.

Отклонение от маршрута десятое (царственное)

Здесь следует уточнить, что речь идет не о первом болгарском издателе Христо Груеве Данове и не о его славном потомке, как мог бы ошибочно предположить какой-нибудь ярый поклонник писательского сословия, а об одном из

первоапостолов брокерского движения у нас – Христо Георгиеве Данове, с которым мой брат учился в институте. После того как Стоян уехал специализироваться по сортировке мусора в Швейцарию (какой прозорливый, хотя и все еще проигрышный в болгарских условиях ход!) и после падения Берлинской стены, когда открылись невиданные ранее возможности для беспрепятственного перемещения огромных человеческих и денежных ресурсов, Христо блестяще провернул несколько непостижимых для нас – создателей непреходящих ценностей – финансовых операций, поставив на колени множество крупнейших болгарских экономистов. Вместе со своим тезкой и на деньги многочисленных сельских тружеников из самых плодородных районов Болгарии он основал всемогущий "Агробизнесбанк" и вынудил банкира № 1 купить его за один лев, после чего оказалось, что ловкие соучредители безвозвратно выкачали из него 22 миллиарда. Между прочим, он умудрился возглавить и Болгарский футбольный союз во время чемпионата мира в США, где наши заняли четвертое место! Сколь неотразимое впечатление оставил этот немногословный парень у российского мастера слова, можно судить и по утверждению Толи, что спустя полгода он видел его на Манежной площади в Москве. Там, в непосредственной близости от Кремля и Вечного огня у Неизвестного солдата, расположен подземный торговый комплекс "Охотный ряд", где человек может бесплатно исколесить весь мир, посетив триста магазинов, следуя за последними криками моды всех центров планеты. Любознательный Толя пробирался вниз по эскалатору к днищу гигантского лайнера и его самой удаленной точке под названием "Пивной трюм", когда в одном из двух панорамных лифтов увидел Христо Г. Данова. Бывший банкир был совершенно один и возносился к куполу центрального атриума подобно золотому изваянию Зевса в исполнении Фидия, но в полный рост. В ту же ночь, через несколько часов после выборов российского президента, полыхнул Манеж. Горел так, как не горела Москва со времен Наполеона и Рейхстаг со времен Гитлера. "Ты на что намекаешь?" – прервал я словоизлияния Толи и, слегка озадаченный, положил трубку.

Несколькими годами позже я путешествовал по Долине фракийских царей в окрестностях Казанлыка с другим русским любимцем муз, легендарным Юзом Алешковским, когда одно платиновое "БМВ" вынудило наше красное "пежо" с огненно-желтой надписью "Жанет 45" на багажнике съехать на обочину и остановиться. Это случилось неподалеку от города Баня, Пловдивского или Карловского округа, точно не знаю, спросите гражданина Симеона Борисова Сакскобургготского, он, насколько мне помнится, официально считается жителем Бани, где у него была какая-то недвижимость, во время выборов его даже возили из столицы туда голосовать, в связи с чем он решил объявить неприметный маленький поселок городом... Стекло "БМВ" плавно опустилось, и мужчина без бровей и без возраста, с обритой головой и в непроницаемых черных очках, сидевший за рулем, обратился ко мне. В первый момент мне показалось, что на сиденье рядом с ним я вижу болгарский триколор; я подошел и увидел ящик со снежно-белыми головками зеленого лука, гладкими, как форель, огурцами и крупными, с головку ребенка, помидорами. "От господина Данова", – бесстрастно сообщил даритель и опустил визитную карточку своего шефа в помидоры. Я с трудом погрузил ящик в багажник и вернулся в машину. Все в машине недоуменно молчали, только Юз осмелился нарушить тишину и спросить, от кого эти овощи. Отозвался лишь мой брат, который сидел за рулем и собирался закурить. Оказалось, что пока Ицо был под следствием, а его компаньоны один за другим садились в тюрьму, он основал самую преуспевающую овощную биржу в

округе и теперь предлагал нам принять этот скромный дар, состоящий из выращенной в его теплицах майской продукции. Самым потрясающим было то, что всего за несколько минут до этого Юз, лагерник со стажем и страстный кулинар, заклинал нас остановиться в Бане, чтобы купить свежие овощи. И вообще, стоило ему где-то по дороге завидеть прилавки со свежими овощами, он бросал все и, не обращая ни на кого внимания, устремлялся туда. Я тут же позвонил, чтобы поблагодарить Ицо, которого не видел со времени позорного ужина в "Экстазе" и которого, по мнению Королева, тоже стоило посадить в тюрьму за поджог Манежа. Весьма торжественно я поприветствовал его, пообещав ему книгу с автографом Юза, который уже подписывал только что изданный болгарский сборник детективов для своего собрата за решеткой. Я, как бы между, прочим спросил, не бывал ли он
в Москве после той встречи
с Толей? Но Ицо уже
положил трубку.

Мы вернулись в дом Ламартина около двух часов ночи.

Георги и Стоян расположились в большом двойном номере напротив моей двери, а я, погасив свет, распахнул окно в звездную ночь над Пловдивом. Бог мой! С темного холма открывался потрясающий вид на панораму небес с великаном Орионом в полночном зените. Устремив взгляд на его талию, я мысленно считал арабские звезды на его сверкающем поясе: Альнитак, Альнилам, Минтака.

Могучий титан неколебимо сдерживал натиск рогатой косматой туши Тельца, украшенного огромным, дымящимся кровью глазом рубиновой звезды Альдебаран, не пуская быка к реке вечной жизни Эридан, исток которой брезжил алмазами на дне ручья у левой ноги Ориона.

За моей спиной печально вздохнул Ламартин (1790—1869).

Я замер, чтобы не спугнуть привидение.

Ах, вот оно что! Я случайно попал в комнату, где Ламартин чуть не умер во время своего путешествия по Востоку. В Пловдив его привезли в коляске и внесли на руках в этот самый дом французского посланника.

Донеслось неясное бормотание. Я прислушался.

Призрак бредил стихами злобного парижского гения о пловдивской проститутке.

22 октября
Пловдив–Бачковский монастырь–Пловдив

Солнечное утро. Проснувшись, я первым делом открываю путеводитель. Смотрю на карте — насколько далеко от Пловдива находится море? Рядом! Мой палец выбирает лакомство — портовый Бургас.

Побывать в Болгарии и не увидеть моря?

Да вы смеетесь!

Возвращение в Софию откладывается.

Георги и Стоян ликуют от моего предложения. Может быть, там, у моря, дает понять Георги, его бедный брат Стоян наконец распрощается с девственностью.

Солнце превратило Дом Ламартина в лужайку рая.

Завтрак: кофе, свежие булочки и омлет с сыром на каменной террасе из рук добрейшей хозяйки Веры кажется чудом. Тень от чашки на круглом столике крепка, словно арабский кофе, а отражения от белых стенок наполняют утренний садик лепестками белизны. Вера вспоминает, как по путевке ездила в СССР. Для нее нет ничего слаще социализма.

Будет жаркий день.

Солнце — египетский диск.

Ветерок вторит словам фараона Эхнатона: лишь ветер связывает нас с потусторонним.

Мы спускаемся по узкой улочке к стене, где чернеет дверь. Под лай собак Георги достает из кармана ключ, подаренный Миа, и открывает тугой замок: бог мой! За стеной античный амфитеатр! Кольца сидений вдоль склона спускаются к круглой сцене, где красуются осколки античных колонн и мраморные статуи. Ни в Греции, ни в Риме нет такого амфитеатра, как в Пловдиве! Его соразмерность идеальней Парфенона. Тенью Платона я спускаюсь по ступеням на сцену Софокла.

Античный город строился вокруг амфитеатра как зрелище.

А вот русские города на Урале окружали заводы.

Миа и Ружа поджидают нас в маленьком армянском кафе, где можно задолго до полуденного обеда отведать горячий протертый супчик из овощей.

Прямо из кафе я, Георги, Миа и Ружа садимся в машину Стояна и едем в Бачковский монастырь, который расположен всего в двадцати восьми километрах от Пловдива. "Все больше молодых болгар идут в монастырь (пишет путеводитель), где они вновь обретают веру, забытую было во времена социализма". Армянский супчик приятно плещется в животе. От берега реки Асеницы поднимаемся к монастырю, где любуемся страшными фресками великого мастера Захария Зографа.

В тесном храме пусто, только две зловещие бабы моют пол.

Меня по-прежнему мучает тайна болгарской ереси, почему именно тут, на фракийской земле, родилась мысль о равном владычестве Бога и Дьявола? Вот и фрески Зографа дуют в ту же дуду: черти нарисованы словно живые, а люди как нелюди. Зло исполнено здоровой силы огня и даже какой-то огненной похоти, языки огня полны адского свинства, а вот святые у Зографа бесполы, не мужи, а бородатые девственницы. Их аскетизм пресен, словно блюдо без знаменитого красного болгарского перца.

Святость явно скучна для художника.

Ружа вместе со мной любуется фресками, она явно трезвеет от обилия икон и потрескивания свечей.

В православных храмах важно пережить страсти Христовы, вот почему свеча жалит каплями кожу на руке, никто не даст свечку в подсвечнике. В католическом храме главное — пережить сверкание грозы в час казни на Голгофе, вот откуда такое внимание к игре света. И вдобавок орга́н. Голос человека недостоин восходить к трону Предвечного! Ватикан молится голосом города.

Но мне милее глухота православного храма.

Щипки капель свечи, горячих, как кровь Спасителя.

Стоян вспоминает, как молодой Георги провел юность в Рильском монастыре, где жил в келье, подрабатывал гидом и читал Гегеля.

Стоян в душе гордится своим братом, великим поэтом.

Отклонение от маршрута одиннадцатое (кораническое)

Тогда, мне кажется, Толя пропустил мимо ушей, или я не посмел воспламенять его воображение коротким рассказом, который, я уверен, мог бы поразить его как снарядом с минарета Айя-Софии. Рассказом о том, как в монашеской келье суровой Рильской обители я, читая лекции Гегеля по истории философии и слушая ангелов под огненными шарами звезд, однажды ночью тайком пролистал первое болгарское издание Корана. Я откопал его в тот день в монастырской библиотеке – этой твердыне болгарского духа и крепости христианства! В те времена и Библия, и Коран были у нас запрещены, или скорее не получили одобрения Святого синода БКП[1] *и Главного муфтия мусульман, а перевод Корана был настолько плохим, что мог бы отвратить и самого ревностного почитателя. Но несмотря на это, днем с помощью лупы я показывал французским туристам фигурки (650 !), величиной меньше чечевичного зернышка, на самшитовом кресте монаха Рафаила, который и ночью бил поклоны и портил глаза, читая суру за сурой. То обстоятельство, что я предавался исламу в сердце православия и сексуального атеизма, наполняло меня янычарским бешенством и пророческими видениями о его глобальном наступлении.*

Соль

Про соль я не слыхал в те времена,
Но боги втихаря за мной шпионили,
Их гончих псов прикармливал с ладони ли,
Читал ли звезд ночные письмена.

На свой корабль, чей путь неуследим,
Меня швырнули, сильные и грозные,
Чтоб я без сна вникал в скрижали звездные
И путь богам указывал по ним.

Их путь был труден, нрав их был свиреп –
Они орали пьяною оравою.
Соль языка их, вязь его корявую
Учил я в трюме и впотьмах ослеп.

Тогда меня во мраке на горбу
Внесли на мачту, острую, еловую,
И водрузили, выдав службу новую:
Повзводно звезды выстроить в судьбу.

1. БКП – Болгарская коммунистическая партия.

Я различал зловещий дальний вой –
Утратив зренье, не лишился слуха
И слышал, как валы кипели глухо
И сонмы крыс возились подо мной.

И вот уже нахлынуло, и вот
Трещит обшивка, волны хлещут с грохотом,
И боги жгут корабль и мчатся с хохотом
Туда, где их другая жертва ждет...

Монахи, сыр сбирая у мирян,
Меня нашли и взяли – не обидели.
Теперь пасу их коз у стен обители
И наизусть читаю им Коран.

В селенья, что от моря далеки,
Я соль вожу в арбе скрипучей.
Волы и те меня узнают издали,
Едва завидев черные очки.

Я покупаю свечу и несу ее к огромному подсвечнику, где горят десятки свечей. Внезапно одна из зловещих баб-поломоек жабой кидается в мою сторону, замахивается тряпкой и что-то грозно рычит. Я оглядываюсь в поисках Ружи, но Ружа словно провалилась сквозь землю.

Тут на мой вопль из-за угла храма выходит Георги: уф, я спасен.

На берегу стремительной горной речушки в ресторанчике для туристов, который навис над водой, как гнездо ласточки, мы заказываем рыбные блюда: барабульки на гриле, речную форель, запеченную в тесте.

Грохот воды придает нашему пиршеству острое чувство живой рыбы.

Нас обслуживает молодой официант, который узнал Георги в лицо и стал напевать его знаменитую песню про море. Георги стал подпевать и пританцовывать с блюдом форели в руке. Орфей! Честное слово, Орфей!

Любуясь горами, я горько восклицаю: какую страну мы потеряли – все покатываются от хохота.

Моя попытка опять заплатить за себя вновь не увенчалась успехом.

Официант объявил, что хозяин никогда не возьмет денег у великого поэта и его друзей, и поставил вдобавок от ресторана на стол бутылку вина " Мавруд". Я все больше и больше убеждаюсь в том, что в Болгарии невозможно потратить деньги!

Солнце начинает клониться к закату, и мы спешим продлить день – все выше и выше к горной крепости полководца Асена. Взбираемся на вершину и догоняем солнце. Когда-то эта крепость угрожала владычеству Турции.

Куб слепленных человеком камней производит впечатление гнезда святой ярости.

Я прошу показать, где великий Стамбул?

Георги сначала показывает в ту сторону, где раскинулась благословенная Греция, а затем на линию гор, за которой затаился Стамбул. Оказалось, до турецкого мегаполиса рукой подать. По прямой лету едва ли полчаса на спортивном самолете. Слышишь? Я прислушался и услышал слабый звук идущего поезда, это летел по рельсам в сторону Босфора знаменитый восточный экспресс "Лондон–Стамбул". В горной тишине было различимо даже, как позвякивают вставные челюсти спящих английских туристов.

Отклонение от маршрута двенадцатое (орфическое)

В подножье Асеновой крепости, в направлении, обратном Греции и Турции, в подножье самой космической горы Родоп, таящей в своих складках голос Орфея, зреет и выдерживается легендарный "Мавруд". Это густое, глубокое и полное видений вино – пророческое. От него веет духом жертвенных костров и дубовой листвы. Оно видело много крови и сечи, и его нет больше нигде в мире. Только здесь, в предгорьях Родоп, где одинаково буйно прорастает всякая вера, берет корни и напитывается огнем со времен фракийцев "Мавруд". Этикетка в виде неказистого цветного рисунка крепостной церковки Пресвятой Богородицы Петричской наклеена на бутылке "Мавруда", и бутылки его видны издалека. Как видна издалека и сама крепость, впившаяся ногтями в нависающие пики над пропастью и над простирающейся к югу горой. У кого
кружится голова и подкашиваются ноги от
высоты, лучше сюда не ходить. Но кто
хочет увидеть поющую голову Орфея
и услышать Вселенную,
милости просим.

23 октября
Пловдив–Солнечный Берег

Утром первым делом заглядываю в свой кошелек.

Так и есть, я опять не истратил ни одного лева!

Отклонение от маршрута тринадцатое (апостольское)

То же действие совершаю и я, но результат обычно плачевный. Поэтому поутру я не роюсь в карманах, лишь осторожно пощупываю подкладку – не шуршит ли там некая бумажка... Но если вижу, что рядом никого нет, начинаю лихорадочно выворачивать карманы. Иначе день прожит впустую!.. Но случай с Толей, как и все, о чем он пишет, действительно уникальный, он не смог потратить ни одного лева, как ни старался, как ни пытался шиканут. Это его явно смущало! Почему? Ведь он же не за письменным столом у себя в России, а в

Болгарии! Таких проблем во время нашего путешествия, как ты уже мог убедиться, читатель, у меня вообще не возникало. У нас теперь крайне редко кто-нибудь удосужится тебя угостить. У нас и гостей не зовут. Боже упаси пригласить кого-нибудь на ужин, не только весь недельный съестной запас уничтожат, но даже кости для собак обгложут. Единственный человек, который угощает меня со всей щедростью, а когда приезжаю к ним домой, то принимает меня как крупную политическую фигуру (они много едят и пьют) – это Божана Апостолова. Как раз о ней сейчас и поведет речь Толя. При этом Божана – дама, а не только миллионерша... (Описывая ее дом, Толя еще не знал, что через полтора года мы с ней издадим его первую на болгарском языке книгу.)

Стучу в номер Георги: кто вчера платил в ресторанчике "Пицца"?

– Никто! Повар – друг Стояна, при коммунистах они вместе работали в ЦК Болгарского комсомола, в отделе туризма.

– Поклянись, что сегодня я буду платить!

– Клянусь, – божится Георги и отводит глаза в сторону.

Едем на такси к поэту и крупному издателю, миллионерше Божане Апостоловой. Прекрасный особняк с видом на гору и памятник русскому солдату Алеше. Прекрасный стол, где особенно удались жареные баклажаны с сыром, которые приготовила сама хозяйка. Отличная коллекция вин в подвале, куда мы спускаемся вместе с Георги отыскать красное божоле 1999 года, когда урожай винограда был особенно хорош. Каменный подвал длиной в 50 метров. Слева и справа стеллажи с бутылками вина. Чего тут только нет: от сокровищ рябит в глазах. Вот какой должна быть могила поэта!

Я бы сказал: рабочий кабинет.

Божана показывает мне коллекцию абстрактной болгарской живописи, картины развешаны на стенах ее трехэтажной квартиры. Я изумлен отменностью ее вкуса. Практически все картины – штук 50! – были первоклассного качества. Абстракционизм исключительно труден для оценок. Выбрать классную работу – тут нужен нюх ищейки. У Божаны исключительный вкус, только одна-единственная картина в спальне показалась мне слабой и ученической. Оказалось, что это работа мужа Божаны Чонского, то есть не живопись, а дань уважения.

Эта картина – личный подарок Чонского, и она ему нравится. В конечном счете, спальня у них общая. Раньше он никогда не рисовал.

Не скрою, я был ошеломлен – эта маленькая энергичная женщина умела делать не только деньги, она стала музой болгарского абстракционизма. Вот еще одна достопримечательность Пловдива, господин путеводитель Гельмут Вайс – не меньшая, чем мечеть Джумайя Джамийя, – Божана Апостолова и ее коллекция живописи.

Позже, когда, вернувшись в Софию, Георги познакомил меня с великим певцом Бойко Цветановым, я вспомнил Божану и снова поймал себя на мысли: болгарский гений живет в кувшинах из глины. Круглый брутальный шутник Бойко, похожий на бочонок для вина, совершенно

не соответствовал образу классического оперного певца. В нем нет элегантности Пласидо Доминго или барочного аристократизма Лучано Паваротти. Паваротти похож на пьяный средневековый галеон, груженный пряностями, тучу которых выдувает голос из трюма. Бойко типичный Санчо Панса, слуга своего гения. Но стоило ему только запеть, вполсилы запеть, как стекла в мастерской скульптора Георги Чапкынова (Георги зовет его Чап) задрожали от восторга. Ясно, почему Бойко завидует сам Хосе Каррерас. Невероятной красоты и мощи голос жил в теле Бойко, как живет сам бог вина Бахус внутри огромной бочки в подвале винной избы в Мелнике, в Кордопуловой куще. Так поет волшебный кувшин из глины, проглотивший ночной Гефсиманский сад заодно с поющими соловьями и молитвой Христа.

Вот, наверное, где скрыта тайна болгарской ереси, все болгары — пленники духа, сторожа своих пещер, монахи оперы, слепые Циклопы, стерегущие Ничто и Никто (Одиссея).

Бойко не пел, а выпускал стадо овец из пещеры, и ослепший глаз циклопа на его лбу заливал лицо и пол пещеры горячей кровью.

Именно в таких норах у подножия скал любят прятаться от солнца демоны.

Болгары — гнезда, где откладывают яйца орлицы.

Бойко рассказал, как много лет назад ему приснилась гадалка, которая нагадала ему всякие ужасы, сказала — имя твоей жены состоит из четырех букв, первая из них буква "В". И прокляла его. Ты умрешь на седьмой год после рождения, а родит тебе жена через три года.

Бойко проснулся в ужасе посреди ночи и больше не мог заснуть.

Было это (я не запомнил), кажется, в Гамбурге.

Тогда он был холост и не помышлял о женитьбе.

Голос гадалки был так ужасен, что Бойко стал слабеть с каждым днем и — вдруг! — через неделю ему снится новый сон, залитый светом. Открыв глаза внутри сна, Бойко увидел в небе над своей головой икону святого Георгия и услышал голос святого Георгия: "Ты победишь!"

Святой сон отменил проклятие, и Бойко буквально ожил.

А вскоре, на гастролях, выйдя из театра после спектакля со служебного входа, кажется, это опять было в Германии (и я опять не запомнил), в Берлине или, может быть, в Мюнхене, он обратил внимание на стоящую в стороне девушку и почему-то сам подошел к ней.

Ее звали Валя.

— Так я познакомился со своей будущей женой, — закончил Бойко. — Мы живем вместе уже двадцать два года. Святой Георгий отменил силу проклятия.

Отклонение от маршрута четырнадцатое (оперное)

Все началось и закончилось в Софии (см. подзаголовок "Хиатуса"!) во время концерта средневекового мадригала в зале "Болгария" с участием солиста Народной оперы Бойко Цветанова... Пока пел, Бойко увидел в первых рядах удивительно красивую девушку, засосал воздух, как кит океан, и залился самыми что ни на есть душераздирающими фиоритурами, а между верхним "си" и

верхним "до" явственно услышал голос: "Ты женишься на ней!" После концерта, не помня себя, он бросился к выходу и там, ничего не говоря, рухнул перед Валей на колени. Так летающая икона святого Георгия опустилась ему на плечо, или, точнее, Бойко устремился вслед за ней. И как ей не опуститься на плечо и как ему не полететь, если это самый звонкий тенор из всех, которые мне доводилось слышать, не то что черепица запляшет, но и небо разверзнется, чтобы ангелы могли спуститься и сесть рядом с ним. Что же остается таким великомученикам, как мы со святым Георгием... Голос у Бойко звонкий, как дамасская сабля, верхи бриллиантовые, и к тому же мягкий, как лазер!.. Его дебют на мировой сцене начался прямо с верхнего "до" – с роли Певца в "Кавалере розы" Рихарда Штрауса в Вене (!), самой сложной и красивой оперной арии в мире, которую ни один тенор не берется исполнять. Бойко единственный! Его успех был ошеломляющим: Цюрих, Дрезден, Мюнхен, Гамбург, Лилль, Берлин, Барселона, Анкара, Токио, Бразилия, Москва, Триест, Тоскана, Будапешт, Верона, Прага, Шанхай, Афины. Скромный Бойко из Подуене становился все выше и выше. Непостижимый. Неузнаваемый. Он Калаф в "Турандот" в Японии и Штатах, Каварадоси в "Тоске" во Флоренции и Дубровнике, Полион в "Норме" в Париже и Лас-Пальмасе, Герцог в "Риголетто" в Шанхае, Карлик в Афинах...

Я был в Цюрихе на одной из последних репетиций "Иродиады" Массне. Роль Иоанна Крестителя была дана Бойко, но на премьере должен был петь Каррерас. В тот день была очередь Бойко, поэтому он и забронировал нам с братом места в первых рядах. Каррерас сидел через несколько кресел от нас. Когда он услышал первый си-бемоль Бойко, с ним случился тик, и он покинул зал. Больше он не появился. На премьере и до конца сезона пел только Бойко.

И последняя подробность. Бойко единственный в мире тенор, который пел перед японским императором. Ну с еще несколькими знаменитостями, прилетевшими в Страну восходящего солнца, чтобы представить "Джоконду" Понкьелли... Император Акахито нарушил вековой протокол и приехал послушать нашего самурая в роли Энцо. Лауру пела великая Гена Димитрова. Аплодисменты были оглушительными. Их услышал весь Китай. Через семь лет Бойко пел в Шанхае.
Пока я рассказывал эту историю Толе, он молчал, потрясенный. Наконец все же открыл рот:
– Георги, – проронил он, – я потрясен. Откуда ты все это знаешь?
Все эти спектакли, роли, оперы?
– Так наш со Стояном отец
тоже певец. Тенор...
И он пел с Бойко...
И в Японии
пели оба.

Но вернемся в Пловдив, к столу Божаны Апостоловой.

На воспоминание о Бойко наслаиваются впечатления от сына Божаны – Маноло, он тоже певец, не оперный, а современный. У него своя группа. На просьбу гостей спеть он легко соглашается.

Слава богу, богатство Божаны превращается в красоту.

Но нам пора спешить!

В Бургас!

Где нас ждет подруга Стояна с прекрасным именем – Диана.

На площади, где оставлена машина, я говорю Георги, что мне хотелось бы заглянуть в мечеть Имарет, пусть она и не так прекрасна, как Джумайя Джамийя.

Побывать в Пловдиве и не зайти в мечеть?

Гельмут Вайс нас бы не понял!

Георги ведет меня к крутым ступеням, идущим прямо с улицы в обитель Аллаха. Напоминает шепотом, чтобы я не забыл снять обувь. В мечеть надо входить в носках. Снимаем. Входим. Ни души. Пол сплошь застелен коврами. Чуть-чуть душно и тепло, словно в бане. От ковров повanивает запахом пота. Бросается в глаза множество кошек. Мне показалось, что они молятся. Богомольные четвероногие полны благоговения. Они знают, кто им дал кров и еду. Но только я хотел присоединиться к общей молитве, как всех четвероногих распугал молодой мусульманин, который кинулся к нам проверять — снята ли обувь — и распугал безмолвное собрание хвостатых.

Надеваем обувь и выходим наружу.

При османском владычестве болгарам запрещалось строить церкви, которые были бы выше турка, сидящего на коне. Когда русские освободили Болгарию от владычества мусульман, среди болгар был популярен лозунг: "Мечеть не может быть выше болгарина, который присел посрать". Но постепенно страсти улеглись, и сегодня Болгария — истинный образец веротерпимости — и мусульманин, и иудей, и католик легко найдут мечеть, синагогу или костел для молитвы Аллаху, Иегове или Христу.

На маленькой площади я стал выбирать сувениры на лотке молодого лоточника, но — стоп! — стоило мне только остановиться у сувениров, как меня окружили черноволосые девушки в пестрых юбках и, звеня монисто, принялись выпрашивать мелочь. Они были как две капли воды похожи на вылитых цыганок, и, если бы я не знал, что они на самом деле чистокровные македонки, я бы точно принял их за цыган.

Отклонение от маршрута пятнадцатое (военно-патриотическое)

В тот день Толя купил черный кожаный браслет со стальными шипами, и покупка вызвала у продавца явное одобрение. Этот его выбор меня удивил. Толя Королев – скинхед? Бывший панк? Это добродушное поющее существо, которое не выговаривает букву "р"? А почему нет? Может ли быть более мощная кузница для скинхедов, чем родная социалистическая казарма, где в лишенном любви и свободы юноше взращивают желание проливать кровь? Где он мужает и звереет. В боевом пехотном полку на турецкой границе – не прошло и года после того, как я окончил элитный Литературный институт имени Максима Горького в Москве, – я одичал так, что зарос до бровей. Я был готов переломить поленом позвоночник любому, кто откажется затопить печь. А Толю за "связь с диссидентами" и тоже через год после окончания университета в Перми удостоили органы государственной безопасности двумя годами службы в дисциплинарном батальоне. Служу Советскому Союзу! Только не на турецкой границе, что было бы в порядке вещей, если иметь в виду его навязчивые видения в этом

тексте, а в Татарской ССР, на Урале, в Бишкиле, где была дислоцирована целая боевая мотострелковая дивизия... Прочтите его воспоминания об этом страшном времени в романе "Быть Босхом". Даже такой лагерный волк сталинских времен, как Юз, в одну из бессонных ночей (в том самом приснопамятном доме, о котором рассказывали мы с Толей в начале нашего повествования) говорил: "Это одни из самых сильных страниц о ГУЛАГе после Солженицына, которые я читал". Разве тут уснешь?.. Так что нет ничего удивительного в том, что Королев и по сей день сохранил в себе нечто детско-скинхедское... Во всяком случае тогда, на Джумайе, он говорил, что покупает этот ошейник не для себя. А для кого? Кажется, он обмолвился, что для какой-то секретарши из Союза писателей. Я точно не помню для кого... Вскоре после того как он приобрел эту штуку и вернулся домой, крупные российские города захлестнула волна убийств и погромов, затронувших, в основном, "лиц кавказской национальности" (по выражению властей) и африканских студентов. Ну и нескольких вьетнамцев и еще латиноамериканцев... Дошло до того, что были выселены из Москвы голосистые грузины, и теперь бывший министр иностранных дел СССР и президент Грузии Шеварднадзе призывает мир бойкотировать зимнюю олимпиаду в Сочи в 2014 году. Так что не будем удивляться, если вместо зажжения олимпийского огня мы будем наблюдать военные действия...

– Сапун махен! – бормотал мой лоточник, махая руками на попрошаек.

И так раз двадцать подряд.

– Что он говорит? – спросил я Георги.

– Он говорит, "делать на мыло".

Оказалось, что лоточник знает русский язык.

Я купил браслет на память о Пловдиве и спросил:

– Вы поклонник Гитлера?

– И Сталина! – сказал он.

– У вас дома есть портрет Сталина или Гитлера?

– Гитлера нет. Есть портрет молодого Сталина.

– Кровь стоит впереди власти, – заметил Георги.

– Гитлер, – сказал мне лоточник доверительно, так, словно мы с полуслова понимаем друг друга, – всего лишь ученик Сталина.

– Вы наивны, – сказал я болгарскому сталинисту, – начавшееся насилие нельзя ограничить, представьте, что в Пловдив пришла Годзилла (знаю, кивнул тот) и села задом вот хотя бы на замечательный Интерхотел Тримонциум, что на улице Капитана Райчо (знаю, знаю, кивнул тот), села и требует от жителей человечины. Сначала мы кормим ее цыганами, затем турками, а затем...

– Затем болгарами! – смеется лоточник, угадав мою мысль.

– И так пятьдесят лет... – закончил я.

В последнюю минуту встречаемся с Миа.

Она просит доставить в Бургас абстрактную картину художника Нанкиса (Стояна Цанева).

Укладываем полотно в багажник.

Прощай, Пловдив!

На самом выезде из Пловдива Стоян притормаживает у стоящего на обочине незнакомца, тот приветливо здоровается и передает через открытое боковое окно машины два тяжеленных круга белого овечьего сыра, корзинку свежего горячего хлеба, пару бутылок красного вина и желает нам счастливой поездки.

Я уже ничему не удивляюсь и все же спрашиваю: кто этот доброжелатель? поклонник поэзии? писатель? винодел? повар?

Оказалось, это — очередной приятель Стояна, владелец продуктового магазина, он был вчера среди посетителей ресторанчика "Сладкоежка", просто я его не запомнил.

О Болгария, каждый встречный готов стать донором Поэзии!

Я что-то пытаюсь объяснить Толе, но он все это время не переставал бормотать и намечать новые линии, темы и сюжеты своего будущего сочинения, пытаясь подбить меня к соучастию в стремительном погружении в "Хиатус". В отличие от болгарских писателей, которые, произведя на свет тухлое яйцо, еще полгода будут над ним кукарекать и хлопать крыльями, русские же пишут круглосуточно и не только для того, чтобы получить лишний рубль на необъятном рынке и потом его пропить, а еще потому, что искренне верят – они писатели Божьей милостью, они самые великие и нужные своему народу. Вероятно в родной России, где зима длится шесть месяцев, Толя и дня не может прожить, не написав ни строчки. Однако сейчас, будучи обреченным на бездействие, он по инерции не перестает сочинять, а язык его – молоть. То творение, читатель, которое ты сейчас держишь в руках, было им проговорено и через год воспроизведено с фотографической точностью и утомительными для окружающих фантазиями. Даже умолкая на секунду, Толя не переставал двигать губами, надувать их как избалованное литературой дитя, напевать, свистеть, пыхтеть. Его рот начинал жить своей собственной жизнью, отдаляясь от него, улетая, и иногда поутру он просыпался без рта – как гоголевский коллежский асессор Ковалев без носа.

Я предлагаю Георги превратить наш бросок к морю в творческий акт и, например, сочинить за три часа поэму в прозе на сюжет болгарской истории. Он соглашается и предлагает взять за основу хотя бы вот эту Фракийскую долину, где великий полководец древности и поэт царь Симеон Великий[1] разбил в пух и прах византийское войско.

Описать эту поэму, длиной в триста километров, протяженностью от Пловдива до Солнечного Берега, на которую ушло несколько тысяч слов, нет ни малейшей возможности.

Сюжет нашей поэмы о Фракийской долине таков: две армии болгар и византийцев стоят друг против друга на расстоянии полета стрелы и осыпают друг друга градом насмешек. Византийцы — толпа напомаженных воинов-педерастов в окружении развращенных рабов. Болгары — мужики с мечами и вилами. Болгары не могут понять, кто перед ними — бабы или одетые бабами обезьяны. Ни одна из сторон не двигается с места: византийцы считают свою позицию выгодной, перед ними болотистая низина, а болгары ждут сигнал от царя, который спешился с коня

1. Симеон Великий (?–927) — болгарский князь, затем царь, в правление которого Первое Болгарское царство достигло наибольшего могущества и расширения территории в войнах с Византией.

и, положив на седло лист пергамента, задумался на пять минут — Симеон сочиняет стихотворение в честь предстоящей битвы.

Вот эти пять минут паузы перед сражением и предстояло нам описывать все три часа до берега моря и, если не успеем, — на обратном пути до Софии.

Самое трудное написать то самое стихотворение Симеона.

Только Георги под силу такая задача.

Если представить на миг, что вся морская вода из Черного моря исчезла, то Болгария — это обрыв над бездной.

Мчим к краю обрыва.

Стрелку спидометра зашкаливает за 150 км.

Стоян обожает скорость. Как же ему было тесно в Швейцарии!

До Бургаса мы сделали всего три остановки: первый раз, чтобы заправить машину бензином, второй раз Стоян притормозил на повороте у провинциального местечка, где давным-давно купил маленький особняк и сейчас решил от него избавиться из-за близости к будущей базе НАТО — так он выразил свой протест против американизации страны, в третий раз мы вышли из машины, чтобы полюбоваться картиной художника Нанкиса (Стояна Цанева). Правда, при этом мы изрядно помяли бумагу, в которую Миа упаковала картину, и нечаянно порвали шпагат, которым она обвязала полотно, и случайно чуть-чуть надломили уголок картины, и не нарочно оставили на холсте винные пятна. Но шедевр стоил этих небрежных гримас бытия. Мы поставили холст в раме прямо на капот и отошли в сторону, чтобы полюбоваться редким зрелищем гармонии предельно конкретного с максимально абстрактным.

Правда, Стоян сказал, что мы поставили полотно вверх ногами.

Мы причалили к Солнечному Берегу, остановились у отеля "Флора" и отправились искать очередного друга нашего Стояна — Любе Димитрова, который был главным менеджером отеля.

Вся Болгария дружит с братом Георги!

Любе — маленький кругленький человек, полный бешеной энергии. Уследить за его жестами совершенно невозможно, он в постоянном движении, словно спицы в колесе велосипеда рикши. Мы нашли его в обеденном зале, где жевали пищу аккуратные немцы-туристы за просторным овальным столом. Любе вышел из-за стола, и мы утонули в объятиях: мое сердце кольнула догадка — тут платить уж точно никому не придется.

Описать изобилие того вечера и красоты стола я просто не в силах, нас обслуживало несколько официанток, а специальный повар готовил заказанные блюда. Пожалуй, всех моих денег, захваченных из Москвы, не хватило б, чтобы оплатить хотя бы четверть съеденной роскоши, чего стоило хотя бы блюдо устриц, разложенных на груде колотого льда!

Винная карта была оснащена с не меньшей роскошью.

Например, подали уникальную "Поморийскую ракию" в строгой черной бутылке, кажется, настоенную на розовых лепестках.

— Вы мои гости! — сказал Митко. — Выбирайте любые свободные номера.

Он учился в Москве и хорошо говорит по-русски.

Любе тоже владеет русским. Мы как раз обсуждаем с ним мавзолей имени Евгения Бакырджиева. Для русских читателей "Хиатуса" поясню, что Бакырджиев, известный болгарский политик, был главным инициатором выбрасывания Димитрова из мавзолея...

Кто без греха, пусть бросит в Бакырджиева камень.

Но без мавзолея Болгария осиротела, представьте Египет без пирамид, а Мекку без Каабы?

Одним словом, я предложил на Солнечном Береге восстановить софийский уникум – мавзолей Георгия Димитрова, только сделать его из цукатов и пряников, а гробницу отлить из шоколада, чтобы мавзолея могли вкусить болгарские дети. А труп Димитрова заменить копией, сделанной из бисквитного торта, на радость посетителям: каждый сможет выбрать кусочек поаппетитней и, отрезав лопаткой, положить нос или орден из крема на десертную тарелку.

Именно так поступили в Москве, где еще при Горбачеве съели тело вождя, исполненное в виде бисквитного торта точь-в-точь такой же величины, как забальзамированный труп.

Не успел я до конца изложить свою идею собутыльникам, как неутомимый Любе набрал мобильный телефон Бакырджиева:

– Тут есть идея, господин Бакырджиев...

– За пятнадцать миллионов я лягу сам, – ответил тот мгновенно.

Какая удобная страна Болгария, маленькая, как зубоврачебный кабинет!

Все происходит со скоростью молнии. Р-раз – и нет зуба!

24 октября, пятница
Солнечный Берег–Несебр и обратно

Стоян садится за руль.

Едем в Несебр.

Брр... античный остров алчные торгаши превратили в исполинскую барахолку.

Глаз так быстро устает от пестроты шопа, что мы прячемся в полумрак церкви Иоанна Крестителя. Вот где тишина подлинной древности. Храм построен в IX веке! Нигде прежде я не видел иконы Предтечи, где бы безголовый Иоанн Креститель держал в руках блюдо с собственной отрубленной палачом Ирода головой. Основой для христианской церкви, видимо, послужили развалины римского храма. Я с благоговением обошел вокруг античной колонны и тронул рукой холодный мрамор. В одном месте мрамор был явно теплым, словно нагрет солнцем, хотя ни один луч не проникал внутрь. Я позвал Георги проверить эффект, тот приложил ладонь к теплоте, вдруг страстно обнял колонну, прижался бородой к голизне античного мрамора, замер и, отпрянув, стремительно вышел из храма.

Я кинулся следом.

– Что с тобой?

– Я возбудился, – признался тот.

(Георги, надеюсь, ты не вычеркнешь эту живописную подробность, не оскопишь текст?)

Отклонение от маршрута шестнадцатое (редакторское)

Нет, не оскоплю, Толя, но и не скрою, до какой степени этот брошенный тобой со сдержанным достоинством вопль разрывает мне сердце, и вместо того, чтобы вернуть меня к Колонне жизни, возвращает к тем временам, когда центр коммунистической Софии кишел не бездомными собаками, а редакторами. Тогда редакторская профессия была возведена на пьедестал и славилась как одно из самых теплых и непыльных местечек на вершине общественной лестницы. Правда, некоторые более скромные ее представители кротко чиркали карандашиками горы рукописей и, может быть, даже были кому-то полезны. Большинство же, однако, были сплошь трутнями и церберами, единственная работа которых состояла в том, чтобы подслушивать, курить и протирать задами редакционные кресла, пока не наставал решительный момент, чтобы наступить на горло какому-нибудь корчившемуся от боли автору. Меня всегда изумляла их способность рентгеновским глазом нащупывать живой нерв в зубе и удалять его самым бессердечным образом с отцовским сочувствием. Когда им приспичивало, они не гнушались залезть своими корявыми пальцами прямо тебе в горло, тщательно ощупать его, проверив, не осталось ли там какой-нибудь недорезанной гланды, и резким движением вырвать вначале язык, а потом и сердце. Однако я и по сей день не могу объяснить, откуда у этих дровосеков такой абсолютный слух к музыке, заключенной в душе дерева. У известных и поныне в нашей стране гигантов критической мысли не было элементарного понимания, органичен ли поэт, о котором они пишут, или синтетичен. Они крутились возле поэтов, льстили им, пили с ними, пытаясь угадать, куда развернуть паруса своего литературно-критического анализа. Но без чьей-либо помощи улавливали даже самый слабый запах отчаяния и непримиримости по отношению к системе и докладывали куда надо, или публиковали убийственные доносы под видом предисловий, хотя никто их об этом не просил... Все было сплошным мученьем. Во-первых, написать что-то приличное, во-вторых – напечататься и, в-третьих – услышать доброе слово до того, как тебя объявят алкоголиком, бабником, доносчиком, импотентом, жандармским прихвостнем, безродным космополитом, любовником собственной дочери. Но поскольку они прекрасно знали, как легче всего убить, то просто молчали. Молчат и сегодня, и среди всеобщего молчания не перестают выживать, став виртуозами в бизнесе, менеджменте, мощной издательской деятельности, руководстве творческими союзами, участвуя в советах, производстве скрипок, дирижерских палочек, в организации концертов и литературных вечеров в большом зале Дворца, их дворца, Народного, и перед этим дворцом. Сколько лет они пытаются убить "Факел", потому что он не хочет плясать под их дудку (нет, не под скрипку, еще чего!), но у них ничего не выйдет, потому что "Факел" в расцвете сил, и, когда надо, сам себе поднесет спичку!

Вот почему я предпочитаю ласкать пятку только что вышедшей из пены Афродиты, и там, где гробовщики видят обломки надгробных памятников, касаться плоти, омытой молоком жизни, целовать пульсирующие жилки любви, которые просвечивают сквозь покров мрамора, ощупывать ее и разгадывать, и чтобы она размягчалась в моих руках, как воск в ушах Одиссея, пела, как рако-

вина, и вздымала бы во мне все от пальцев ног до кончиков волос, пока я не оторвусь от земли и мы вместе не подопрем небесный свод.
Я никогда не вычеркну ее, приятель.
Да и зачем? В конце концов, что такого особенного я сделал или сказал, черт возьми! Или написал? Особенно сегодня, когда такое сексуальное бездушие косит наши ряды...
Разве что на пороге церкви я употребил старинную глагольную форму "восстал"?.. Что не меняет сущности вещей.

О Болгария, пока в руках твоих поэтов колонна в храме оживает, как мраморная Галатея в тисках Пигмалиона, ты жива.

Море напоминает: пора заглянуть в ресторанчик отведать свежей черноморской рыбки. Находим веранду над отвесной скалой с видом на сонное море. Ровная гладь голубой влаги разлита до самого горизонта, солнце закутано в дымку, и можно любоваться солнечным диском без риска ослепнуть. Прибой почти не заметен. Черные бакланы дремлют над своим отражением. Даже чайки сыты и заткнулись. Все охвачено полдневной дремотой. В пустом ресторанчике мы единственные посетители. Поставив блюдо с горой шипящих от огня барабулек, хозяйка радостно жалуется, что рыбы ловится все меньше и меньше; в сезон рыбных блюд едва хватает на утро.

– Где же вся рыба?

– Ушла в Турцию.

Этот повальный переход барабульки в мусульманство наводит на грустные мысли об усталости христианства.

Между тем барабульки так вкусны, что мы пьянеем без вина.

Стоян нервно посматривает на часы – его Диана мчится в алой машине от фирмы супермаркетов БИЛЛА в Бургас: сегодня у нее день рождения.

Из Несебра мы, наконец, прибываем в желанный Бургас.

Бургас!

Мы ищем улицу имени Лермонтова, где расположен магазинчик, торгующий картинами.

В магазинчике находим очаровательную Примаверу (Пролетину), хозяйку арт-салона, и мрачноватого художника Нанкиса (Стояна Цанева) с сигарой в зубах. Мы – я, Стоян и Георги – похожи на трех пьяных болгар, которые принесли с ярмарки непроданную телегу, но с проданными колесами. Вручаем Нанкису его многострадальное полотно, которое чудом перенесло поездку и вид которого в лохмотьях бумаги и обрывках шпагата оскорбителен для любого искусства, тем более для абстрактной живописи.

Забрав картину, мастер уходит, как только докурена сигара.

Примавера достает бутылку красного вина, и, запивая вином встречу с Бургасом, мы ждем Диану.

Стоян нервничает, раскрывает газету "25", с которой не расстается.

Читает вслух из рубрики "Это забавно": про то, что перед смертью Наполеон стал гермафродитом.

Я понимаю — все его мысли связаны с предстоящей встречей.

И тут входит Диана, современная молодая деловая болгарская женщина в джинсах. Она сразу берет быка за рога и спрашивает о моих впечатлениях от сети супермаркетов БИЛЛА.

Что ж, я вынужден сказать Диане правду — вся система продажи в сети болгарских супермаркетов БИЛЛА нуждается в решительной реорганизации! И, главное, нужно убрать из БИЛЛЫ дух дешевизны, пусть будет дешевле всех, но кричать надо о том, что БИЛЛА — сеть самых шикарных салонов пищи и товаров для дома, не надо повторять ошибки магазинов ТАТИ, которые разорились, рекламируя свою дешевизну и тем самым оскорбляли клиентов, БИЛЛА оскорбляет болгар своими заявлениями, что здесь все намного дешевле.

Когда я закончил беглый анализ маркетинга БИЛЛЫ, мы уже переместились в ресторанчик на берег моря (все-таки Бургас стоит на морском берегу), где отметили 25-летие Дианы, ага! Вот почему Стоян всю дорогу не расставался с газетой "25".

Я не стану называть имя этого отчаянного заведения, потому что вся рыба, поданная к столу, была пережарена, наверное, пьяным поваром — надо же, первый случай в Болгарии! — переворачивая вилкой рыбу за рыбой в поисках уцелевшего мяса, я натыкался только на угли, обугленные кости и сгоревшие плавники и прочий пепел, которым мог только посыпать голову.

Наконец, я нашел крохотный кусочек уцелевшего кальмара.

Видимо, он выпал из сковородки на пол, а когда повар заметил пропажу и бросил ее обратно, пора было нести блюдо к столу.

За просторным столом были: Диана, Стоян, Георги, сестра Дианы, которая занимается театром кукол, прекрасная Примавера из арт-салона и Роса, которой принадлежат каменоломни на Кипре.

Стоян и Диана сидят во главе стола, но я вижу, что Стоян не весел, и я понимаю почему: между Дианой и мечтой о маленькой китаянке большая разница.

Между тем нас окружают самые красивые девушки Бургаса во главе с божественной Примаверой, сбежавшей в Болгарию прямо с полотна известного Боттичелли из флорентийской галереи Уффици.

Роса прочитала замечательные стихи про камни — о том, что камень прочнее костей минувшей любви.

И она же в ответ на мою дежурную скорбь: какую страну мы потеряли! — сказала: это мы потеряли Россию!

И подняла бокал.

Не скрою, это была одна из самых приятных минут "Хиатуса".

Между тем, пока я нервозно искал кусочек непережаренной рыбки, все остальные с аппетитом поедали эти угли, а я снова задумался над главным вопросом "Хиатуса": отчего здесь, на фракийской земле древних болгар, родилась страшная ересь — вселенной на равных правят Господь Бог и Господь Сатана.

Наверное, еще и потому черт выбрал эту землю своей вотчиной, что болгары могут съесть кострище после сожжения жертвенного быка.

Фракийцы — пожиратели угля, болгары — глотатели огня.

Смерть — любимое блюдо болгар.

Скульптор Чапкынов рассказывал, что, когда стал лепить бюст Феллини, глаза итальянца были полны крови, как глаза быка, и он понял, что тот видит ими свою смерть.

Так и вышло – Феллини умер через четыре месяца.

А художник Светлин Русев, вспоминая Вангу, повторил ее слова: "Говорить с мертвецами – это очень просто".

И добавил: "А вот свою смерть она предсказать не сумела".

Самая страшная история, которую рассказал мне Георги, – история про смерть матери.

Он примчался в больницу, когда она уже умерла, и спросил, где моя мать? Дежурный врач смутился и стал бормотать какую-то чушь. Георги заподозрил неладное и, схватив врача за горло, стал душить: где моя мать? Задыхаясь, тот показал на дверь в кладовку. Отшвырнув врача, Георги кинулся к двери и распахнул ее. Тело матери было брошено на пол среди разного больничного хлама. От ужаса волосы Георги встали дыбом. Мама! Мама! Рыдая, он упал на колени, обхватил мертвую и стал в истерике трясти ее, словно можно очнуться от смерти и... и мать открыла глаза. Она жива, заорал Георги, взял мать на руки и выбежал в коридор. Она жива! Жива! К нему кинулись врачи, уложили мать на кровать... она была мертва.

Моя мать умерла в 5.30 утра, я вызвал "скорую помощь", которая приехала почти через час. "Спасите ее!" – кричал я в ярости на молодого врача и медсестру.

– Это труп, – холодно заявил врач.

– Это моя мать!

Я чуть не разорвал его на части за то, что тот посмел так сказать о моем божестве.

Тогда циник демонстративно отдернул короткую рубашку мамы, и я в ужасе увидел ее голую старую грудь. За всю свою жизнь я не видел ее грудь, младенческая память не в счет. В панике я выбежал из спальни и услышал явственный голос матери: "Я жива, я жива, я жива, я жива, я жива". Этот голос был полон такого материнского сострадания к моим мукам, что я разрыдался. Она пришла с того света, чтобы успокоить несчастного сына.

– Георги, расскажи о маме!

– Она умерла за день до моего рождения, – начинает Георги. – Накануне моего дня рождения.

И продолжает в стихах:

Мама

Так и ушла без шума, не проронив ни слова.
Как ни зови, ни думай – не отзовется снова.

Черкнула б хоть записку, хоть пару строчек: "Жора,
Я по соседству, близко. Ты ужинай, я скоро".

Так нет ведь – отчеркнули уже черту итога,
И ты ушла в июле, помедлив у порога,

В домашней кофте в лето – что было, не изменим!
По лестнице без света спустилась по ступеням.

А солнце так блестело, когда, лишившись плоти,
Ты в небо полетела на странном самолете,

Где не дают упрямо обратного билета,
А я не крикнул "мама" – ведь я не знал про это,
Я ничего не понял, а там, в воздушных сводах,
Кто тост с тобою поднял за смерть твою при родах?

Но как же это, Боже? Ни ангелы, ни бесы
Не ведали, похоже, про тайну той завесы,

О ней не спела птица – большой беды примета,
И все как будто мнится, что рядом, здесь ты где-то,

Что светлячком полночным сверкнешь над тьмой оврага,
Как в скважине замочной – слепящий луч из мрака.

Готов ослепнуть мигом и рухнуть бездыханным,
Чтоб ты мелькнула бликом на лезвии карманном,

Чтоб знать, что нас в печали все ждут назло неверью,
Что жгут костры ночами и кто-то есть за дверью!

Там, у истока детства, по золотой тропинке
Она, неся младенца, идет в простой косынке

Навстречу, как бывало, идет, как на свиданье,
Но прежде чем упала, как агнца на закланье,

Кладет ребенка с краю, у двери, пеленая,
Травы не приминая, дитя не обнимая.

Выйдя из рыбного ресторанчика, я полчаса бродил под куполом звездной ночи, за бортом кают-компании один в ночном море.

Тысячи звезд сияли в космосе бытия ослепительным светом.

Звездочет питается блеском, подумал я.

Снаружи, через стекло вид на пирушку был полон живости человеческой жизни: никто из нас не хотел умирать. Все смеялись. Милая официантка демонстрировала всем желающим свой гладкий животик, где пупок был украшен колечком яркого серебра.

Я вернулся к столу и понял, что голоден.

Внезапно почувствовал, что засыпаю, и решил ехать в отель, на Солнечный Берег. Георги вызвал такси и посадил меня в машину. Таксист — молодой человек — тут же узнал Георги и стал напевать его песню про море.

Я насторожился, неистраченные левы жгли карман. Неужели опять не смогу заплатить?

Таксист, узнав, что я из Москвы, тут же перешел на плохой русский язык и стал рассказывать, что в Болгарии ему сделали семнадцать операций на сосудах, а спасти его смогла только знаменитая русская Джуна.

Разбирам? Я: разбирам! Ты должен мне двадцать левов. Разбирам? Тут я понял, что парень не знает, где находится мой отель. Эй, дорогой, и я стал объяснять шоферу, что ехать надо не в Бургас, а в Солнечный Берег. Да-да, — сказал таксист. Разбирам! Но это будет дороже. Сколько? Сорок левов. Разбирам? Я — разбирам. Слава богу, я наконец потрачу деньги.

Машина летит в темноту, но я не вижу ни моря, ни контуров отелей, которые стеной идут вдоль полосы пляжей.

Ты знаешь, куда ехать? Да-да, кивает тот и прибавляет газу. Меня оперировали семнадцать раз, а вылечила только Джуна в Москве. Я люблю русских. Люблю Россию. Люблю Джуну. Ты ее знаешь? Знаю. Ты знаешь Джуну?! Да, и Георги Борисова знаю. Да-да, все болгары знают, что Георги написал песню про море. Когда я стал здоров, я стал плавать в море. Ты должен мне пятьдесят левов. Разбирам? Я — разбирам!

Отклонение от маршрута семнадцатое (эстрадное)

Черт возьми, вот наконец это стихотворение, на слова которого композитор Стефан Димитров написал одну из любимейших и часто исполняемых песен в Болгарии за последние двадцать семь лет (ха, да она же ровесница "Факела"!). Было лето, и, голый по пояс, он красил голубым цветом сухой пустой бассейн под непрестанный грохот софийской кольцевой дороги. Когда краска в ведре закипала, он опускал в нее кисть и заскакивал в только что побеленный дом. Внутри стоял только рояль. Стефан набрасывался на него как бешеный и начинал наполнять бассейн мелодиями. Насытившись и остыв, он выходил под очумевшее солнце и продолжал красить, насвистывая. Так, насвистывая и напевая всухую, он сочинил серию песен о море, которую начал насвистывать и напевать весь народ. Часть из них наш герой и его приятель из службы ГУСВ (Главное управление строительными войсками, где они проходили военную службу) Пламен Масларов включили в фильм "Взрослым воспрещается". С тех пор каждый поет, насвистывает, аранжирует и распоряжается песней "И запахло морем" как ему вздумается, хотя автору от этого не посветило ни Малибу, ни Пальма-де-Майорка. Недавно ее исполнил даже один известный врач, брат Главного архитектора красавицы Софии. Подпевал ему другой брат, Благовест Аргиров, который в свое время пел ее со своим братом-близнецом Святославом. После нескольких лет музыкальных мучений за границей он оставил Святослава преподавать фортепиано в каком-то селе на севере Европы, а сам вернулся строить элитное жилье в центре нашей солнечной столицы. После того как два братца Главного архитектора исполнили песню несколько раз по телевизору, друзья позвонили, смущенные, чтобы спросить меня, правильно ли они расслышали и мои ли следующие строки из нового бытия: "А я сижу на пляже, пью горькое кампари, и гляжу, как идешь ты в зеленом бикини..." Или что-то в этом роде. Черт возьми, вот он, в конце концов, оригинал!

Баллада о полнолунии

Когда нам осень машет вслед
И впору с летом распроститься,
Вниз со щербатой черепицы
Луна глядит на белый свет.
Она глядит из тополей
Холодным оком хищной птицы,
Кошачьи желтые зеницы
Когтят покой ночных ветвей.

Неверной тьмой
Поля полны,
Покуда правит луч лукавый
Своей притихшею державой
Под белым лезвием луны.
И в перламутровой дали
На стебельках поют цикады,
Пока еще не отцвели,
Не отгорели их рулады,
Не пали прахом без отрады
На грудь спаленную земли.
На ложе рек густеет мгла,
И половодье вены вскрыло,
И полнолунное светило
Под брюхом плещет у вола.
Уж как судьба его ни била –
Вода высокая светла.

И пахнет морем та вода,
И человек на темной пашне
Клочок невспаханный, вчерашний,
Оставит другу навсегда.
А лунный жар не иссякает,
Он жжет потертое седло,
И тень наездник отсекает,
Взметнув раскрытое крыло.

Когда весна прогонит снег,
Зима невольно потеснится,
И по щербатой черепице
Сойдет на землю человек.
По комьям розовым без сна
Босой пойдет он, как когда-то,
И вновь в руке его зажата
Щепоть пшеничного зерна.

Но, черт возьми, куда мы мчим по ночному шоссе? Парень явно не знает дороги. Мы едем чуть ли не час, а вокруг кромешная тьма. Слушай, па-

рень, Джуна моя сестра. Разбирам? Тот – разбирам! Ты брат Джуны? Да, и брат Георги Борисова. Отлично. Джуна спасла мне жизнь. Если б не она, мы бы сейчас никуда не ехали. Ты должен мне двадцать левов. Просто на память. Подпишешь купюру. Разбирам?

Внезапно машина резко свернула влево, и мы оказались перед заправочной станцией, где дремал в машине ночной таксист.

– Давай спросим его, как ехать на Солнечный Берег к отелю "Родопи". Разбирам?

– Разбирам!

Таксист тормозит и выходит, стучит в стекло коллеге, тот открывает глаза и объясняет, как ехать.

Таксист трогает с места. Мы должны найти большой белый забор, как только он кончится, едем налево и прямо уткнемся в отель. Разбирам? Я – разбирам! Ты точно брат Джуны? Да, я брат Джуны и Георги Борисова, и внучатый племянник Митко Караженова, который хозяин отеля. Ты знаешь Митко и его жену Радостину? И еще я внебрачный сын Любе. Разбирам? Разбирам! Слушай, ты мне ничего не должен, считай это подарок от народа Болгарии русскому брату.

Между тем ни впереди, ни сзади нет ничего похожего на длинный белый забор. Слушай, давай повернем обратно к заправочной станции, и я пересяду в другую машину. Тот парень найдет забор. Разбирам? Таксист – разбирам! Разбирам! Разбирам!

Мы разворачиваемся и через пару минут возвращаемся к станции, прощаемся, я все же пытаюсь заплатить двадцать левов, как договаривались.

Догадайтесь с трех раз? Взял он с меня деньги или не взял?

Раз, два, три.

Взял, но только русской купюрой и попросил расписаться.

Пишу на сторублевке: "Бывшему больному от бывшего Большого Брата".

Парень благодарно жмет мою руку.

Надеюсь, когда-нибудь он расшифрует мои аллюзии к Оруэллу.

Я сажусь в новое такси и сразу вижу перед собой белый забор.

Оказывается, мы умчались от него со скоростью звука.

Такси мигом доставляет меня к входу в отель.

Оказывается, машина стояла у торца здания.

Выхожу, протягиваю шоферу пять левов, он отказывается: я всего лишь объехал забор.

В номере валюсь на кровать и засыпаю мертвецким сном за сеткою от москитов.

25 октября
Солнечный Берег–София

Самое приятное в Бургасе – это уезжать из Бургаса.

Стоян прощается с любимой Дианой, на все наши грубые намеки он никак не отвечает.

Мчимся в Софию одни-одинешеньки.

На шоссе практически не видно ни одной машины.

В чем дело?

Оказывается, завтра выборы в парламент, и, для того чтобы болгары проголосовали ответственно и на трезвую голову, по всей стране запрещено продавать алкогольные напитки, в том числе сухие вина и пиво!

А трезвым в Болгарии никто не ездит.

От этого известия у нас с Георги и Стояном сразу пересохло в горле.

Я предлагаю совершить хотя бы одно маленькое политическое преступление. Братья горячо меня поддержали, и мы сворачиваем в сторону первого попавшегося магазина у бензоколонки.

Меня внесли на руках.

Георги: русскому плохо — он умрет, если ему не продадут водки!

В магазине заминка, но, после того как братья предъявили мой паспорт, нам продали три бутылки красного "Мерло" (для меня и Георги) и коробку пива "Будвайзер" (это для Стояна, он за рулем не пьет).

Отклонение от маршрута восемнадцатое (апокалиптическое)

Хочу особо подчеркнуть, что бензоколонка принадлежала крупнейшей в Болгарии нефтяной компании "Лукойл", многолетнему спонсору всех многотиражных газет и популярных телевизионных программ, но ни разу – "Факела". Сколько раз журнал протягивал бутылку водки агонизирующим здесь российским мастерам слова, столько раз ему отказывали даже в канистре бензина; нет, он нам был нужен вовсе не для того, чтобы убрать с левой встречной полосы редакционную машину, которая застряла там из-за нехватки бензина, а для того, чтобы устроить самосожжение на какой-нибудь известной площади, бывшей, скажем, Ленина, чтобы журнал заметили те, кто делают вид, что его не существует! Кто знает, может быть, после вышеизложенного рекламного текста ответственные за его закрытие товарищи предпримут необходимые шаги, и "Факел" будет выходить,
даже когда цена за баррель преодолеет психологическую границу в 100 долларов?
Или они ждут, что я посвящу
им стихотворение?

Между тем мы едем все тише и тише.

Дорога совершенно разбита.

Братья клялись, что доберемся по автобану до Софии за два часа.

Но, оказывается, сначала надо доехать до автобана!

Что ж, пока продолжаем сочинение поэмы "Хиатус" о битве болгар с византийцами в 893 году в долине туманов при великом царе Симеоне Великом.

Наперебой с Георги мы рассказываем Стояну о ходе сражения.

Царь все еще медлит отдать приказ о начале битвы; стоя у коня и положив на седло пергаментный лист, он обдумывает четверостишие в честь предстоящей битвы.

Две армии стоят друг против друга — квадрат крепко сколоченных дружбой болгарских мужиков с копьями, косами и дубинами и надушенная туча византийцев-педерастов с мечами и с накрашенными лицами, которых болгары принимают за баб и грубыми жестами показывают, что сделают с этими жопами на поле боя. Кое-кто из болгар достает кое-что, спускает штаны и мочится в сторону врагов. Первый ряд болгарской армии превращается в фонтаны Версаля, где царит струя Геракла, разрывающего пасть льву.

Бой вспыхивает сам по себе.

Не выдержав демонстрации, византийцы пускают в ход знаменитую конницу, и всадники кидаются на болгар словно волки. Но не тут-то было. Болгары кидаются к телегам, где стоят живые бараны, и начинают забрасывать конницу этой блеющей бараниной. Привыкшие топтать людей, а не овец, кони испуганно шарахаются в стороны, а многие всадники, получив бараном по голове, просто летят из седла.

Зеркальное отражение моих рассказов об ополченцах на Шипке.

Конница в панике отступает, вся хваленая сила Константинополя — это гювеч! Выдумка! Сплошной гювеч! Тогда в бой вступают византийские когорты, их атака ужасна, поле усеяли сотни убитых болгар. Что ж, трупы приходят на помощь живым — мертвецы летят на головы легионеров; мертвый болгарин весит как пять баранов и под тяжестью покойников у врагов подкосились ноги, когорты педиков в ужасе начинают пятиться, строй щитов и мечей рассыпается, и вот он — миг победы!

Византийцы показали болгарам пышный строй задниц.

Армия крестьян тут же демонстрирует замашки однополой любви.

Среди византийцев оказался и один русский по имени Лукулл.

Он кричит, что попал в историю по ошибке: что его имя Лукойл.

Ладно, живи!

А среди болгар оказался один македонец, который кричит, что он настоящий цыган.

Ему забивают в рот засохший сандвич с беконом. На, подавись.

Победа!

Только тут царь наконец поднимает голову от пергамента.

Он закончил стихотворение.

В седло!

Конь мчит Симеона к руинам побоища, заваленного трупами византийцев.

Тут наше единство в описании битвы раздвоилось.

Мой финал — на листе пергамента царь написал только одно слово: "Победа!"

Георги предлагает другой финал:

"Тут у царя встал кур, и он увидел Константинополь!"

Не скрою, финал Георги намного выразительней.

Словом, пусть решает читатель "Хиатуса", как закончилась битва.

Вот так всегда — в конце любого дела в Болгарии из губ поэта показывается раздвоенное жало змеи.

Между тем уже начинает темнеть, а обещанный автобан так и не появился. Я предлагаю дать автобану имя Гювеч.

Гювеч — по-болгарски — это чего никогда нет.

Но только я вымолвил роковое слово, как машина выбирается из колдобин на идеальный бетон. Ура! Автобан. Скоро София. Казалось бы, надо радоваться, но я почувствовал тревогу: Болгария слишком непредсказуема, как только неприятности позади, жди, что судьба подложит тебе настоящую свинью. Впрочем, чур, меня, чур — в "Хиатусе" не должно быть ни одного слова о свинине!

Стоян, берегись, нас ждут большие неприятности!

День всеобщей болгарской трезвости — это не шутки!

Слава богу, у меня хватило ума сказать вслух о нехороших предчувствиях.

Первый раз беда пронеслась мимо у Казанлыка.

Мы так спешили, что превысили скорость.

Постовой из засады уже поднял руку в белой перчатке с полосатым жезлом, как нас — р-раз! — обгоняет какой-то дурак, и постовой дает ему знак остановиться.

Второй раз повезло у Среднегорио.

Мы опять превысили скорость на каких-то 25 км. И пулей пронеслись мимо второй засады. Ошарашенные нашей наглостью двое полицейских только подняли головы — они как раз проверяли документы, остановив две другие машины, и пускаться вдогонку физически не могли. Ну все, пропали, подумал я и мысленно перекрестил дорогу.

И вдруг темнота начинает слабеть, и весь край мрака в стороне Софии вдруг превращается в шатер света, это солнце коснулось линии горизонта, и свет проник в узкую щель свободного неба.

Шатер света знаменует и финал "Хиатуса".

Мы в Софии.

Путешествие из Софии в Софию закончилось.

Эпилог

Прежде чем отвезти нас на виллу Георги в Княжево, Стоян привез нас в свой новый дом в местечке Кутка, где, по его словам, самый чистый воздух во всей Болгарии.

Дом Стояна спланирован так, чтобы в нем ни одна женщина не смогла добиться успеха.

В защиту от женщин Стоян вложил не одну тысячу долларов.

Георги грустит, он — единственный человек в Болгарии, у которого брат такой несгибаемый девственник.

Я наконец могу позвонить в Москву.

Оля:

— В Москве идет снег...

Снег в октябре, мама миа!

Стоян звонит Диане, убегая, она забыла на кровати свои джинсы.

Георги звонит жене.

Александра просит мужа забежать в магазин и купить пачку стирального порошка – нечем заправлять машину. Георги впадает в ярость, вот как заканчивается "Хиатус"!

– Этот порошок стоит как три бутылки вина!

Мы устало бредем в магазин за стиральным порошком.

Стоян на ходу читает газету "25": "Умерла вдова Чан Кайши в возрасте 104 лет".

Я: Да, но, Стоян, это случилось лет двадцать тому назад...

Так заканчивается "Хиатус", наш путевой дневник о Пустоте. Что ж, если где и суждено скончаться курносой, так только в Болгарии.

P. S.

На следующий день Георги за час аккуратно вычеркнул всех до одного из восьмидесяти пяти кандидатов в списке для голосования.

Эта лакуна – достойный памятник "Хиатусу".

30 октября я улетаю в Москву.

Над всей Болгарией безоблачное небо!

(А легендарный гювеч я вкусил в гостях у Миры Златаревой, в компании ее матери Доротеи и дочери Виолеты, это было божественно, но как его готовят, не скажу*.)

*(*Последнее замечание помощника повара: "Со свининой!")*

Александра Уракова

Байрон в маске могавка: штрихи к портрету Эдгара По

Эдгар Аллан По продолжает оставаться одним из наиболее читаемых американских классиков как в Америке, так и в Европе. За множеством его литературных масок — от мрачного мистика до писателя приключенческого жанра — угадывается хорошо известный, собирательный образ автора "Ворона", "Золотого жука" и "Падения дома Ашеров". Заметим, правда, что знакомый нам с детства "Эдгар По" — изобретение сравнительно недавнее. Например, крестный отец ужасов и знаток загробных тайн рождается только в тридцатые годы XX века, благодаря трем картинам "Юниверсал Пикчерз" с участием Белы Лугоши и Бориса Карлоффа: "Убийство на улице Морг" (1932), "Черный кот" (1934) и "Ворон" (1935). Экранизации были далеки от оригинала, "ужасы" заведомо преувеличивались и досочинялись. И хотя По-мистик, безусловно, существовал уже в сознании читателей XIX века[1], основоположником хоррора его сделал Голливуд. Другая устойчивая ипостась популярного образа По — автор приключенческой литературы для подростков — появилась не раньше рубежа XIX–XX веков.

Любопытное смыкание "подросткового" и "готического" По можно увидеть в адаптации его фигуры как одной из масок Хэллоуина, праздника одновременно детского и "страшного" — например, в серии популярного мультфильма "Симпсоны". В Балтиморе на Хэллоуин, а также в годовщину смерти По устраивается ритуальное посещение его могилы. Это действо популярно из-за местного поверья: в ночь с 7 на 8 октября[2] на могилу тайно приходит неизвестный в черном, оставляя три розы и наполовину выпитую бутылку коньяку. Мистическое отношение к По в самом деле подчас граничит с фарсовым и игровым. Название знаменитого стихотворения "Ворон" взяла себе... балтиморская футбольная команда. "Балтиморские вороны" для американского уха звучит столь же привычно, как "Чикагские быки": зловещий поэтический образ превращается в спортивный значок-тотем.

В популярной музейной или университетской продукции (будь то футболки с портретом По или изображающие его заводные фигурки) ворон и черный кот стали обязательными атрибутами образа. Чучело ворона украшает комнату-музей писателя в общежитии Виргинского

© Александра Уракова, 2009

1. Особенно в 80–90-е годы в связи с увлечением спиритической поэзией, якобы диктуемой поэтам-медиумам с того света.

2. Дата смерти По.

университета. Студенту таким образом предлагается автор, которого он знает с детских лет, что немаловажно: акцент на развлекательной программе и занимательном обучении — обязательный компонент рекламы любого американского университета. Впрочем, сам По с его непропорционально высоким лбом, печальными глазами и вислыми усами в сознании читателей — это и классик, которого читают в школе, и персонаж комиксов, шаржей, анимации, рекламы.

Разумеется, Эдгар Аллан По как историческое лицо не совпадает со своими *фикциональными* ипостасями, формируемыми читательскими сообществами. Образ или, точнее, образы По тиражируются культурой автономно, независимо от их "истинного" или "ложного" соответствия оригиналу. Узнаваемость становится более важным фактором, чем подлинность. "По" как любой удачный проект популярной культуры должен быть востребован, а значит, без труда узнаваем и воспроизводим. Правда, и попытка сорвать маски с целью обнаружить, кем был американский писатель на самом деле, представляется сомнительной и обреченной на неудачу.

Интереснее поговорить о его образах, которые были забыты культурой или, точнее, сами стали музейно-историческим реквизитом. Они любопытны не только потому, что "остраняют" привычное представление о По, но и потому, что показывают условность и относительность литературной репутации как таковой. Историко-культурный портрет По (как, впрочем, и любого другого писателя) было бы удобно представить себе как палимпсест: более поздние изображения скрывают ранние, наполовину стертые временем. Само соприсутствие "изображений" позволяет задуматься об авторе как о фигуре, вовлеченной в процесс постоянного обновления, чаще — с опорой на биографические сведения и тексты, реже — произвольного. Кто сегодня вспоминает, что в глазах современников По был кровожадным индейцем и одновременно байроническим гением, причем оба этих образа, при всей кажущейся несовместимости, спокойно соседствовали друг с другом?

"Литературный могавк"

При жизни Эдгар По был знаменит не столько как поэт или писатель, сколько как критик, завоевавший себе репутацию литературного могавка. В январе 1849 года журнал "Холденс доллар мэгэзин" напечатал карикатуру на По: силуэт размахивающего ножом и томагавком индейца. Карикатура сопровождалась стихотворным текстом:

> With tomahawk upraised for deadly blow,
> Behold our literary Mohawk, Poe![1]

Ко времени выхода этой публикации сравнения По с индейцем стали клише. Можно встретить, например, такое возмущенное высказыва-

1. Букв.: Подняв для смертельного удара томагавк, /
Перед вами — По, наш литературный могавк! (Holden's Dollar Magazine, № 3, January 1849, p. 22). Цит. по L. Jackson. "Behold Our Literary Mohawk, Poe". Literary Nationalism and the "Indianation" of Antebellum American Culture // ESQ, 48, 1 (2002): 98.

ние недоброжелательно настроенного критика: "Литературный команч" По "угрожал томагавком" и "снимал скальпы" со своих врагов, "подобно виннебаго". Но если для одних "индейская" жестокость По была равнозначна бессмысленной расправе, другие видели в ней скорее справедливое возмездие. В предисловии к своему вышедшему в 1845 году роману "Леди Аннабель" его приятель Джордж Липпард особо отмечает, что литературный томагавк По не раз опускался на головы шарлатанов, этот роман оклеветавших[1]: "Критический нож Эдгара По" угрожает графоманам, но не гениям, к которым Липпард себя, безусловно, причислял.

В американской культуре того времени представление об индейской свирепости было общим местом и нередко противопоставлялось образу романтического дикаря в духе Фенимора Купера. Индейской жестокости подражали белые, и не только на театральной сцене, где в моде были спектакли на национальные темы, но и в реальной жизни. Известно немало случаев нападений повстанцев или просто грабителей с большой дороги, ряженных каманчами и могавками[2]. Точно так же и критик рядится в кровожадного дикаря, когда "скальпирует" автора, "рассекает на части" и "потрошит" его книгу. И все-таки, почему не за кем-нибудь, а именно за По закрепился этот образ?

Сравнения По с индейцами, надо заметить, были далеко не безосновательными. Вот, например, он рецензирует для журнала "Сазерн литерари мессенджер" модный роман американского писателя Теодора Фея "Норман Лесли: История наших дней": "Итак — она перед нами. *Та самая* книга — книга *par excellence* — раздутая, расхваленная и раз*Зеркаленная*[3]: книга, чье "авторство приписывалось" то мистеру 'Чистый лист', то мистеру 'Многоточие'..."[4]. Содержание рецензии соответствует зачину. По не просто пересказывает сюжет романа, но и по ходу дела язвительно указывает на все его трюизмы и нестыковки. Вилла, *разумеется*, стоит на берегу моря; дама, *конечно же*, упала в обморок; у героя нет ни су на странице 86-й, а на странице 87-й он достает из кармана горсть монет и тому подобное. Изложив сюжет, рецензент нелицеприятно высказывается о стиле: "хуже не смог бы написать даже школьник!" — и перечисляет грамматические ошибки.

"Вот мы и покончили с Норманом Лесли, — так заканчивается рецензия По. — И пусть нас осудят, если нам довелось когда-нибудь читать книгу глупее этой". Книга с репутацией, "раздутой" газетами, в итоге оказывается "распотрошенной" и уничтоженной беспощадным зоилом. Заключительная фраза: "Вот мы и покончили с Норманом Лесли" — недвусмысленно указывает на символическую расправу. В другой, еще более жесткой рецензии на роман Морриса Мэттсона "Пол Ульрих, или Приключения энтузиаста" По прямо намекает на физическое уничтожение предмета своей критики: "Напоследок скажем мистеру Мэттсону несколько слов, прежде чем бросить его книгу в огонь".

1. G. Lippard. The Lady Annabel: A Romance of the Alembic, the Altar, and the Throne. — Philadelphia: G. B. Zieber and Co, 1845. P. iii.
2. См. об этом подробнее в указанной выше статье Леона Джэксона.
3. BeMirrored. Роман был написан редактором "Нью-Йорк миррор", по *англ.* "Нью-Йоркское зеркало".
4. E. A. Poe. Theodore S. Fay. Norman Leslie (1835) // E. A. Poe. Essays and Reviews. Ed. G. R. Thompson. — N. Y.: Literary Classics of the United States, 1984. P. 540.

В серии знаменитых скетчей "Литераторы Нью-Йорка" По расправляется уже не с отдельными произведениями, а с самими авторами. Он рассуждает об их творчестве в целом; каждый очерк заканчивается словесным портретом: "Его лицо нельзя назвать некрасивым — у него милая улыбка, лоб говорит об интеллекте; но профиль испорчен: тяжелым и скорее неприятным его делает слегка вздернутый нос. <...> Густые баки соединяются под подбородком, что плохо сочетается с воротником à la Байрон"[1]. Упоминание воротника а lá Байрон не случайно — По пишет о модных литераторах. Более того, черты лица или части туалета должны сочетаться друг с другом, как элементы композиции в романе; один-единственный изъян может повлиять на впечатление от целого. Обладатель баков, поэт-трансценденталист Кристофер Пиз Кранч — объект едкой сатиры По: стихотворения Кранча не лишены некоторых достоинств, но философские идеи трансцендентализма сочетаются с поэзией столь же плохо, как густые баки — с открывающим шею байроническим воротником. В "Литераторах Нью-Йорка" авторы словно обретают плоть, чтобы оказаться "скальпированными" критическим томагавком.

Любопытно, что сами скетчи были напечатаны в 1846 году в дамском литературном журнале "Годиз лэдиз бук", существенно повысив тираж издания. Читательницы, как правило, покупали его из-за знаменитых иллюстраций — изображений дам в шляпках и лифах нового покроя или элегантно одетых джентльменов. После покупки журнал подвергался безжалостному "потрошению": иллюстрации вырезались на память и переклеивались в рукописные альбомы. Представляется уместным провести параллель между критической деятельностью По и повседневной читательской практикой. Подобно тому, как читательницы вырывали из журнала образчики модной одежды, По "крушит" и "режет на части" модных нью-йоркских авторов, оставляя от них, если буквально следовать английскому фразеологизму, одни "клочки и обрывки". Удивительно ли, что о "Литераторах Нью-Йорка" писали как об "образцах критики в томагавском стиле, непревзойденным мастером которого был их автор"?

Не только современники жаловались на "скальпирующее" письмо и "дикарское" расчленение произведений, характеризуя критическую манеру По. Он сам успешно обыгрывал свою "индейскую" репутацию в художественных текстах. Герой сатирического рассказа По "Литературная жизнь Какваса Тама, эсквайра" (1844) становится критиком и берет псевдоним Томас (Томми) Гавк — Tommy Hawk. Задача Томаса Гавка (томагавка) — "скальпировать, избивать и всячески громить орду бедняг-авторов". Для этого он помещает взятые из книг крепкие выражения в перечницу, смешивает их с обрывками из рецензируемого текста, "разодрав предназначенное к разбору произведение", наконец, посыпает смесью смазанный белком гусиного яйца лист бумаги. Символическая расправа и здесь подменяется физическим насилием: это рецензируемая *книга* раздирается на страницы и попадает в перечницу.

В таком контексте совсем по-другому прочитывается и знаменитый гротеск По "Человек, которого изрубили в куски", в оригинале — "The

1. Это были модные воротники, открывающие шею.

Man That Was Used Up" (1839). Само название отсылает к критической практике автора: "to use up" – модный оборот речи в журналистском обиходе того времени, цеховой жаргонизм, тождественный русскому "разнести в пух и прах" или "разделать под орех". Подзаголовок "Повесть о последней бугабуско-кикапуской кампании" вводит в рассказ индейскую тематику. Герой рассказа генерал А. Б. В. Смит оказывается жертвой индейцев: его изрубили в куски ("used up") племена бугабу и кикапу. Если кикапу – это название североамериканского племени, известного своей свирепостью, то бугабо (bugaboo) по-английски означает "страшилка" или "пугалка". В другом месте По называет автором "страшилок" самого себя; его рассказ "Преждевременные похороны" заканчивается шутливым предупреждением не читать страшные истории, *такие, как этот рассказ* ("bugaboo tales, *such as this*". – курсив *Э. По*).

В рассказе речь идет уже не о рецензируемом романе, но о *теле* генерала Смита, тайну совершенства которого пытается разузнать герой-рассказчик. Однако, как мы увидим, по ходу повествования тело это превращается в собираемый и разбираемый на части *текст*. Уже в первом абзаце, описывая генерала как безупречно сделанное произведение искусства, рассказчик сетует на отсутствие скульптора с говорящим именем Дребеззино[1], в оригинале Chiponchipino, что буквально означает "обломок на обломке" или "осколок на осколке": "Мне очень жаль, что мой юный и талантливый друг, скульптор Дребеззино не видел ног бревет-бригадного генерала Джона А. Б. В. Смита". Скульптор Дребеззино пришелся бы очень кстати: как выясняется в финале, тело генерала сделано из протезов. Когда рассказчик говорит, что за каждый глаз Смита можно было, "не дрогнув, дать пару окуляров", он не далек от истины: глаза генерала – это *на самом деле* окуляры, приобретенные за немалые деньги.

Идеальная внешность генерала не дает ключа к разгадке, и рассказчик начинает расспрашивать о нем знакомых с говорящими именами: мисс Познаванти, мистера Клеветона и других. Каждый охотно начинает рассказывать историю о Смите, но неизменно запинается на слове *man* (человек); к незаконченной фразе механически присоединяется вырванная из контекста цитата, название литературного произведения ("he is a man... – Man-*Fred*, I tell you!"), фамилия ("man / Mann"), превращая ее в каламбур или анаграмму. Не только речь дробится на части, лишаясь семантического единства, но и ее вынужденные обрывы сопровождаются актами агрессии, вроде пронзительного крика: "заорал мне прямо в ухо", "завопила тут какая-то дамочка из дальнего угла" или оглушительного стука: "Трамтарарам... так грохнул по кафедре, что у нас зазвенело в ушах". История о Смите перебивается другой, связанной с насилием историей "о каком-то Манне, которого не то застрелили, не то повесили, – а лучше б и застрелили, и повесили сразу!"[2]; становится непосредственным поводом для физической расправы: "Я немедленно покинул мисс Познаванти, отправился за кулисы и задал этому жалкому негодяю такую трепку, какая, надеюсь, запомнилась ему на всю жизнь".

1. Перевод Н. М. Демуровой. Э. А. По. Полное собрание рассказов. – СПб.: Кристалл, 2000.
2. Судебный процесс капитана Дэниела Манна активно обсуждался филадельфийскими газетами в год публикации рассказа.

Столкновение генерала Смита с индейцами бугабу и кикапу, в ходе которого ему поочередно отрубали части тела, *инсценируется* в вербальном пространстве рассказа.

В конце концов, рассказчик все же узнает тайну. Он приходит к генералу, когда тот совершает ежедневный туалет: надевая части-протезы при помощи негра Помпея, Смит сопровождает свои действия комментариями: "Скальпирование — очень неприятная процедура, но зато у Де Л'Орма можно приобрести такой прекрасный скальп"; "Эти кикапу выдавливают глаза довольно быстро, но доктора Уильямса все же зря оклеветали, вы даже представить себе не можете, как хорошо я вижу его глазами". Протез — вещь, имеющая марку изготовителя. У генерала — ноги от Томаса, руки от Бишопа, плечи от Петитта, грудь от Дюкрау, нёбо и язык от Бонфанти. Как неоднократно отмечалось в критике, монолог генерала носит откровенно рекламный характер: "*Хорошие* [курсив мой. — *А. У.*] челюсти лучше сейчас же заказать у Пармли — цены высокие, но работа отличная". Журналы того времени пестрели самыми разными рекламными объявлениями, и "Бертонз джентльменз мэгэзин", где был опубликован рассказ, в их числе. Но реклама *протезов* по меньшей мере двусмысленна: для того чтобы приобрести протез, нужно прежде лишиться собственной части тела: "...если вам, мой дорогой друг, *когда-нибудь понадобится рука*, позвольте мне порекомендовать вам Бишопа".

Генерал настойчиво — слишком настойчиво — рекомендует рассказчику некоего Бонфанти, мастера по изготовлению искусственных органов речи: "Я могу с уверенностью рекомендовать его вам (тут генерал поклонился) — поверьте, я это делаю с величайшим удовольствием". Богатая психоаналитическими коннотациями угроза потери языка заставляет героя-рассказчика ответить "на любезное предложение" генерала и "тут же" с ним распрощаться. Лишившийся частей тела в ходе жестокой схватки с индейцами, генерал вот-вот намерен — в рассказе дается прозрачный намек — совершить подобную операцию с героем-рассказчиком. Насилие становится заразительным. И только спасшись бегством, рассказчик оставляет за собой последнее слово и наконец-то заканчивает фразу: "Бревет-бригадный генерал Джон А. Б. В. Смит был человеком — человеком, *которого изрубили в куски*".

Рассказ наглядно показывает, что По отдавал себе отчет в потенциальной жестокости своего письма и свирепости критического жеста. Если текст в его рецензиях и критических заметках потрошится и скальпируется подобно телу, то в "Человеке, которого изрубили в куски" тело уподобляется "разнесенному в пух и прах" ("used up") и заново "написанному" тексту. Перевод насилия в вербальный, символический план не снижает, но скорее увеличивает его заразительную силу. В рассказах По текст может стать орудием мести — как цитата из французской трагедии, адресованная министру Д. знаменитым сыщиком Огюстом Дюпеном в рассказе "Похищенное письмо" (1844). Да и чтение как таковое — опасное занятие: книгой можно заразить или вовсе убить. Герой "Беса противоречия" (1845) пользуется, например, тем, что его жертва любила читать в постели и совершает убийство при помощи отравленной свечи — способ, о котором сам он опять-таки прочел в книге. Если же обратиться к истории публикаций По, нетрудно заметить диссонанс кровавой те-

матики многих его рассказов и благодушия сентиментально-назидательных историй, обычного чтива того времени. Чего стоит публикация одной из его самых жестоких новелл о мести и погребении заживо – "Бочонка Амонтильядо" (1846) – в окружении женской прозы, любовной поэзии, нот и модных новинок "Годиз лэдиз бук"!

Безусловно, По открыто играл собственной репутацией, вводя в рассказы литературных двойников, будь то Томми Гавк или кровожадное племя бугабу. Образ, возникший на стыке риторики фронтира и традиционного представления о беспощадности критика, в его творчестве перевоплощается в вымышленного персонажа или персонажей, alter ego его самого. Автор словно подмигивает своим читателям: просили индейской жестокости – вот вам, получайте! Реакция на этот жест была вполне предсказуемой. Критик-педант, беспощадный обличитель дурного стиля и слабого стиха, По в глазах современников и сам был излишне интеллектуальным и рациональным автором, "чье сердце было вытеснено умом", как написал о нем в эпиграмме его друг Джеймс Рассел Лоуэлл. Однако *биографическая* история выстраивалась и По, и его читателями, включая того же Лоуэлла, совсем по другому, романтическому, образцу, явно не соответствующему его репутации критика и литератора: разрисованная маска могавка прилаживалась к модному воротнику à la Байрон. Скептик со скандальной репутацией и язвительным пером, в сознании современников Байрон был прежде всего гением, способным на страстные душевные порывы, безрассудные поступки и экстравагантные причуды...

Нет, я не Байрон...*?*

Как и его однокашники по Виргинскому университету, По увлекался байронизмом. И хотя его обвиняли в подражании Гофману, а не Байрону, он сделал байроническую историю частью вполне осознанной литературной стратегии, положив ее впоследствии в основу автобиографической легенды. В герое раннего рассказа "Свидание" (1834) безошибочно угадывается лорд Байрон, а в основе сюжетной коллизии лежит знаменитая любовная история английского поэта и Терезы Гвиччиоли. По наделяет своего персонажа "изобилием черных кудрей", "челом необычайной ширины" цвета слоновой кости, безумными светло-карими глазами и страстным, неукротимым нравом. У современного читателя не могло быть ни тени сомнения в том, кто прототип рассказа: первая редакция под названием "The Visionary" ("Мечтатель") вышла в специальной тематической подборке "Годиз лэдиз бук" – в одном номере с воспоминаниями о Байроне, гравюрами, изображающими его резиденции, с поэтическим обращением к Байрону, написанным спенсеровой строфой... И хотя в рассказе еще нет явных автобиографических деталей[1], обращает на себя внимание любопытное обстоятельство: в дальнейшем По будет перепечатывать принадлежащее байроническому герою стихотворение как самостоятельное произведение. Как заметила одна американская исследовательница, тем самым в буквальном смысле происходит "переуступка прав соб-

1. Разве что и По, как персонаж его рассказа, был разлучен с возлюбленной, Сарой Эльмирой Ройстер, когда родители подыскали ей богатого жениха.

ственности" от персонажа к автору — одно из значений английского слова "assignation". "Байроническое" стихотворение наделяется дополнительным ценностным смыслом.

Традиции отождествления себя с Байроном По следует в двух более поздних и хорошо известных рассказах: "Падение дома Ашеров" (1839) и "Уильям Уилсон" (1839). Читатель мрачной истории об унылом, сумрачном поместье едва ли соотносит его с воспоминаниями американского романтика Вашингтона Ирвинга о посещении Ньюстедского аббатства[1], под сильным влиянием которых был написан рассказ. Но если восстановить историко-литературный контекст, то байронические черты Родерика Ашера, от меланхолического темперамента до — подразумеваемых — инцестуальных отношений с сестрой, не покажутся надуманными. Правда, если персонаж "Свидания" внешне похож на Байрона, то портрет Ашера — автопортрет По. У героя "мертвенный цвет лица", "большие влажные глаза, полные несравненного блеска", тонкий нос еврейского типа, вьющиеся волосы и "непропорционально высокий лоб" (!). Высокий лоб, слегка вьющиеся волосы и бледный цвет лица По перечислял, описывая собственную внешность[2].

В отличие от героя "Свидания", Родерик Ашер — не Байрон, но его нельзя однозначно назвать и alter ego По. Это вполне самостоятельный персонаж с собственной историей и ярко выраженными индивидуальными качествами. Однако сама встреча двух прототипов в точке схождения перспективы или, точнее, наложение двух угадываемых прототипов друг на друга говорит о том, что По нравилось изображать из себя Байрона, сопоставлять с ним свой образ. Эта мысль находит подтверждение в собственно автобиографическом рассказе "Уильям Уилсон".

"Уильям Уилсон" — единственный рассказ, в который По открыто вводит факты своей жизни, начиная от детального описания английской школы, где он учился, и заканчивая именами своих знакомых. Уильяму Уилсону он дает правильную дату своего рождения — 19 января 1809 года. В последующих публикациях рассказа автор меняет год рождения героя на 1811-й и 1813-й, но, по предположению исследователей, делает это, чтобы скрыть собственный возраст. Возможно, он также обыгрывал "двойственность" собственного рождения: в 1809 году он родился, а в 1811-м был усыновлен табакоторговцем Джоном Алланом. Цифра 13, в последней редакции рассказа, говорит сама за себя, подчеркивая сквозной мотив рока. Тем не менее, сюжет "Уильяма Уилсона" — сюжет об аристократе, убивающем совесть-двойника, — был взят из эссе Ирвинга "Ненаписанная драма лорда Байрона" (1836)[3]. Пересказывая задуманный, но так и не реализованный сюжет драматической поэмы Байрона, мэтр американского романтизма предлагает взяться за его воплощение "поэту или драматургу байронической школы", за что охотно берется По. Автобиографические детали он встраивает в уже "готовый", байронический сюжет.

"Уильям Уилсон" — это не только рассказ на сюжет, якобы принадлежащий английскому поэту. К моменту выхода его Байрон успел стать

1. Знаменитое имение лорда Байрона.
2. [H. B. Hirst] The Poets and Poetry of Philadelphia, Number II: Edgar Allan Poe// Philadelphia Saturday Museum I, 4 (Mar. 1843): 1.
3. W. Irving. The Gift. An Unwritten Drama of Lord Byron // The Gift. A Christmas and New Year Present for. 1 (1836): 171.

нарицательным примером в дидактической литературе, прежде всего викторианской. В рассказе По описывает череду безнравственных поступков главного героя. Последним и главным злодеянием становится его попытка соблазнить юную жену престарелого дожа во время римского карнавала: перед нами вновь "разыгрывается" история с Терезой Гвиччиоли, легшая в сюжетную основу "Свидания". Совесть-двойник препятствует злодеянию и погибает от удара шпаги Уилсона. Осуждает ли По своего кумира, следуя моде? Едва ли, если учесть, что он не терпел дидактизма в литературе, а за избыточную аллегоричность ругал Эдварда Бульвера-Литтона, одного из самых ярых обличителей байронизма. Скорее речь идет об авторской иронии или, по крайней мере, о самоосуждении. Если даже предположить, что По написал "Уильяма Уилсона" с целью выставить Байрона в неприглядном свете, мы должны будем признать, что он тем самым вершит суд и над самим собой.

Скитаясь по Европе, Уильям Уилсон, как Чайльд-Гарольд, переезжает из страны в страну. Среди городов, где он побывал, упоминается и Москва. Через два года По напишет краткую автобиографию, где говорится о вымышленном европейском турне. Конечным пунктом становится, по странной случайности, Санкт-Петербург! В столицу Российской империи злополучный поэт попадает, *не попав* в Грецию, куда он якобы отправился, как Байрон, с благородной целью освобождения греков от турецкого ига. Вопреки своей репутации бессердечного критика и писателя, По пытался перекроить автобиографию по "байроническому" образцу, рисуя образ страстного, безрассудного мечтателя, борца за свободу и дебошира (в Петербурге По якобы попадает в темную историю, подробности которой не раскрываются; однако оговаривается, что лишь благодаря содействию американского посла ему удается вернуться в Соединенные Штаты). Иными словами, По придумывает самого себя *как байронического героя.*

Байронический образ По оказался удивительно востребованным после его смерти и последовавшего за ней некролога Руфуса Грисуолда, который очернил писателя на долгие годы. Подобно Байрону, По стал персонажем назидательной литературы и обличительной критики. Например, "Уильяма Уилсона" стали читать как исповедь о совершенных злодеяниях. "...Мы не можем не заподозрить, что [финал "Уильяма Уилсона"] бросает тень на причину ссоры между По и его опекуном", — пишет в 1856 году анонимный рецензент[1]. Он ссылается на указанный выше "байронический" эпизод рассказа — попытку Уилсона соблазнить юную жену престарелого маркиза ди Бролио. Дело в том, что сразу же после смерти По журналы стали распространять ричмондскую сплетню о том, что причиной ссоры По с отчимом в 1829 году послужил второй брак последнего. Отчим, Джон Аллан, женился на молодой девице, к которой пасынок (якобы) воспылал нечестивой страстью. Сюжетная коллизия "Уильяма Уилсона" в приведенной выше рецензии становится уликой, доказательством стыдливо замалчиваемого скандала. Фантастическое обрамление, пишет рецензент, потребовалось По только для того, чтобы "скрыть мораль рассказа" от неискушенных читателей. От романтической рисовки и байронической позы остается безнравственность персонажа, бросившего вызов благопристойности.

1. Edgar A. Poe // North American Review (1856): 437.

Апологет По французский поэт Шарль Бодлер в ранней редакции своего эссе "Эдгар По, его жизнь и творчество" (1852) будет открыто сравнивать своего американского предшественника с оклеветанным и гонимым соотечественниками Байроном — и лишь впоследствии (в редакции 1856 года) обобщенно-байронические черты По уступят место образу "про́клятого поэта"[1]. Миф о По-изгое, культивируемый Бодлером и французскими поэтами-символистами, до сих пор живет в массовом сознании. Биография непризнанного, гонимого гения, правда, обособилась от изначальной байронической модели — наполнившись как подлинным содержанием непростой литературной судьбы По, так и собственно ее символистской интерпретацией.

Вытесненным из читательского сознания оказался и некогда влиятельный образ беспощадного индейца-"дикаря". Это и не случайно. Критическое наследие По сегодня интересует разве что специалистов, тогда как в те времена его статьи шумели в литературном Нью-Йорке, Ричмонде и Филадельфии. И все же можно предположить, что жестокость и свирепость По были так или иначе задействованы в создании его "готического" образа, претерпев сложную и любопытную трансформацию. Некогда гроза плохих писателей, По продолжает пугать (bugaboo) своих слишком доверчивых и, как правило, юных читателей. Любопытно нередко описываемое в Интернет-блогах разочарование: По только *казался* страшным; в его рассказах, признается блоггер, на самом деле, нет никаких ужасов! Последнее объяснимо зазором между детским и взрослым читательским опытом, а также — между текстами и устойчивым в культурном сознании образом: воспринимая По как "родоначальника" литературы ужасов, мы, избалованные спецэффектами голливудских фильмов, всегда ожидаем чего-то большего и разочаровываемся, если автор "не оправдывает" свою репутацию. Подобно тому, как "индейская" метафорика в XIX веке иронически "снижала" его образ, в наши дни "страшный" По неожиданно оказывается на детской полке рядом с Фенимором Купером и Томасом Майн Ридом.

И литературный могавк, и байронический герой — образы или маски, оставшиеся в прошлом. Между ними и современными представлениями о По едва ли имеет смысл устанавливать жесткую зависимость. В то же время любопытно, что за По сохранилась изначально приписываемая ему раздвоенность: автор "страшилок" — и гонимый роком мученик, мрачный романтик — и рациональный писатель. Эта раздвоенность — присущая почти всем знаменитым героям По: Родерику Ашеру, Уильяму Уилсону, Огюсту Дюпену — изначально была составляющей его литературного "имиджа". Позиционируя себя как байронического поэта в автобиографии и серьезной прозе, на страницах редактируемых им журналов и в рассказах-гротесках По скрывался за маской индейца. Боевая раскраска вызывала неприязнь и насмешки, но и выступала в функции защиты: могавк, как могавку и положено, продолжал скальпировать, избивать и всячески громить (to use up) орду бедняг-авторов.

1. Сам Бодлер не использует это выражение, принадлежащее Полю Верлену, но то, что По — поэт-самоубийца, денди и изгой, согласно его интерпретации, этому образу соответствует полностью, не вызывает сомнений.

О словарях "измов"

Энциклопедический словарь экспрессионизма / Гл. ред. П. М. Топер. – М.: ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, 2008. – 735 с.

Энциклопедический словарь сюрреализма / Отв. ред. и сост. Т. В. Балашова, Е. Д. Гальцова. – М.: ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, 2007. – 581 с.

Изданием "Энциклопедического словаря экспрессионизма" и "Энциклопедического словаря сюрреализма" Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН продолжил серию фундаментальных трудов, начатую в 2005 году "Энциклопедическим словарем английской литературы XX века".

Оба словаря являются первыми и единственными отечественными изданиями, авторы и составители которых поставили перед собой задачу дать читателю практически всю необходимую информацию, связанную с двумя авангардными направлениями начала первой половины XX века. Задача достойная и важная, прежде всего потому, что экспрессионизм и сюрреализм – каждый по своему – ознаменовали собой решительный переворот в искусстве и оказали при этом воздействие не только на художественную практику, но и на мироощущение и мировосприятие всех последующих поколений. Не только изобразительное искусство и литература, но и кинематограф, театр, гуманитарные науки, философия, политика, средства массовой информации, реклама, дизайн – все они в той или иной мере были затронуты и преображены экспрессионизмом и сюрреализмом. История этих движений, их связь с культурой XX века, оказанное (и оказываемое) ими влияние должны, по замыслу авторов, прослеживаться "через форму энциклопедических словарных статей, охватывающих явления самых различных категориальных уровней". Не менее важной целью, стоявшей перед авторами изданий, было обобщение уже имеющегося обширного и порой довольно сложного научного материала, с тем чтобы создать фундаментальную базу для дальнейшего исследования экспрессионизма и сюрреализма в отечественной науке. Наконец, эти издания должны поддержать не ослабевающий с начала 1990-х (что, к примеру, еще раз показал успех прошедших в прошлом году в ГМИИ им. А. С. Пушкина выставок художников экспрессионистской группы "Мост" и близкого сюрреалистам швейцарского скульптора Альберто Джакометти) интерес широкого круга публики к литературе и искусству этих направлений.

Оба энциклопедических словаря устроены одинаково: за емким предисловием, в котором рассказывается история термина и вкратце история движения, история и проблемы его изучения, а также раскрываются принципы, которыми при составлении словаря руководствовались авторы, следуют словарные статьи. Порой, и даже в значительной мере, удачные; иногда – это по большей части касается "Энциклопедического словаря экспрессионизма" – не очень. В любом случае, у читателя этих словарей будет весь нужный набор сведений – от биографий, основных произведений и научной литературы по творчеству представителей этих движений – писателей, поэтов, художников, композиторов, актеров – до ключевых концепций, таких, как "братство", "деформация", "Новый человек", "конфликт отцов и детей" и т. д. в экспрессионизме; "автоматизм", "желание", "сюрреа-

листический юмор", "объективная случайность" в сюрреализме; и до важнейших элементов и приемов поэтики. В словарях можно найти перечень и разъяснение программ практически всех экспрессионистских и сюрреалистических журналов и антологий; статьи о различных объединениях и литературных кафе и кабаре — местах сбора экспрессионистов и сюрреалистов; обширные материалы о роли и значении этих направлений в контексте эпохи, их месте в культуре своего времени, соотношении с культурой и искусством прошлого и значении для культуры последующей. О проявлении экспрессионизма и сюрреализма в различных видах и жанрах искусства (в "Энциклопедическом словаре сюрреализма", правда, странным образом отсутствует статья о фотографии, хотя именно фотография была тем искусством, где сюрреализм оставил едва ли не самый заметный след). Наконец, читатель найдет в словарях разделы о национальных вариантах экспрессионизма и сюрреализма — и здесь нельзя не признать ценности в первую очередь "Словаря экспрессионизма", попытавшегося первым определить специфику экспрессионизма в разных странах, — а в "Энциклопедическом словаре сюрреализма" имеются еще и отдельные статьи об основных произведениях сюрреализма. Завершают словари объемные указатели, и если в случае "Энциклопедического словаря сюрреализма" у читателя будет только именной указатель, увы, часто не позволяющий найти нужную статью и даже скорее запутывающий в лабиринте сюрреализма, то читатель "Словаря экспрессионизма" снабжен всем необходимым: избранной библиографией, предметным указателем, в котором перечислены все включенные в словарь статьи, и, наконец, весьма удобным именным указателем, где по выделенному шрифту можно сразу найти героев отдельных статей.

При том что авторы обоих словарей, безусловно, проделали огромную, заслуживающую высокой похвалы работу, а словари, как представляется, виделись отчасти дополняющими друг друга изданиями, их чтение оказывается совершенно различным опытом. Если "Энциклопедический словарь сюрреализма" производит впечатление современной, слаженной, гармоничной работы авторского коллектива, любящего и отменно знающего свой предмет, пытающегося заинтересовать читателя, то "Энциклопедический словарь экспрессионизма" — при немалом количестве обстоятельных и качественных статей (в особенности посвященных изобразительному искусству и скульптуре, театру, музыке) — оставляет ощущение работы, многие авторы которой не представляют себе стоящей перед ними задачи. Отчасти проблема кроется в самих исторических различиях возникновения этих направлений. Если движение сюрреалистов было в определенной мере однородно и зародилось *одновременно* с термином, его обозначающим, то слово "экспрессионизм" применительно к поколению художников и поэтов, родившихся конце 1880 — начале 1890-х годов, стали употреблять с небольшим запозданием, ретроспективно, обозначив им *уже* сформировавшееся явление, причем принадлежность того или иного поэта или художника к "экспрессионизму" — что вносило и вносит в исследование экспрессионизма дополнительную сложность — нередко определяли враждовавшие друг с другом идеологи направления: редакторы и издатели экспрессионистских журналов и антологий. Отчасти — причина в том, что теоретики и первые исследователи экспрессионизма сами размывали границы движения, провозгласив экспрессионизм "типом мировоззрения", проявляющимся в ту или иную историческую эпоху, важнейшей чертой которого было стремление к "бесконечному, безграничному" и иногда "бесформенному" — в этом отношении

они ставили знак равенства между готическим искусством, или искусством барокко, или романтизмом — и экспрессионизмом. И там, и там им виделось проявление "экспрессионистского духа", противостоящего "рациональному духу" Ренессанса, классицизма или реализма. Такое отношение, разумеется, заставляло исследователей искать предшественников экспрессионизма, "предэкспрессионистов", в каждой из этих эпох, до бесконечности расширяя их список. Отчасти же проблема в том, что "Энциклопедический словарь экспрессионизма" — работа в своем роде передовая: если сюрреализм, несмотря на свое "бунтарство", достаточно легко (на первый взгляд) поддался систематизации и стал объектом научного исследования: первый словарь сюрреализма, собственно говоря, составили сами сюрреалисты — Бретон и Элюар, а у составителей русского "Энциклопедического словаря сюрреализма" были ориентиры в виде французских словарей сюрреализма 1982 и 1996-го годов, то два словаря экспрессионизма — французов Лионеля Ришара (он издан несколько лет назад и на русском языке) и Жозеф-Мари Мюллера — не только практически целиком посвящены изобразительному искусству, но и просто устарели. Таким образом, создатели "Энциклопедического словаря экспрессионизма" (тут нужно отдать дань уважения П. М. Топеру, инициировавшему и до последних дней жизни руководившему этой работой) были фактически первопроходцами в своей области, им нужно было обработать противоречивую и иногда взаимоисключающую литературу, так и не дающую однозначного ответа на вопрос, что же такое экспрессионизм.

"Любая попытка постигнуть экспрессионизм как литературно-историческое явление заканчивается примирением с тем обстоятельством, что именно как явление экспрессионизм фактически непостижим", — писал в 1962 году немецкий историк литературы Вольфганг Паульсен, а через двадцать лет его коллега Ян Кнопф сетовал на то, что если прежде исследования экспрессионистской литературы обычно начинались с констатаций невозможности дать четкое определение экспрессионизма, то теперь они начинаются уже не с "жалоб о невозможности определения экспрессионизма, а с цитирования этих жалоб". Но одна из проблем "Энциклопедического словаря экспрессионизма" как раз в том и заключается, что авторы многих концептуальных статей не ставят перед собой цели выработать аппарат, который помог бы понять, что такое экспрессионизм, или хотя бы предложить версию такого понимания. Разница в подходе авторов этих двух словарей к своему материалу хорошо видна на примере статьи, посвященной цюрихскому "Кабаре Вольтер" — месту, где начиная с 1916 года встречались жившие в Швейцарии, скрывавшиеся от службы в армии представители немецкой и французской богемы. Если "Энциклопедический словарь экспрессионизма" довольствуется формальным, усталым перечислением фактов (в "Кабаре Вольтер" встречались "основатели экспрессионизма", там читали произведения экспрессионистов) и неловких цитат, то "Словарь сюрреализма" обозначает, *чем было* "Кабаре Вольтер" и что оно *значило* для современного искусства: "Опыт 'Кабаре Вольтер' постулирует новый тип бытования искусства, при котором смысловой 'центр тяжести' перемещается с произведения в пространство взаимоотношений между ним, автором и зрителем; <...> публика была впервые осознана как самодостаточный эстетический феномен и <...> как объект целенаправленных художественных манипуляций". Именно это — сведения, важные и для понимания, например, эволюции экспрессионистской драмы, расцвет и популярность которой приходится на первые годы после

мировой войны, и для понимания механизмов экспрессионистского кинематографа, это, а не факт чтения тем или иным человеком своих или чужих произведений в "Кабаре Вольтер", может пролить свет на то, чем руководствовались авторы первых экспрессионистских антологий, появившихся сразу после окончания Первой мировой войны, и на то, как им удавалось манипулировать читающей публикой, создавая "самые полные" (при том, что в них отсутствовала добрая половина поэтов экспрессионистского поколения) экспрессионистские сборники, на десятилетия сформировавшие представления об этом движении и оказавшие самое непосредственное влияние на его изучение.

Экспрессионизм — и "Энциклопедический словарь" доказывает это в очередной раз — оказывается одновременно очень удобным и неудобным объектом исследования. Он удобен тем, что под него можно подвести практически любые концепции, ему можно навязать "проблематику чужести" (статья "Свое и чужое") и, процитировав несколько стихотворений с прилагательным "чужой", подать ее так, будто бы оппозиция "своего/чужого" возникает впервые только в экспрессионизме, а не является ключевой вообще для всей многовековой европейской культуры (и не только европейской), лишь по-особенному в экспрессионизме преломившейся (хотя при этом преломление ключевых культурных оппозиций замечательно показано в статьях "Свет — тьма", "Черное и белое"). Он позволяет выбрать наиболее удобные фигуры экспрессионистов или так называемых предили постэкспрессионистов и писать о них, умалчивая о тех, чьи связи с экспрессионизмом нуждаются в дополнительном изучении и прояснении (С. Георге, Минона, Р. М. Рильке, П. Хилле, М. Даутендей, А. Веберн, архитектор Э. Мендельсон — вся экспрессионистская архитектура, за исключением небольшой статьи о Баухаузе, отсутствует — и т. д.). Точно так же экспрессионизм позволял в 1930-х годах Д. Лукачу видеть в нем раннее проявление немецкого фашизма, а исследователям и литераторам середины XX века, отмеченной подъемом интереса к экспрессионизму, — "подлинное немецкое человеколюбивое искусство", на основе которого можно было бы строить новую культуру, не запятнанную фашистской идеологией. И в этом оказывается неудобство экспрессионизма как объекта исследования — тексты о нем, язык, которым они написаны, могут легко показать историю и выдать нынешнее состояние его изучения. В некоторых областях (кинематограф, теория литературного экспрессионизма) состояние, судя по всему, весьма плачевное, и язык описания этих областей культуры — это все еще склонный к эссеизму, неточный язык советской гуманитарной науки в ее худших проявлениях.

Вполне симптоматично, что словарь открывается труднопонимаемой статьей об "абсолютной метафоре" — концепте достаточно спорном, но подающемся здесь в качестве "конститутивного признака экспрессионистского мировоззрения и стиля". "...Абсолютная метафора пытается назвать то, чему, собственно, нет иного имени и что не может быть выражено ничем другим, кроме этой абсолютной метафоры. <...> Данная метафора манифестирует авторскую перспективу осознания катастрофичности бытия, в котором "распалась связь времен", и собственное место, вернее, его отсутствие в этом хаосе. В ней кроется ключ к пониманию основ национально-специфического видения мира и его универсального образа, актуального для периода коренного перелома в жизни и искусстве, <...> она, действительно, словно "плавает", ничего ни с чем не соединяя". Собственно, экспрессионизм у некоторых авторов словаря и становится такой "абсолютной метафорой", ничего не обозна-

чающей, кроме самого себя, и "ничего ни с чем не соединяющей". Отсюда и в высшей степени метафорический язык ряда (но, к счастью, далеко не всех!) статей этой книги: "цветовая палитра экспрессионизма проявляет себя как территория крайнего беспокойства", "уже ранние работы <...> выявили органическую предрасположенность к экспрессионизму", "Кузьмин синхронно развертывал культурный и биографический миф, подобно монтажному строю киноленты", или малозначимые в контексте главного материала словаря факты, вроде такого: "его (кинорежиссера Г. В. Пабста. — *А. М.*) [фильмы] служат даже примерами натурализма. Действительно, Пабст снимал "Любовь Жанны Ней" на местах действия, в Париже, а для сцены попойки пригласил в качестве статистов русских эмигрантов". И к такому метафорическому языку, и к подобным фактам, как кажется, эти авторы прибегают именно потому, что им совершенно не нужно заинтересовывать своим предметом читателей, или потому, что они просто не знают, что им еще говорить.

Как бы там ни было, выход в свет этих словарей нельзя не приветствовать. Их появление — выдающееся и важное событие в отечественном литературоведении и культурологии, ведь труды такого масштаба и такого высокого уровня появляются у нас крайне редко. Авторы проделали огромную, заслуживающую благодарности и самой высочайшей похвалы работу. Эти книги пригодятся не только специалистам, для которых данные словари (и их критика) несомненно станут новой точкой отсчета в научных исследованиях, но и самому широкому кругу читателей, стремящихся открыть для себя новые горизонты или лучше понять значительный и значимый пласт европейской культуры первой половины XX века. Остается надеяться, что Отдел литератур Европы и Америки Новейшего времени ИМЛИ РАН, где готовились эти словари, продолжит эту серию новыми фундаментальными энциклопедическими изданиями, посвященными литературе XX века.

Александр Маркин

С саквояжем по свету

"Литература путешествий" сейчас в моде. На российском книжном рынке присутствуют сразу несколько специализированных серий "туристического" нон-фикшн — не считая, разумеется, "настоящих" путеводителей. Самая известная из них — "Travel Series", выпускаемая "Европейскими изданиями" ("идеолог" серии Олег Никифоров в 2008 году получил премию "Человек книги" в номинации "Редактор"). Она объединяет книги ведущих современных европейских писателей-путешественников — Свена Линдквиста, Брюса Чатвина, Рышарда Капущинского. Из авторов, представленных в "Travel Series", лишь нобелевский лауреат 2001 года Видиа С. Найпол знаменит в первую очередь не травелогами, а художественной прозой. Впрочем, по каким-то причинам романы его так и не стали событием для русского читателя — в отличие от вышедшей в "Европейских изданиях" "Территории тьмы".

Издательство "Б.С.Г.-Пресс", затеявшее серию "Sac de Voyage", пошло по иному пути. Ее составили путевые заметки писателей, прославившихся в совсем иных жанрах, и соответственно имена здесь подобрались куда более известные, нежели в "Travel Series". Не представлены в серии и современные авторы — хронологически ряд заканчивается Лоренсом Даррелом и Алленом Гинзбергом.

Начинается же он с Ханса Кристиана Андерсена, чью книгу "В

Швеции" "Б.С.Г.-Пресс" представляет русскому читателю. Разумеется, записки Андерсена имеют много общего с его сказочной прозой — говорящие птицы и тролли попадаются путешественнику едва ли не чаще, чем простые крестьяне. Не случайно ряд вставных новелл из книги, не имеющих отношения к "магистральному" сюжету, традиционно включаются в сборники андерсеновских сказок. Реальные впечатления и поэтическая рефлексия по их поводу равно важны для структуры книги.

Обилие лирических отступлений, философских пассажей, риторических вопросов и восклицаний — все это указывает на определяющее влияние на автора романтической поэтики. Современного читателя экстатичность исторических экскурсов и пафос пейзажных зарисовок могут утомить, но в середине XIX века книга стала на родине Андерсена настоящим бестселлером, по сути, открыв для датчан северного соседа и многократно увеличив "туристические потоки" из Дании в Швецию.

Травелог не бедекер, и тех, кто полагают, что авторы взялись за перо, дабы снабдить их разными общеполезными сведениями для плавающих-путешествующих, ожидает серьезное разочарование. Большинство представленных в серии писателей под прикрытием жанра путевых заметок решают какие-то свои задачи, имеющие мало общего с описанием достопримечательностей или указанием максимально удобного способа проезда из пункта А в пункт Б.

Тот же Андерсен описывал свое путешествие по Швеции не только ради фиксации путевых впечатлений, но и для трансляции панскандинавской идеологии. Но наиболее далек от привычного жанрового канона Олдос Хаксли. Аннотация предупреждает, что книга "В дороге" включает "не только путевые очерки писателя, побывавшего в Италии и Голландии, но и <...> множество наблюдений философского и культурологического свойства". Но если уж говорить правду, то говорить до конца: из книги вовсе не следует, что Хаксли вообще когда-либо выезжал за пределы Англии. Томик содержит множество самых разнообразных сведений, которые свидетельствуют скорее об основательном знакомстве писателя со столь любимой им Британской энциклопедией, нежели о живых путевых впечатлениях. Эта книга — превосходный образец эссеистики в английском понимании термина, где основная сюжетная линия (насколько мы вправе говорить о сюжете применительно к эссе) совершенно растворяется в многочисленных и разнородных отступлениях.

Хаксли рассуждает обо всем на свете — о сравнительных достоинствах автомобилей, сплетнях, очках, Марселе Прусте... Плюс к тому треть книги занимает раздел "О путешествии вообще", развивающий своего рода философию туризма и даже не пытающийся прикинуться путеводителем, а заканчивается она главой под названием "Кстати", не имеющей к основному "сюжету" хотя бы внешней привязки. Как результат — об Италии и Голландии читатель не узнает практически ничего, зато закрывает книгу с послевкусием как от table-talk'а с умным и тонким собеседником.

По сравнению с энциклопедически образованным и готовым вести нескончаемую светскую беседу обо всем на свете Олдосом Хаксли Дэвид Герберт Лоуренс производит впечатление упрямого мономана. Вместо множества легкомысленных отступлений — идет ли речь об этрусках или индейцах — он предлагает читателю один и тот же слегка варьируемый трактат о преимуществах образа жизни древних народов перед западной цивилизацией. Все географические и бытовые зарисовки у Лоуренса — лишь предлог, чтобы перейти к выражению восхищения страной, где "ничто не напоминает современный мир": "никаких домов, ника-

ких хитроумных изобретений, лишь восторг и тишина, простор, над которым не успели надругаться". Этруски и индейцы играют здесь однотипные роли и, в общем-то, взаимозаменяемы — не случайно автор то и дело проводит между ними прямые параллели. Роднит их, по Лоуренсу, практически все, начиная с использования красной краски в ритуальных целях и заканчивая анимистическим восприятием мира.

Различие между книгами "Утро в Мексике" и "По следам этрусков", пожалуй, лишь в том, что, рассуждая в первой из них об индейцах, Лоуренс отдает дань мультикультурализму и признает, что "образ мыслей индейца отличается от нашего и губителен для нас", а "наш образ мыслей отличается от его и губителен для него". И хотя весь ход авторской мысли и эмоции этому утверждению противоречат, формально знак равенства все же поставлен.

"По следам этрусков" — путешествие не в пространстве, а во времени, ретроспективная утопия, размышление о том, какой могла бы быть Европа, веди она свое начало не от римлян, а от этрусков. Последние, в соответствии с законами жанра, идеализируются, а римскому миру, напротив, отказывается в каких бы то ни было достоинствах. То же касается и их потомков (биологических или культурных), нынешних европейцев: даже в ногах танцующего этруска с полуразрушенной фрески "больше жизни, чем в телах наших современников". Все мрачные стороны этрусской религии и культуры — плод греко-римского влияния. И не беда, что историки с такой трактовкой не согласны — Лоуренс объясняет археологам, что на самом деле представляла собой этрусская картина мира, с той же уверенностью, с какой Розанов разъяснял раввинам, что такое настоящий иудаизм.

На первый взгляд куда ближе к "чистой" путевой прозе другой англичанин — Лоренс Даррелл, представленный в серии "Sac de Voyage" двумя книгами: кипрскими "Горькими лимонами" и "Размышлениями о Венере морской", посвященными Родосу. Впрочем, "Размышления..." можно назвать книгой о Родосе ровно в той же степени, в какой знаменитый джеромовский роман является книгой о Темзе. Никакой внятной картины островной жизни из совокупности случайных наблюдений не возникает, и вообще Даррелл с куда большим интересом описывает компанию чудаков, которые разъезжают по острову, разглагольствуя и попадая во всевозможные переделки, — Родосу же отводится роль блестящего фона для их похождений. Остроумная и стилистически безупречная (что ощутимо даже в переводе) проза Даррелла здесь предстает неисправимо легкомысленной и необязательной, хотя обаятельной и вполне занятной.

Зато "Горькие лимоны" — пожалуй, лучшая из книг Даррелла после великого "Александрийского квартета". Это тот случай, когда жизнь помогла писателю выстроить внятный сюжет. На Кипр он попал в начале 50-х (через пять лет после отъезда с Родоса) и стал свидетелем начала борьбы киприотов против английской администрации и попутных греко-турецких междоусобиц. Несмотря на всю свою грекофилию и влюбленность в кипрские пейзажи, рассказчик не может, да и не собирается, скрыть великолепное презрение английского джентльмена и чиновника к туземцам, которые еще вчера были такими милыми, а сегодня ведут себя из рук вон. Очевидно, что люди, которые вполне устраивали Даррелла в качестве персонажей фона и даже собеседников, сильно упали в его глазах, взявшись за винтовки и бомбы. О "национально-освободительном" движении автор пишет иногда гневно, иногда снисходительно, но без малейшей попытки посмотреть на мир глазами террориста и понять его "правду" — что в сегодняшнем политкорректном

мире только добавляет свежести и актуальности описанию давно прошедших политических событий.

Едва ли не единственный автор из представленных в серии "Sac de Voyage", честно играющий по жанровым правилам, – это Андре Моруа, который в книге под названием "Голландия" как раз о Голландии и пишет. Моруа удается немногословно охарактеризовать особенности нидерландского пейзажа, описать "национальный характер" голландцев в его связи с географическим положением страны, дать несколько живых сценок из голландской истории, набросать колоритные зарисовки экономики и повседневного быта местных жителей. И – чего уж совсем нельзя представить в других книгах – вставить раздел "Советы молодому французу, отправляющемуся в Голландию". Конечно, Моруа записывал свои голландские впечатления более полувека назад, по материалу его книга в значительной части устарела, а по манере – не слишком отличается от путеводителей "Афиши" или "Ле пти фюте". И тем не менее это, пожалуй, единственная книга серии, которую действительно стоит положить в саквояж, отправляясь в путешествие.

Михаил Майков

У книжной витрины

с Михаилом Визелем

Мишель Фейбер *Багровый лепесток и белый* / Пер. с англ. С. Ильина и М. Салганик. — М.: Машины творения, 2009. — 872 с. — 3500 экз.

Английский писатель голландского происхождения Мишель Фейбер — давний любимец небольшого московского издательства. Эта любовь уже выразилась в выпуске двух изящных сборников его странноватых рассказов (сборник рассказов зарубежного писателя — нечастный гость на современном российском книжном рынке). Но теперь российскому читателю представляется настоящий opus magnum — эпический роман о викторианской Англии, главные герои которого — слабовольный богатый наследник и целеустремленная молоденькая проститутка, твердо решившая изменить свое жалкое положение. После выхода этой книги в 2002 году издательство "Canongate" предложило автору принять британское гражданство — и тогда он смог бы претендовать на Букера. Фейбер отказался в знак протеста против участия Соединенного Королевства в иракской кампании. Opus'ом magnum'ом эта книга является и с точки зрения издательской: огромный, любовно сделанный фолиант с оригинальной дизайнерской полиграфией.

Ричард Йейтс *Холодная гавань* / Пер. с англ. С. Таска. — СПб.: Азбука-классика, 2009. — 182 с. — 22 000 экз.

Еще одна сага — на сей раз о простой американской семье, живущей в 30—40 годы XX века на Лонг-Айленде. Встречи, расставания, измены и обиды, свадьбы и разводы. Классическое повествование без ретроспекции и потоков сознания, написанное емким языком, в меру психологично и в меру динамично. Только гораздо короче, чем у Фейбера. (И соответственно, тираж тоже гораздо больше.) Можно вспомнить традицию хемингуэевского рассказа и чеховского мини-романа, но правильнее все-таки в данном случае говорить о практике голливудской сценарной заявки.

Зельда Фицджеральд *Спаси меня, вальс* / Пер. с англ. Л. Володарской. — М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2009. — 415 с. — 3000 экз.

Зельда Фицджеральд хорошо известна как жена, муза и, пожалуй, злой демон Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Эта книга — ее единственный роман, написанный в 1932 году в тридцатидвухлетнем возрасте. И, несмотря на явно автобиографические черты главной героини, Алабамы Найт (и на то, что писался он несомненно "в пику" знаменитому мужу), это не просто свидетельство из первых уст о "веке джаза", а именно роман, любопытный своими эмоциями и героями, а не тянущимися много десятилетий спорами о том, насколько велика была "помощь", оказанная Зельде Фрэнсисом Скоттом, и была ли эта помощь вообще оказана. Любопытно, что практически одновременно на русские книжные прилавки легла книга француза Жиля Леруа "The Alabama Song" — биография Зельды, изложенная от ее собственного имени. Но лучше все-таки обратиться к оригиналу.

Джон Ли Андерсен *Че Гевара. Важна только революция* / Пер. с англ. А. Зорина и М. Рогачёвой. — СПб.: Амфора, 2009. — 767 с. — 4000 экз.

Книга начинается с рассказа о встрече с боливийским генералом в отставке Салинасом, рассказавшим автору, что именно он тайно захоронил Эрнесто Че Гевару, за которым он охотился много месяцев, у взлетно-посадочной полосы аэродрома городка Вильягранде. И это стало английскому журналисту последним импульсом к написанию давно задуманной книги, необходимость в которой, по его словам, давно назрела — потому что у бессмертного команданте нет серьезной беспристрастной биографии, а есть только жития и пасквили. Андерсен ответственно подошел к задаче — переехал почти на три года в Гавану и собирал материалы по всему миру, от Москвы до Нью-Йорка. Но начинается рассказ с раскрытия "астрологической тайны" Гевары: Эрнесто напоминал не уступчивых Близнецов, а упрямого Тельца, потому что родился на месяц раньше, чем было заявлено в официальной метрике (чтобы скрыть "добрачный грех" его родителей). По этому можно судить о "серьезности" выбранного автором тона.

Илия Троянов *Собиратель миров* / Пер. с нем. А. Чередниченко. — М.: Европейские издания, 2009. — 448 с. — 5000 экз.

Еще одна биография, но написанная совсем иначе, чем биография Гевары. Немецкий автор болгарского происхождения не пытается представить по документам подлинный облик своего героя — британского офицера и секретного агента, переводчика Камасутры и "Сказок тысячи и одной ночи" Ричарда Бёртона (1821—1890), мужественно несшего бремя белого человека через Индию, Аравию и Африку, а предлагает свою беллетризированную версию его причудливой жизни. "Я догадался, что он считает, будто может менять веры как накидки, точно так же, как меняет он свое поведение, одежду, язык. Когда мне стало это ясно, я потерял часть своего уважения к нему".

Дэвид Линч *Поймать большую рыбу. Медитация, осознанность и творчество* / Пер. с англ. К. Кистяковской. — М.: Эксмо, 2009. — 208 с. — 5000 экз.

Подобные названия обычно дают бойким брошюркам, произрастающим на благодатной ниве, которую мы деликатно называем "популярной психологией". Но Дэвид Линч — а это "тот самый" Дэвид Линч, один из наиболее известных кинорежиссеров современности, — не пытается учить нас жизни. Он достаточно знаменит и достаточно незауряден, чтобы просто представить вниманию своих (по)читателей собрание заметок мемуарного характера, своего рода "записок на манжетах", в которых он делится воспоминаниями, наблюдениями, размышлениями. Читать любопытно; а что касается духовного роста читателей — автор предлагает им позаботиться об этом самостоятельно.

Константинос Кавафис *Полное собрание стихотворений* / Пер. с греческого; Составитель и ответственный редактор С. Ильинская. — М.: ОГИ, 2009. — 504 с. — 1500 экз.

Русский читатель, справедливо отмечается в предисловии, обязан своему знакомству с творчеством Кавафиса двум факторам: многолетней и кропотливой работе Софьи Борисовны Ильинской, а также особой любви Иосифа Бродского к Кавафису. Сейчас, сорок лет спустя после первой публикации на русском языке (разумеется, в "ИЛ"), это знакомство достигло своей кульминации: по-русски выходит "полный Кавафис". Том состоит из трех разделов: основного корпуса, отобранного самим автором, "отброшенных" им

стихотворений и, наконец, из архивных стихотворений — остававшихся при жизни Кавафиса в его письменном столе. Шестьдесят девять переводов выполнены специально для данного издания.

Джордж Джонсон *Десять самых красивых экспериментов в истории науки* / Пер. с англ. К. Лукьяненко. — М.: КоЛибри, 2009. — 224 с. — 4000 экз.

Книга известного американского популяризатора науки повествует о тех славных временах, когда для того, чтобы проводить актуальные эксперименты, способные существенно расширить наши знания об окружающем мире, не нужно было создавать институты с тысячами сотрудников и пробивать под Альпами гигантские туннели для ускорителей, а все необходимое можно было собрать и настроить собственными руками. И чаще всего на собственные средства. Галлией, Ньютон, Гарвей, Лавуазье, Гальвани, Фарадей, Джоуль, Майкельсон, Иван Павлов, Милликен — эти люди собственноручно (в прямо смысле слова) доказывали, что все гениальное просто. И что для того, чтобы добиться успеха, надо прежде всего четко понимать, *что* ты хочешь сделать: истина, о которой полезно помнить не только в области естественных наук.

Кристиан Крахт *Карта мира* / Пер. с нем и англ. Е. Воропаева. — М.: Ad Marginem, 2009. — 240 с. — 3000 экз.

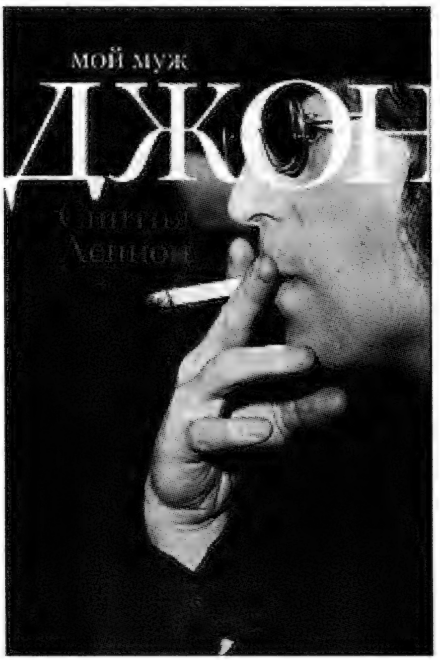
Сорокатрехлетний швейцарец Крахт — колоритная фигура современной немецкоязычной литературы. Бывший "золотой мальчик" от журналистики (его отец, Кристиан Крахт-старший, был директором "Axel Springer") — антиглобалист и гражданин мира, многолетний обитатель экзотических дальневосточных стран от Бангкока до Непала, нонконформист и один из зачинателей современной немецкой "поп-литературы". Собранные в этой книге как вроде бы необязательные, но цепкие и нелицеприятные травелогические заметки, написанные для газеты "Welt am Sontag" и для собственной книги "New Wave", вполне отражают характер личности Крахта и его путешествий. Молуккские острова, Гонконг, Афганистан, Джибути, Пномпень, Монголия. Чернобыль на первый взгляд несколько выбивается из этого ряда — но лишь на первый взгляд.

Информация к размышлению

Non-fiction

с Алексеем Михеевым

Однажды утром, когда мы уже расселись по своим местам перед началом занятий по каллиграфии, в самый последний момент в класс прошмыгнул какой-то парень, типичный пижон. Не вынимая рук из карманов большого мешковатого пальто, он окинул присутствующих скучающим и откровенно дерзким взглядом. Потом уселся за пустую парту позади меня, тут же отвесив мне шлепок ладонью по спине, и, скорчив смешную рожицу, сказал: "Привет, я Джон". Спустя полвека банальная сцена встречи в художественном колледже двух ливерпульских тинейджеров воспринимается как событие поистине историческое: ведь именно так Джон Леннон познакомился со своей первой женой, Синтией. О десяти проведенных вместе молодых годах 65-летняя **Синтия Леннон** рассказала в книге *Мой муж Джон* (перевод с англ. **Р. Валиулина.** — М.: КоЛибри, 2009. — 400 с.; вышедший в 2005-м английский оригинал называется просто *John*).



Вторая (и последняя) жена Джона, Йоко Оно, в отличие от Синтии, была постоянно на виду; более того, она претендовала на самостоятельную (и по меньшей мере равнозначимую) роль в их творческом дуэте с Ленноном (что, собственно, и сыграло роковую роль в распаде "Битлз" и за что ее, мягко говоря, недолюбливают многие "битломаны"). Синтия же всегда держалась в тени — что было позицией отчасти вынужденной, поскольку безумной популярности "Битлз" среди юных фанаток в первое время мог, как предполагалось, помешать тот факт, что один из их кумиров уже связан семейными узами. И лишь через четверть века после трагической гибели Джона Синтия решила подробно рассказать об их совместной молодости.

Читается эта книга, надо сказать, со смешанными чувствами. Первое ощущение — ностальгия, сродни той, которую испытываешь, когда смотришь черно-белые советские фильмы первой половины 60-х (типа "Я шагаю по Москве"): юность, свежесть, романтика, все еще впереди, и впереди, конечно же, только хорошее. Денег не густо, своего угла нет, к тому же приходится терпеть Мими, строгую тетушку Джона, да и Джон постоянно в разъездах и даже в роддом приезжает только через три дня после рождения Джулиана — но в двадцать с небольшим все это можно пережить, если двое любят друг друга. Однако мы-то уже знаем, что это скромное счастье будет недолгим... Отсюда второе ощуще-

За предоставленную для обзора книгу Джерри Хопкинса и Дэнни Шугермана автор благодарит магазин "Фаланстер".

ние — неизбежности наступающего будущего, которое сложится так, как сложилось, — и не потому что Джон и Синтия оказались плохой парой, а потому что только так мог реализоваться "предписанный" Джону сценарий его личностной эволюции.

Один из секретов феномена "Битлз", наверное, в том, что группа представляла собой цельный организм, в котором четыре отдельных индивида уникальным образом дополняли друг друга. Каждый из участников этого квартета отличался акцентированностью одной из сторон человеческой натуры: у Джона преобладало начало интеллектуальное, у Пола — эмоциональное, у Джорджа — духовное, у Ринго — материальное, земное. И до тех пор, пока эти четыре начала складывались в идеальный "паззл", организм был жизнеспособен и творчески исключительно продуктивен. Однако подобный "гармоничный" период рано или поздно должен был кончиться; и через пять лет после дебюта центробежная сила внутри квартета начала брать верх над центростремительной. Доминантой поведения каждого становилась та сторона личности, которая ранее была лишь преобладающей, а теперь вытесняла (и даже замещала) остальные. В случае Леннона победил интеллект: связь с Синтией, имевшая отчетливый эмоционально-чувственный оттенок, сменилась связью, в которой торжествовала рационально-концептуальная составляющая. И дело здесь опять же не в том, что "плохой" оказалась Йоко: просто самого Джона уносило течением жизни так, что не будь Йоко, встретился бы какой-то иной интеллектуальный соблазн. В соответствии с некоей программой (будь она генетической или небесной) Джону было суждено перерасти Синтию и пережить в буквальном (сродни биологическому) смысле метаморфозу. Другое дело, в каком направлении эта метаморфоза шла: то ли гусеница превратилась в летящую бабочку, то ли, наоборот, романтическая и наивная бабочка "свернулась" в зрелую и мудрую гусеницу. Ведь в конечном счете очень многое зависит от точки зрения.

С выбором точки зрения (или, точнее, точки взгляда) связано третье ощущение, возникающее при чтении книги Синтии. Порой все-таки чувствуется, что книга написана брошенной женщиной. Однако не надо забывать, что перед нами взгляд лишь с одной стороны, а мнения другой стороны о случившемся разрыве мы не знаем — и уже не узнаем. Не хотелось бы обвинять Синтию в заведомом искажении фактов — просто объективная реконструкция любого конфликта возможна лишь при выслушивании обоих его участников. А так — приходится либо верить автору на слово, либо домысливать то, о чем при описании сомнительных ситуаций автор умалчивает.

Вот Синтия рассказывает, как на отдыхе в Италии они вдвоем с официанткой из отеля решили вечером *сходить куда-нибудь развлечься.* И подруга предложила *взять с собой Роберто, хозяйского сына: чтобы не выглядеть как две одинокие девицы, вышедшие на поиски мужчин.* Кавалер *вел себя очень галантно, очень тактично и трогательно нас оберегал. Мы перемещались из одного бара в другой, <...> прекрасно провели время, и на несколько часов я напрочь забыла о наших горестях.* Вполне невинная, казалось бы, ситуация. Но после возвращения Синтии в Лондон Джон почему-то *подает на развод в связи с тем, что я ему изменяла с Роберто Бассанини. <...> Это было смешно.* Действительно, как он мог такое подумать... А через несколько страниц: *Я все еще была занята своими бракоразводными делами, когда мне позвонил Роберто Бассанини. Он находился в Лондоне, услышал о том, что мы с Джоном расстались, и попросил разрешения проведать меня. <...> С тех пор он повадился навещать нас регулярно, и очень скоро мы стали любовниками.* Ну куда ж денешься, если повадился... Вскоре после развода с Джоном Синтия вышла за Роберто замуж. И это ее замужество было не последним.

Вспоминаются иронические строки отечественного рок-вундеркинда, лидера группы "Ноль" Федора Чистякова: "Милая моя, / Я не люблю тебя — / Ты не умеешь двигаться вперед!" Что ж, такая, похоже, у рок-

музыканта планида: любой ценой "двигаться вперед", а еще лучше — "пробиваться на другую сторону", *break on through to the other side*, как пел уже другой рок-идол, американский: вокалист группы "Дорз" Джим Моррисон. В 2008 году по-русски вышли сразу две посвященные ему книги.

Первая — *Никто из нас не выйдет отсюда живым* **Джерри Хопкинса** и **Дэнни Шугермана** (перевод с англ. **Ю. Новикова**. — СПб.: Амфора. — 477 с. — Серия "Дискография") — на языке оригинала появилась еще в 1980-м, когда после смерти Моррисона не прошло и десяти лет. *Джим Моррисон*, — пишет в предисловии Хопкинс, — *это не только легенда, <...> легенда основана на фактах. Иногда содержание книги резко расходится с мифом, иногда практически неотделимо от него.* И именно фактами это биографическое повествование и интересно — особенно фактами из детства, которые могут восприниматься как важные лишь ретроспективно, когда знаешь продолжение и конец биографии.

Неудивительно, что в юности Джим писал стихи, но любопытно, что "Лошадиные широты" — речитатив со второго альбома группы "Странные дни", — не что иное как одно из его еще школьных стихотворений. Известна (в частности, по фильму Оливера Стоуна "Дорз") история о том, что петь в рок-группе ему предложил соученик по факультету киноискусства Калифорнийского университета и клавишник уже выступавшего коллектива *Rick and the Ravens* Рэй Манзарек. Но любопытно, как восприняли это приятели Рэя: "Ты играешь в группе с *Моррисоном*? Ради бога, Рэй, и как только это пришло тебе в голову?" Дело в том, что Джим был пухловатым круглолицым юношей и петь (по его собственному признанию) не умел. *Многие одноклассники не поставили бы и один к миллиону на успех группы с участием Моррисона.* И конечно, важными для становления Джима как личности были его отношения (притяжения/отталкивания) с отцом, офицером ВМС США: любопытна фотография, на которой уже 20-летний Моррисон с короткой "военной" стрижкой стоит на мостике авианосца "Бон Омм Ричард" (на котором службу несли три тысячи человек) с отцом — капитаном этого авианосца.

Вообще первая половина книги показалась мне более информативной и увлекательной, чем вторая. О легендарных концертах "Дорз" и о тех алкогольно-сексуально-наркотически-экстатических состояниях, которыми они у Моррисона сопровождались, в общем, хорошо известно. И сколько было выпито виски, и как в очередной раз концерт превращался, по сути, в отчаянный вопль Джима, и проблемы с подругами — постоянными и случайными: читать о все новых и новых *фактах* этой стороны его жизни через некоторое время становится утомительно. А сложившемуся мифу это способно даже навредить: ведь под "прорывом на другую сторону" хочется понимать не переход от состояния трезвости к состоянию алкогольной (или иной) эйфории, а некое устремление метафизического свойства, настоящее "движение вперед".

Попытку остаться в пространстве мифа представляет собой книга **Алексея Поликовского** *Моррисон. Путешествие шамана* (М.: КоЛибри. – 400 с. – Серия "Жизнеописания"). Отличительная черта этого варианта биографии – программно заявленная авторская рефлексия на тему главного персонажа: акцент Поликовский делает на своем личностном восприятии Моррисона и "Doors". Наверное, для российского биографа (который начал писать книгу о Моррисоне еще более двадцати лет назад, работая в журнале "Ровесник") это ход вполне логичный: ведь для молодых людей "брежневской" эпохи западные рок-певцы были фигурами абсолютно мифологическими, и именно мифологические представления о них (как и о Западе вообще) заслуживают особого описания. Отсюда – предваряющие основной текст воспоминания автора о том, как он впервые в 1974 году на московской толкучке (на Тверском бульваре) увидел диск "Doors" и как глубоко его "перепахали" их первые три альбома 1967 года. (Впрочем, сугубо личностный подход иногда становится причиной неоправданно безапелляционных утверждений вроде – *Моррисона в той далекой Москве семидесятых не знал не только я, его не знал вообще никто.* Это не совсем так: я, например, ни разу не был на упомянутой толкучке, но записи трех первых дисков "Doors" были у меня, да и у многих моих знакомых, еще в 1970–1971 годах. Ну да ладно, разница в пару лет не так уж существенна, тем более что общую тональность описания тех унылых лет я вполне разделяю).

В прологе своей книги Поликовский рассказывает, как уже в нынешнее время, где-то на Крите, он увидел за столиком в кафе немолодого человека, необычайно похожего на Моррисона (такого, каким тот стал бы, доживи он до наших дней), и поборол в себе соблазн подойти к нему и заговорить: *а вдруг это действительно он?* Вдруг он не умер (при загадочных обстоятельствах, якобы от сердечного приступа) в парижской квартире в возрасте двадцати семи лет, а каким-то образом выжил и вот уже несколько лет скрывается от публики, храня инкогнито? Читатель "ИЛ" уже знаком с вариантом подобной гипотетической реконструкции: в прошлом, июльском номере (материалы круглого стола "Автор как персонаж...") рассказывалось о псевдобиографии Артюра Рембо, где он доживает до глубокой старости – и это убивает всю легенду о молодом гении, частью которой стала и его смерть. Нет, культурный миф все-таки должен мифом и оставаться...

Жизненные пути Моррисона и Леннона можно рассматривать как своего рода "антисимметричную" пару. Каждый из них неуклонно двигался вперед и пытался по-своему "прорваться на другую сторону". А финальный "географический" прорыв у каждого получился за океан: американца Моррисона смерть настигла в Европе, а европейца Леннона – в Америке. Что ж, в конечном счете *никто из нас не выйдет отсюда живым.*

По материалам зарубежной прессы

MILAN KUNDERA *Une rencontre.* – P.: Gallimard, 2009, 204 p.

В новой книге Милана Кундеры "Встреча" собраны эссе разных лет, в которых автор размышляет о литературе, живописи, музыке и кино. Сам Кундера так представляет свою новую книгу: это "...встреча с моими размышлениями и воспоминаниями; моими излюбленными темами (экзистенциализм и эстетика), с художниками, которыми я давно восхищаюсь (Рабле, Яначек, Феллини, Малапарте)... когда один художник говорит о другом, он всегда говорит... о себе самом, тем его рассуждения и интересны".

Обозреватель газеты "Кензен литтерер" проводит параллель между новой книгой и тремя предыдущими нехудожественными произведениями Кундеры – "Искусство романа" (1986), "Нарушенные завещания" (1993), "Занавес" (2005): во-первых, все они начинались с конца, с оглавления, что, согласно тому же обозревателю, свидетельствует о важности структуры для понимания смысла текста (новый сборник эссе разделен на девять частей, которые в свою очередь подразделяются на главы, и все это "тщательно пронумеровано"); во-вторых, в каждом из них автор, анализируя как свои, так и чужие тексты, задается одним и тем же "главным" вопросом: "Что такое роман?"

Эту мысль подхватывает литературный критик Натали Кром, в своей статье о "Встрече" она пишет, что невозможно, да и не нужно, отделять Кундеру-романиста от Кундеры-эссеиста: анализируя произведения целой плеяды отобранных им авторов – от Рабле до Гомбровича и Гарсиа Маркеса, от Сервантеса, Дидро и Стерна до Кафки и Музиля, – Кундера всякий раз рассуждает о том, в какой мере их творчество повлияло на его собственное. Одним словом, автор не перестает задумываться об искусстве романа, и эта непрекращающаяся рефлексия о романном жанре, о его безграничных возможностях, пластичности, истории, взаимоотношении с реальностью – не лирическое отступление на полях, но суть всей работы.

T. C. BOYLE *The Women.* – New York: Viking Press, 2009, 464 pp.

Двенадцатый по счету роман американского прозаика Томаса Корагессана Бойла "Женщины" основан на биографии знаменитого архитектора Фрэнка Ллойда Райта. Писатель уже обращался к жизнеописаниям известных соотечественников, таких, как изобретатель кукурузных хлопьев Джон Харви Келлог и сексолог Альфред Кинси. Автор признается, что ему интересны люди, "чья одержимость остается в истории на многие поколения".

Характер архитектора показан в книге через его взаимоотношения с четырьмя женщинами, не схожими друг с другом ни происхождением, ни привычками, ни характером. Первая – молодая танцовщица родом из Сербии, вторая – светская дама с американского Юга, третья – библиотекарь, с которой Райт, несмотря на многочисленные упреки, сожительствовал, не дождавшись ее развода (это Марта Райт, впоследствии трагически погибшая в усадьбе архитектора); четвертая женщина – его будущая жена Китти. Историю жизни Райта в романе рассказывает его ассистент, причем события даны в обратной хронологии.

Американская критика оценивает роман "Женщины" неоднозначно. Так, обозреватель "Нью-Йорк таймс" Митико Какутани утверждает, что выбор биографического материала ограничивает воображение автора. Однако большинству критиков новый роман Т. К. Бойла пришелся по вкусу; рецензент Джон Фримен на страницах "Даллас морнинг ньюс" отмечает, в частности, что Бойл сумел точно изобразить "вечное стремление американцев нажить кое-какие денежки", а также представил читателям галерею убедительных женских образов.

BERNARD POULET *La fin des journaux et l'avenir de l'information.* — P.: Gallimard, 2009, 210 p.

Вышедшее весной эссе журналиста Бернара Пуле "Конец газет и будущее информации", запомнившегося читателям своей первой книгой о газете "Монд" (2004), сразу же привлекло внимание французских книжных обозревателей. Опираясь на данные различных социологических исследований, автор обрисовывает ситуацию, сложившуюся в современной французской периодической печати: объясняет, чем вызвано стремительное падение тиражей даже самых крупных изданий, и намечает возможные пути преодоления возникших проблем.

В интервью газете "Экспансьон" (главным редактором которой он является) Бернар Пуле пояснил некоторые положения своей концепции: "Главная проблема прессы в том, что ей перестает интересоваться молодежь. Если в 1967 году газеты ежедневно читали 60 % молодых людей, то в 2005 году эта цифра сократилась до 34 %. А стало быть, периодическая печать больше не отвечает их потребностям". Согласно Пуле, главным источником информации для нового поколения жителей планеты служит Интернет, однако потребность знать о происходящем в деталях возникает далеко не у каждого, и дело здесь не в умственных способностях молодых людей, а в глубоко изменившемся отношении к чтению — "на наших глазах исчез так называемый обычный читатель: теперь незначительное число людей читает очень много, а большинство не читает практически ничего или совсем мало".

Вторая проблема прессы, как утверждает Пуле, — сокращение рекламных бюджетов. Газеты теряют (и будут продолжать терять) свой вес на рынке СМИ, в частности, потому, что цифровые технологии и Интернет открывают гораздо более гибкие возможности для размещения рекламных объявлений и более эффективные способы нахождения целевой аудитории. "Важно понимать, — подчеркивает автор, — что этот процесс носит не конъюнктурный, но структурный характер, и вернуться к прежнему положению прессы в обществе невозможно".

Третья трудность, с которой столкнулась пресса, — отсутствие спроса на информацию высокого качества, требующую времени и затрат. Здесь в качестве примера Пуле упоминает газету "Нью-Йорк таймс", руководство которой "предположило, что можно решить данную проблему, предоставив только платный доступ к своим материалам". Однако автор называет подобные предложения "результатом паники": после того как не оправдались надежды на рекламу, которая должна была покрыть все расходы, пресса возложила их на плательщика, но сейчас слишком много бесплатной информации, поэтому платный качественный ресурс просто не будет пользоваться спросом. Пуле считает, что все это приведет к расслоению информации на два уровня: "богатую" информацию для богатых и "бедную" — для бедных. "В самом деле, — рассуждает журналист, — в курсе событий хотят быть все, и, чтобы удовлетворить это желание, нужно непрерывно поставлять информацию, производство которой не требует существенных затрат. В то же время сохраняется потребность в информации с добавленной стоимостью — в ней нуждаются экономисты, политики, интеллектуалы, которые готовы за нее платить".

Сам автор предлагает учиться у более успешных коллег. Например, заручиться господдержкой, как британская Би-би-си: статус государственной информационной службы помогает существенно выиграть в качестве. Или пойти по пути сокращения тематического охвата, как американский журнал "Ньюсуик", и писать только о том, о чем вы можете сказать больше и лучше других, "правда, у них вдвое уменьшилось количество читателей, но оставшаяся половина — читатели наиболее взыскательные".

Завершая интервью, радеющий за свое дело журналист Пуле подводит безрадостный итог — если газеты хотят выжить, то необходимо полностью обновить структуру изданий, однако во французской прессе никаких серьезных сдвигов не наблюдается, изменения носят условный характер: "слегка подновим тут и там, выбьем из государства немного денег и будем продолжать в том же духе". Видимо, результат подобного подхода и послужил названием для новой книги Бернара Пуле.

JON MEACHAM *American Lion.* — New York: Random House, 2008, 512 pp.

Пулитцеровская премия 2009 года в области публицистики была присуждена редактору журнала "Ньюсуик" и автору ряда научно-популярных биографий Джону Мичему. В прошлом году он продолжил свои изыскания в американской истории и издал биографию Эндрю Джексона, седьмого президента Соединенных Штатов, под названием "Американский лев".

Обозреватели ведущих американских изданий отмечают высокий уровень работы Мичема, а также его способность отразить все грани этой исторической личности. Фигура Эндрю Джексона до сих пор вызывает споры среди американцев: с одной стороны, этот политик заботился об охране прав и свобод граждан, был сторонником демократического управления страной, а с другой — отстаивал необходимость сохранения рабства и депортации индейцев, а также поддерживал крупных финансистов, установивших в годы его службы экономическую олигархию.

Как замечает рецензент журнала "Паблишерз уикли", достоинство книги "Американский лев" состоит прежде всего в том, что автор рассказывает о Джексоне не как кабинетный ученый, а как писатель, сохраняя при этом предельную объективность и не выставляя идеологических оценок. В рецензии на страницах журнала "Букмаркс мэгэзин" особое внимание уделено тому, что Джон Мичем избегает клише и стереотипов и создает свой собственный портрет Джексона, обладающий, насколько можно судить сейчас, немалым сходством с оригиналом.

ALBAN CERISIER *Une histoire de "la NRF".* — P.: Gallimard, 2009, 624 p.

Основанный Андре Жидом литературно-критический журнал "Нувель ревю франсез" (то есть "Новый французский журнал"), или "НРФ" ("NRF"), в 2009 году отмечает свой сотый юбилей, чему и посвящена книга "История 'НРФ'". Написал "Историю" Албан Серизье — хранитель архива и редактор издательства "Галлимар", которое, кстати, своим появлением обязано отмечающему юбилей журналу. За сто лет существования "Нувель ревю франсез" познакомил французских читателей с текстами выдающихся национальных и зарубежных писателей и мыслителей. Здесь впервые были опубликованы некоторые произведения таких авторов, как Пруст, Сартр, Мальро, Клодель, Роб-Грийе и многих других.

Литературный критик Натали Кром справедливо замечает, что писать историю "НРФ" — журнала, принципиально открытого для всех, который сознательно оставался в стороне от каких-либо политических и эстетических направлений и главным и единственным критерием отбора текстов в который всегда

служило их высокое литературное качество, — значит охватить целый век литературной жизни во Франции: от Андре Бретона до Стефана Одеги, от Мориса Бланшо до Джонатана Литтелла.

С такой оценкой соглашается обозреватель "Фигаро": "В новой книге Албан Серизье пишет о разных курьезных случаях — как Андре Жид выражал Гастону Галлимару свое недовольство 'зазывалками', так он называл публиковавшуюся на страницах журнала рекламу; как один текст Пруста привлек сразу пятьсот новых подписчиков; как главный редактор 'НРФ' написал на присланной в редакцию статье 'некоего Сартра': 'Автор нам не известный, но в гениальности ему не откажешь'... Вот настоящая история литературы XX века, забавная и поучительная!"

По словам нынешнего главного редактора журнала Мишеля Бродо, за сто лет с журналом произошло только одно существенное изменение: раньше "НРФ" выходил ежемесячно, а теперь — ежеквартально, "такой график работы позволяет глубоко осмыслить происходящие в литературе процессы, а за текущими событиями литературной жизни сейчас с успехом следят радио, телевидение, различные литературные приложения к газетам. Каждый номер мы посвящаем какому-нибудь выдающемуся автору, публикуем его ранее не издававшиеся тексты. Так в 1999 году мы выпустили подборку текстов Рембо, Борхеса, Бальзака и Набокова, в 2000-м — Андре Бретона... Но кроме того, а может быть и в первую очередь, мы исследователи и первооткрыватели. Так, в 1999-м, мы опубликовали две подборки материалов: по кубинской и североамериканской литературе, в 2000-м — всесторонне изучили африканскую литературу и представили ее читателю, еще через год — занялись мексиканской литературой... 'НРФ' открыт для всех жанров и направлений, мы не приверженцы интеллектуализма, мы за смелый и неожиданный подход к литературе. Нам интересно, например, сопоставить Мандьярга... с Джимми Хендриксом или поговорить с Кэндзабуро Оэ о ядерном оружии... На мой взгляд, 'НРФ' должен быть похож на витрину с редкими лакомствами".

С содержанием свежих номеров "Нувель ревю франсез" можно ознакомиться на официальном сайте издательства "Галлимар": http://www.gallimard.fr/Gallimard-cgi/Appli_catal/vers_collec.pl?collection=105550000

Julio Cortázar, Carol Dunlop, Silvia Monrós-Stojakovic *Correspondencia.* — Barcelona: Alpha Decay, 2009, 90 p.

В испанском издательстве "Альфа Декай" вышла книга, успех и популярность которой можно предугадать заранее. Переписка между Хулио Кортасаром, его последней женой, канадкой Кэрол Данлоп, и их общей подругой, переводчицей писателя на сербский Сильвией Монрос-Стоякович, публикуется впервые. Девятнадцать писем и несколько почтовых открыток — чуть ли не единственные свидетельства страстной любви Хулио и Кэрол и настоящей дружбы, связывавшей их с Сильвией. Собранная в книге корреспонденция проливает свет на многие ранее неизвестные обстоятельства последних лет жизни аргентинского классика, а также позволяет представить, в какой обстановке создавалась написанная в соавторстве с женой книга "Автонавты на космостраде" ("Los autonautas de la cosmopista" — название представляет собой сочетание несуществующих слов, составленных из невозможного сочетания корней и суффиксов).

В начале 80-х годов, когда врачи ставят Кортасару страшный диагноз: лейкемия, кроме Кэрол об этом не знает никто, даже он сам. Понимая, что́ для него значит возможность писать, полностью отдаваясь любимому делу, она изо всех сил старалась сделать так, чтобы болезнь не мешала привычному ритму его жизни. "Прошел почти год, как я узнала, что у Хулио хроническая лей-

кемия. Кроме меня и врачей об этом не знает никто. Он не знает. Не должен знать. Сейчас он сможет жить — и жить нормально, — только если не будет знать о своей болезни", — пишет Кэрол Сильвии Монрос-Стоякович на своем своеобразном, отрывистом испанском в письме, проникнутом заботой о муже и усталостью.

Однако Кортасару было суждено пережить свою горячо любимую Кэрол, чья смерть в ноябре 1982 года повергла его в глубочайшую депрессию. Писатель в письмах открывается с неожиданной стороны: одиноким, опустошенным и потерянным. Он признается Сильвии, что теперь у него остался только один помощник и вдохновитель — литература, конечно же: "Сейчас у меня нет планов. Думаю лишь о том, как закончить книгу, которую мы написали вместе с Кэрол. Сейчас для меня это единственный способ говорить с ней и слышать ее голос". Так любовь выдающегося писателя продолжилась в литературе.

Jonas Gardell *Om Jesus.* — Stockholm: Norstedts, 2009, 360 s.

Популярный на родине и за рубежом шведский прозаик и комик Юнас Гардель издал в текущем году научно-популярную книгу "Об Иисусе". В ней писатель предпринимает попытку восстановить реальные черты Иисуса из Назарета. От трудов его предшественников новое сочинение Гарделя отличается не в последнюю очередь тем, что представляет собой часть своего рода авторской серии, начатой книгой о Боге Отце, а значит, встраивается в более широкий контекст.

Кроме того, книга "Об Иисусе" на самом деле не строгое исследование. Временами автор меняет тон, превращая рассуждение о тех или иных особенностях или поступках Иисуса в свободное эссе. Как замечает рецензент влиятельной газеты "Дагенс нюхетер" Ларс Линдер, читателю придется "смотреть сквозь пальцы" на некоторые философские выводы Гарделя, поскольку писатель остается писателем даже в своем стремлении произвести полную и объективную "деконструкцию" сложившегося за 2000 лет образа. Так или иначе, Гардель демонстрирует собственные убеждения, а не только развенчивает необоснованные доводы и проясняет непонятые факты. В частности, Гардель уверен, что в Царство Божие попадут все люди без исключения, и религия Иисуса в его истолковании предстает как проповедь вселенского милосердия.

Подготовили А. Лешневская, И. Мокин, Е. Полетаева

Эхо "Анкеты ИЛ'"

Обзор читательских писем

Эпистолярный жанр, похоже, постепенно уходит в прошлое: люди перестают писать письма, все чаще выбирая иные способы коммуникации. Тем ценнее полученные от вас отклики на очередную читательскую анкету (опубликованную в № 12, 2008). Каждое ваше письмо представляет отдельный интерес, однако для публикации мы, конечно же, выбрали из них лишь наиболее показательные фрагменты.

В нашей читательской аудитории по-прежнему представлены самые разные поколения:

Журналом (и вообще иноязычной романистикой) увлекался мой старший брат, а потом его интерес к журналу, мне кажется, остыл, но перешел ко мне, и мой "роман" растянулся до нынешних лет. В чем я благодарен и брату, и всем вашим журнальным редакциям, и главным редакторам (Владимир Маклаков, 60 лет, кандидат философских наук, преподаватель, Екатеринбург). *Журнал читаю больше 20 лет. Мне нравится...* (Юрий Кривошеин, 47 лет, историк, Кемерово). *В декабре 2008 года на выставке "Non-fiction" купил все выпуски за 2008 год и несколько более старых. Часть из них успел прочитать к сегодняшнему дню, но далеко не все. Оформил подписку на этот год. До этого времени мне изредка попадали в руки номера журнала разных лет, выпуски старой еще библиотеки "Иностранной литературы", а также многие и многие произведения в переводах, впервые опубликованных в вашем журнале* (Богдан Кравцов, 28 лет, программист, преподаватель старославянского языка, Москва).

Особенно радуют позитивные мнения о журнале:

Почти каждый номер журнала – праздник. Благодаря разнообразию рубрик и представляемым в них авторам встречи с журналом становятся все интереснее. Особо отмечаю: "Из будущей книги", "Carte blanche", "Статьи, эссе", "Письма из-за рубежа" (Татьяна Баклашкина, 62 года, пенсионерка, Ступино Московской обл.). *Каждый номер журнала похож на крупный музыкальный фестиваль. Один-два хедлайнера, привлекающие слушателей, и несколько менее известных исполнителей. Да, не все, что ты услышал на фестивале, тебе понравится – но это почти единственный способ познакомиться с новой музыкой и подобрать что-нибудь по своему вкусу на будущее. Хотя и интересно прочитать новый роман известного любимого писателя одним из первых, но его и так скоро издадут отдельной книгой – в любом случае, я про него знаю и он от меня не скроется. Так что основную ценность журнала я вижу в том, что он знакомит с неизвестным в зарубежной литературе, с тем, что иначе не встретится* (Б. Кравцов). *Журнал "подкупает" широким диапазоном тем, жанров, авторов, ушла идеологическая зависимость. Я для себя, в том числе для работы со студентами, много нахожу нужного, полезного, особенно в разделах "Документальная проза", "Статьи, эссе"* (Анатолий Баженов, 67 лет, доцент кафедры социологии и политологии, Тула). *"ИЛ" стал более разнооб-*

разным: появилось больше поэзии, эссе, критических статей (А. Боровков, 60 лет, инженер, Львов). *Журнал стал разноплановым. Иногда очень интересные тематические выпуски* (Игорь Смирнов, 44 года, образование – высшее техническое). *Сохраняется отменное качество переводов прозы. Порадовало, что романы у вас хоть изредка стали сопровождаться дельными и четкими преди- и послесловиями, как в случаях с Капором и Кадарэ, а не отписками* (Дмитрий Ткаченко, Сосновый Бор Ленинградской обл). *Универсальный, интересный; журнал с будущим. Всегда – загадка, надежда и утешение души* (Елена Сагирьянц, 59 лет, преподаватель зарубежной литературы, языка и культуры речи, Ростов-на-Дону). *Второе тысячелетие читаю и буду читать тебя, моя любимая "Иностранка"!* (Леван Кевхишвили, Тбилиси).

Есть, безусловно, и более сдержанные оценки:

Слова "лучше", "хуже" в качестве оценок состояния журнала последних лет, думаю, недостаточно точны. Предпочел бы слова "изменения" и "тенденции". Изменения вижу, и они меня по большей части устраивают (В. Маклаков). *Не все номера захватывают, бывают и проходные, но каждый год есть публикации, которые сильно "цепляют". Особенно интересно, когда это связано с открытием нового для себя имени, так для меня – это роман в 2007 году М. Рихлера* (Н. Молчанова, 53 года, инженер-химик, Москва).

Надо сказать, что роман Мордехая Рихлера "Версия Барни" (2007, № 8–10) стал по итогам опроса безусловным лидером читательских симпатий за последние два года. И, наверное, не случайно именно его переводчик Владимир Бошняк был удостоен по итогам 2007 года журнальной премии "Инолит". А в пятерку лучших публикаций крупной формы, по мнению читателей, вошли также главы из книги Гюнтера Грасса "Луковица памяти" (2008, № 3) и романы "Не беспокоить" Мюриэл Спарк (2008, № 9), "Третий брак" Костаса Тахциса (2008, № 2) и "Теракт" Ясмина Хадра (2008, № 8). Среди публикаций "малой формы" лучшими были признаны пьесы Дороты Масловской "Двое бедных румын, говорящих по-польски" (2008, № 7) и Алана Титли "Годо приходит" (2007, № 6), а также проза поэта Хуана Рамона Хименеса "Тишина лучше соловья" (2007, № 7).

Подведем итоги читательского голосования по другим жанрам:

Лучшая поэтическая подборка – Уоллес Стивенс в рубрике "Из классики XX века" (2008, № 5).

В категории "Документальная проза" победили фрагменты автобиографии Элиаса Канетти "Факел в ухе" (2008, № 9) и публикация Дидье ван Ковелера "Клонировать Христа?" (2007, № 10).

Среди статей и эссе наибольший интерес вызвали главы из книги Юбера Ведрина "Продолжить историю" (2008, № 8), "Эссе" Александра Жолковского (2008, № 12), "Разговор с Анджеем Вайдой" (2008, № 7) и "Что заставляет меня писать" Мордехая Рихлера (2008, № 11); Рихлер, таким образом, был признан лучшим сразу в двух номинациях.

Высоко были оценены и некоторые другие публикации:

Хотелось бы назвать отдельно: "Американскую новеллу – XXI век" (2008, № 8), "Литературный гид" о М. Вальзере (2007, № 7), обреченный на успех номер об А. Конан Дойле (2008, № 1), раздел об авангарде (Маринетти и др.) в "итальянском" номере (2008, № 10). Всегда привлекают материалы таких "локомотивных" авторов и переводчиков, как Б. Дубин, любимой еще с "Алисы" Н. Демуровой, С. Зенкина, Г. Кружкова, И. Ковалевой, А. Нестерова. Перед ними склоняюсь в знак глубокой благодарности (В. Маклаков). *"Путешествие Эмили Дикинсон из Америки в Россию" Татьяны Венедиктовой. Для меня это было большим и очень приятным открытием* (Т. Баклашкина). *Спасибо за Литтелла в реанимированной рубрике "№": авось издатели клюнут* (Д. Ткаченко).

Не обошлось и без негативных оценок:

2007 год можно бы и провальным назвать, особенно начальные номера. Почти вся проза там водянистая и бестолковая, а стихи – дряблые и беспомощные. ...Апофеозом антилитературы стал шведский номер....Можно и вовсе не вспоминать про 2007 год, не окажись там Шеймаса Хини в мастерском переложении Григория Кружкова да вгрызшегося в историю Момо Капора... Вновь много занятного в жанре "нон-фикшн", особенно впечатлил мудрый Канетти. Увы, обглоданный (Д. Ткаченко). *К сожалению, с уходом Кормильцева, который инициировал интерес к так называемой трансгрессивной литературе, остается брешь в этом направлении, и она ощущается* (В. Маклаков).

Внимательные читатели отмечают и "технические" недочеты:

Жаль, что сквозь редакторские сети иногда проскальзывают переводческие огрехи (Любовь Семенова, 40 лет, лингвист-переводчик, помощник руководителя строительной фирмы, Тольятти Самарской обл.). *Встречаются грубые ошибки, например, "Гарольд Пинтер – известный американский писатель"* (Елена Посецельская, 73 года, Санкт-Петербург, образование – высшее).

Как обычно, не обошлось и без своеобразной заочной полемики. Особенно неоднозначно были восприняты специальные "тематические" номера.

Мне особенно понравились тематические номера, посвященные квебекской литературе и итальянской новелле (Б. Кравцов). *Номер 1 в 2008 г. – А. Конан Дойл – весь сплошное удовольствие и для души (легко, приятно), и для памяти (информативно, интересно); и рубрика "Путешествуя по Квебеку"* (Инна Кононенко, 35 лет, кандидат психологических наук, декан психологического факультета, Шахты Ростовской обл.).

И с другой стороны:

Не вдохновили тематические номера: греческий и квебекский, да и при всем уважении к классику, по-моему, не очень разумно посвящать целый номер А. Конан

Дойлу (Марина Шеланкова, филолог, Бийск Алтайского края). *В отношении "наименее удачных", как сформулировано, публикаций отмечу проблему, даже странность, "страноведческих" номеров, когда естественное стремление представить незнакомых и потенциальных авторов оборачивается попаданием под обложку скромных по качеству сочинений, которые я бы заменил другими* (В. Маклаков). *Да простят меня Патрик Маккейб ("Помощник мясника") и Костас Тахцис ("Третий брак"), но после чтения этих романов все вокруг стало еще темнее* (Е. Сагирьянц).

Есть относительно специальных номеров и "амбивалентные" мнения:

Лучше всего (если брать все двухлетие) удались тематические номера (за вычетом необязательных квебекского и смехотворного шведского) – продуманные, органичные, панорамные. Особенно хочется выделить греческий номер и его стержень – "Третий брак". Вряд ли кто подозревал, что греческая проза не исчерпывается Казандзакисом. А оказалось, что и там пишутся книги высочайшей пробы. И Костас Тахцис – возможно, главное ваше открытие последних лет (Д. Ткаченко).

Костас Тахцис – не единственный автор, читательские мнения по поводу которого разошлись; неоднозначно была воспринята и пьеса Дороты Масловской, попавшая в число и самых лучших, и самых худших публикаций. А вот самой неудачной оказалась, по мнению читателей, публикация пьесы нобелевской лауреатки 2004 года Эльфриды Елинек "облака.дом." (2008, № 9).

"Нобелевская" тема вообще остается одной из самых спорных. Мы, например, предполагаем, что возможная публикация итальянца Дарио Фо была бы воспринята так же негативно, как и публикация Э. Елинек. Однако в читательских предложениях мы встречаем иные мнения:

Несколько слов на тему о нобелевских лауреатах. Ориентация редакции на этот уровень очевидна и, безусловно, должна сохраниться, но не все реальные возможности, на мой взгляд, здесь используются. Некоторые лауреаты последних лет, как говорится, "провисают", например, Д. Фо, И. Кертес, Д. Лессинг. Фо снова не обнаружил в недавнем "итальянском" номере, Кертес отмечен только публикацией его нобелевской речи[1]*, "ренессанс" Лессинг никак не оценен в течение 2008 года. Сегодня же необходимо серьезное и внятное представление нового "последнего героя", Ж.-М. Леклезио, публикации "Диего и Фрида" и других его небольших "вещей" этой задачи не отменяют. Поэтому хотелось бы видеть в очередном журнальном году соответствующие материалы, допустим, выпуск "Литературного гида" о последнем лауреате. В идеале – целый номер* (В. Маклаков). *Итальянский номер с публикациями небольшими, неброскими, но качественными, тоже хорош. А вышел бы еще лучше, найдись в нем угол для дядюшки Фо: как-никак единственный на всю Италию живой нобелиат* (Д. Ткаченко).

1. Не совсем так. В "ИЛ" были опубликованы и эссе Имре Кертеса. (*Прим. ред.*)

Хотим поблагодарить за конкретные пожелания по расширению формата журнала:

По аналогии с другими периодическими изданиями, можно было бы предложить электронное приложение в формате CD самого разнообразного наполнения: голоса "великих", голоса современников, художественное чтение новых/старых переводов поэзии/прозы, презентация будущих публикаций, аудиальное представление каких-то журнальных рубрик, скажем, "Вглубь стихотворения" и т. д. Есть где разбежаться воображению. Чтобы эта новация серьезно не отразилась на повышении стоимости, такое приложение более уместно к одному, допустим, 12-му номеру. Представляется, развитию журнала в едином качестве классического и современного издания это дало бы новый импульс (В. Маклаков).

Вы, безусловно, правы. Однако конкретная реализация этой идеи зависит от ее финансового обеспечения. А это, как вы понимаете, задача по нынешним временам непростая...

Впрочем, закончить обзор хотелось бы на позитивной (также и в экономическом отношении) ноте:

Читаю журнал регулярно с 2002 г. Свежий номер выдавался в КХ (книгохранилище городской библиотеки) дня на 3–4 (но читала я его первой!). Параллельно читались журналы предыдущих лет (с 1995 г.). Предпочитаю читать медленно и перечитывать, потому и начала выписывать. Выписываю журнал с апреля 2008 г. Надеюсь, что мои финансы позволят мне и впредь быть подписчиком любимого журнала (Л. Семенова).

А теперь, дорогие читатели, — итоги конкурса.

Мы сердечно благодарим вас за то, что вы приняли участие в нашей виртуальной редакционной вечеринке. Гостей действительно оказалось много, и узнать, кто есть кто, в такой необычной обстановке было совсем не просто. И тем не менее многие из вас довольно успешно справились с этим заданием, хотя и остались авторы журнала, к сожалению, никем не опознанные. Это известный французский романист Жорж Перек — очевидно, трудно было предположить, что он придет в редакцию с кошкой. И это не менее прославленный англичанин Джон Брейн: некоторые участники викторины — по всей вероятности из-за очков — приняли его за Макса Фриша. А в щеголеватом молодом офицере, прогуливающемся по вечерней Москве вместе с Германом Гессе и Славомиром Мрожеком, только один из вас (Игорь Смирнов) угадал будущего классика американской литературы — Уильяма Фолкнера.

Итак, на наших панно:

1. Анджей Стасюк,
2. Альбер Камю,
3. Исмаиль Кадарэ,
4. Джон Брейн,
5. Пабло Неруда,
6. Жан Поль Сартр,
7. Милорад Павич,
8. Вислава Шимборская,
9. Энтони Бёрджесс,
10. Бертольт Брехт,
11. Мишель Уэльбек,
12. Вирджиния Вулф,

13. Ивлин Во,
14. Теннесси Уильямс,
15. Сэмюэл Беккет,
16. Генрих Бёлль,
17. Тадеуш Ружевич,
18. Бора Чосич,
19. Чарльз Буковски,
20. Ханс Магнус Энценсбергер,
21. Милан Кундера,
22. Ромен Гари,
23. Фредерик Бегбедер,
24. Эльфрида Елинек,
25. Марсель Пруст,
26. Грэм Грин,
27. Джеймс Джойс,
28. Уистен Хью Оден,
29. Гюнтер Грасс,
30. Том Стоппард,
31. Ежи Пильх,
32. Тоне Павчек,
33. Воле Шоинка,
34. Арундати Рой,
35. Габриэль Гарсиа Маркес,
36. Адольф Мушг,
37. Райнер Мария Рильке,
38. Маргерит Дюрас,
39. Орхан Памук,
40. Петер Эстерхази,
41. Жорж Перек,
42. Вацлав Гавел,
43. Изабель Альенде,
44. Томас Бернхард,
45. Тонино Гуэрра,
46. Герман Гессе,
47. Славомир Мрожек,
48. Уильям Фолкнер.

Честно говоря, мы припозднились с подведением итогов, и потому наш приз — бесплатная подписка на журнал на весь следующий 2010 год, а не на второе полугодие 2009-го, как было объявлено ранее.

И вот имена победителей:

А. М. Баженов (Тула),
Л. Кевхишвили (Тбилиси),
И. Ю. Кононенко (Шахты),
Ю. Б. Кривошеин (Кемерово),
В. Т. Маклаков (Екатеринбург),
Н. И. Молчанова (Москва),
Е. И. Посецельская (Санкт-Петербург).

"Если вам захочется спросить еще о чем-нибудь — с радостью вам отвечу", — заканчивает свое письмо в редакцию Богдан Кравцов.

Обязательно спросим. И даже знаем — о чем. Оставайтесь с нами!

Ханс Магнус Энценсбергер
Hans Magnus Enzensberger
[р. 1929]. Немецкий поэт, эссеист, прозаик, переводчик, издатель. Лауреат многочисленных литературных премий, в том числе премии имени Бюхнера [1963].

Автор сборников стихов *Защита волков* [*verteidigung der wölfe*, 1957], *Язык страны* [*landessprache*, 1960], *Шрифт слепых* [*blindenschrift*, 1964], *Мавзолей. 37 баллад из истории прогресса* [*Mausoleum. Siebenunddreißig Balladen aus der Geschichte des Fortschritts*, 1975], *Музыка будущего* [*Zukunftsmusik*, 1992], *История облаков. 99 медитаций* [*Die Geschichte der Wolken. 99 Meditationen*, 2003] и др., а также книг эссе, пьесы *Допрос в Гаване* [*Das Verhör von Habana*, 1970], романа *Короткое лето анархии* [*Der kurze Sommer der Anarchie*, 1972], поэмы *Гибель Титаника. Комедия* [*Der Untergang der Titanic. Eine Komödie*, 1978], книги *Хаммерштейн, или Своеволие. Немецкая история* [*Hammerstein oder der Eigensinn. Eine deutsche Geschichte*, 2008] и др. В *ИЛ* напечатаны стихи Х. М. Энценсбергера [1960, № 10; 2003, № 9; 2004, № 11], эссе *Великое переселение. Тридцать три фрагмента с одним примечанием о некоторых особенностях охоты на людей* [1994, № 9], *Взгляд на гражданскую войну* [1995, № 6], *Роскошь – прежде и теперь, или Кое-что об излишествах* [1997, № 9] и пьеса *Племянник Вольтера* [1998, № 7].
Публикуемый текст взят из сборника *Диалоги между бессмертными, живыми и мертвыми* [*Dialoge zwischen Unsterblichen, Lebendigen und Toten*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2004].

Тони Моррисон
Tony Morrison
Американская писательница, лауреат Национальной книжной премии [1974], Пулитцеровской премии [1988], Нобелевской премии [1993] и др.

Автор романов *Самые голубые глаза* [*The Bluest Eyes*, 1970], *Сула* [*Sula*, 1974], *Песнь Соломона* [*Song of Solomon*, 1977], *Смоляное чучелко* [*Tar Baby*, 1981], *Джаз* [*Jazz*, 1992], *Рай* [*Paradise*, 1998], а также книг для детей: *Большой ящик* [*The Big Box*, 2000] и *Книга нехороших людей* [*The Book of Mean People*, 2001]. В *ИЛ* напечатаны ее романы *Возлюбленная* [1994, № 12] и *Любовь* [2005, № 9].
Роман публикуется по изданию *A Mercy* [New York: Alfred A. Knopf, 2008].

Иван Динков
[1932–2005]. Болгарский писатель. Лауреат национальных литературных премий имени Ивана Вазова, Пейо Яворова, Николы Вапцарова и др.

Автор книг стихов *Личная карта* [*Лична карта*, 1960], *Эпопея незабываемых* [*Епопея на незабравимите*, 1963], *Антикварные стихотворения* [*Антикварни стихотворения*, 1977], *Славянские псалмы* [*Славянски псалми*, 1991], *Дневник* [*Дневник*, 1997], многих повестей и романов.
Текст публикуется по изданию *Почтение к литературе* [*Почит към литературата*. Пловдив: Христо Г. Данов, 1980].

Белла Цонева-Динкова
Болгарская актриса. Директор Болгарского культурного института в Москве [2006–2008].

Автор книги *На восток от Ивана* [*На изток от Иван*, 2008].

Хулио Кортасар
Julio Cortázar
[1914–1984]. Аргентинский прозаик, поэт, эссеист, переводчик. Лауреат премии Кеннеди [Арген-

Автор романов *Экзамен* [*El examen*, 1950], *Счастливчики* [*Los premios*, 1960], *Игра в классики* [*Rayuela*, 1963], *62. Модель для сборки* [*62, modelo para armar*, 1968] и др., сборников рассказов *Бестиарий* [*Bestiario*, 1951], *Конец игры* [*Final de Juego*, 1956], *Том, кто здесь бродит* [*Alguien anda por ahí*, 1977], *Мы так любим Гленду* [*Queremos tanto a*

тина], премии Медичи среди зарубежных писателей [Франция], кавалер Золотого Орла на фестивале в Ницце, кавалер ордена Независимости культуры Рубена Дарио [Никарагуа], кавалер ордена Марка Твена, член-корреспондент Академии литературы ГДР, почетный член университета Мехико, почетный доктор университета в Пуатье [Франция], почетный доктор университета Менендеса Пелайо [Испания].

Glenda, 1980] и др. Многие произведения Х. Картасара переводились на русский язык. В *ИЛ* напечатаны его рассказы [1970, № 1; 1978, № 9; 1982, №5; 1993, №3], роман *Книга Мануэля* [1994, № 3], эссе *Жизнь Эдгара По* [1999, № 3], Литературный гид *Хулио Кортасар, или Самый великий хронопъ* [2001, № 6].
Текст публикуется по изданию *Письма 1937–1963* [*Cartas 1937–1963*. ALFAGUARA, 2002].

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОРОЛЕВ
[р. 1946]. Российский писатель, драматург, эссеист. Лауреат премии фонда *Знамя* [1994], итальянской премии *Пенне* [2000] и др.

Автор романов *Голова Гоголя* [1992], *Эрон* [1994], *Человек-язык* [2000], *Дракон* [2003], *Быть Босхом* [2004], *Сгинь, коса!* [2008] и др., многих радиопьес, очерков и эссе.
Публикуемый текст взят из болгарского журнала *Факел* [2007, № 4].

ГЕОРГИ БОРИСОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ
[р. 1950]. Болгарский поэт, переводчик с русского, французского и английского языков. Лауреат премии имени Владимира Башева за лучший поэтический дебют [1977], премии *Золотой брелок* газеты *Труд* [1999], Национальной премии имени Ивана Николова за лучшую поэтическую книгу [2001], премии имени Славейкова за лучшее лирическое стихотворение [2007] и др. Член болгарского ПЕН-центра.

Автор поэтических книг *В полдень, где-то в начале* [*По пладне някъде в началото*, 1977], *Ворота* [*Врати*, 1986], *Пришелец* [*Пришълец*, 1992], *Живой бог* [*Живият бог*, 1997], *Карфаген* [*Картаген*, 2000] и др.
На русском языке его стихи публиковались в антологии болгарской поэзии *Из века в век* [2007], в периодической печати, в *ИЛ* [2008, № 8].
Публикуемый текст взят из болгарского журнала *Факел* [2007, № 4].

АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА УРАКОВА
Литературовед, кандидат филологических наук.

Автор монографии *Поэтика тела в рассказах Эдгара Аллана По* [2009], а также статей, посвященных творчеству Э. По и американской литературе XIX века. В *ИЛ* напечатаны подготовленные при ее участии материалы двух круглых столов: *Классик, современный классик, культовый автор, модный писатель...* [2007, № 5], *Автор как персонаж, или Опыт сочинения себя* [2009, № 7].

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ МАРКИН
[р. 1974]. Филолог-германист, преподаватель Женевского университета.

Автор статей по немецкоязычной литературе XVI, XIX и XX веков. Соредактор *Истории швейцарской литературы* в 3-х тт., составитель книги Г. Гейм *Небесная трагедия* [2004]. В *ИЛ* опубликована его статья о поэзии немецкого барокко [2006, № 2].

Михаил Майков
Филолог, журналист.

Печатался в газете *Пределы века* и в *Русском журнале*. В *ИЛ* опубликована его рецензия *О евреях, и не только* на выпускаемую издательствами *Текст* и *Еврейское слово* серию *Проза еврейской жизни* [в соавторстве с Д. Гартом; 2008, № 12].

Михаил Яковлевич Визель
[р. 1970]. Книжный обозреватель, музыкальный критик, колумнист, издатель, переводчик с итальянского.

Создатель интернет-проекта *Невидимые города on-line* по роману Итало Кальвино [calvino.lib.ru]. В его переводе вышли два романа Дж. Куликкьи и сборник газетных заметок У. Эко.
В *ИЛ* напечатан его перевод рассказа П. В. Тонделли *Тоже либертины* [2008, № 10].

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премии *Человек книги* в номинации *Редактор* [2004].

В его переводе с польского напечатаны пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению*.

Александра Юрьевна Лешневская
Переводчик с французского и английского языков. Аспирант ИВГИ РГГУ.

В *ИЛ* опубликованы ее статьи *Три "Гранде"* [2008, № 4], *"Казнить нельзя помиловать"* [2008, № 12], перевод фрагмента пьесы *Обратная сторона Луны* Робера Лепажа [2008, № 11], глава из романа *Благоволительницы* Дж. Литтелла [2009, № 5], фрагменты книги *Книгоиздание, пресса и власть во Франции в XX веке* Жан-Ива Молье [2009, № 7].

Игорь Викторович Мокин
[р. 1986]. Переводчик с английского и скандинавских языков, преподаватель. Аспирант филологического факультета МГУ.

В *ИЛ* опубликован его перевод рассказа Р. О. Фримена *Послание со дна моря* [2008, № 1], фрагментов книги Д. Рескина *Современные художники* [2009, № 1] и главы из книги *Экономика престижа* Джеймса Инглиша [2009, № 7].

Евгения Александровна Полетаева
Литературовед-испанист, преподаватель кафедры романской филологии РГГУ, аспирант кафедры сравнительной истории литератур РГГУ.

Специалист по европейской средневековой литературе, автор статьи *Функция авантюры в испанском рыцарском романе* [Вестник РГГУ, 2009, № 2]. Автор заметок в рубрике *По материалам зарубежной прессы*.

Переводчики

Наталия Геннадиевна Васильева
Переводчик с венгерского и немецкого языков.

В ее переводе с венгерского публиковались новеллы М. Бабича, Й. Е. Тершанского, с немецкого — новеллы Э. Кестнера, А. Мушга, *Сказка о Рейне и мельнике Бегколёсе* К. Брентано и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы рассказов Р. Леттау, Х. Блуменберга, К. И. Тиса [1994, № 9], Г. Фрайтага [2002, № 7], эссе Г. Гессе [2004, № 10] и обзорные статьи, представляющие мюнхенский литературный журнал *Акценты* и австрийский журнал *Манускрипты*.

Владимир Борисович Бошняк
[р.1949]. Переводчик с английского. Лауреат премии *Инолит* [2005, 2007].

В его переводах публиковались романы У. Фолкнера, Э. Л. Доктороу, Р. Чандлера, Э. Бёрджесса, У. Перси, У. Стайрона, Ф. Рота, пьесы В. Аллена и К. Воннегута, рассказы У. Сарояна, Т. Вулфа, О. Хаксли, Дж. Леннона, Дж. П. Донливи и др. В *ИЛ* в его переводе напечатана вторая часть романа Тома Вулфа *Костры амбиций* [1991, № 11], рассказ Дж. П. Донливи *Франц Ф.* [1992, № 8—9], роман Т. Моррисон *Любовь* [2005, № 9], роман М. Рихлера *Версия Барни* [2007, № 8—10], роман Э. Л. Доктороу *Марш* [2009, № 1—2].

Элеонора Александровна Мезенцева
Переводчик с болгарского.

В ее переводе вышли книги *Ванга — откровения всевидящей* и *Правда о Ванге* К. Стояновой, романы Н. Неновой, А. Ангелова и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Элла Владимировна Брагинская
Литературовед, переводчик с испанского.

В ее переводе напечатаны повести *Похороны великой Мамы* Г. Гарсиа Маркеса, *Право на политическое убежище* А. Карпентьера, *Чур, морская "змеюка"* К. Фуэнтеса, книга мемуаров П. Неруды *Признаюсь, я жил* и др. В *ИЛ* в ее переводе публиковались роман *Площадь Диамант* М. Родореда [1981, № 11], рассказы Л. Сепульведы [2002, № 8] и книга П. Неруды *Дом на песке* [2004, № 10].

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины немецкого художника Вильгельма фон Кауль-баха [1805–1874] *Гёте на льду* [1862]. [Справа – мать Гёте и его сестра Корнелия, на переднем плане Максимилиана Ларош-Брентано – юношеское увлечение Гёте, в будущем мать Беттины и Клеменса Брентано. Франкфурт, 1774].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черноглаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") ;
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.03.2009
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 1342.
Тираж 5400 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости", 105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

Премия Н. В. Гоголя в Италии

В Риме на Вилле Медичи вручена "Премия имени Н. В. Гоголя в Италии", учрежденная Фондом Первого Президента России Б. Н. Ельцина.
Сопредседатели жюри премии – Андрей Битов [Россия] и Мария Луиза Спациани [Италия].

Мы поздравляем первых лауреатов премии:
Юрия Манна [Россия],
Риту Джулиани [Италия],
Анну Ямпольскую [Россия],
Алессандро Рома [Италия].

Посмертно Премия Гоголя вручена российскому переводчику Николаю Живаго.

С 24 по 26 сентября в Риме состоится международная конференция "В мире Гоголя", посвященная 200-летнему юбилею великого писателя, организованная Фондом Б. Н. Ельцина, культурной ассоциацией "Премия имени Н. В. Гоголя в Италии" и римским университетом "Ла Сапьенца".

---

[9] 2009

В СТРАНЕ МУМИ-ТРОЛЛЕЙ: РОМАН ЭЛИНЫ ХИРВОНЕН "ЕСЛИ БЫ ОН НЕ ЗАБЫЛ" / ПОВЕСТЬ ХАННУ РАЙТТИЛЫ "АЭРОСТАТ 'ФИНЛЯНДИЯ'" / ПЬЕСА КАРИ ХОТАКАЙНЕН "КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА" / РАССКАЗЫ И СТИХИ СОВРЕМЕННЫХ ФИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ / ГЕНРИ ПАРЛАНД И ЛЕЕНА КРУН В РУБРИКЕ "ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА" / НИЧЕГО СМЕШНОГО: ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ РОМАНА ШАТЦА "ИЗ ФИНЛЯНДИИ С ЛЮБОВЬЮ"

(*роль*) **Ex** Each character was ~ed with so much grace and art. Все роли были исполнены с большим изяществом и мастерством.

sustainability [səˌsteɪnəˈbɪlətɪ] *n* устойчивость; устойчивое развитие; ecological / environmental ~ экологическая устойчивость, устойчивость окружающей среды *(предполагает поддержание экологической целостности и запасов природных ресурсов)*; financial ~ финансовая устойчивость; the Royal Award for S. *брит* королевская премия за устойчивое развитие *(присуждается предпринимателям)*

sustainable [səˈsteɪnəbl] *adj* **1.** устойчивый; жизнеспособный; ~ development устойчивое развитие; ~ economic growth устойчивый экономический рост **2.** экологически рациональный; способный существовать, не нанося ущерба окружающей среде; «устойчивый»; ~ agriculture экологически рациональное сельское хозяйство, «устойчивое» сельское хозяйство; ~ forestry экологически рациональное лесопользование, «устойчивое» лесопользование; ~ use of natural resources рациональное использование природных ресурсов

sustained [səˈsteɪnd] *adj* **1.** длительный, продолжительный; непрерывный **Syn** long, protracted **2.** монотонный *(о звуке)*

sustaining [səˈsteɪnɪŋ] *adj* **1.** поддерживающий, поддерживающий; ~ power стойкость, выносливость **2.** доказывающий, подтверждающий

sustaining program *n амер радио* некоммерческая радиопрограмма

sustenance [ˈsʌstənz] *n* **1.** средства к существованию **2.** питание; пища **Syn** food, fare **3.** поддержание, поддержка, помощь **Syn** maintenance

sustention [səˈstenʃən] *n* поддержание *(в том же состоянии)*

sustentive [səˈstentɪv] *adj* поддерживающий; подкрепляющий

susurrant [suːˈsʌrənt] = susurrous

susurrate [ˈsuːsəreɪt] *v книжн* **1.** шептать **2.** издавать лёгкий шорох, шелест

susurration [ˌsuːsəˈreɪʃən] *n* **1.** шёпот **Syn** whisper **2.** лёгкий шорох, шелест

susurrous [suːˈsʌrəs] *adj* **1.** шепчущий **2.** шуршащий; шелестящий

susurrus [suːˈsʌrəs] = susurration

Susy [ˈsuːzɪ] *n уменьш от* Susan, Susannah Сюзи *(женское имя)*

Sutherland [ˈsʌðələnd] = Sutherlandshire

Sutherlandshire [ˈsʌðələndʃə] *n геогр* Сатерлендшир *(графство Шотландии)*

Sutlej [ˈsʌtlɪʤ] *n геогр* Сатледж *(река на территории Пакистана, Индии, Китая)*

sutler [ˈsʌtlə] *n* маркитант **Syn** canteen keeper

…дятся. **3.** нить для сшивания раны 4. сшива…ие, соединение

мед накладывать швов, сшивать

SUV *сокр от* Sport Utility Vehicle внедорожник *(автомобиль повышенной проходимости, предназначенный для активного отдыха, чаще всего с приводом на все четыре колеса)*

Suva [ˈsuːvə] *n геогр* Сува *(столица государства Фиджи, юго-западная часть Тихого океана)*

suzerain [ˈsuːzəreɪn] *n* **1.** феодальный властитель, сюзерен **2.** сюзеренное государство; ~ lord правитель сюзеренного государства

suzerainty [ˈsuːzəreɪntɪ] *n* **1.** власть сюзерена **2.** сюзеренитет

SVC *буквенный код для* El Salvador colon сальвадорский колон *(денежная единица)*

svc. *сокр от* service **1.** обслуживание, сервис **2.** служба

…lte [svelt] *adj* стройный, гибкий *(о женщи…)* **Syn** thin

Sverdlovsk [ˌsveədˈlɒfsk] *n геогр, ист* Свердловск *(название г. Екатеринбург в период с 1924 по 1991 г.), см тж* Ekaterinburg

Sverdrup Islands [ˌsveədrʊp-] *n pl геогр* острова Свердруп *(группа островов в составе Канадского Арктического архипелага)*

SVO *сокр от* subject verb object *лингв* тип языка с характерным порядком слов: подлежащее - сказуемое - прямое дополнение *(как в русском, английском), см тж* SOV

SW[1] *сокр от* short waves короткие волны

SW[2] *сокр от* southwest юго-запад

Sw. *сокр от* Sweden Швеция

swab [swɒb] **I** *n* **1.** 1) швабра, щётка **Syn** mop 2) *воен* банник *(насадка типа щётки на шомпол)*; шомпол 3) помазок **2.** *мед* 1) тампон 2) мазок **3.** *мор жарг* офицерский погон **4.** 1) *презр* салага 2) *разг* матрос, моряк **Syn** sailor, gob

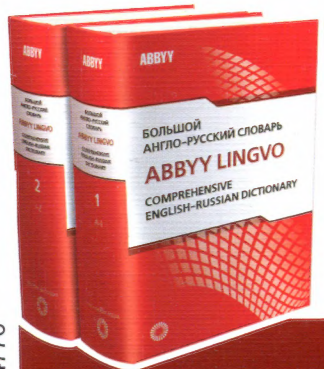
II *v* **1.** *(тж ~ down)* мыть шваброй; подтирать шваброй **Ex** Every morning, the sailors had to ~ down the deck of the ship. Каждое утро матросы должны были швабрами драить палубу на корабле. **2.** *мед* смазывать, наносить тампоном **Ex** She ~ bed the wound with iodine. Она смазала рану йодом.

swabber [ˈswɒbə] *n* **1.** юнга, драящий палубу **2.** грубый, невоспитанный, подлый человек **3.** разг увалень **Syn** clodhopper, bumpkin **4.** швабра, веник, метла

Swabia [ˈsweɪbɪə] *n геогр, ист* Швабия *(историческая область в Германии)*

swaddle [ˈswɒdl] **I** *n* = swaddling clothes

II *v* **1.** пеленать, свивать *(младенца)* **2.** *(тж ~ up)* бинтовать, забинтовывать **3.** сдержи…вать



Словари ABBYY Lingvo
Современный язык
Академический подход

ABBYY® www.ABBYY.ru
+7 (495) 783 3700

job@abbyy.com

Приглашаем на работу
лингвистов и лексикографов

ISSN 0130-6545 09008
9 770130 654770
ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2009, №8, 1-288
ИНДЕКС 70394